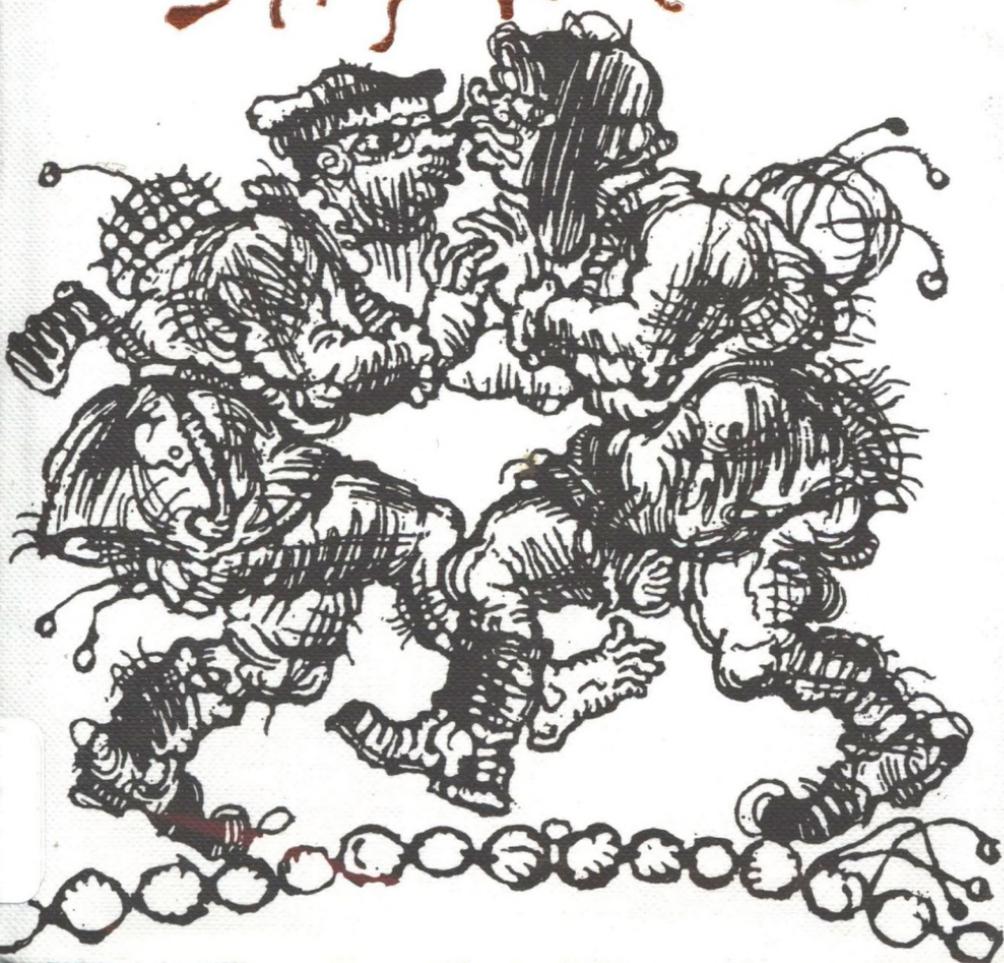


ВЛАДИМИР
МАКАНИН

ЛАЗ



Владимир
МАКАНИН

ЛАЗ

Повести и рассказы

· МОСКВА · ВАГРИУС

УДК 882-321.1
ББК 84Р
М 15

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут
преследоваться в судебном порядке.*

ISBN 5-7027-0498-3

- © Издательство «ВАГРИУС», 1998
- © В.Маканин, автор, 1998
- © А.Немзер, предисловие, 1998
- © С.Семенов, дизайн серии, 1998

ГОЛОС В ГОРАХ

И снился мне...

Лермонтов

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Лермонтов

Двадцать лет — это много или мало? Оглядываешься, пытаешься вспомнить, ищешь облик 1977 года (годом этим датированы «Голоса» и «Отдушина» — повести, открывающие этот сборник), — и голова кругом идет. Когда все это было? Сколько веков прошло? Поначалу вроде бы срабатывает успокоительная, неведомо откуда вылезавшая услужливая отговорка: мол, это нам такое бурное время выпало, мол, бывает и по-другому. Конечно, бывает — всякая чужая жизнь заведомо примитивней, легче, скучней и удачней, чем наша. Так дело обстоит с жизнью соседа по лестничной клетке — и точно так же с судьбой иных народов и поколений. Пожалеешь себя, угадавшего вляпаться в очередной «переходный период», но надолго этой жалости не хватит. «Припомните, о други, с той поры,/ Когда наш круг судьбы соединили,/ Чему, чему свидетели мы были!» Пушкинские строки 1836 года читаются, по пушкинскому же выражению, как «свежая газета»: «Игралища таинственной игры,/ Метались смущенные народы;/ И высились и падали цари;/ И кровь людей то славы, то свободы,/ То гордости багрила алтари». Про нас писано. Временами верить перестаешь, что не во сне, а вживе видел ты 1977 год. Маканин напомнит.

«Мебельное время» — речение это вошло в критико-публицистический обиход после «Отдушины». Кто, как не Маканин, сумел запечатлеть тепленькую, изматывающую, ласково-безнадежную пустоту той эпохи? Кто угадал и назвал по именам «человеков свиты» и «граждан убегающих»? Кто точнее рассказал о том, как в сплошной «полосе обменов», в лихорадочной гонке за копеечным (ох, как дорога была та копейка) комфортом легко и незаметно выветриваются людс-

кие души? И кто, кажется, первым почувствовал, как жаж-дут хоть какого-то заполнения образовавшиеся на их месте пустоты? Маканин понимал и заставлял понять читателя: существует странная, но крепкая связь между «позднесемиде-сятнической» тягой к материальному благополучию (в общем-то достаточно эфемерному) и набравшим в ту пору силу «историзмом» (коллекционированием раритетных вещей, книг, концепций, верований). Коротковатой оказывалась дистанция между персонажем, рвущимся к теплomu месту, и персонажем, вдруг обретшим последнюю общеспасительную истину. «Престиж-уют» одного и «мудрость» другого должны были (конечно, по-разному) заменить незаметно испарившуюся ценность — веру человека в себя, неотделимую от веры в других людей, в осмысленность мира и, скажем аккуратно, в нечто большее.

Эта тоска по утраченному неотделима от самой утраты. В «Голосах» писатель, «у которого около пятнадцати или двадцати книг», мечтает в одиночестве открыть «бутылку с “изготовленной из отборного зерна”» и «тосковать, напевая самому себе на музыку Яковлева». Мечта и действие у Мака-нина, по сути, всегда тождественны, «возмечтать» и значит «запеть», пусть и «от обратного». «В утрате своей поет. То есть с возрастом он именно леса, и горы, и милые взгляды (из гениального романса Дельвига и из собственного прошлого. — А. Н.) научился ценить и знать, и узнавать вполне, а вот голоса свои он уже не слышит; отрочество далеко, в суете голоса неразличимы». Некий «голос» пытается расслышать на старом кладбище герой «Утраты». В «окликнутость» свою мучительно стремится поверить (для того в первую очередь и других убеждает) герой «Предтечи» — пронзительно точной повести о надломе «мебельного времени», о поисках спасительного суррогата, о мнимом претворении зубной пасты и лекарственных трав в ключи к царству небесному. Многие прячется в этих подменах и самообманах — пока заметим: рисунок общественного подсознания начала 1980-х зафиксиро-ван верно до оскорбительности. Так и было. Потому и сердились на Маканина много, причем не только казенные рев-нителы общественной благопристойности, но и безусловно честные литераторы, болезненно воспринимавшие как «ме-

бельное время», так и приближение «времени экстрасенсов» и — в который раз — пенявшие на зеркало.

Кстати, когда в середине 80-х была опубликована повесть «Один и одна» (маканинская анатомия шестидесятничества), раздражение было не меньшим. Между тем уже в «Голосах» (история первого рассказа, двусмысленного вхождения-невхождения в литературу) Маканин достаточно подробно прописал отшумевшую эпоху. Не о том речь, насколько справедливо (здесь всяк при своем мнении останется) — даже наиболее последовательные оппоненты Маканина не станут утверждать, что его «шестидесятые» схожи с «мебельным временем». Или с временем послевоенным, «барачным», образы которого всплывают и в «Голосах», и в «Утрате», и в оставшихся за пределами нашего сборника повестях «Голубое и красное» или «Где сходилось небо с холмами». Читая Маканина, всегда точно понимаешь, когда происходят описываемые события — его «мелочи быта», неотделимые от «мелочей психологии», всегда осязаемо конкретны.

Конкретно воплотившееся в «Лазе» «предчувствие гражданской войны» и последующей тотальной катастрофы, которым жила страна на пороге и в начале 90-х. Правда, столь темными и пустынными наши улицы и тогда не были. Правда, перебои с транспортом не достигали того кошмара, который привычно переживают герои повести. Правда, настолько озверелые толпы по площадям и проспектам не мчались. И кое-какие товары (продукты) можно было вдруг да урвать. И люди совсем запросто не пропадали. И бегство из городов в леса и пещеры, убежища и бункеры такого масштаба не принимало. Едва не написал «еще не принимало», хотя доподлинно знаю, что сравнительно быстро те ощущения, которыми полнится маканинский «Лаз», оказались смытыми новой волной истории.

В деталях Маканин вполне сознательно шел на «перебор». Он словно бы заглядывал в то будущее, что уже оформилось в коллективном подсознании. «Реальность» была «не совсем такой»; страхи, из этой реальности вырвавшиеся, — теми самыми. Это не писатель, а анализируемое им общество опережало события. Грань между «кажется» и «есть» вновь и вновь становилась сомнительной: глаза страха были

велики, как это случается почти всегда. Рассуждая о маканинской прозе, можно словечко «почти» и проигнорировать. Физические муки, ссадины, ушибы и задыхания Ключарева, раз за разом единоборствующего со смыкающимся ходом в светлое подземное царство, были прописаны с таким тщанием, что читатель и сам дергался от боли. Тоска придуманных, обезлюдивших темных улиц входила в запланированную переключку с очень похожими — вневкнижными, законными — пейзажами. Откровенная притчеобразность повести парадоксальным образом настраивала на ее фактографическое прочтение: понятно, что писатель оперирует символами и гиперболами (он и сам того не скрывает), но потому-то и особенно жутко. Да, конечно, челночные вылазки интеллигентов за кордон, поиски места в «тамошней» жизни, опыты обустройства на Западе — все это «формально» мягче, чем экспедиция по обдирающей кожу норе и блуждание в обезвоздушенных лабиринтах. Но в том-то и дело, что разница чисто формальна (литература все-таки, обобщение, «художественная условность»). Ну а если «без дураков», если эту пресловутую художественность отшелушить, то ведь голая правда вылезет: заграница — тот свет, куда трудны пути и откуда не должно быть возврата, долго сновать за товарами не удастся, *там* места на всех точно не хватит («лаз» не пропустит больного ребенка), уход *туда* — предательство близких, *тамошнее* существование для здешнего человека — более или менее медленная смерть. Символы вибрируют, обобщения расплываются, условность и точность демонически перемигиваются. Не все ли равно, какова степень реальности «лаза» — от такого сна очнешься в холодном поту. Если сумеешь очнуться.

Последний фрагмент повести — пробуждение Ключарева. Коли читать «как написано», герой, истомившись во время последней экспедиции *туда*, задремал на улице, увидел жуткий сон (всегдашний — «земля стиснулась, сомкнулась, лаза нет, и он остался, навсегда отрезанный, на темных улицах») и был разбужен обыкновенным доброжелательным прохожим. Повторяющийся сон Ключарева почти не отличим от повторяющейся ключаревской реальности, что в свою очередь подозрительно схожа со сновидением. Так от какого сна

воспрянул герой? От минутного или от затяжного, все его бытие ныне обволакивающего? И почему только «ныне»?

«Сегодня» маканинского «Лазе» одновременно приписано ко вполне определенным историческим вешкам и окутано парами полуфантастического будущего. Вспомним, что о наступлении «парапсихологического», «целительского», «сектантского» эона писатель заговорил несколько раньше, чем тот обрел зримые очертания (заглавное слово «предтеча» и об этом сигнализировало). «Кавказский пленный» будет написан до начала чеченской войны (журнальная публикация придется на ее разгар). Конечно, войну предчувствовал не один Маканин, а сила его трезвого, предрасположенного к анализу ума сомнению не подлежит. Но все же здесь, как и в «Лазе», к футурологической хватке дело не сводится. Рисуя будущее, Маканин оперирует прошлым — в «Кавказском пленном» на то указывает уже реминисцирующее название. Завороженность (плененность) равнодушной и губительной красотой гор — неперемнная составляющая любой кавказской войны. Задаваться вопросом о «времени действия» последнего маканинского рассказа, конечно, можно. Образцово-показательных «постперестроечных» деталей быта в нем предостаточно. И люди конца века вполне узнаваемы. Только суть происходящего эта «новизна» затрагивает словно бы по касательной.

Да, Маканин знает цену «приметам времени» и настойчиво распадабливает эпохи. Для того и сталкивает их лицом к лицу. Например, в «Утрате», где рядом с современным сюжетом о поиске предков, о невозможности обрести мифологическое прошлое (столичный житель на покинутом, исчезающем сельском кладбище) бьется сюжет давний (полубезумный купчик, роющий тоннель под рекой). Сюжеты, времена, характеры — разные; система ключевых мотивов (слепота, ночь, алкоголь, путь в никуда) — одна. Как одна для всех времен, народов и культур — тоска оставленности. Как одинаковы ночные страхи, в какие бы новые причудливые или прельстительные обличья они ни рядились.

В «Лазе» случайный прохожий будит Ключарева. У него нет имени и возраста, национальности и характера, профессии и убеждений. Для героя (и автора, и читателей) это про-

сто «человек в сумерках», человек из ниоткуда, то есть *не* из той череды убедительных химер, что зовется историей. Именно в силу своей анонимности и безликости он добрый. («Так мало и так много», — не забудет обронить в скобках Маканин.) Только «некто-никто» может на мгновение остановить кошмар, приободрить единственно возможным образом: «еще не ночь». Иного не дано; утро в маканинском космосе — фикция.

Заключительная главка повести самого известного из маканинских сочинений последних лет, повести, принесшей автору Букеровскую премию, — череда коротких, рваных фрагментов, разделенных строками отточий. В последний раз выныривают из темноты маски персонажей, что на протяжении нескольких ночных часов (то есть всей жизни) мытарили душу героя, в предыдущей главке свалившегося в инфаркте на этот самый «стол, покрытый сукном и с графином посередине».

Заглавный «стол» описан гораздо обстоятельнее, чем неотвязно думающий о нем человек со слабым сердцем. Или чем коридор и кухня, по которым перемещается обреченный на «спрос» — главное «слово-понятие» маканинской повести. «На кухонном столе крошки, вот они, но разве реален этот ночной стол? Этот кухонный стол с мелкой крошкой от ссохшихся пряников?

Реален *тот* стол» (подчеркнуто Маканиным).

Предметы жухнут на глазах. Старый плащ используется вместо халата. Действия проваливаются. Обреченный может случайно вспомнить, что он недавно пил чай, сам того не заметив. Проваливаются и куда более важные обстоятельства: «По какому поводу они меня вызывают?» — вдруг спохватывается тот, кого завтра будут спрашивать. Он весь в этом завтра. Он сегодня, сейчас проигрывает однообразные и непредсказуемые подробности грядущего «спроса», уже ставшего «настоящим» — единственным настоящим героя. А зачем его ждут — не помнит. Причина — деталь, вроде чаепития, выкипающего отвара успокоительных трав, изношенной домашней одежки — все это и существует, и как бы снится. Все это опрокидывается в близкий хаос ночи, подсознания, «спроса». «Я, вероятно, не жил вне чувства вины... Это и

есть «я» — и тихие звуки оттуда, как похрустывающие камешки моей невнятной вины». Как колючие крошки неаккуратно съеденного безвкусного пряника. Как буроватый отвар, готовый, залив конфорку, растечься грязным пятном.

Подождите! Мы слышали, как было сказано по телефону недовольным голосом: «В конце концов это нужно вам, а не нам — вам нужна характеристика, справка о зарплате, а также справка, почему и как вы уволились». Но мало ли что когда-то кем-то было сказано. К тому моменту, когда забылась причина вызова к столу, за которым всегда сидят одни и те же люди со свойствами, определенными навеки — как в старинном фарсе; к тому моменту, когда «завтра» окончательно отождествилось со «вчера»; к тому моменту, когда все социологические, исторические, психоаналитические, мифологические, метафизические и еще неведомо какие трактовки происходящего уже прошептаны героем (подсказаны автором читателю, поднаторевшему в соответствующей литературе и страсть как любящему размахивать дешевыми интеллектуальными отмычками), — в общем, к *тому* моменту еще и не такое забудешь. Медленно, ошупью, проваливаясь в пробелы, разделяющие эпизоды, мучительно ища соответствий в тумане кошмаров, не отпускающих «спрашиваемого», мы движемся к развязке. И кажется, что-то брезжит...

Вот мы уже поняли, что самоидентификация героя («совок», ну разумеется!) не слишком важна. (Впрочем, кто понял, а кто и не очень. Именно на «совка», то есть на типичную маканинскую обманку-приманку добросовестно клюнули многочисленные критики. Как довольные «расчетом с прошлым», так и справедливо недоумевавшие: стоило ли о таком заурядном феномене так подробно распространяться. Отсюда, кстати, и характерные промахи в спорах о жанре: конденсированный, строящийся на мощном разбросе ассоциаций философский роман читался как затянутый рассказ.) Вот мы смекнули, что ретроспекции (стол, за которым нынче потрошат души, — продолжение подвала, где когда-то мордовали предназначенных к «расходу») хоть и убедительны, да не все объясняют. Вот мы усвоили, что любой из «спрашивающих» может вывалиться из своей утвержденной роли, оказаться вне монолитного (столом олицетворенного) «мы» и предстать

одиноким «я», которого так же дергают на «спрос». Вот мы доехали: жертвы — те же палачи. Даром, что ли, вспоминает наш мученик, как сидел он по другую сторону стола, как вгрызлся в чужие судьбы, хмелея от власти и наливаясь сладострастьем, как «шел с судилища с ПОЧТИ КРАСИВОЙ женщиной» (одна из неперменных участниц «спроса» наряду со СТАРИКОМ, ПАРТИЙЦЕМ, СЕКРЕТАРСТВУЮЩИМ, ТЕМ, КТО С ВОПРОСАМИ, МОЛОДЫМ ВОЛКОМ ИЗ ОПАСНЫХ и пр.) и «через полчаса, где-то там, в престижном и красивом доме, на восьмом этаже, где-то там в дальней (на всякий случай) комнате, на тахте у свисающего бухарского ковра она слабо попискивала в твоих руках; стонать, вскрикивать еще не вошло в моду, только мягкое попискивание, мол, чувствую, мол, сопереживаю, вся с тобой и твоя»?

Чем логичнее наши построения, тем гуще смысловой мрак. Если «спрашивающие» — куклы (а тут не только сцену с попискивающей красавицей можно процитировать) и в то же время ипостаси души подсудного героя («Они уже во мне, это несомненно»), то кто же он? «Мои ночные страхи — это я сам» — раз так, то и претензия на «божественность» (в чем прямо обвинены «спрашивающие») — грех героя. Но ведь он сейчас вне стола, но ведь он один? Наготове новое возражение (новая цитата, которую мы успеваем выдернуть из перепутанного клубка молитв, проклятий, оговорок, воспоминаний, притч, анекдотов): «Я ведь не могу уже без суда. Я ведь не могу быть один на один с своей душой. Она уже не моя. Возьмите ее. Пожалуйста, возьмите».

Вспоминая подвалы 30-х и психушки 70-х, маканинский страдалец выводит зависимость: чем злее крушили тело, тем меньше требовали от души. Почти верно. Но почему же ноченька заставила вспомнить *те* истязания — да так конкретно? Почему «спрос» столь сокрушительно сказывается на физическом состоянии? Почему физически неодолимо тянет к себе символический стол, заставивший таки выйти ночью из дома, пробраться в учреждение и рухнуть в инфаркте, не дотянувшись на «спичечный коробок» до символического графина? Или все это сон, который мы приняли за бессонницу? И строки отточий, заменившие в последней главке привыч-

ные пробелы, кричат не о прорывах сознания умирающего, но лишь о победе последнего сна — сна без сновидений?

Двойное прочтение финала (в который раз: было или грезилось?) стирает черту, отделяющую сон от реальности. Назойливые детали не дают поверить, что все телесное здесь только метафора. И когда герой корит себя за то, что к совковому спросу он относится как к Страшному суду, и когда он словно зовет физическую муку, дабы избавиться от душевной боли, и когда завидует тем, кто, страдая телесно, якобы сберегал свое «я» от чужих лап (да откуда «чужим» взяться? — у Маканина все «свои»), — не надо понимать это слишком буквально. Нет, герой не лукавит. Он просто хочет объяснить то, что не поддается логике. Не он первый.

«Король ходит большими шагами // Взад и вперед по палатам; // Люди спят — королю лишь не спится: // Короля султан осаждает». Великий грешник ночью приходит в озаренную свечами, залитую кровью церковь; видит убитого им когда-то отца, предателя-брата, султана, торжествующего над христианами; с короля заживо сдирают кожу. «Громко мученик Богу взмолился: // «Прав Ты, Боже, меня наказуя! / / Плоть мою предай на растерзанье, // Лишь помилуй душу, Иисусе!» Плоть осталась невредимой, душа — осужденной на муку. И как нет покоя пушкинскому королю, так нет покоя пытающемуся ускользнуть в пристойные «объяснения происходящего» маканинскому герою. «Полый», бесхарактерный, никакой, он обречен вобрать в себя всю непрестанно меняющую обличья муку ночного одиночества, которому нет конца.

Королю было легче: «Вдруг взвилась из-за города бомба, / И пошли бусурманы на приступ». Для маканинских персонажей выход в историю закрыт, ибо сама она лишь череда мнимостей, ночные шорохи, галлюцинации, миражи. На пушкинский (для поэта — риторический) вопрос: «Вращается весь мир вокруг человека, — / Ужель один недвижим будет он?» — Маканин, кажется, готов ответить: да, недвижим! Есть лишь глухая ночь и конфузные попытки самооправдания: «...я, мол, не умею себя хвалить. У нас, мол, принято, чтобы хвалили другие». Эта речь подсудимого не из «Стола...» — из «Голосов», где сегодняшний внимательный чита-

тель сможет распознать «позднего Маканина». (Да, вопрос о «времени действия» маканинских сочинений гораздо проще вопроса о времени их написания.) Да еще некогда звучавшие голоса, умолкнувшие, но живые, то противостоящие проклятой данности этого мира, абсолютно ей чуждые, а то вдруг с ней сливающиеся.

И тогда рушится железобетонная логика, а «все познавший» писатель вновь, вопреки всему, берется за привычное дело свое. «Я бы издавал только первые книги авторов», — настаивает в «Голосах» один из маканинских двойников. Настоящее искусство — всегда «первое». Как горы, взявшие этот сборник (а может, и всю прозу Маканина) в могучее первозданное лермонтовско-сновидческое кольцо. «В определенные дни и в определенные часы солнце жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались *Желтыми горами* («Голоса», курсив Маканина). «Но все-таки — горы?! Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность — но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала?» («Кавказский пленный»).

Андрей НЕМЗЕР

ГОЛОСА

Повесть

Начинаясь в полутора километрах от поселка, как и положено Уральским горам, они набирали высоту постепенно — они не торопились, забирая у неба еще и еще понемногу. В определенные дни и в определенные часы солнце жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались *Желтыми горами*. Пройдя долинами пять или шесть, иногда восемь гор, пацаны обычно успокаивались на достигнутом и дальше не шли. Тут случался известный парадокс. Желтые горы оказывались не там, где мы сидели и где разжигали дневной костер, а дальше — горы как бы отодвигались. Сколько ни иди, *желтые* вершины отодвигались, и попасть на них было нельзя — а видеть их было можно. Это относилось не только к горам. Это относилось к чему угодно. Рукой не взять, а видеть можно — формулировка включала в себя огромный, часто болезненный опыт прославленной уральской широты и терпимости. Рождается ли человек с терпимостью, а если нет, с чего она начинается, — поди знай.

В поселке жили две американские семьи: инженеры. Они жили в хорошеньких по тем временам, специально выстроенных коттеджах на отмеренном расстоянии от наших барачков. Часто в нашу сторону дул ветер, и мы слышали запахи обеда, — точно так же, словно разносимые ветром, в поселке застревали американские словечки. И самое ходовое из них, прозвище Мистер, прицепилось к Кольке. Колька был из тех мальчиков, что ходят степенно и спокойно. Вздувшаяся селезенка определяла его силуэт, казалось, что у него солидный и небольшой инженерский животик.

К тому же он был худ и тощ. Из левого бока у него торчала отводная трубка, через которую он мочился. Жить ему оставалось около года, ему было двенадцать лет, а в тринадцать он умер.

Долинами мы прошли, по-видимому, большее число гор, чем обычно, и я вдруг произнес с ощущением достигнутой нутости: «Ну вот, Мистер, мы пришли. Тут уже Желтые», — не знаю, почему я тогда так решил и так уверенно поставил точку. Я и Колька лежали возле костра, глядели в небо и грызли травинки. Это было примерно в половине четвертого и при ярком, но уже не палящем солнце. Помню, я поднялся с земли и в остолбенении смотрел перед собой — горы кругом лежали разбросанные, как шапки.

— Желтые... — повторил я робко. А благодатная минута вдруг истаяла. Высвобожденная энергия моих клеток хлынула наружу. Я завертелся волчком — я носился с камня на камень и дико вскрикивал. «Ос-споди! — произнес Колька Мистер своим скрипучим, серым голосом. — И чего скачет?» — а по лицу нет-нет и пробежала жесткая нехорошая его улыбочка. Улыбочка всегда была при нем. Он относился ко мне (и к другим пацанам тоже) как к маленьким. Мы были одноклассники, но он был много старше меня: мне было двенадцать, а ему шестьдесят два или около того. Он был худой, чуть прихрамывающий мальчишка, одна нога у него была сухая, как сухая ветка.

— Желтые-е-е! — выкрикивал я, захлебываясь минутой. Вершина была плоская. Можно было скакать туда-сюда и все еще сомневаться — на вершине ли ты? — плоскость увеличивала желтизну вершины до ослепительности. Я скакал, а Мистер сидел на небольшом камне. Он сидел согнувшись и, как и положено старичку, вбирал истощенной спиной солнце. Но вот он убрал свою улыбочку. Он посерьезнел: «А ты расскажи, что мы до самых Желтых гор дошли, матери и тетке».

— Зачем? — я насторожился.

— Порадуй. И что-нибудь пожрать выпроси. — Он уже умел оценивать и отделять испытываемое чувство. Моя мать

горы любила, Колька это знал, — вот именно, рассказать матери и теткам, какие нынче были красивые горы, и что-то у них, женщин, за это получить. Что-нибудь, хоть малость. Что удастся. В Кольке жила откровенная ранняя практичность, и это не было чертой характера — это было сильно выраженным признаком постарения, признаком приближающегося конца. И лишь отчасти признаком его полной заброшенности и одиночества.

Так и было: ему казалось, что я не умею получать радость от жизни, во всяком случае *зарабатывать* эту радость, и что он, как старик, мне в этом поможет и меня научит. Он старался свой практицизм употребить кому-нибудь на пользу. Он делал это своенравно и даже назойливо: он считал нас маленькими. В школе он не учился, потому что часто болел, потому что от него пахло и потому что бывали случаи с произвольным опорожнением мочевого пузыря. Родные велели ему работать. Они думали, что он будет жить вечно. Они говорили: «Ты должен приспособливаться к жизни. Ты должен плохо ли, хорошо ли трудиться — как же ты будешь жить дальше?» — и Мистер, чтобы знать, как жить дальше, работал в артели инвалидов. В поселке пятидесятилетние инвалиды днем прикладывались потихоньку к рюмке и сидели с малыми детьми, — к семи часам вечера дети под их наблюдением начинали реветь в голос. В семь с работы возвращались отцы и матери; кроя инвалидов последними словами, они хватали детей на руки и кормили их кашей, — инвалиды, в свою очередь, гневно, с обидой хлопали дверью и (из разных концов поселка) ручейками стекались в артель — в небольшое подвальное помещение, где начинался с семи вечера лязг и скрежет металла. Они делали там пряжки, замки, ключи, дверные ручки, а также подшивали на зиму валенки. Колька Мистер работал у них только с семи до десяти вечера, три часа — а потом он сбегал, чтобы бродяжить. Впереди у него была ночь. Цели у него не было — он ездил в разбросанные вокруг поселка деревни, иногда хитренько заискивал, а иногда врал шоферам, что разносит ночные теле-

граммы. Он стоял, ожидая попутку на дороге, в затрепанном ватнике; ватник доходил ему до колен — в одном кармане две-три картофелины, в другом хлеб. Шоферы его знали. Когда фары выхватывали из темноты маленькую тшедушную фигурку, стоящую на обочине с поднятой сверху ладонью, машина останавливалась. Иногда, если шофер хотел поболтать, Мистера сажали в кабину; это случалось редко.

— Ос-споди, — рассказывал он. — Да в кузове мне куда лучше. Если что, я там могу помочиться в сено или на доски.

И вот: первый рассказ, который я в юности написал, был о Желтых горах, о той самой минуте, когда воздух и пространство содрогнулись, а во мне возникло ликующее освобождение и чувство достигнутой, — о той минуте, когда я скакал с камня на камень. Рассказ не получился. Восторг и умелой-то руке передать трудно или даже невозможно. Восторг чаще всего сфера устной речи, автор этого не знал: я попросту начал с изображения одной из ярчайших минут своей жизни, это казалось естественным. После недолгой шлифовки я поволок рассказ в редакцию журнала; я спешил; я приближался к дверям — потный, трепещущий, и характерно, что это была мелкая и даже пошленькая по внутреннему состоянию минута жизни. Полная противоположность минуте, о которой писал в рассказе. Все, что было во мне тшеславного и суетного, я нес тогда в себе, и с каждым шагом, приближающим к редакционным дверям, оно во мне набухало, как набухает нарыв. А рассказ назывался — «Желтые горы»... «Зайдите через месяц». — «А?» — «Через месяц», — и конечно же, через месяц мне сказали все, что должны были сказать. Автор унес рассказ с собой, истекая раненым самолюбием. С этой минуты я стал пишушим — и, не смешиваясь, как белок и желток в яйце, во мне жили теперь две эти противоположные по сути и знаку минуты. Минута Желтых гор. И минута приближения к редакции... Дверь была как дверь, и прямая связь этих противоположных минут обнаружилась неза-

медлительно: автор поверил, что Желтые горы — это слишком пышно, и что это слишком громко, и что это звучит музыкой лишь для него одного. Увидеть, мол, можно, а рукой не взять.

Следующий рассказ был тем не менее тоже о Желтых горах. Но, как водится, он сменил одежду. Вторая попытка всегда немного маскаррад. Рассказ был облачен в новую и в соответствующую форму — в форму повести о страданиях молодого человека. Штука вот в чем: к ощущению Желтых гор прибавилось ощущение, довольно болезненное, что эти самые Желтые горы не приняли и не признали, а более общо — не приняли и не признали их автора. Автор извонил бумагу, автор старался, автор шел к *ним* с лучшим, что у него есть, — и вот *на* тебе. Так и получилось: обида за себя вела в прорыв, тылы прикрывала обида за горы. Страдания молодого — это не только целый жанр, но и путь всякого или почти всякого пишущего. *Он* пишет, а его не печатают — это как долгая дорога. В то время на редакции накатывалась огромная волна подобных рассказов, повестей и романов. Огромное море личных обид и досад шумело и плескалось, как и положено шуметь и плескаться морю. Времена меняются, и позже в моде стал стиль, еще позже экзотика притчи, но в то время, и это точно, в моде пишущих была именно она — личная обида и непризнанность. Стержнем повестей было непризнание. И, скажем, начало повести было как бы даже узаконенное: *он* приходит к *ним*; а то, что, по сути, это был приход автора в литературу, оставалось в скобках.

Он приходит к *ним*, неповторимый и особенный, милый, наивный, готовый любить и объять весь мир, — он приходит на завод или в лабораторию, геоэкспедицию, на рыболовецкий сейнер или просто на чужую вечеринку. Его замечают. Его любят. Его даже немножко балуют. В пестрой игре взаимоотношений и отталкиваний у него появляется *друг*. На него обращает свое львиное внимание *сам* начальник, начальник назывался по-разному:

Директор завода.

Шеф.

А. Б.

Капитан сейнера.

Хозяин вечеринки, который может любого
из гостей выставить за дверь.

И, как бы закрывая список, на него, юного и наивно-го, обращает внимание, выделяет его и отмечает *красавица женщина* с удивительно грустными глазами, увы, замужняя. Она, разумеется, стройная, но полненькая, полногрудая, и, конечно, она постарше нашего героя. Комплекс Бальзака. Скрытая и тщательно припрятанная за гибкими фразами смена времен: пишуший юн, он уже знает тягу к женщине, но еще помнит материнскую ласку. Облик этой красавицы женщины, появляющийся на страницах первой повести, почти вычисляем наперед. Оттенки, впрочем, и тут могут быть, — у нее, например:

Маленький ребенок.

Маленький ребенок; плюс болезненный муж.

Нет детей; и потому особенная, изящная,
женская тоска, —

и, разумеется, при всем том она верна мужу и как женщина стабильна, иначе для молодого это не искушение и не любовь, — иначе это не литература, как он ее пока понимает.

Но вот что-то случилось, стряслось на этом самом заводе или сейнере, например беда. Или несчастье. Или даже катастрофа, для отыскания причин которой люди должны оглядеть самих себя и указать виновного. Нашего героя, такого неповторимого и особенного и уже было любимого всеми, неожиданно бранит *сам* начальник. Отворачивается в трудную минуту *друг*. Перестают любить и прочие. Лишь красавица женщина с грустными глазами не может его предать, как предают все, — она колеблется. Она непременно

колеблется. Она мучается. Однако с той стороны на чашке весов болезненный муж, маленький ребенок, работа, и вот, кинув юнцу ту или иную подачку:

Поцелуй.

Вечер вдвоем.

Печальный разговор по телефону, —

она тоже уходит в тень.

Точнее сказать, наоборот: она покидает нашего юного героя, как покидают его все, и уходит туда, где свет. А он — в тень. Он один, как и был, когда только появился на первой странице повести. Теперь он совсем один и подчеркнуто один, — он испытал людей и их чувства на прочность и, израненный, ушел от них. Уход совершается по-разному. Вернулся в свою родную деревню. Уехал в тайгу. Умер. И так далее.

При общности схемы у каждого пишущего было, конечно, и своеобразие. Мол, к примеру, юный герой, оставшись один и во тьме, — случайно, нечаянно, уже уходя от людей — вдруг увидел Желтые горы. То есть шел он и шел, гонимый и бедный, и вот увидел их желтые вершины. Это и было сутью, это меня и вело. Но Желтым горам не повезло и здесь, и, забегая много вперед, скажу, что им не повезло ни разу, можно сказать, что это был голос, так и не прозвучавший, — случайно или нет, но Желтые горы постепенно оттеснялись в сторону, их вычеркивали, как сговорившись. Некоторое время они норовили пролезть обходным путем, но я был начеку, я теперь сам вытравливал их. И они отступили. В тот раз мне сказали, и я услышал, что в повести кое-что сделано выразительно, а местами — даже тонко. Мне сказали, что мой молодой человек просто прелесть, да и начальник, пожалуй, удался. И в придачу, когда я уже слегка млел от негромких их слов, сказали, что единственное, что в повести откровенно лишнее, слабое и некстати, — это горы.

* * *

Был в повести и двенадцатилетний мальчик, тот самый Колька по прозвищу Мистер. Он был, как и в жизни, — болезненный, нежалующийся и со стариковскими замашками. Он был с ногой сухой, как сухая ветка. Роль в повести была у него малая, эпизодическая, с птичьими правами, тем удивительнее, что он был замечен, — все до единого, читавшие повесть, хаяли мальчишку, сокращали его реплики и вообще истребляли его, как могли и умели, а больше всех я сам, вдруг заметивший этот хитрый подвох и подлог со стороны уже как бы навсегда вычеркнутых из сознания Желтых гор. В итоге я его вычеркнул напрочь, и получилось так, что с этого дня и часа Мистер сросся навсегда с Желтыми горами; отвергнутое объединилось с отвергнутым. С той поры длится моя вина перед ним, всегдашняя вина выжившего и живущего, а дорогу в горы стало привычкой вспоминать с того поворота — и с той обочины, поросшей высокой полынью. Мы там стояли. Фары грузовика сначала лениво ползли по ночному косогору, высветили копну сена — а потом, полоснув, выхватили из ночи нас. Кверху взлетала жидкая дорожная грязь. Шофер посадил меня в кабину, а Мистер полез в кузов, — они его всегда сажали в кузов.

Машина гудела. Шофер, покручивая баранкой, спросил:

— А ты тоже болел?

Он спросил и дал понять голосом — обычный ночной шоферюга, — что он мне сочувствует и, даже если я признаюсь, он не станет гнать меня в кузов. Он просто хотел поговорить, вот и все. Он был молод и добродушен. Тем не менее я промолчал. От неожиданности вопроса в груди что-то стиснулось, и я онемел.

Когда мы вылезли на перекрестке и уже шагали проселочной дорогой, Колька Мистер мне втолковывал:

— Оссподи! — Он усмехнулся своей усмешечкой. — Ты бы сказал ему: болел, мол, корью, гриппом, ветрянкой, а триппером, мол, пока не болел, потому что маленький. —

Обстоятельность и злая точность его ответов являлись для меня тогда неслыханной мудростью. Он был и в ответах практичен. Он глядел на земные дела цепко, горько и без маломальской фантазии. Он шел по проселочной дороге, чуть припадая на сухую ногу. Я шагал рядом с ним, вонь машины забылась, и уже наполняло ощущение огромности ночного пространства, — деревня была близко, залаяли собаки.

Мать относилась к разряду литературных табу: она могла быть мелочной, крикливой, она могла быть, скажем, строгой, она могла поведением своим неосознанно портить дитя, но в критический момент — она *мать*, и этим все сказано, и я уже знал и помнил, что читатель тоже про это знает и помнит. Потери в образе шли не только от этой оглядки, но и от самой выучки тоже. Реальная мать Кольки Мистера не была, однако, ни крикливой, ни мелочной, она отнюдь не была лишена доброты, а вот жизнь у нее была как бы своя, самостоятельная, и Мистер ее не волновал.

Особенно же кичилась она высокой своей нравственностью. Она работала бригадиром маляров — в бригаде были только женщины, и всех их она держала в кулаке. Она умела влиять, умела убеждать. Бригада часто перевыполняла план, получая всяческие поощрения и награды. Я повторяю: мать была несомненно одаренная женщина. И энергичная. Мужу она устраивала истерики, и это не были истерики плачущей женщины — это были скандалы гневливой барыни. Она называла его неудачником, а считала, конечно, ничтожеством. Кольку Мистера, вид которого причинял ее самолюбию боль и досаду, она тоже старалась не видеть и, если можно, не слышать. Она чуть не лбом билась о стену, чтобы его взяли летом в пионерлагерь, но устроить в пионерлагерь мальчишку, неучащегося и с патологией, было даже для нее сложно. Однажды она (уже почти добившись своего) в окружении баб победоносно восклицала:

— Ну, сын, хочешь в пионерлагерь? Признавайся — ну?

Сын молчал.

— Вы не представляете, каково мне было этого добиться! — говорила она бабам.

— Ну ясно. — Бабы кивали. Бабы соглашались.

— Вы не представляете, сколько я сил на это угробила. Сколько нервов!

— Ну ясно... Само собой! — И бабы дружно стали ей говорить, какая она молодец, и как ей тяжело с Колькой, и какая вообще жизнь тяжкая. Они любили ее — и, конечно, побаивались. Они стояли кружком и грызли семечки после бани. Они были красные и распарившиеся. Они сжимали в багровых бабьих руках узелки и узлы, в бане они не только мылись, но и устраивали стирку. Мать Кольки тоже с ними стирала и тоже мылась, — и вот теперь, бросив узел на скамью, она вновь радостно и возбужденно спросила:

— Ну, сын, хочешь в пионерлагерь?

Совершенно спокойно, притушив умную и злую улыбочку, Мистер негромко ответил:

— Осподи, да спихни меня куда хочешь.

Женщины, встрепенувшись, оглянулись на него — маленький и мудрый старичок смотрел и не смотрел на них, сплевывая семечную шелуху. Он отвечал матери всегда негромко, его послушание было всегда стопроцентным и всегда внутренне ядовитым. Не способные уловить оттенок — после паузы, — мать и за ней остальные женщины отвернулись и опять заговорили о бараке, о комнатухах, в которых ютились. Мать Кольки в то время хотела (и позже она пошла по этой лестнице вверх) проникнуть в завком и распределять там скудно строившееся в поселке жилье. Она спала и видела, как во всеоружии своей справедливости она делит комнаты, а может быть, распределяет квартиры; квартиры тогда были неслыханной роскошью. Она грозилась:

— Вот погодите. Вот я влезу *туда* — и покажу им, как надо делить.

Отец Кольки был человек, травмированный войной, слабовольный, придавленный женой и тихий, точнее сказать, *смирный*, однако с внутренней и тщательно скрываемой жадой — дожить жизнь как жизнь. Сам с собой отец Кольки вел такие, неслышные другим разговоры:

— За плечами вся жизнь — а я еще не отдохнул.

Или:

— Прожита жизнь, а я ничего не видел...

Или:

— Жизнь прожил, а еще и не любил никого *по-настоящему*...

Был он преподавателем техникума: рассказывая об изоляционных материалах, он время от времени платонически влюблялся то в одну, то в другую студенточку, подолгу раздумывая и колеблясь, стоит она или не стоит его любви — отдать ей или не отдать остаток своей жизни. Он их разглядывал, перебирал, одну за другой браковал и боязливо играл глазами, — студенточки считали его чудачком. Они считали его контуженным. Занятия он вел замедленно-замогильным голосом. Сына своего он воспринимал как очередную неудачу в жизни. Отец считал, что он стоил лучшей доли, он считал, что он стоил лучшего сына.

— Вот и здесь мне не повезло... Горе ты мое, — начал он вдруг со вздохом. И тихо (и не без опаски) пытался положить руку на голову сына.

Иногда среди ночи отец свешивал ноги с кровати, выходил в коридор барака и курил — думал о тяжелой своей жизни. Жизнь проходила, а отец, как ему казалось, очень мало узнал и очень мало увидел.

— Я *никогда*, — тихим и укоряющим себя самого голосом начинал он, — не ловил сетями рыбу. *Никогда*...

Или:

— Я *никогда* не видел города Гурьева.

И он уезжал с кем-нибудь в недалекий Гурьев. Или на озерную рыбалку. Он возвращался и тихо оправдывался, тихо и прибито сносил крики жены, — тихо и потаенно он тоже хотел прожить *собственную* жизнь. Он только об этом

и думал и был похож на человека, который мучительно не понимает, почему из отдельных капель никак не соберется в целое дождь.

Сестра — а она была старше Кольки Мистера на три года — была прежде всего отличница. Это верно, что она была человек глубоко порядочный; ни артистически-энергичная деловитость матери, ни скрытая и тихая фальшь отца не передались ей ни граммом. Но именно поэтому ее душа сформировалась и съезжилась в сторону сухости. Она была тихоня в школе. Тихоня на улице. Тихоня дома. Напряженно следящая за своими оценками отличница, она, затаившись, ждала дня и часа, чтобы побыстрее получить свою золотую медаль и уехать в какой-нибудь университет — Свердловский или Саратовский — уехать, уйти, убежать и, вынырнув где-то, начать жить снова и заново. Сестра Кольки была непоколебима в своем и ничуть не боялась, скажем, упреков от своих подружек и одноклассниц в том, что она, мол, льнет к учителям, — она была выше упреков. Она приходила вечером к той или иной учительнице, сидела у нее, беседовала, пила чай и выбирала себе книги, — учительницы ее не любили, но уважали и честно делали свое учительское дело, держа свои двери для нее открытыми и свой чай горячим.

— ...Позоришь нашу семью — вор! мелкий воришка! — громоподобно кричала мать, когда Кольку Мистера и меня поймали с картошкой, которую мы надергали, чтобы нести в горы. Не проронив ни слова, потемнев лицом, сестра тут же собирала тетрадки и уходила к учительнице. Звали сестру Олей, Оля-отличница. Она шла к учительнице, чтобы поупражняться в решении логарифмических уравнений, — она шла по улице поселка, зажав тетрадки, и повторяла бескровными губами (чтобы время, пока она идет, не пропало зря) выученное наизусть:

Октябрь уж наступил. Уж роша отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей... —

а мать ее в тот день специально отпросилась с работы — она пришла, чтобы пороть Мистера за мелкое воровство и чтобы порок этот в нем не угнездился на будущее. Мать пришла не одна, а с подругой — и вот две сорокалетние женщины с суровой решительностью принялись за дело. Дело предстояло, в общем, нетрудное и обычное. Меня они не тронули: пусть его дома свои порют. Но и не выпустили — пусть смотрит. Они схватили меня, когда я хотел выскочить в окно.

— Э, нет. — И окно заперли. Я стоял, озираясь волчком, пока до меня доходил их сложный замысел. Мать закричала на Кольку, она должна была себя взвинтить — она кричала, что семья их была и будет, пока она жива, достойной семьей и честной. Как раз в эти дни ее бригада вновь выдвинулась, и мать находилась как бы на взлете, — и потому, быть может, она и вторая женщина-маляр кричали, хорошо слыша собственные правильные слова: «Честным становятся с детства!» — «Все начинается с пустяков — с картошки!..» — Они перебивали и взвинчивали друг друга — он же стоял напротив, маленький старичок, спокойный и проникательный, и только нависшая конкретная опасность не давала ему улыбнуться нехорошей своей улыбочкой.

Наконец они схватили его за плечи, как куклу, но кукла была, в общем, начеку и успела произнести — как всегда негромко:

— Ну вы, поосторожнее. Не сломайте мою пипиську.

Они на миг приостановились, на миг попридержали свои большие руки — и теперь Мистер, уже успокоившись, что сгоряча они его не изуродуют, сам пошел к кровати. Он лег лицом в подушку. Лицо было вполоборота к стене. Женщины вновь закричали, набирая из недр инерцию движения и расправы, — неужели он хочет всю жизнь быть ворихкой? Неужели он не поймет раз и навсегда?.. Появился ремень, и мать била Мистера по тощему задку — не так чтобы сильно и зло, однако постепенно входя в ритм и в азарт. А женщина-маляр выкрикивала, как бы сопровож-

дая педагогикой эти удары. Она выкрикивала громко. Потом тише. Потом еще тише. И вот в голосе ее появились первые нотки подведения итогов:

— Теперь он поймет... Теперь он умнее будет.

И обернувшись ко мне:

— А ты смотри и думай. Тебе это на пользу.

Мистер поднялся. Он был бледен, но не озлен. Губы прыгали. Но он довольно спокойно сидел на кровати — он смотрел то ли на меня, то ли куда-то в пространство и словно вот-вот хотел произнести одну из расхожих своих фраз: не могли обойтись без цирка, осподи...

Мать заговорила:

— ...Хотим, чтобы ты был хорошим мальчиком и честным. Я ведь тебя люблю — как ты думаешь, кого я люблю больше всех на свете?

— Меня, — согласно и негромко поддакнул Мистер. Он заправлял в штаны рубашку. Она выбилась.

— Ну вот... Ты же мой любимый, сам знаешь. Ты же мой любимый, мой больной — как ты думаешь, почему больного ребенка мать всегда любит больше?

— Ну не надо, мам, не надо, — сказал он сдержанно и терпеливо и вновь очень негромко. Он заправлял рубашку и отряхивался, словно порка его запылила и теперь необходимо было почиститься. Губы уже не дрожали, но руки его все время делали какие-то мелкие движения.

Вскоре он начал копить и откладывать рубли про черный день, как это делают в старости; время, как известно, относительно, — жизнь Кольки Мистера кончалась, и потому в двенадцать лет он уже был и находился в *своей* старости. Отец, заметив отложенные деньги, сказал ему как-то с укоризной:

— Если ты такой сейчас — каким ты вырастешь?

Колька смолчал, он не ответил ему, каким он вырастет, — он уже вырос. Он работал в артели; а ночами броджил, он был человеком вполне самостоятельным и вполне подневольным, короче — взрослым. Жизнь уместилась

для него в крайне короткий промежуток, и одиннадцать-двенадцать лет были для него как шестьдесят для всех прочих, а перевалив шестьдесят, откладывать деньги про запас вполне естественно. Но меня в то время больше поражали мелочи — как он ловил сусликов. Или как научился сосать козу, пасущуюся меж поселком и горами; мы приходили к ней с крошками хлеба, мы подлазили к ней осторожно и с уговорами, пока она не стала покладистой. Колька Мистер был изобретателен как в поиске, так и в самозащите. Он уже глядел вперед. Однажды мы высосали присмирившую козу до дна, и он вздохнул, как вздыхают умудренные опытом старички:

— Вот увидишь — хозяева ее скоро прирежут.

Испугавшись, я забормотал:

— Давай сосать ее редко, тогда не прирежут.

— Да черт с ней, — сказал Мистер. И добавил, еще раз вздохнув, как старичок: — Другого опасуюсь.

— Чего?

— Как бы они не стали ее лечить.

И точно. Очень скоро козу накормили каким-то лечебным домашним зельем, глаза ее потухли, она стояла без движения, как стоял столбик, к которому она была привязана, а у нас начались рези и жесточайший понос. В первый день мы еле выжили, мы хватались за животы и ползали по горам на четвереньках, — а коза стояла за ручьем в кустах шиповника. От столбика в полдень падала короткая тень, коза стояла в двух шагах от колючек шиповника и жевала траву. Она и сейчас там стоит для меня, как живая. Из деревни приехал мой дед, увидел ее и сказал коротко: «Это не коза», — мы шли с дедом по поселку, я показывал ему свои владения: школу, пустырь, горы — и хорошо помню, как он оглядел худое, несчастное существо, привязанное к колышку, и упрямо повторил: «Это не коза». Деду было семьдесят лет, он был громадный деревенский неряшливый мужик с седой бородой. На другой день я поехал с дедом в деревню. Зачем меня отправили с ним, уже не помню, — зато я помню, как мы вылезли из грузовика и по

дороге дед заглянул в стоявшую на въезде в Ново-Покровку старенькую церковь, — он вошел туда и час-полтора слушал спевку, а я сидел возле церкви, ковыряя в носу, и томился от жары и безделья.

Наконец дед вышел — он появился на паперти и за ним несколько мальчиков унылого вида.

Дед сказал им сурово:

— Нечего было и приходить... Ступайте себе.

Это были забракованные мальчики, — помявшись, они двинулись по дороге, и некоторое время я видел в мареве их ситцевые рубашки. Они были моего примерно возраста, даже помладше, и все из разных деревень: на перекрестке они пошли кто куда, и пыльные дороги и белое марево поглощали их теперь каждого в отдельности. Это были голоса, не попавшие в хор.

Когда я вернулся, мне сказали, что Колька слег; он лежал в постели — я обошел кровать, глаза его были открыты, и вот я попал в поле его зрения. «Колька, — позвал я. — Мистер...» — мне было жутко. Лицо у него было вздувшееся: опухшая и черная лепешка. Он не ответил, он только зло и неприязненно шевельнул губами.

В комнате был полумрак. Доносился густой запах — в бараке кто-то варил фасоль. Отец и мать Кольки были на работе, Оли-отличницы тоже не было.

— Ктой-то пришел? — В другой их комнатушке за перегородкой послышалось движение и слабые шаги. Появилась их бабка — мать матери, худая и вечно несытая, потому что ее забывали кормить, а готовить себе она тоже забывала. Она появилась, посмотрела на мои руки — нет ли там, в руках, какой еды, — еды не было — и прошла мимо.

Мать его была по самые края переполнена надрывом и бешеной взрывной энергией; она устроила сцену поселковому врачу, который дал ей понять, что Мистер обречен и что можно считать дни, — как это так?! врач, если он настоящий врач, не имеет права так говорить! — мать взвинтилась, она вынесла сцену с врачом и свою боль на люди,

там и здесь, у школы, и даже под окнами барака она неутомимо кричала и ярилась, так что и барак и весь поселок уже знали, что Колька обречен. Потом мать красила забор — полутораметровый, которым только-только обнесли котельную, — мать быстро и ритмично, с профессиональной «маслянистостью» руки водила кистью сверху вниз. Она умела работать. Она стиснула зубы: если бригада отстанет, ее не осудят слишком — у нее мальчик умер, любимый больной сын, кто этого не знает и кто этого не поймет. И чтоб не так болело и кололо в сердце, она стала думать о надвигающейся смерти *с той стороны* времени — она будет ходить к нему на могилку, она будет сидеть возле сыночка часами, нет, плакать она не будет, не дождетесь, недруги. У нее вдруг брызнули перестоявшие слезы, сквозь толщу бытовых мыслей она увидела лицо Кольки, нет, не лицо — личико, когда ей принесли и сунули его к груди в роддоме, — розовая, безлика, пустенько-радостная лепешечка — мой мальчик.

— Подтянись, девки! — крикнула она. — Обед скоро... Выполним, а? Мы ведь еще никого не подводили! — и энергично, властно, с покоряющей остальных пластичностью и мягкостью она заспешила кистью по горизонтальной кладке каменного забора, — и, как встрепенувшиеся, за ней заспешили все в бригаде.

Запуганный и подавленный матерью (она умела подавить кого угодно), врач вдруг впал в оптимизм. Он улыбался и размахивал руками. Он объявил теперь, что Колька не умрет; более того — вот-вот и начнется перелом в болезни, говорил он матери.

Мать кивала:

— ...Да... Коля в нашу породу, Коля из крепких... Мы и не из таких ям выкарабкивались.

Забыв, что она сама все эти слова внушила врачу, мать спрашивала у него, как бы даже заискивая:

— Стало быть, перелом в болезни — стало быть, еще неделя, да?

— Да, — подтвердил тот, — примерно неделя.

Барак притих. В бараке года два уже никто не умирал, и приближающаяся минута давила и угнетала. Через открытые окна барака доносилось дыхание Кольки Мистера:

— Си-си-си-си. — Посвистывание в его горле было слышно теперь с улицы.

Бабка ворчала, кивая на открытые окна:

— Отворено все в доме, куда это годится.

— Воздух нужен. — Мать говорила с бабкой властно.

Мать и Оля-отличница каждый час открывали окна, которые каждый час потихоньку плотно прикрывала старуха. Старуха ворчала:

— Какой еще воздух. Выдумали тоже. Умирает мальчишка — дайте ему в тепле умереть.

— Помолчите, мама! — одергивала мать.

Старуха поджимала в обиде губы. На улице было жарко. Солнце до черноты сжигало траву, но старуха все равно боялась простудиться. У нее мерзли и ныли кости. «И млеют мои косточки, и млеют», — жаловалась она на улице проходим. Или вдруг разевала беззубую и пугающую, как пустая церковь, пасть:

— Глянь-ка — не набухло у меня там?

Ей отвечали спешно, торопливо — нет, не набухло. Но она вновь спрашивала:

— Как думаешь, милый, не просквозило меня?

Занятий в школе не было, и Оля старалась теперь уйти с утра в маленькую поселковую библиотеку — она просиживала в одиночестве до самого закрытия. Никого, кроме нее, там не было. Оля не могла бы объяснить словами, почему она не выносит затаившийся мирок своей семьи: она и не искала сейчас слов, она сидела за шатким столиком, напротив полусонной старушки библиотекаши и трудилась. Ее ждала где-то далеко отсюда (достаточно далеко) новая жизнь, и Оля это знала и сердце свое держала пока глубоко в резерве, собираясь пустить его в рост никак не раньше, чем она переберется отсюда в Свердловск или в Саратов.

Отец выпивал: он навещал знакомых фронтовиков или

же просто соседей. Потом, когда его выпроваживали в поздний час, он сидел сиднем на ночном опустевшем небольшом рынке (несколько грязных прилавков, обнесенных забором), — на одном из прилавков он сидел, полчаса дремал, а полчаса разговаривал сам с собой. Он говорил себе все о том же — жизнь проходит, прошла уже, а счастья все нет. Не успел увидеть мир. Не успел пожить. Не был в городе Киеве — праматери наших городов. На курорте никогда не был. Даже на фронте мало чего видел. Даже жену выбрал себе несоответствующую, шумную и слишком заносщуюся. И вот еще ко всему — сын умирает...

Ночью, чтобы сыну было больше воздуха, все они спали в другой комнатухе, за перегородкой. И мать. И Оля. И старуха. Позже всех явившийся в дом отец — была уже глубокая ночь — включил свет, но за перегородку идти никак не хотел, чтобы, не дай бог, не получить от жены ночную выволочку. Он покачивался. Он оглядел пространство пола и придумал: лягу, пожалуй, тут на полу, с сыном рядом... Уже стянув сапоги, он обнаружил, что глаза у умирающего сына открыты. «Не спишь?» — спросил робко отец. Старичок не ответил. Звуки его затрудненного дыхания стали тоном ниже — с этой ночи он уже хрипывал.

Отец, не дождавшись ответа, произнес неуверенно и пьяненько:

— Я спою тебе песню, сынок... Сейчас — только сапоги куда-нибудь пристрою. — Он покачнулся, но не упал. Он сел возле сына и запел тихую, протяжную песню, восполняя пеньем самому себе то, что не досказал себе, когда сидел в одиночестве на ночном рынке.

Колька, не желавший ни видеть, ни слышать, перебил его — захрипел громче, плечи его передернулись. Выговорить он не мог.

— Я спою, — попросил опять отец неуверенно. — Я спою... Сынок, это очень хорошая песня.

И тогда умирающий захрипел так, что отец тут же смолк и испуганно забормотал:

— Ладно, не буду, не буду... Я понимаю: ночь... люди спят... Я понимаю. — Он лег возле сына, свернувшись калачиком. Свет погасить он забыл, свет погасила вставшая среди ночи бабка. При этом она пнула спящего зятяка ногой. И тщательно закрыла все окна.

На другой день Коляка как-то вдруг похудел, отекшее лицо ссохлось, черты измельчились — голова теперь походила на маленький кулачок. Мать сидела с ним рядом — в нем была перемена, и в ней была перемена. Как это и бывает у богатых и одаренных натур, мать не видела ни малейшего противоречия в том, что обычно она говорила: «Бога нет. Есть материя» — и в том, что теперь она нашептывала умирающему сыну о боге: «Не плачь, моя сыночка, — она всхлипывала жалко и тихо. — Не плачь, мое родное. Божинька добр. Он тебя встретит, сынок...»

В горле ее стоял ком. Она хватала ртом воздух. Она шептала:

— Божинька добрый... Божинька добрый — ты его не бойся.

Умирающий мальчик хотел что-то сказать, но хрипы ему не дали.

Мать торопилась сказать:

— Он ведь понимает — все понимает — ты ведь ангел мой — ты ведь безгрешен — он не припомнит тебе, что баловался ты или воровал, — это ж ребенок — и к тому же время какое трудное...

Глаза у Мистера были ввалившиеся, в глазницу можно было положить небольшое яблоко, — и вот там (голова была наклонена вбок) на правые полукружья глаз выкатилось по худосочной слезинке. Коляка не был растроган, не был умилен. Ему было жаль мать — но жаль не слишком; он смотрел на нее, как смотрят умудренные умирающие старики — знающие, что так или не так, а жизнь кончена и к берегу надо плыть.

Теперь со сдержанной и как бы даже загадочной медли-

тельностью сюда устремился весь барак, — всем было уже сказано и все знали, что он умирает: они заходили, вытирая ноги у порога, дети и женщины.

— Ссохся весь, — вздыхали старухи.

— Комочек, а не человек...

А к вечеру этот ссохшийся комочек, в котором не было, казалось, уже ни пылинки жизни, стал кричать пронзительным человеческим криком. Сознание он потерял, но боль была, а может быть, и не боль — он кричал бессвязно, без слов, без оттенков. Это был непрекращающийся сплошной стон, который постепенно и самым естественным образом вырастал в звериный смертельный вопль. Казалось, притих не только барак, но и весь поселок. Пять часов кряду кричал этот комочек, то, что было и называлось его жизнью, выходило теперь наружу и растворялось в пространстве. На пустыре, за сараями — там, где привязывали коз и выбрасывали худые ведра, — в бурьяне, на двух составленных кирпичях сидел его отец. Он был пьян и расслаблен. Скрывшись от криков сына и от глаз жены, он вновь думал о своей неудавшейся жизни, а когда с ветром все же доносился крик умирающего, отец в свой черед вспоминал и просил божиньку, в которого не верил ни на полкопейки, принять душу его сына с любовью и миром. Это напоминало стовор. «Как бы та хреновина ни обозначалась: материя или не материя, — бормотал отец, — ты понимаешь... ну, ты в общем и целом меня понимаешь, божинька. — Отец сплевывал в бурьян. — Короче: чтоб ты встретил его хорошо. Ясно?.. Ты понял?» — и отец пьяно грозил пальцем кому-то в бурьяне.

А тот, за кого он просил, продолжал кричать. Крик прекратился только к самой ночи — и с этой минуты тело Мистера уже не боролось, только в самой глубине тела что-то, казалось, еле слышно булькало.

Два пацана постояли у барака, переминаясь с ноги на ногу, — крики уже кончились, — и пацаны пошли к горам, чтобы поболтаться там ночью и посидеть у костра. О Коль-

ке Мистере они больше не думали. Эмоция жалости перешла за грань их понимания, и небольшие детские души не могли выдать и выжать из себя больше, чем они уже выдали и выжали.

— Жалко вообще-то, — сказал один.

— Еще как...

И они пошли.

Я тоже собирался в ту ночь уйти на Желтые горы, но дома не пускали. «Почему в ночь? почему тебе обязательно в ночь?» — «Ну, надо. Ну, на-а-адо», — канючил я и нетерпеливо перебирал ногами; я знал, что те двое уже ушли... На мое счастье, в многочисленной барачьей семье что-то произошло меж соседями, — обо мне вдруг забыли, — и в разгар вспыхнувшей и громкой ночной ссоры я слабенько пискнул: «Ну ладно, мам, я пошел» — и опрометью кинулся вон. Сначала я бежал. Потом шел быстрым шагом. Тропа была хоженная и всем нам хорошо известная, а пацаны скоро разведут костер, и не на той горе, так на этой я костер, конечно, замечу. Была луна. И мне привиделось, что надо мной в лунных бликах — может быть, следом за мной — летит душа Кольки Мистера. Прежде чем взмыть окончательно в небо, душа некоторое время летела параллельно земле, сопровождая нас к Желтым горам, — почему бы некоторое время душе не полетать над землей, подумалось пацану. И вот я бежал и оглядывался на лунный нимб.

Была глубокая ночь, все спали; только старуха бабка (она опять была голодна) бродила по комнате, — она и услышала его последний хрип.

— Детонька моя. — Старуха подошла и увидела в полосах лунного света, как он дернулся. Она припала к нему, обняв его холодные высохшие ноги. — Детонька... — И, словно почувствовав, что его здесь удерживают, он выдал этот последний хрип, дернулся тельцем и перешел черту. Старуха бормотала, припав лицом к его ногам, это был комочек ее плоти, и она словно старалась не упустить, не выпустить.

2

Если же говорить о днях за днями и представить себе, кто же они такие и как они выглядят — *любящие нас*, — то каждый может нарисовать себе картинку с сюжетом. Картинка совсем несложная. Нужно только на время уподобиться, например, жар-птице: не сказочной, конечно, жар-птице, а обычной и простенькой жар-птичке из покупных, у которой родичи и любящие нас люди выдергивают яркие перья. Они стоят вокруг тебя и выдергивают. Ты топчешься на асфальте, на серой и ровной площадке, а они топчутся тоже и проделывают свое не спеша, — они дергают с некоторым перерывом во времени, как и положено, впрочем, дергать.

По ощущению это напоминает укол — но не острый, не сильный, потому что кожа не протыкается и болевое ощущение возникает вроде бы вовне. Однако, прежде чем выдернуть перо, они тянут его, и это больно, и ты весь напрягаешься и даже делаешь уступчивые шаг-два в их сторону, и перо удерживается на миг, но они тянут и тянут — и вот пера нет. Они его как-то очень ловко выдергивают. Ты важно поворачиваешь жар-птичью голову, попросту говоря, маленькую, птичью, куриную свою головку, чтобы осердиться, а в эту минуту сзади вновь болевой укол и вновь нет пера, — и теперь ты понимаешь, что любящие стоят вокруг тебя, а ты вроде как топчешься в серединке, и вот они тебя ошиповывают.

— Вы спятили, что ли! — сердито говоришь ты и хочешь возмутиться, как же так — вот, мол, перья были; живые, мол, перья, немного даже красивые, — но штука в том, что к тому времени, когда ты надумал возмущаться, перьев уже маловато, сквозь редкое оперенье дует и чувствуется ветерок, холодит кожу, и оставшиеся перья колышутся на тебе уже как случайные. «Да что же делаете?» — озленно выкрикиваешь ты, потому что сзади вновь кто-то выдернул перышки, сестра или мать. Они не молчат. Они тебе говорят, они объясняют: это перо тебе мешало, пойми, род-

ной, и поверь, оно тебе здорово мешало. А сзади теперь подбираются к твоему хвосту товарищи по работе и верные друзья. Они пристраиваются, прицеливаются, и каждый выжидает свою минуту... Тебе вдруг становится холодно. Достаточно холодно, чтобы оглянуться на этот раз повнимательнее, но, когда ты поворачиваешь птичью свою голову, ты видишь свою спину и видишь, что на этот раз ты уже мог бы не оглядываться: ты гол. Ты стоишь, посиневшая птица в пупырышках, жалкая и нагая, как сама нагота, а они топчутся вокруг и недоуменно переглядываются: экий он голый и как же, мол, это у него в жизни так вышло.

Впрочем, они начинают сочувствовать и даже соревнуются в сочувствии — кто получше, а кто поплше, они уже вроде как выдергивают собственные перья, по одному, по два, и бросают на тебя, как бросают на бедность. Некоторые в азарте пытаются их даже воткнуть тебе в кожу, вращать, но дарованное перо повисает боком, криво, оно крепится, оно топорщится и в итоге не торчит, а кое-как лежит на тебе... Они набрасывают на тебя перья, как набрасывают от щедрот, и тебе теперь вроде бы не голо и вроде бы удобно и тепло — все же это лучше, чем ничего, все же сегодня ветрено, а завтра дождь; так и живешь, так и идет время.

Но вот некая глупость ударяет тебя в голову, и ты, издав птичий крик, начинаешь судорожно выбираться из-под этой горы перьев, как выбирают из-под соломы. Ты хочешь быть, как есть, и не понимаешь, почему бы тебе не быть голым, если ты гол. Ты отбегаешь чуть в сторону и, голый, в пупырях, поеживаясь, топчешься, дрожа лапками, — а гора перьев, играющая красками и огнями, лежит сама по себе, — ты суетишься поодаль, и вот тут они бросаются все на тебя и душат, как душат птицу в пупырях, голую и посиневшую, — душат своими руками, не передоверяя этот труд никому; руки их любящие и теплые; ты чувствуешь тепло птичьей своей шеей, и потому у тебя возникает надежда, что душат не всерьез, — можно и потерпеть.

Конечно, дышать трудно. Конечно, воздуха не хватает. Тебе непременно необходимо вздохнуть. Твоя куриная башка дергается, глаза таращатся, ты делаешь натужное усилие и еще усилие, — вот наконец воздух все же попадает в глотку. Но, увы, с другой стороны горла: они, оказывается, оторвали тебе голову.

3

Был у Шустикова портфель; был рабочий стол, точнее, угол стола, потому что стол был на двоих, и бумаги у него лежали в некотором беспорядке, впрочем как у всех. По вторым и семнадцатым он стоял в очереди в кассу, при этом он улыбался уже издали, как бы делясь удачей и давая возможность кому-нибудь из сослуживцев втиснуться перед ним и получить деньги без очереди. В контору он приходил всегда вовремя, а уйти старался минут на десять пораньше, опять же как все. Всех вроде бы и удивляло в Шустикове только то, что он *разговорчивый*. Со стороны сослуживцев тут вроде бы было простое и даже простейшее участие, потому что как же участию не быть и не возникнуть, если молодой сравнительно человек рассказывает о своих неудачах. И, разумеется, когда Шустиков стал рассказывать о женщине, которая его любила и, повозившись с ним год-два, вышла замуж за другого типа, — тут уж все, особенно дамы, стали брошенного и одинокого Шустикова жалеть. Дальше — больше; выяснилось, что Шустиков виновной считает вовсе не ту женщину, а себя и свою с детства возникшую мягкотелость, однажды он даже сказал, женоподобность; выяснилось, что он почти согласен с той женщиной, которая после года жизни сочла его в итоге слабым и никчемным.

— ...Да, — в пятый раз тихо пояснял Шустиков, — и тогда она бросила меня. Ушла. Сказала, что я никудышный.

— Как-как?

— Никудышный...

Отчасти в этом и состояла его разговорчивость, он слишком откровенно рассказывал, не понимая, что он рассказывает слишком откровенно. И его, конечно, спрашивали. И хотя в конторе, куда он пришел работать, не впервой велись разговоры о жалких мужчинах нашего века — а две трети конторы составляли зрелые, знающие, что к чему, дамы, — все равно этот Шустиков стал вдруг всем в диковинку. Тут было что-то от сбывшихся предположений: много раз слышали, много раз смеялись, а тут вот увидели вроде бы воочию, в живом виде, а не в анекдоте. «А что еще она тебе сказала, когда уходила?» — рассказывать и обстоятельно отвечать было для Шустикова естественным, как пить воду, если протягивают кружку. «Понятно... Ну а что еще она сказала?» — нет, они, группа женщин, так уж в лоб его не спрашивали, но ведь они не заговаривали ни о чем ином, они упорно не слезали с темы, они мягко, даже деликатно плели кружево слов вокруг и около, — они вроде бы просто томились у окна в обеденный перерыв, а на самом деле не отходили от разговорчивого Шустикова. Валентина Сергеевна даже одергивала себя и других тоже: «Хватит трепаться, бабоньки, пошли!» — и будто бы спешила на обед. Шустиков же продолжал отвечать и на ходу, раз уж спросили:

— А еще она дала мне понять, что у меня нет денег.

— Так и сказала?

— Да... Сказала, у тебя их нет и никогда не будет. —

Все на миг умолкли, вздохнули, как бы оценивая некоей, необычной меркой этого тридцатилетнего маленького мужчину, бог знает как попавшего в их контору. Всем сделалось немного неловко. Если бы он хотя бы подсмеивался над собой, если бы подшучивал или ерничал на скользких местах, как ерничают другие. Шустиков же над собой не подшучивал. Шустиков был серьезен и как-то даже бездарно серьезен в своих рассказах, в том смысле, что напрочь был лишен и фантазии, и хоть маломальского актерства. Он был из тех, кто не слышит, как его слова звучат со стороны, — его спрашивали, он отвечал, вот и все.

«Ну что, Шустиков, скажешь — все еще переживаешь свою драму? Или проходит понемногу?» — начинал сослуживец, завидев этого странного новичка, стоящего с подносом в очереди в столовой, — завидев и ценя обеденное время, он хватал поднос и энергично втискивался перед Шустиковым. Он молол языком для виду. Но, с другой стороны, он вроде бы спрашивал, и потому Шустиков отвечал. Разговор заносило, и, как правило, сослуживец тут же начинал внутренне ерзать — простые и обнаженные ответы Шустикова могли теперь внушить неловкость стоящим по соседству людям в очереди, знакомым, например, — и сослуживец, смутившись, уже спешно направо и налево подмигивал: вот, мол, чудака нашего расспрашиваю... не обращайтесь, мол, внимания (и уж, конечно, не подумайте, что я из того же теста, что и он). Женщины смотрели на жизнь шире, и в основном бедняга Шустиков выкладывал подробности и откровения им, словно не ведая и не понимая, что кое о чем человеку можно и умолчать. Да, рассказывал он, живу в комнатухе, в коммунальной квартире, денег мало, углы ей не понравились: она думала, что если он мужчина и с образованием, то из него что-то выйдет.

— ...Ты бы ей, милый, пригнул: сказал бы, что обещают повысить. Бабе надежда нужна. Глядишь, и не бросила бы тебя. Глядишь, и женился бы! — уже сердясь на него, учила сослуживица.

Шустиков же совершенно спокойно говорил:

— А как бы я потом эту ложь поддерживал?

— Как-нибудь!.. Потом — суп с котом.

Голос у Шустикова ровный и негромкий:

— Рано или поздно она бы поняла, что я заурядный человек и звезд с неба не хватаю.

Он произносил это, как произносят самые рядовые слова, например о погоде.

— О господи, да все мы заурядные люди. А ты бы лучше говорил ей, что любишь ее, — увлекалась темой сослуживица, — надо было ее любовью взять, любовью!

— В любви я ей мало нравился...

— Но хоть сколько-то нравился? — спрашивала женщина со жгучим любопытством.

— Не знаю, — задумчиво отвечал Шустиков. — Наверное, нет. — И теперь он вздохнул. Сослуживица или сослуживец жили в общем обычной жизнью служащих, семейной или бессемейной, они что-то делали и что-то не делали, а жизнь текла, — однако после такой вот мелочи, как разговор с Шустиковым, в сослуживцах что-то на минуту нарушалось, сбивалось с колеи; подчас, усмехнувшись в душе, они тем не менее отходили к своим рабочим столам с ощущением озадаченности, с ощущением, когда хочется отряхнуться, может быть, даже слегка брезгливо, и с долей, конечно, жалости. «Евнух, — думалось. — Неполноценный...»

Мужчинам, впрочем, он надоел и осточертел куда быстрее — они, оберегая здоровое в себе начало, уже не могли и не умели вспомнить о нем, не фыркая и не смеясь меж собой втихую. «Тут все ясно», — заключили они. Некоторые даже разложили бедного Шустикова на полочки с ярлыками, то есть не его самого, а его, шустиковскую, психику, а еще точнее, его наперед вычисляемую неполноценность. Но в основном мужчины уже с ним не церемонились. Тем более что однажды, рассказывая о себе, Шустиков сам дал им повод: ничтоже сумняшеся, как и во всяком своем разговоре, он согласился с такой вот мыслью — да, дескать, трудный у меня сейчас период в жизни, надо бы жениться, избежать одиночества, а вот не получается...

— Не любят тебя, что ли? — спросил кто-то. Разговор, как обычно, происходил у окна в обед.

— Не любят, — вздохнул он. И добавил, что дружба с женщиной у него, видно, не получается, и, поскольку он одинок, не поискать ли ему дружбу с женщиной. Шустиков всегда говорил самые правильные слова — о том, что человек не может быть один, о том, что люди должны общаться и так далее. — Но мне, видно, не дается общение. И я бы, конечно, хотел подружиться с женщиной, — вновь вздохнул он.

А когда ему напомнили довольно трезво и здраво, что есть же у тебя соседи в коммуналке, живые как-никак люди, он кивнул — да, есть, и тут же объяснил просто и негромко и спокойно:

- Они меня не уважают...
- Почему?
- Не знаю... Не уважают.

Но дамам, женщинам в конторе он еще не надоел. Во-первых, женщины превосходили мужчин в интуиции — жизнь они видели в большей полноте, и предчувствие, что за сюжетом следует сюжет, их не обманывало. Они ждали. А во-вторых, они знали о Шустикове много, даже слишком много, однако не всё: они не знали, какое у него было начало с той женщиной, — это был единственный вопрос, который Шустиков обходил, и не по причине умолчания, а просто по неспособности выразить: он только пожимал плечами, вроде как случилось само собой. И не представляли себе женщины, как это Шустиков может, например, знакомиться, искать, добиваться, — они знали концы и развязки, они хорошо знали, как он оказывается у разбитого корыта, но как он к этому корыту подходит или как протискивается, пока оно еще цело, — вот чего они пока не знали. И однажды, интуиция их не подвела, — Шустиков, проработавший в их конторе уже около года, на вопрос: «Ну, Шустиков, как жизнь?» — ответил:

— Спасибо... Живу... Вот... женюсь скоро... — Сказанное с запинкой «женюсь скоро», разумеется, удовлетворило не всех: в расспросы вновь включились не только женщины, но и некоторые мужчины — то есть они опять же не выпытывали, они стояли у окна, разговорчивый выкладывал сам. Рассказ был короток. Она подцепила, как выразились в конторе, Шустикова в театре, в фойе: сначала она заговорила о спектакле и о декорациях к первому акту, а потом — когда Шустиков ее провожал или, быть может, она его провожала — она сказала, что ей нравится, как Шустиков толкует об изяществе арбузовских пьес, и что вообще ей нра-

вится его тонкий ум, то есть Шустикова, а не Арбузова. — Да, да, — повторил Шустиков женщинам в ответ, — она так и сказала: мне нравится ваша манера рассуждать.

— И вы долго бродили по улицам?

Щеки его вспыхнули, а лоб стал белым как мел.

— Долго... Почти до утра.

День приближался; появилось некоторое любопытство и некоторое ожидание; на свадьбу каждый из деликатности напрашивался отдельно, и каждому Шустиков обещал, так что вскоре ожидание стало коллективным — все знали, что придут все. Приближалась зима, время было тихое и для совместной выпивки подходящее. На подарки тоже не скупилась, тем более что в конторе скупых было лишь двое, да и те объяснимо скупые, в силу обстоятельств. Кое-кто уже видел Шустикова с невестой — то в автобусе, то у входа в кинотеатр. Но когда все уже слегка томились от волнения и любопытства, Шустиков все так же спокойно и негромко объяснил, что свадьбы с гостями не будет: *она* сказала, что у них нет таких денег и что вообще она шумных сборищ не любит и, стало быть, сборища не надо.

— ...Она сказала, что хочет потихоньку и просто, — пояснил Шустиков.

А то, что он добавил вслед, было по степени откровенности совершенно в его стиле:

— Она сказала, что в жизни все бывает и что, может быть, мы скоро с ней разведемся и ни к чему тогда вовлекать в это дело большое количество людей.

— Но зачем же разводиться так скоро? — чуть ли не выкрикнула одна из сослуживиц. Тут уже обида была не только за себя — за человека обида, за своего как-никак.

— Я не знаю зачем, — Шустиков поморщил лоб.

— Как так не знаешь?

— Не знаю... Она сказала, что я ей не слишком нравлюсь.

Это «не слишком нравлюсь» вызвало еще большие

толки. Многие почувствовали себя не только обобранными — в плане свадьбы и зрелища, — но и обиженными за Шустикова: хороший же парень, добряк, не лгун... Было тут и соучастие, столь свойственное женщинам вообще, точнее, потеря этого соучастия, — они ведь собирались пожарить, сварить, посушиться на кухне и в комнате. Тогда же Валентина Сергеевна произнесла свою провидческую фразу: «Замуж эта женщина хочет. Хочет, чтоб штамп был, — а больше, вы уж меня извините, она ничего не хочет», — и постепенно мнение выкрепло: девка, мол, хочет прикрыть грехи, а сколько их, грехов, надо полагать, было! — потом разойдется и будет говорить вновь встречаемым в жизни людям: была, мол, замужем, но оставила его — не могла, мол, жить с пьяницей или с шизофреником, там уж она сумеет придумать... Однако факт — это факт, он двусторонен, и потому Шустикова тоже осуждали; пеняли ему и в открытую: неопытный, мол, ты, дружок, глупенький! бабу, мол, надо сначала раззадорить, раздражить, завлечь, а еще лучше обмануть и на крючке некоторое время поводить — а ты небось сразу руку и сердце. В юности она, конечно, ждала таких слов, ну а теперь-то, может, и пугается: она, может, даже растерялась от такой твоей скорости и такой готовности.

Свадьба была и впрямь тихая, были он и она, никого более, как сообщил Шустиков, — впрочем, отстраненные от дела женщины потеряли к Шустикову интерес и охладели. Теперь он был вполне понятен. Некоторое время они еще чутко советовали ему, говорили тихо, почти шепотом: ты, мол, ребенка давай, ребенка, и поскорее, — а когда Шустиков на чуткие их шепотки ответил, что *она*, мол, не хочет ребенка, женщины в конторе и вовсе поутихли, все стало ясно — все стало на свои места. Одна сослуживица все-таки поинтересовалась: «Как это так — не хочет?»

— Она сказала — рано. — Шустиков ответил, как всегда, охотно, негромко, клоня голову набок и словно рассматривая что-то вдалеке.

Прошел месяц. Прошел другой. И поскольку время не стояло на месте, однажды выяснилось, что *она* уже живет с другим человеком. Шустиков рассказал об этом, по обыкновению склонив голову набок. Женщин в конторе это уже мало интересовало, ими это уже просматривалось наперед и души не задевало. Валентина Сергеевна, правда, спросила сурово:

— Куда же ты смотрел? Как же это *она* стала жить с другим — изменяет, что ли?

И Шустиков разъяснил все так же просто и спокойно:

— Она, оказывается, его раньше любила. До меня.

— Зачем же замуж шла?

— Она, — терпеливо разъяснял Шустиков, — не думала тогда, что любовь к нему осталась. Она думала, что та любовь кончилась.

Он, как обычно, говорил правильные и разумные слова. Кажется, он все на свете умел правильно и понятно объяснить. Вскоре *она* подала на развод и, вероятно, уже ушла от Шустикова и жила где-то сама по себе, а может, и с новым мужем, но этого уже никто не знал и не спрашивал, потому что подоспело сокращение штатов, Шустиков перешел в другую контору, и спрашивать попросту было некого. О нем очень быстро забыли — мелькнул, и нет, — и только Валентина Сергеевна некоторое время переживала его уход: оказывается, накануне сокращения штатов, взволнованная, она зашла в кабинет к начальнику и что-то там говорила, жаловалась на свою жизнь, а потом — случайно — как-то вдруг заговорила о Шустикове. И поскольку говорить о нем особо было нечего, у нее и сорвалось: малый, мол, без царя в голове. Кто знает, может быть, именно это повлияло на решение начальника, когда встал вопрос, кого сократить. Валентина Сергеевна переживала и даже кое-кому покаялась — зря, мол, и не вовремя, дурацкий, мол, бабий язык. Валентина Сергеевна не знала, что в те же горячие дни к начальнику заходила и Виктория Петровна и тоже как-то вдруг заговорила о Шустикове. И Семен Семеныч заходил тоже.

4

— Он скот. И все вы скоты. — Жена вспыливает. — Я целый день ухлопала, чтобы свести их в тот вечер, а он уже на другое утро не хочет ее видеть, хоть бы позвонил, — это скотство, это настоящее скотство...

Муж повторяет:

— Скотство или не скотство, какая теперь разница — Козолупов с ней не хочет.

Жена встрепенулась:

— А хорошо ли ты с ним поговорил?.. Ей не обязательно замуж... Втолкуй ему: речь идет о том или ином общении с милой интеллигентной женщиной. У нее ведь квартира. У нее доброе сердце...

— Сказал и про квартиру. Ничего не забыл.

— Про старость одинокую сказал?

— А как же. Он ответил, что уж лучше помереть в одиночестве — ему, мол, необязательно, чтобы кто-то сидел рядом и вызвал напоследок «скорую помощь».

— Так и сказал?

— Да.

— Скот.

Некоторое время они молчат. Потом жена говорит:

— Разве дело в том, кто тебе закроет глаза в старости? В конце концов, если нет ни жены, ни детей — закроют глаза соседи.

— В конце концов, можно полежать и с открытыми, — говорит муж.

5

Не заметить, что Регина перепила, было невозможно, потому что она швыряла фужерами в стену, целовалась с хозяйской кошкой и долго потом танцевала, прижимая к груди телефон, — все спотыкались о шнур, а Регина, не замолкая ни на минуту, глупенько и несвойственно для себя

хихикала. Заметно и зримо было настолько, что мужчины, когда стали расходиться, не пытались увлечь ее потихоньку с собой, потихоньку увести, потихоньку втиснуть в такси (гони, друг!), а напротив: они громко, возбужденно и не таясь спорили, и каждый чуть ли не кричал, что именно ему Регину отвезти и проводить будет сподручнее. Время было позднее, и все уже предвкушали, как они вывалятся и выйдут после этой духоты на мороз. Женщины тоже нет-нет и озабоченно выкрикивали, что Регину необходимо проводить: «Мальчики не оставляйте ее!» — и эта фраза особенно помнилась и переповторялась на следующий день в их говорливой конторе. В общем гаме больше всех в ту возбужденную вечернюю минуту шумел и вздымался сорокалетний мальчик Коля Крымов: «Имей совесть! — кричал он то одному, то другому. — Куда ты ее повезешь, ну куда?.. Ишь, умник. Легкой добычи захотелось?!» — так и возникло выражение, типичное для всякой компании, расходящейся далеко за полночь, когда шумят, целуются на прощанье с хозяйкой и путают свой портфель с чужим: *легкая добыча*, и мужчин как бы даже в дрожь бросало от этого пьянящего словосочетания. Высокая, стройная Регина тем временем подходила к спорящим мужчинам, хихикала и обрывала пуговицы пиджака то у одного, то у другого... В женщинах наметилось некоторое недовольство: как водится, гулянка сослуживцев была без мужей и жен, и кто-то был или старался быть с кем-то или хотя бы с кем-то числился: мужчины танцевали, чокались полными рюмками, нашептывали — а тут вдруг обнаружилось, что нашептыванья забыты и что все они рвутся провожать одинокую Регину. Они словно с ума сошли. Они спятили, они делали вид, что всех остальных женщин они не замечают и даже плохо узнают в лицо.

Аня Авдеева, скривив тонкие губы, подошла к Володику, а Володик, конечно же, звонил спешно жене, нервничая и поглядывая на окруженную мужиками хихикающую Регину: Володик выпрашивал у своей жены время, а может быть, если удастся, и всю ночь. Он торопился. Он гово-

рил с женой бодро. Аня Авдеева послушала немного и с насмешкой сказала:

— Передай привет.

— Да погоди...

— Привет передай. И *детям* тоже.

— Дети уже давно спят... Заткнись, ради бога, — и Володик, приоткрыв трубку, которую он до времени зажимал ладонью, осаживая Аню и шипя на нее, отвернулся — теперь он вновь говорил с женой. Он говорил бодро, улыбался:

— Ты слушаешь, маленькая, я, может статься, до утра погуляю. Гуляем замечательно — так хорошо началось, надо развеяться как следует. Сидим и пьем, как в раю. Как на облаке...

И тут же, ценя золотое время — звонок в звонок, — он уже звонил приятелю:

— Слушай, родной, — я, может статься, к тебе сейчас нагряну. С выпивкой... Тут миленькое лирическое недоразумение: надо нашу сослуживицу на ночь устроить, я вроде как ее опекаю — устроишь нас на ночь?

— ?

— Да ладно, ладно. Объясню, когда приеду...

Бросив трубку и опять же не оглянувшись на Аню Авдееву, Володик заспешил в угол, где обступили Регину и где говорили ей наперебой:

— ...Пора домой, Регина... Нет, Региночка, тебе пора домой... Пора ехать. Поверь мне... Я тебя доведу...

Так или примерно так говорил каждый, оттесняя легонько плечом соседа и норовя вырвать инициативу; говорили все разом, а Регина пьяненько хихикала, глупо улыбалась и глупо отвечала:

— Н-не хочу домой, н-не желаю... У меня настроение — н-не хочу!

У Володика был приятель с квартирой. Зато Герман Сергеев был холостяк, а это всегда серьезный соперник, квартира которого, быть может, и неудобна, однако пуста и пребывает в постоянной и ежеминутной боевой готовности.

Да и у Толи Тульцева жена и дети были в отъезде по случаю зимних каникул, — выяснилось вдруг, что большой город не так уж плотно заселен и набит людьми и что в тяжелую минуту найдутся комнаты и даже квартиры, разбросанные там и сям и ожидающие среди ночи неустроенных и бедных. Так что было совершенно непонятно и даже необъяснимо, как это Регина исчезла без провожатого; спорили, суетились и даже ссорились, а хватились — ее нет. Это было просто невероятно. Ее хватились, когда уже рассаживались по такси. Замначотдела сел в такси с Лелей и с Вероникой Андреевной, зам поддерживал свою сложную репутацию «человека с деньгами» и потому привычно развозил всех самых далеких — наиболее далеко живущих.

— Вас же только трое! — говорили ему.

— Ну и что?

— Толик! Да вон еще машина... Хватай ее!

Люди объединялись, а потом, на морозе не мешкая, перегруппировывались — вновь спорили, уточняли район поездки, рассаживались, — и вот тут Валентина Сергеевна, научный сотрудник и хозяйка квартиры, в которой происходило веселое сборище, спросила:

— А с кем же Регина? — Только тут спохватились; половина народу уже разъехалась — и теперь стали, перебивая друг друга, припоминать: кто-то уверял, что Регина уехала с Володиком, но Герман Сергеев возразил: он видел своими глазами, что Володик уехал с Аней Авдеевой, ей-ей, он, мол, Герман, сам хотел с Аней и потому не упустил ее из виду. Они припоминали и спорили, пока не замерзли; стоял мороз, снег падал крупными легкими хлопьями.

— Кто же уволок Регинку? — шумел неумный и всегда порядочный Коля Крымов, изо рта у него валил пар. — Вот подлец!.. Я узнаю и завтра же на работе ему морду набью. Нет совести у людей!

Отъехала еще машина. Оставшиеся вновь ждали такси и вновь припоминали уже от нечего делать, кто с кем уехал, — час и даже больше не было ни одной машины, теперь они шли редко. Поодаль стоял инвалид, прихрамыва-

вающий жилец с третьего этажа, выползший на ночной воздух, потому что его замучила бессонница, — этот тихий человек сказал, покуривая, что высокая девушка в меховой шапке (как же они этого не видели!) в полном одиночестве пошла вон туда. И инвалид указал пальцем: она пошла туда, к низенькому зданию детского сада и дальше к той скамейке, а потом по улице вон к тем далеким фонарям. «Одна пошла?» — «Одна». И действительно, на легком снегу, на целине царски-белого снега виднелись следы шагов, неровные и зыбкие; и все вдруг мигом представили, как шла тут легкой и покачивающейся походкой Регина, счастливая и хихикающая, стройная и пьяненькая. Казалось, что, невидимая, она все еще идет по этому белому снегу. У неуспевших уехать мужчин возникло необратимое чувство потери и досады, а хозяйка, Валентина Сергеевна, еще и посмеялась над ними:

— Эх, мужики, мужики...

Только на следующий день выяснилось, что Регина довольно удачно и в нужном направлении выбралась дворами из группы домов и пыталась проникнуть в закрывшийся уже метрополитен, она хохотала, стучала кулачком, выкрикивала глупости, и потом ее след, увы, потерялся. Она исчезла, словно ушла на луну своей легкой, покачивающейся и пьяненькой походкой. Месяц или два, или даже три, ее активно искали, и долго еще на милицейском щите возле этой станции метро, рядом с будкой «Союзпечати» висела ее фотография с текстом: «Исчезла девушка... 26-ти лет, высокая, миловидная, в меховой шапке, на руке часы, желтого металла...»

6

Не литература выдумала стереотип. Стереотип был всегда, до литературы — тоже. И более того: литература отчасти и возникла, чтобы работать с существовавшими уже стереотипами, либо разрушая их, либо создавая новые.

Можно не сомневаться, что убийца, плут, любовник, приход гостя в дом или ссора мужчины и женщины продолжаемы и переносимы во все времена — и в каменный век тоже. Надо думать, пишущий человек внутренне всегда соглашался:

— Ладно. Литература занимается стереотипами...

И уже в некотором испуге и в нехорошем предчувствии сам себя спрашивал:

— ...а как же *живой* человек? Как с ним-то быть? — И очень скоро выяснялось, что живого письмом на бумаге не передать, как не передать его речью. Всякое высказанное о человеке живом есть как бы односторонний оттиск его, та или иная приблизительная маска, опять же тот или иной стереотип. И за границей этого оттиска всегда остается нечто, художником нереализованное и невоплощенное. Разумеется, метод давно выверен: берут известные, узнаваемые черточки характера, штрихи или более общеизвестные крупноблочные стереотипные оттиски — и предполагают, как само собой разумеющееся, что читающий, или, как теперь говорят, читатель, обопрется об известное, знакомое, понятное, а все остальное, быть может, додумает или угадает. Однако *живого* человека все же на бумаге нет. И это, пожалуй, первое, что поражает и удивляет пишущего в пути его, так как, что там ни говори, он полагал поначалу, что будет писать живого.

Возникает понимание дела, *не более того*.

Возникает мнение, что если своеобразно и тонко дать эти самые пять или восемь черточек характера, то за ними встанет некий образ, домысливаемый чуть ли не до человеческой полноты, и соответственно в *деле*, то есть, например, в повести, возникает сопереживание или, напротив, неприятие данного типажа, — стало быть, ум и чувства читателя от этих пяти черточек уже напряжены, обострились, и теперь, по ходу дела (по ходу повести), читатель уже надолго останется включенным, как бывает включен мотор. Именно так. И теперь пишущий может доехать на своем топливе до любого и даже самого далекого пункта назначе-

ния и в итоге, выгрузив пассажира или даже неожиданно сбросив его, оставить его в раздумье с любой эмоцией или даже с той самой эмоцией, какую поставил себе за цель этот пишуший... Однако, едва метод обнажился до последней этой наготы, становится еще более ясно, что тот изображенный на бумаге человек, который как *живой* ходил по комнатам, смеялся, болел, кашлял, — вовсе не живой.

И это одна из самых первых потерь пишущего: вдруг понимаешь, что не человек ходит по твоей повести, а расхаживают там пять-шесть его черточек, не более того. Именно так: одно из первых отрезвлений пишущего и одна из первых его утрат — это горестное осознание, что живой в нашей *деле* не участвует. И горестно, и в достаточной мере обидно, как же, мол, так и чего же тогда ради?.. Возникает ощущение неслышимых голосов или, скажем, огоньков, — ощущение, что тебе по силам, быть может, изображение быта, мыслей, дней и ночей людских, черточек и штрихов характера, но сами-то *живые* в стороне, они живут и живут, а потом они умирают, гаснут, как гаснут огоньки ночью, а ты, сколь яростно ни спеши, ничего не успеешь.

«Я отправлял письма!» — огрызается старик, а ему кричат: «Иди, иди!» — вокруг Курский вокзал. И смотрят люди на этого странного гонимого человечка (и ты тоже смотришь): старику лет шестьдесят пять, с виду странный, возможно больной, скорее всего опустившийся. «Я отправлял письма!» — огрызается он. «Иди, иди. Знаем мы эти письма!» — вновь кричит кто-то. И старик, озираясь, уходит. Он в каких-то обносках и отрепьях. Забрызганные грязью брюки. Всклоченная голова. И безумные, красные, как у кролика, глаза. «А вот не крал я чемодана!» — злобно, на грани истерики кричит он, уже удаляясь, — и тут происходит чудо запоминания: ты вдруг понимаешь, что минуту эту запомнишь. Не старика даже. Не крики его. Сама минута для тебя вдруг распирается, становится выпук-

лой, и ты понимаешь, что вот сейчас ты навсегда вбираешь походку этого старика, его щетину, его красные глазки, — и без черточек и штрихов характера, без знания, как он и где живет, человечек этот вопреки логике входит в тебя сейчас *целиком*. И что бы ты там дальше ни навывдумывал и ни наврал в деталях, он перейдет, он втиснется на бумагу, и, быть может, это и есть тот единственный способ присутствия *живого* на твоих страницах, — старик и знание о нем успели и, сумев, уже втиснулись через узкий тоннель времени в эту вдруг расширившуюся для тебя минуту. А сам *живой* в это время еще удаляется. Он долго удаляется. Он несколько часов удаляется. «А вот не крад я кожмитового чемодана!» — кричит он уже издали, больной старик, и две бабуся в углу, в помятых заношенных кофтах, в повязанных грубых платках, однако вполне добропорядочные транзитные бабуся (одна из них жует всухомятку булку), глядят ему вслед и покачивают головами. И ты глядишь. А минута все еще длится, все еще выпуклая, набухшая, едва не лопающаяся, оттого что вместила в себя *живого*. «Иди, иди!» — «А я письма писал... А я отправлял письма!»

Суть не в людской толчее на вокзале (могло быть иное место и иной человек): был внешний, был грубый толчок, который лишь спровоцировал выброс и выхлоп из твоего нутра; выброс произошел, состоялся, и именно в эту минуту живые стали чуть ли не живее, чем они есть; и если это не выход из тупика, то во всяком случае серьезная компенсация за невозможность вместить на страницы человека *живого*.

И вот уже не без важности пишущий иногда говорит:

— Не знаю, как это я написал повесть, — сначала сам ничего не понимал, но потом вдруг услышал голос.

— Что, что?

— Голос. — Пишущий отвечает негромко, но твердо.

— Свыше, что ли? (Ирония.)

— Ну уж свыше или ниже — не знаю. Но только это был голос.

Если расширяющиеся минуты и впрямь компенсация,

то почему бы не счесть такие вот выхлопы и выбросы души голосами людей, давно, быть может, умерших, которые, петляя по родовым цепочкам — прапрадед — прабабка — дед — мать — сын, — дошли наконец до тебя и иногда звучат, нет-нет и распирая тебя генетической недоговоренностью. Можно представить и вообразить пожарную кишку, длинную, наглухо закупоренную брезентовую трубу, которая в одном-единственном месте — в тебе — имеет случайную трещину, дыру небольшую и, стало быть, выход. И вот, передавая давление всей бесконечной водяной массы в трубе, через крохотное отверстие — через тебя — уже бьет тонкой струей вода, уже фонтанирует, и иногда это довольно сильно, и можно подставить рот и напиться. Картинка не без красоты: целая вереница безъязыких или недоговоривших прадедов подсказывает тебе что-то, нашептывает, сокрушаясь и сетуя, что ты такой глухой и что ты так мало можешь расслышать.

До ребенка дошла мысль о смертности живых — об этом он уже много раз слышал от взрослых, но теперь эта мысль дошла или, может быть, лучше сказать, достучалась. Огромный и затхлый барак сотрясался всеми своими фанерными перегородками от храпа спящих. Мальчику было пять-шесть лет, — на кровати напротив посапывали мать и тетка Маруся. Он сел на постели. Была луна. И вот маленький мальчик встал и босо, тихо бродил по половицам. Стены останутся, а он умрет — это было теперь совершенно ясно. И половицы останутся. Стол и стулья (так ему казалось при луне) тоже останутся, а вот он, и мамка, и тетка Марусяка умрут. Мальчик стоял, залитый лунным светом, у стены, касался стены рукой и бормотал:

— Стены, прощайте.

Потом дошел черед и до других предметов:

— Стол, прощай... Стул, прощай... Этажерка (так тогда говорили), прощай...

Волнение наконец улеглось. Ногам стало холодно, минута сомкнулась, съезжилась в обыкновенную — слышал-

ся стрекот припозднившейся швейной машинки в дальнем конце барака, а за перегородкой бухала (кашляла) бабка Кольки Мистера. С просыхающими слезами он лег в постель и даже не заметил, как уснул. Позже он понял, что это была, пожалуй, не страшная минута: это была добрая минута; еще позже он назовет такую или подобную ей яркую минуту из детства — *голосом* или первым услышанным голосом, или даже первым *словом*, и поймет, что минута вовсе не обязательно связана с осознанием смерти. Она связана с осознанием самого себя. Это сродни, может быть, возникновению внутреннего духовного поля — оно ведь тоже возникает, как возникают в природе поле, скажем, магнитное и поле электрическое. И понятно, что этот первый голос случается в детстве, чаще в отрочестве, а всего чаще на стыке детства и уже не детства — пространство там очищенное и голоса слышнее. В давние времена говорили: человек услышал Бога. Или услышал свыше. Или так, утешая взволновавшегося, в слезах ребенка: «Знаешь, малыш, — это пролетел твой ангел». Отсюда и всевозможные видения отроков.

В переводе на наши дни это звучит, по-видимому, так: первое движение интеллекта. Первое и как бы пробное включение разума. Как ночью в очищенности бытия слышнее всякая боль (слышимость ее и не дает уснуть), так в детстве слышнее вот эти движения, вспышки, выхлопы интеллекта, — и, казалось бы, самоочевидно, что и в зрелом возрасте к таким вот выпуклым, емким минутам, крайне редким, когда пространство вдруг расширяется и какая-нибудь опушка леса или толчея Курского вокзала навсегда входят в твое зрение, — казалось бы, к таким минутам надо особо прислушиваться и особой ценой их ценить. Но тут есть необязательность: даже если не заметишь и не оценишь ее, расширившаяся минута еще долго будет двигаться в тебе сама собой: это движение напоминает внешне движение и протискивание крупной заглотанной пищи по телу удава.

Противодействием являются всем известные суета днем и озабоченность вечером, подменяющие друг друга, как

подменивают птицы — птица дневная и птица ночная; в суеете и озабоченности голоса почти неразличимы; голоса слышатся все реже и реже. А тут еще здравый смысл — любимое дитяты опыта, выжимка и сок бытовых передрыг. Здравый смысл (Панса всегда рядом с Кихотом) всегда старается и жаждет — в этом его призвание — обескрылить любую идею, приземлить, упростить, свести к уже известному, а при случае высмеять, чуть ли не в минуту скликаая полки единомышленников, потому что смех заразителен и беспрюгрышен. Есть анекдот о том, как человек услышал внутренний голос, советовавший пойти к соседу, — человек пошел, и его *покормили*; во второй раз посоветовал пойти к соседке — человек пошел, и его *полюбили*; однако в третий раз голос посоветовал *прыгнуть* из окна на мостовую — человек прыгнул и, конечно же, разбился всмятку; в последний миг, через боль и через смерть, он успел крикнуть своему внутреннему голосу: «Я же разбился!» — на что голос, прокашлявшись, ответил:

— Разбился?.. Гм-м. Ну и хрен с тобой. — С каждым годом взрослеющий человек все с большим удовольствием рассказывает этот анекдот, или другой, или третий, подобных анекдотов всегда в достатке.

Если человек из породы пишуших, голоса имеют к нему особое отношение, и не только потому, что голоса прямо противоположны стереотипам, которые в отличие от голосов всегдашни и даже вечны. Пошлость бессмертна, это было точно подмечено. Пишущий ходит по редакциям, как тупой, как неумный среди умных, со своей первой повестью, — он носит ее, как носят мешок за плечами, в котором есть, к примеру, валенки на продажу; он носит именно эти валенки, какие есть, — одну пару. Валенки на одного человека; а не десять пар на выбор, и именно поэтому книга удается. Как правило, первая книга удается. Пишущего ведут голоса детства и отрочества, которые он слышит настолько сильно, что интеллект, играющий со стереотипами в свои игры, еще не в состоянии подправить наивного твор-

ца, — в первой книге всегда есть новизна в истинном смысле этого затертого слова, и *всякая* первая книга, не неся бог знает каких дум или раздумий нынешнего дня, несет все же в себе нынешнюю новизну и, уж если считать, заведомо окупает своим появлением и бумагу, и типографские расходы, чего нельзя наперед сказать о других книгах, пусть даже того же самого автора.

Я бы издавал только первые книги авторов.

Так рассуждает пишуший, который уже заметно постарел и у которого около пятнадцати или двадцати книг, — тоскует, и в тоске хочется разогнать домашних и родных по делам, запереться в квартире, открыть бутылку с «изготовленной из отборного зерна» и теперь уже в полном и обеспеченном одиночестве тосковать, напевая самому себе на музыку Яковлева:

Я горы, доли и леса
И милый взгляд забыл,
Зачем же ваши *голоса*
Мне слух мой сохранил... —

на самом же деле поет он уже, как говорится, от обратного. В утрате своей поет. То есть с возрастом он именно леса, и горы, и милые взгляды научился ценить и знать, и узнавать вполне, а вот голоса свои он уже не слышит; отрочество далеко, в суете голоса неразличимы. Их трудно выделить и вычлениить, как трудно высвободить понравившуюся вдруг мелодию в сработавшемся от времени транзисторном приемнике, — и собрать воедино хотя бы обрывки своих голосов, хотя бы отголоски их, кажется сложным и тяжелым не по летам.

Умирают, как известно, по-разному, — говорят, молодые умирают легко. Можно предположить, что умирающий в молодости слышит разом все свои голоса, которые, не умри он, будоражили бы исподволь в течение долгой или даже затянувшейся жизни. Все отпущенные ему голоса умирающий молодым слышит разом, и тогда, надо думать, это

действительно сладчайший миг. И если отвлечься от романтической подосновы, можно, пожалуй, согласиться, что умирающий до времени имеет свою определенную компенсацию: как-никак он слышит все свои голоса и с ними же уходит, не растеряв их и держа при себе и, уж во всяком случае, зная, зачем и с чем он приходил на землю. Голос требует импровизации, притом мгновенной. Но где же ее взять, если ты человек, обкатанный бытом и возрастом, а не летящий по небу и без передышки поющий ангел, и если импровизация — это не заранее и втихую накопленный запас слов, которые ты можешь вынуть из кармана, а можешь и не вынуть.

7

Чувство вины было явным — я был по какой-то причине виноват, я понимал и я как бы даже знал это, а три плосколицых человека сопровождали меня: мы шли степью; мы шли неторопливо; они меня конвоировали. Земля была потрескавшаяся от сухости, с полынью, и, когда я приостанавливался (а я делал вид, что я беззаботен, что я уверен в справедливом их отношении ко мне), когда я нагибался, чтобы сорвать кустик полыни, все трое сдерживали шаг и вроде бы тоже приостанавливались. Я насвистывал. Вверху вдруг мелькал жаворонок, 'и, если бы он пел, мы с ним составили бы пару; я насвистывал, а сопровождавшие меня молчали.

— Свищу, — сказал я, перехватив взгляд узких глазщелочек того человека, что шагал справа возле меня, он шагал почти рядом.

— А?

— Свищу, — повторил я с улыбкой. Из троих сопровождавших он мне казался более симпатичным, лицо у него было не столь обветренное; лицо было с юношеским, даже слегка женским, мягким очерком линий. Мне казалось, что если он мне симпатичен, то не исключено, что и я ему

симпатичен, а в этом уже могла таиться да и таилась некая моя надежда. Он не ответил. Он ударил плетью по своему мягкому гофрированному, старому, как старая гармошка, сапогу и обил от скуки пыль. Кузнечик на сапоге был прихвачен ударом и вмиг размазан в пятно.

Перед нашими глазами появилось небольшое восточное глинобитное строение. Среди белесой полыни строение возникло вдруг — одно-одинехонько посреди голой и нежилой степи. Я хотел пить, но воды не было. Точнее сказать, воды было мало. Старик с реденькой узкой бородкой вынес им плоскую чашку воды — все трое сделали по несколько глотков, передавая чашку друг другу. Последний (это был тот, что с молодежавым лицом), посмотрев на остатки воды, хотел протянуть чашку мне — но, словно спохватившись, сделал еще глоток, допил, — потом, вновь оглянувшись на других (не осудят ли его за доброту), все же протянул к моему лицу. Руки у меня были голые и сухие от ветра, я схватил чашку — там, на дне, с темными соринками и с желтоватыми зернышками полыни, колыхалась капля воды. Я пил до самого дна. Я пил долго, ожидая стекавшие капли. И вот тут, поводя глазом по-над краем чашки, закрывавшей мне лицо, — я увидел мертвого. Я его как-то не заметил, когда мы подошли к строению. Он лежал на песке; старик, присев возле него на корточки, теперь причитал и смотрел мертвому в лицо, а трое моих провожатых лениво готовили умершему могилу. Старик просил их помочь, поторапливал. «Надо хоронить», — говорил старик. И повторял:

— Надо хоронить. — Те трое рыли яму и укладывали вокруг сухие кирпичи-кубики: они делали что-то вроде надгробья, напоминавшего видом большую игрушечную пирамиду, какую от нечего делать строят дети.

Старик вымыл мертвому лицо, пригладил ему виски, — теперь в руках старика появилась бритва. Старик вертел ее в руках (она посверкивала на солнце) и громко жаловался копающим, что надо побрить мертвого, но ведь лежачего брить не с руки, неудобно. «Я не умею брить лежачего», — говорил старик.

И спрашивал:

— Может, вы кто умеете?

Он спрашивал их, он приставал к ним; меня он не замечал. Ну что ж, похороны как похороны — я сделал вид, что все идет как идет, и даже попытался дать совет: я, мол, слышал, что у них на Востоке волосы не обязательно брить бритвой, можно выдергивать, и делают, мол, это суровой ниткой: плотно прижимают нитку к лицу и ведут вдоль щеки книзу, накручивая и вырывая волос за волосом. Они как бы не слышали моих слов; они не ответили.

Они велели мне сесть на землю, вытянув ноги, — спина к спине они посадили со мной умершего; его голова разместилась у меня сзади, на шее, безвольная голова, мягкая и одновременно жесткая. Поскольку мы сидели спина к спине, я ничего не видел (я видел только степь), но понимал, что старик будет его в таком сидячем положении брить, — я слышал, как он шуршит помазком в мыльной пене, жалуясь, что воды совсем мало. Потом послышалось, как он скребет по щетине мертвого. И почти тут же я почувствовал холод — холод входил в меня импульсами, он шел от спины мертвого. Если бы не этот холод, сидеть спина к спине мне было бы даже удобно, потому что после долгой дороги я устал и ноги ныли. Но теперь я быстро охлаждался. Волна озноба вошла вдруг в меня в область правой лопатки так сильно, что я затрясся, и старик строго сказал мне, чтобы я не дергался, иначе он порежет щеку мертвого. Теперь он устроил голову мертвого у меня на плече с левой стороны и, вероятно, закинул ему голову кверху, как это делают все парикмахеры, чтобы добраться до шеи и трудных мест подбородка; теперь я чувствовал левым ухом холодное ухо моего напарника. И тут же раздался первый пробный скрежет в этом новом положении.

Старик брил, а я остывал все больше — сначала остыли плечи, потом вся спина, холод полз по рукам, и только пальцы рук, которые я держал у живота, да выставленные вперед ноги были еще теплыми; вся надежда теперь была на ноги, все еще мои. Но холод входил теперь и в низ позво-

ночника с особой, необратимой силой, и, когда медленный скрежет кончился и они оттащили своего мертвеца, — я, остывший, остался сидеть в том же положении, как будто я стал фигуркой из чугуна, холодной и недвижимой. Встать я не мог. Я как бы прирос в сидячем положении к земле, как прирастает к ней все неживое. Они спели короткую молитву. Только старик не пел: он напоследок прихорашивал мертвого, стряхивал пыль с его одежды и обирал траву.

Не прерывая тихого пения, они отволокли мертвого в приготовленный ему закуток из кубиков-кирпичей, построили его там и пошли дальше степью, старик и трое, — а я сидел, как сидел.

Они были шагах в двадцати уже, когда старик спросил у них *про меня*, и один из троих ответил:

— На семь восьмых славянин... И на осьмушку, возможно, скиф.

— На осьмушку?

— А может быть, и осьмушки не наберется.

— Маловато, — сказал старик.

И тогда тот, с молодежавым лицом, обернулся на ходу, словно хотел мне, оставшемуся сидеть, крикнуть: «Пока!» — но не крикнул; не сбавляя шага и не останавливаясь, он легко и небрежно швырнул или метнул небольшое копьё в мою сторону с двадцати или двадцати пяти шагов, и мое тело издало звук, какой издает раздувшаяся от жары рыба, когда в нее на пробу втыкают нож: попал.

Я, сидевший, стал медленно заваливаться, а засевшее во мне копьё, в то время как я заваливался, постепенно распрямлялось, пока не встало торчком, — копьё стояло почти вертикально, а я теперь лежал на земле, придавив полынь. Я был все еще холодный и словно неживой, и, может быть, поэтому я чувствовал, что боль была тупая, и чувствовал все, что со мной происходит. Копьё вошло с правой стороны под ребром — пробило кожную ткань, проскочив эпителий, протиснулось острием в густую кашеобразную массу печени, а затем, раздирая и легко рвя, отодвинуло витки кишок и вышло вон, насквозь.

На месте разрыва печени чужеродные вещества проникли в кровь и вызвали сепсис, — свертывание крови распостранялось теперь по сосудам все дальше (напоминая скисание молока, но только ускоренное, вместо суток двадцать минут), и, когда отключилась вегетатика, легкие застыли в спазме. С этой минуты клетки уже задыхались без углеродистого обмена: они жили уже сами по себе, на внутреннем запасе. Но запас быстро истощался. Процессы прекратились — стоп — и теперь колесики вновь стронулись с места, но уже в обратном направлении: начался встречный процесс, распад. Аминокислоты перестраивали ряды. Началось дыхание непосредственно воздухом. Клетка вбирала чистый кислород напрямую, шло сгорание, которое почему-то называется гниением, какая глупость. Всякая борьба — это борьба. Надо же было как-то уцелеть и выжить, то есть остаться среди живых, живущих, и потому — и именно потому — аминокислоты торопились перейти, перевоплотиться в траву, в землю, в микроорганизмы, в воздух. Опытные бойцы. Они не упустили и не упустили своего шанса.

Мое лицо утратило тем временем мягкость, рука затяжелела, как полено, в судороге я прижал ее к лицу, словно закрывал светлые материны глаза от ястребов, — а степняки уже кружились. Мое «я» разваливалось. В конце концов приходилось выбирать из того, что есть, — мое «я» металось по разлагающемуся телу, норовя хоть куда-нибудь приткнуться, впрочем, выбор был невелик: я почувствовал, что обрел гибкое длинное тело, и если новое мое тело было теперь скользкое и холодное, то не беда, и ведь, повторяю, приходилось выбирать из того, что есть. Я прополз меж ребер того остова, которым я сам был когда-то, мимо развороченной печени и мимо отполированной поверхности древка копья, — я уже обрел некоторую ловкость и вскоре даже привык, как привыкает, скажем, человек, потерявший ногу, привыкает и не скорбит всю дальнейшую жизнь, что ноги у него нет и что она уже не вырастет. Я потерял куда больше, но теперь это не имело значения. Я был

червь, я был живое существо, а это уже немало. Я полз лишь для того, чтобы выползти, я обвился вокруг ребра — и раскачивался, слыша запахи травы и земли. Только недоумки говорят, что червь любит жить в трупе, — он там рождается подчас, это верно, но вскоре он уходит, как всегда и все взрослеющие уходят от того места, где родились. Качнувшись на ребре всем телом, я совершил сброс и упал — и вот уже совсем ловко и упруго заскользил по земле: я хотел пить, потому что червь любит влажность.

Солнце было высоко; червь не человек — и потому я сразу же нутром почуял, где тут в степи может быть вода. Я услышал ее, как слышат звук самолета, и двинулся на этот звук. Я полз не слишком долго, потому что я полз правильно. Вода была недалеко: уже за первым же пригорком земля запахла свежо и страстно: вода хотела меня так же, как хотел ее я. Я полз: я вытягивал шею, потом тянул середину и только затем подтягивал низ тела. После пыли и песка вдруг появились первые зеленые проблески травы. Вода была близко. И тут я увидел человека — в нескольких сантиметрах от меня стоял старик, которого я недавно видел в бытность свою человеком, жалкий и оборванный старик, но только теперь, хотя и в лохмотьях, он не был жалким. Он был огромен. Он перекрыл собою путь к воде. Он спросил:

— Ползешь? — И рядом я увидел подошвы его ног, его старые стоптанные сапоги. Они были как огромные столбы. Он ступил, и как глыбой придавило сапогом половину моего тела и, конечно же, вмиг расплющило бы меня, если б он захотел. Я извивался, — сапог, чуть придавливая, увеличивал боль, и я уже боялся разорваться от переполняющего меня давления моей же внутренней жидкости.

— Ну? — был его первый вопрос. — Грешил?

Я хотел ответить: «Сам, мол, все знаешь — зачем же спрашиваешь?» — но голоса у меня не было, я даже пискнуть не мог; я только заизвивался сильнее и подобострастнее.

Он (там, наверху), вероятно, покачал головой.

— Грешите, — проговорил он с упреком, — землю всю поганите.

Я вновь заизвивался, телодвижениями отвечая — я, мол, как все. Я как все, и какой же с меня спрос.

— А почему же жить хочешь?

— Все ведь хотят.

— Опять *все*... Мало ли чего хотят все. — Старик передразнил, повторил мою (в переводе на язык) извивающуюся интонацию. — Ты-то почему хочешь жить?

Он прижал меня жестче и грубее; я совсем помутился, вздулся и вот-вот мог, разорвавшись, растечься.

— Что в своей жизни ты делал — рассказывай.

Как ни стыдно сознаваться, я стал лепетать (извивами вздущегося тела), лепетать о каких-то своих достоинствах. Тут обнаружилось удивительное: так легко говорить о своих прорехах, так просто перечислять скользкие или поганенькие поступки, сделанные хоть год, хоть десять лет назад (в припоминании есть даже своя покаянная сладость), однако, когда я попытался сказать, *чем я хорош*, это оказалось непосильно, это звучало жалко, даже, пожалуй, нелепо и уж точно неуместно.

Я заизвивался вновь, — не зная, что вспомнить и что сказать, я стал лепетать, что я, мол, не умею себя хвалить. У нас, мол, принято, чтобы хвалили другие.

— Другие?

— Да.

— И как же они хвалят?

— Ну как. Я сделаю ему что-нибудь полезное, хорошее, доброе — он меня похвалит. Надо сделать человеку что-то полезное.

— Хорошо живете, — фыркнул старик.

Сапог, придавливавший меня, ослабел. Все тело мое заныло: я пополз, волоча за собой нижнюю половину, которая была все еще в шоке и тянулась за мной как неживая. Старик произнес сверху:

— Ладно, поживи, *даю отсрочку*.

Солнце грело, вода была недалеко: я настолько обрадо-

вался возможности жить дальше, что осмелел. Я спросил, за что он дает мне отсрочку, хотелось бы знать. Я повторил движением тела:

— За что?

И он сказал за что. Он и без меня все знал; сразу и легко прочитав мою жизнь, он назвал некую, на мой взгляд, безделицу, пустяк — и я замер в шоке, как и мое тело; я никак не мог осмыслить: то, что он назвал, не было ни достоинством, ни хорошим поступком, скорее всего, это было, пожалуй, моей слабостью.

— Но ведь это есть у многих, — обескураженно пискнул мой голосок.

Он сказал:

— А я многим даю отсрочку.

И тут он добавил еще три слова:

— Много извиваешься, червь, — и пнул меня ногой, чтобы больше не видеть. Удар был сильный, но, по-видимому, достаточно рассчитанный и не без крохи гуманности: тело не лопнуло, оно спружинило, я взлетел в воздух — и вот, перелетя через пригорок, шлепнулся в какую-то канаву с водой, к которой я давно и долго полз, алчный, по запаху.

8

Голоса не надо путать с вдохновением; вдохновение — это состояние пишушего, голос же, говоря грубо, материал — он несет в себе, например, желтые вершины гор, или степь, или Курский вокзал, он несет в себе ту или иную боль, то или иное поразившее тебя, но вполне конкретное человеческое лицо, конкретно улицу или конкретно поселок. Голос существует и тогда, когда он неслышен: он притих, не более того. С точки зрения вбирания в себя голос достаточно широк и несет в себе все и всякое; и если кто-то захочет найти в нем свою исключительность или даже свою болезнь, он ее там найдет.

Голоса имеют свою жизнь во времени: от и до. Голоса возникают, то есть однажды рождаются, — некоторое время они будоражат тебя, напоминают, подначивают, тревожат, достигают наибольшей силы, это пора их зрелости, — потом они гаснут, слабеют. А затем, как и положено живым, голос умирает, он смертен. Прожив отпущенный ему природой век, месяц или год, или, скажем, три года, голос умирает в тебе, оставшись чаще всего нереализованным. И однажды тебя начинает будоражить другой голос — следующий.

В каждом человеке в этом смысле есть свое и особое кладбище голосов. Они погибли. О них можно помнить, но поправить уже ничего нельзя, потому что их звучание в тебе кончилось; они мертвы.

Бывает, что голос в тебе еще достаточно силен, он напоминает о себе на ночь глядя, однако ты уже бессилён каким бы то ни было образом на него откликнуться или хотя бы, удерживая при себе, осмыслить; время этого голоса позади, момент упущен. Тем не менее голоса эти долго еще слышатся и напоминают, как правило, они звучат с укором, нет-нет и вынырнут ближе к ночи, шема сердце.

Напрашивается сравнение этих тихо звучащих голосов с опавшими листьями; образ старый, сработанный и затертый, но его можно в меру модернизировать. Изошряясь, можно представить себе листья или ворох листьев, лежащих под деревом, под осинкой, да и осина сама — не обязательно осина, а некое деревце на киноэкране; время, конечно, осеннее, листопад. И вот кинолента прокручивается обратным ходом (у режиссера есть такой прием), лист отделяется от вороха, отделяется от массы ржавых и старых и кучно лежащих собратьев, — с земли лист начинает медленно подниматься кверху. Он переворачивается в воздухе. Он кувыркается. Переворачиваясь и неспешно кувыркаясь, лист ползет все выше, и вот, замедленно поплавав в воздухе, среди незнакомых веток, словно выбрав и отыскав маму, он приклеивается к своей ветке, к своему маленькому черенку. И живет. Некоторое время он вновь живет и даже

трепешет, подрагивая мелкой дрожью, как и положено подрагивать на ветру осинового листу. А снизу уже поднимается следующий лист. Тоже неспешно кувыркается. Тоже ищет ветку.

Усиливая сравнение, можно вновь представить себе эту киноэкранную осину и под ней ворохи опавших листьев, но только листьев *не этого* года, а прошлого или позапрошлого. Они из уцелевших случайно; они пролежали зиму или две, случайно не сопрели, не сгнили, хотя и пожухли, почернели и ослабели своей лиственной тканью, едва не рассыпающейся в труху, — но некоторые все же сохранили и форму, и отчасти красноватый остаточный цвет. И вот режиссер вновь крутит ленту назад, допустим, он это в силах: лист за листом отрываются от поверхности земли и — медленно, неспешно — поднимаются кверху. Лист кувыркается, переворачивается. Он приближается к массиву кроны, втискивается, кружится, залетая то справа, то слева, но там-то другие листья, там другие ветки — нынешнего года, — и листья не находят своего бывшего места, им негде приткнуться, негде пристроиться. Так они и плавают в воздухе.

Некоторые голоса в нас не исчезли, не сопрели, как преют листья, — нет-нет и голоса напоминают нам о себе, заглядывают в нашу душу и с той стороны, и с этой, но им не найти своего места, их время прошло. Иногда их время совсем далекое, и тогда мы говорим, что нас тревожат голоса предков, — печальные голоса. И мы впадаем в беспросветный пессимизм и не понимаем, что же это нас окликает и что не дает покоя.

Меня долго преследовала сцена, где три физически сильных и хладнокровных человека убивают или насилуют некую жертву, а я вижу, но стою в стороне, — и оттого, что я в стороне, мне стыдно и скверно. «Тебя-то мы не тронем, не бойсь!» — кричат мне трое, и я только жалко улыбаюсь и переминаюсь с ноги на ногу, как бы парализованный страхом и жутью. Со мной никогда не было ничего подобного, и вины этой тоже не было.

Однако с постоянностью мстящего духа вновь и вновь, примерно раз в полгода-год, с тем расчетом, чтобы я успел забыть и чтобы вновь было напоминание *внезапно* и остро, — на меня накатывала тревога. Иногда в виде сцены. Иногда в виде смутного переживания. Иногда с подробностями. И всегда с чувством покаянности и вины за свое постыдное бессилие и невмешательство. Было похоже, что кто-то из моих предков когда-то не вступился в такой вот ситуации, не вмешался, жалко улыбаясь и стоя в стороне, но с кем из них это было? и когда?.. поди знай. Голос, вероятно, преследовал моего предка до самого смертного его часа. Слабее, а потом еще слабее он преследовал моего деда и моего отца; голос преследовал мужчин, это понятно. Теперь же совсем слабо и лишь иногда он преследует меня, даже не преследует, а лишь напоминает: мститель на излете.

В одной из не самых больших стран Востока два брата-буддиста отрезали голову своей матери. Они отрезали ей голову с ее полного согласия; это было в 1962 году.

Замысел там был таков — у братьев-буддистов во время богослужения украли сто, допустим, рупий. Вора они не знали, вор скрылся. Дух их умершей матери должен был теперь преследовать вора в течение всей его нечестивой жизни. Дух должен был мешать вору красть, должен был помогать его преследователям и врагам, дух должен был терзать его еженощно во сне кошмарами.

Когда трагизм случившегося события — я имею в виду отсечение головы, а не кражу ста рупий — уже прошел сквозь мое нутро и когда я, по привыкнув к факту, уже смотрел на случившееся (довольно далекое с точки зрения географии и в общем чужое) спокойно и обыденно, тут только до меня дошло и тут только я оценил всю мощь замысла. Я понял, насколько легче было теперь братьям-буддистам жить. Насколько торжественнее и честивее стали их службы и молитвы Богу. Я понял и как бы увидел их, сидящих на молельных ковриках и прикрывших лицо ладоня-

ми. Признаться, я увидел и саму старуху; часа за два до отсечения головы (я увидел и представил ее в этот самый момент) старуха злобно смеялась, она потирала руки, предвкушая, как ей отсекут голову и как она будет в скором, в самом скором времени мучить жертву. Известно, что она специально отрастила и не стригла ногти. Старуха была счастлива; старуха рвалась в бой.

9

Кто и когда изобрел барабан, историей не зафиксировано — это столь же в прошлом, как и, к примеру, колесо. Колесо мерит расстояние и пространство, барабан мерит секунды и время.

Имя не сохранилось, однако все же известно, что жил в палеолитные времена некий дикарь, обыкновенный, косматый, кутавшийся, как и прочие, в звериную шкуру, — был он даже для тех времен отъявленный бездельник; был он, впрочем, смышлен и ловок. Кругом громоздились, как и положено им громоздиться, голые камни, а вокруг пещер в неисчислимом количестве бродили звери; от голода звери выли ночи и дни напролет. Это было суровое время, звери тогда размножались бурно, и еды им не хватало. Людей звери тогда в общем жалели и старались не есть, потому что людей было мало и истребить их ничего не стоило. Люди могли попросту сойти на нет.

«Разве это жизнь?.. О господи! — вздыхали там и тут люди в своих жутких пещерах. — Разве это жизнь?» Люди, как и всегда, считали, что жить тяжело, что жизнь — это сплошное страдание, и без конца жаловались друг другу; они очень любили жаловаться. Тем более бывало муторно и тяжело на душе, если среди племени оказывался вдруг бездельник или, как они говорили, тунеядец, человек, евший втуне. Он был ленив, он был откровенно ленив; бездельник даже жен своих не кормил или почти не кормил, хотя был молод и крепок, — от жен он избавлялся. Он застав-

лял жен плясать напоказ голыми в будние дни, после чего обменивал их на оружие или на филейную часть мамонта. В конце концов он обменял их всех; он остался с одной-единственной женой. Он жил с ней в пещере, сплошь заваленной красивыми копьями и мечами. Он был первый, кто стал открыто жить с одной женщиной. Все племя ему втайне завидовало. И конечно же, вслух все его осуждали, и не только потому, что прокормить одну жену легче легкого: дело было еще и в принципе, человеком он считался нехорошим и аморальным. Плюс к этому всему он был болтлив и, как всякий бездельник, нет-нет и проговаривался, что он-де умен и что он-де много умнее даже старых своих сородичей. Его предупреждали и по-доброму, и более круто, однако унять не могли. Его, в общем, оберегали из гуманности; некоторые его любили и жалели. Но однажды он произнес неслыханное, и тут уже ничего нельзя было поделывать: он сказал, что умрет *достоинее* их всех, *достоинее* старых родичей, *достоинее* даже вождя племени.

Смерть в те времена считалась событием ответственным, смерти придавалось значение и придавался смысл, и было, например, необыкновенно важно, кто и как умер. Смеялся ли человек, умирая, важничал ли. Или же плакал, как плачут женщины. Тут были важны сказанные перед смертью слова и даже их оттенки: событие есть событие. И потому стало и нехорошо, и неловко, и даже жутко, когда бездельник произнес вслух:

— Я умру *достоинее* вождя племени.

Племя было шокировано. Вождь на эти его слова ответил кратко:

— Ты умрешь завтра.

Бездельник схватился за губы, зажал себе рот, но было поздно. За шалопоая вступились дядьки, братья, отцы; отцов в те времена было несколько, однако вождь был тверд и неумолим. Авторитет всегда авторитет, и порядок всегда порядок: не наказывая человека за безответственные шуточки и выходки, ты в первую очередь развращаешь и портишь его самого. И других тоже. И себя, кстати, тоже портишь.

К тому же вождь племени слегка опасался, что шалопай после своих слов и впрямь как-нибудь случайно умрет с достоинством — кто его знает! — людишки же прибавят, прикрут, вот тебе и легенда.

— Он умрет завтра, — подтвердил вождь племени родичам, пришедшим просить о помиловании. И добавил: — На закате.

Приговоренные к смерти в те времена прыгали с обрыва на камни. Разбившись, они лежали там с множественными переломами и в течение двух-трех суток кончались, исходя криками, и ни о каком достоинстве, разумеется, речи там быть не могло. Кара была суровая именно потому, что смерть страшна не сама по себе: смерти дикари, в общем, не боялись, они боялись предсмертных мук и страданий.

Выхода не было — шалопай сидел ночь напролет, не спал и старался придумать последнюю штуку в своей жизни и последнюю уловку, чтобы как-то облегчить конец. Он бы, возможно, ничего не придумал, если бы не услышал голос свыше; ему повезло. Была луна. Воздушное пространство вдруг как бы расширилось, минута сделалась огромной, значительной, и на душе приговоренного стало легко и освобожденно. «Бог, ты услышал меня. Бог, ты услышал меня!» — со слезами на глазах, ликуя, закричал суеверный дикарь, простирая руки к луне и к застывшим вокруг луны небольшим облакам. Он придумал.

Мысль внешне была проста.

Среди ночи он повел свою единственную жену под обрыв и указал ей место, куда он будет прыгать. Стояла полная луна, небо было высокое. На земле были различимы отдельные камешки. «Сюда, милая, — он указал на бугорок земли, поросший высоким папоротником, — укрепи обломок копья на закате». — «Но меня заметят и прогонят». — «Не заметят», — и он улыбнулся.

Весь следующий день приговоренный бегал по своим дядькам, братьям и отцам с последней просьбой — он просил, чтобы родичи к закату явились на обрыв с плоскими

дощечками и тазами и чтобы колотили в них мерно и ровно, когда он будет идти на смерть. Родичи не отказали. Родичи обещали выполнить. Они немного погоревали и немного посочувствовали, как-никак у человека не каждый день смерть. Они спросили: «Для чего эти дощечки?» — и он, забывшись и, как всегда, немножко важничая, ответил: «Это я придумал, чтобы умирать было не больно». — «Помогает разве?» — «Конечно!» — а день уже клонился к закату.

Закат; это был ярко-алый, а потом багровый закат. Племя разбросанными группами собралось вблизи обрыва, они сидели на корточках на земле, они смотрели, они колотили в дощечки, — дикарь шел своими последними шагами к краю обрыва, и впервые в истории человечества гремел барабанный бой. Дикарь не спешил. Дикарь шел медленно. Барабанный бой был, разумеется, как все оригинальное, несовершенен — родичи колотили кто во что, сбиваясь с ритма и мешая друг другу; начало как начало. Уши и глаза всех собравшихся были отвлечены или, правильнее сказать, привлечены этим дурацким грохотом и этим нелепо горделивым шагом выдумщика. Жена тем временем под обрывом укрепила среди папоротников небольшой обломок копья. Дикарь прыгнул точно. Умер быстро. Он едва успел выкрикнуть с ликованием: «Совсем не больно!» — а солнце уже село за горизонт, для того он и шел к обрыву столь медленно. Стемнело. Стихли крикливые птицы. Жена, теперь уже вдова, извлекла копьё и незаметно вернулась в пещеру, чтобы обман не раскрылся и чтобы ее не наказали, — так у них было условлено.

Все удивлялись, племя было не на шутку взволновано: обычно крики умирающих слышались ночь и день и еще ночь. Утром вождь племени преодолел отдышку и самолично спустился под обрыв посмотреть, так как в племени от мала до велика уже шептались, что смерть была легка, мужественна и что на лице умершего улыбка, а оскала зубов нет.

Через год, а может быть, через три (число лет история тут тоже не зафиксировала), а может быть, через десять

пришел час умирать вождю племени, — в этот час, лежа в постели и тяжело страдая, он объявил, чтобы люди племени вновь собрались с плоскими дощечками и натянутыми для просушки шкурами животных. И чтобы, как и в тот раз, колотили в них палками. А он, умирающий от старых ран вождь племени, будет лежать и слушать их и испускать дух. Такова его воля. «О вождь, — сказали ему старейшины, — ты тем самым напомнишь людям племени о том шалопое. Получится, что ты его почтил».

— Ну так что же. Он был неглуп. Все это знают.

— Но ведь плагиат. Получится, что он действительно умер достойнее тебя.

— Я не тщеславен, — сурово ответил вождь племени, — я могу быть и вторым. — Он стиснул зубы от боли и на миг прикрыл тяжелые веки. — Я не тщеславен. А рокот ударов так ласкает ухо. В рокоте есть что-то сладостное...

Вождь племени был человеком мужественным, однако и он хотел умереть легко; он не хотел страданий и боли, и это не осталось секретом; люди припомнили это и оценили, как и положено им припоминать и оценивать. Следующий вождь тоже пожелал умирать под барабан. Потом — этого захотели видные старики. Потом, как всякое благо, это вошло и распространилось вширь: одними из первых этого захотели осужденные на смерть, в последней просьбе которым племя отказать никак не могло, — умирание под барабанный бой становилось привычным. Все шло своим путем: умирал человек, рождалась традиция.

У мусульман барабан заимствовали рыцари во времена крестовых походов — он проник в Европу с Востока. В России барабан появился при Иване III, накануне Ивана Грозного.

Со временем барабан терял и продолжает терять сейчас свою трагическую окраску, почти повсеместно осужденные на смерть уже перестали слышать его. Идущие в атаку некоторое время еще поддерживали свой дух рокотом последних и тревожных минут. Но и это постепенно сошло на нет.

Барабан вписался в состав оркестра, он так и звался — турецким барабаном, впрочем, роль его всегда была незначительна и строго определена. Сейчас барабан процветает в ансамблях в совершенно новом качестве — в разболтанных кистях молодцеватого ударника.

Ну и у детей, конечно. Дети любят барабан.

Лето было жаркое, мальчишка пребывал в пионерском лагере, — и однажды неясным каким-то образом он отстал от растянувшейся по лесу цепочки детей. И заблудился. При этом он унес единственный барабан пионерской дружины.

Он бродил по лесу — пацан как пацан, — шел себе и шел по узкой и смутной лесной тропинке. Лес был замечательный, в таком огромном лесу да еще и в одиночестве мальчишка был впервые. Он испытал восторг среди этих огромных деревьев, он даже несколько раз вскрикнул: с ним случилось что-то вроде видения отрока, хотя самого видения не было.

— Я как бы услышал голос природы, голос леса, — рассказывал он после, уже будучи взрослым.

У этой истории был свой забавный финал.

Барабанщик как-никак фигура в отряде заметная, — отбившийся и отставший, он блуждал по лесу часа два и еле-еле наконец добрался до своих, когда детвора уже вовсю резвилась на пляже. Солнце пекло. После пляжа был немедленно созван совет дружины. Вожатые, перенервничав, были настроены неумолимо — они не верили, что он заблудился: они сочли, что это неудавшийся побег домой. И лишили его звания барабанщика.

Характерно, что в этом же отряде был некий мальчик по имени Толик, — мальчик с обостренным чувством справедливости. Он уже в детстве различал ту или иную степень проступка; более того, он уже тогда умел дифференцировать промахи и уже тогда догадывался, какая мера наказания в том или ином случае проступку соответствует. Не всякий вожатый знал такое.

Он поднял руку и выступил так:

— Из пионеров его исключать, пожалуй, не надо. —
И добавил: — Но из барабанщиков его исключить необходимо. Он не имеет права носить наш барабан.

10

Севка Серый, поселковый бездельник и почти дурачок, был заподозрен в воровстве; в карманах у него были найдены светлые овальные листочки, два платиновых и два серебряных. Севка ходил по поселку и болтал, что видел ночью русалку: русалка шлепала по отмели и была совершенно голая. Севки она не стеснялась. Грудь у нее была высокая, и соски торчали в разные стороны. Дурачок рассказывал, что вскоре они с русалкой поладили и живут теперь душа в душу. Женщина она милая и приветливая. Не без причуд. Но нежная. Когда Севка рассказывал, глаза у него горели — вот тут ему и вывернули карманы.

— А это что?

— Это — ее. — Севка самодовольно хмыкал.

— Что ее?

— Чешуя. Ночью был с ней, и дала мне своей чешуи немного. Сама дала.

— А не отщипнул ли у нее потихоньку?

— Не-е-ет!

Тарас Михайлович, управляющий, смотрел в глаза этому дураку и слушал его без улыбки, с терпеньем. Может, и не он крал, может, он подобрал где-то, а крали другие — кто знает. «Выпороть», — велел Тарас Михайлович. Вокруг Рудничного были еще четыре поселка, и воровство нужно было пресекать во всех видах. Казачки постарались на славу. А как только зад и спина пришли в норму, Севка сразу же сбежал в горы и там отныне шлялся — то в одиночку, то с друзьями. Говорили, что у него появился мрачный приятель и Серый во всем его слушает. Жили они будто бы в далеком хуторке, у вдовы, — приятель был мра-

чен, а Серый день и ночь орал забубенные песни; кто из них жил с вдовой, было неизвестно, кажется оба. Вспоминая про Серого, Тарас Михайлович каждый раз усмехался. На другой же день после порки Тарас Михайлович был в пути и спустился к реке, чтобы напоить лошадь; была ночь, луна. Тарас Михайлович увидел русалку как раз тогда, когда увидеть было проще всего, — лошадь пила. Лошадь даже не покосилась на голую бабу, не фыркнула. Луна стояла полная и рассекала Урал белой тропой поперек. Русалка плыла на боку, она плыла куда легче, чем люди. На отмели она встала, опираясь на широкий подвернутый хвост, — поманила Тараса Михайловича пальцем, теперь он ее видел вблизи. Ростом она была с мелкую женщину. «Не холодно?» — спросил он и засмеялся. Она не ответила, она уплыла. А он поднялся с лошадью к дороге. Спутники зевали. Покачиваясь в седле, Тарас Михайлович возвращался домой и нет-нет вспоминал ее тело.

Они попались только через год: они пытались ограбить церковь и попусту убили звонаря Тимофея. Они говорили ему: «Иди отсюда!» — а звонарь им мешал. «Что делаете, люди?» — спрашивал звонарь и суетился, мешал им. «Уходи отсюда!» — Серый тюкнул его крестом среднего веса, не тяжело тюкнул, но в темя, и этого хватило. Старый звонарь ткнулся лысиной в угол, затих. Он даже ножками не подергал. Он уже много лет был глух. Когда ему говорили: «Иди отсюда!» — он не понимал. Мужики прибежали на шум вовремя. Серый выскочил в высокое окно, удачно выпрыгнул, он даже не прихрамывал, когда бежал, — лошадь была рядом. Приятель Серого уйти не сумел. Это был высокий, как стебель, светловолосый малый — с виду мрачный, хотя мрачным он не был. Звали его Афонькой. Тарас Михайлович и полицейский чин Дуда прибыли не спеша, оба зевали, хотелось спать.

Дуда сидел на корточках — он разглядывал ободранное золото, развязал узел: в узле были кресты и оклады. Мужики стояли кружком возле церкви, курили, суровые, злые и

на расправу скорые — и потому Афонька тоже спешил. Афонька рассказывал. Он торопился. Он раскачивал головой, и чуб хлестался туда-сюда: «Не я убил... Мужики, поверьте... Не убивал я», — руки у Афоньки были скручены. Старик звонарь лежал рядом, теплый. Мужики слушали и плевались. Уже светало. Было ясно, что поймали поганца, который не умеет принять ни побоев, ни смерть. Мужики глядели заспанно и зло. Афонька понимал, что ему конец, но переиначить ничего не мог — и хотя бы криком и метаньями пытался что-то поправить: «Он вор! Он подговаривал меня церковь ограбить, мыслимое ли дело — храм Божий!» — Афонька лепетал и сам не слышал, что он лепечет.

Но Дуда слышал:

— Надо еще доказать, что не ты убил.

— Богом клянусь! — Афонька рухнул на колени.

На маковку церкви брызнуло солнце. Дуда размышлял: он ждал казаков, чтобы отправить Афоньку в арестантскую, но колебался — нужно ли это? Серого теперь не поймать. Поэтому просто и правильно будет, не дожидаясь казаков, объявить сейчас же, что убил звонаря Афонька, и отдать его мужикам — делу точка.

— Каков подлюга, — шепнул Дуда Тарасу Михайловичу.

И еще шепнул:

— Пусть кончат его... А того поймаем в свое время.

— Вам виднее.

Афонька не слышал их шепот, Афонька и не пытался догадываться, о чем они шепчутся, — он знал о чем. Он закричал в голос. Он распрямылся. Он стал красив в эту минуту. «Суки, вам кого бы ни убить, лишь бы убить. Звери! Вам лишь бы отделаться. А он... — Афонька глотнул воздух, как глотают в последний раз. — А он *заступницу топтал*. Он икону топтал. Ногами!» — Афонька нашел гениальный ход себе во спасение. Мужики и сбежавшиеся рабочие по камню, и Дуда, и сам Тарас Михайлович не отрывали глаз от Афоньки, от белозубого его рта, надеясь, что это неправда и что это никак не может быть правдой, что лжет поганец, наговаривает.

И в то же время смутно и неодолимо до них доходило, что Афонька не лжет. Минуты тянулись медленно. Солнце там и сям заиграло на окнах. Мужики стояли, молчали и еще не до конца поняли, что Афонька вырвал свое горло из их рук. А он уже понял. Он понял это раньше их. Он стоял и плакал, опустив голову; руки у него были скручены за спиной.

Следы подковок, которые оставил сапог дурачка Севки Серого, были как прерывистые черточки. Кап. Кап. Кап. Как слезы. К вечеру стали приходиться и рабочие с рудника и бабы; они снимали шапки при входе; они входили в церковь и крестились. Заступница лежала на виду, на полу — второпях брошенная, — и поп не поднял ее, не поставил на место, потому что все хотели видеть, *как* она брошена: увидеть, а не услышать со слов. На лице ее и на правой половине оклада виднелись эти жесткие царапины, кап, кап, кап, — заступница как бы роняла слезы.

— ...Тут он пробежал до угла.

— До которого угла?

— До этого. Сорвал ее — и на пол. И стал топтать. — Афонька рассказывал с жаром, с каким рассказывают все раскаявшиеся. — И мою душу едва-едва не погубил. Мне вдруг тоже захотелось ее топтать. — Афонька припадал к лику. Ползал губами по следам подковок. — Однако уберег Бог. Охранил...

Мужики крестились и кивали головами. Было слышно, как потрескивают свечи. Лица были суровы. Афонька отрывался от иконы, выбегал на паперть и созывал новых. И опять рассказывал. Руки его были развязаны; о нем уже никто не думал.

А на базаре спьяну или просто по глупости кто-то из мужиков, продававших сено, плохо сказал о богородице; люди его схватили. Толпа набегала и напирала. «Поймали. Только что поймали!» — говорили вокруг, а если не говорили, то думали так, толкаясь и вытягивая шею, чтобы увидеть. В тот день на базаре было много драк и пропало

двое детей. Базар гудел и волновался от края до края. Схваченного за плохие слова едва не убили; полдня его отливали водой; он трудно дышал и повторял: «Родные... Родные мои. О ком угодно. О себе. О жене. О детях... Но никогда о Божьей матушке».

Он хрипел:

— Никогда не топтал... и не сказал о ней плохо — простите, люди.

К вечеру он стал заговариваться:

— Сенца моего? Сенца хотите?.. За рубль сорок. Гуляй, ребята, на все.

Лежал он возле своего воза с сеном, с которым приехал на базар. Жена хлопотала около, а потом уже не хлопотала — сидела и держала в протянутой руке кружку с водой: пей, родимый. Сено она так и не продала. Всю ночь он лежал там же, в базарном ряду, и пялил глаза на мелкие звезды, бубнил: «Копеечка к копейке. Рубль сорок», — к утру он умер; жена все сидела и держала кружку с водой. Утром она повезла его в деревню, домой, чтобы похоронить; сюда живой, а отсюда мертвый — так он и ехал на своем возу с сеном. В деревне жена не обмолвилась ни словом. Она понимала, что голосить можно, плакать можно, убиваться можно, но ни о Божьей матушке, ни о том, что с кем-то спутали, лучше не заикаться, — убили и убили, земля ему пухом.

Афоня появлялся на людях там и здесь, он рассказывал — пришло время подробностей: «...Он и меня уговаривал — попрыгал на ней, на Божьей-то матушке. Потопчи, говорит, ногами». — «А ты?» — «Подошел я ближе, а она на меня смотрит. Меня словно водой окатило. Не буду, говорю, и конец!» — с воспаленными глазами, простуженный, Афоня прибежал в управление к Тарасу Михайловичу:

— Афоня я. Здравствуйте. Это же я — Афоня... Пусть казаки меня поспрашивают: я все его теплые местечки знаю.

Управляющий сказал:

— Разволновался ты.

— Упустят ведь, Тарас Михайлович. — Он хлопал себя

по коленям («Упустят!»), он страдальчески кривил лицо («Упустят, упустят!») — и Тарас Михайлович не мог не знать, как слушают сейчас Афоню люди, как ловят они каждое Афонино слово. Время для человека, а не человек для времени: пришел и Афонин час.

Тарас Михайлович поинтересовался:

— А не боишься, что в тот самый день, когда разорвут его, разорвут и тебя?

Афоня засмеялся:

— Мы с ним не в один день родились.

— И не в один день умрете?

— Не в один.

Под окнами раздались гул и вой; там собралась толпа — в основном бабы, старухи и дети. «Афоня-я-я... Афоня-я-я!» — они кликали своего любимца, они звали, они не могли так долго быть без него. Две истошногосые кликуши резали воздух протяжными стонами. «Пооди к ним, поганец», — но тут же Тарас Михайлович спохватился, он тут же подыскал другие слова. Он велел поднести Афоне стопку. Афоня покачал головой:

— Не пью. Не такое время, Тарас Михайлович, чтобы пить.

Севка Серый просился переночевать у кабатчицы. Он говорил: «Денег, тетя, при мне нет. Но я отдам после — ты же меня знаешь». Кабатчица тряслась от страха, но виду не подавала. Она ответила — пей, сочтемся после. Кабатчица была лет тридцати, вся в теле, белая, как белая сметана. Мужа у нее задавило в руднике; второй муж сгорел от водки. И вот Серый стал поглядывать на нее и маслить глаза:

— Детишек уложила?

— Спят. — Она еле выговаривала слова.

— Хорошо живешь!

— Пей, милый...

— А не холодно одной ночью?

Она была старше его лет на десять, и потому смущаться

должен был он — а смущалась она. Тут только он заметил, что она дрожит.

— Оставишь на ночь меня или нет?

— Нельзя мне, милый.

Они пошли на жилую половину — теперь она дрожала всем телом.

— Почему же нельзя?

— Нельзя, милый. На сеновал иди.

Он облизнул губы, он был как рыба на крючке; у дверей он попытался ее потискать. За перегородкой спали дети. Где-то в далеком углу горела маленькая свечечка.

— Слушай, кума, — зашептал Серый, — я ведь с Петухом водился, в шайке его был — мы там кой-чего пособирали, золотишко, камушки. Я тебе привезу.

Она молчала и тряслась.

— У меня там сережки имеются, глаз не оторвешь. Платиновые. Моя доля лежит...

Он загибал пальцы:

— Значит, серьги. Брошка есть. Браслетка есть. Ну и монеты золотые — много не дам, но что-то подарю.

Он еще раз спросил:

— Поладим?

— Нет...

— Чего? Я не обманщик.

— Нельзя, милый.

И тогда Серый взмолился: «Тетенька, ну чего тебе стоит. Томлюсь я, одиноко мне!» — он потянулся к ней, но она отодвинула его рукой. Севка пошел на сеновал и все пожимал плечами — чудная какая баба, дрожит всем телом, а непонятная, может, больна чем?.. Только утром он узнал, что имя его разнеслось широко, и узнал, *за что* его ловят. Пахнувший сеновалом, поевший, Севка Серый оглаживал коня, а мимо с заутрени ташились старухи: они не знали его в лицо; они злобно шептались:

— Богохульник топчет икону для своего же горя.

— А батюшка наш медлит.

Севка стоял в пяти шагах от старух, заслоненный лошадью.

— В Троицкой его уже сегодня проклинать будут. А когда же мы?

— В Троицкой мужики умелые. Изловят Серого — и на дереве кончат.

Севка похолодел, потом затрясся самой мелкой дрожью. Кончить на дереве — вид казни за святотатство, взятый у старообрядцев и встречавшийся крайне редко. Серый сразу же вспомнил, как в ту ночь в суете ограбления поскользнулся он на иконе: икона валялась, он поскользнулся и в ярости дважды топнул сапогом. Старухи прошли мимо. Его била дрожь. Он и думать не думал, что до такой степени боится смерти. Весь день он гнал и гнал лошадь. Он попытался добыть ружье, но не вышло: не повезло самую малость. Один казак спал в седле, другой на траве. Их было двое посреди ровного поля — Серый крался, подползал к ним, травинка не шелохнулась. Тихо было. И без луны. Но казак не спал. Когда Серый потянулся к стволу, казак вдруг ударил его в лицо — резко и сильно. Серый побежал, постанывая, а казак смеялся. «Чего ты?» — спросил тот, что спал в седле. «А тут бродяжка подполз. За хлебом к сумке тянулся. Ох и засветил я ему!»

Они прислушались к топоту уезжавшего прочь Севки Серого.

— На коне... Значит, не бродяжка. Пастух.

— Пастухи сейчас голодные.

И опять Серый гнал лошадь всю ночь, он забирался подалее в горы: он замыслил отсидеться в маленькой и жалкой шайке атамана Петуха, в которой он нет-нет и объявлялся. Навстречу Серому кинулась одна из бабенок — Нюрка, совсем молоденькая. «Женишок мой явился — гляньте!» Нюрка всплеснула руками и полезла целоваться. Она была навеселе. Она называла женишком каждого. Вся шайка была навеселе, про икону они не знали. Севка Серый сразу же стал подбивать их идти к киргизам — в степи. «Поехали на всю осень — погуляем!» — то одному, то другому Серый говорил, что доподлинно знает о степных доро-

гах, на которых можно разжиться. И ковры добыть можно, и золотишко, наше же, уральское, вывозное, и лошадей каких! Однако атаман был в этот раз необычный — и мягкий, и ласковый. Атаман сидел в шалаше, он усадил Севку рядом и спросил, не видел ли Серый свою мать.

— Не видел. Через болота ехал, — Серому не нравился разговор.

— Лицом ты плох.

— Я не девица.

— А все же отдохни. Не помылся. Не поспал, — очень был ласковый у атамана голос.

Серый помылся. Поспал. Лег он тут же, у шалаша, взял чей-то полушубок и завернулся.

В ночь атаман отправил Серого и совсем молоденького Ваню Зубкова к пастухам — чтобы прихватили овцу-две. Серый не почуял подвоха: подумал, что атаман приучает к послушанию и дает урок. А когда вернулись, ни ребят, ни атамана не было. С добром, с лошадьми шайка снялась с места тогда же, в ночь. Зола в костре была совсем холодная. Серый и Ваня Зубков перекурили, оглядывая пустое, брошенное место. «Запросто так не бросают, — хмыкнул Ваня Зубков. — Чего-то ты ему сделал».

— Ничего не сделал.

— Наступил ты ему когда-то на ногу, Серый.

Серый скривил рот:

— Может, ты наступил — вспомни.

Под сосной они увидели еще человека, которого бросили.

— Эй, красота писаная! — крикнул Ваня Зубков.

Нюрка проснулась — ее не бросили, пьяненькую ее попросту забыли. Голова у нее разламывалась. Нюрка долго и скучно смотрела, как смотрит сова, и не понимала, что произошло: «Чаю бы попить, а?» Днем все трое спали — и Ване Зубкову приснился вещий сон: приснилось, что конь под ним заиграл ни с того ни с сего, Ваня спрыгнул наземь и превратился в ужа и долго полз, пока не заполз в темный и чистый колодец. «Коня убьют, — растолковала Нюрка, — а потом тебя тоже убьют».

— Колодец-то был чистый...

— Это все равно. Это ничего не меняет, колодец был темный.

Они помолчали. Ваня Зубков спросил:

— Почему же про Серого во сне ничего нет?

Нюрка пожала плечами:

— Нет, стало быть, нет.

Был им еще знак. К ночи на Севку Серого напали гулики — они нападают на человека, если ему грозит смерть, притом мучительная. Они нападают, как нападает озноб, маленькие, мохнатенькие и ласковые: их нельзя ни схватить, ни пощупать. Серый сидел возле ямы с водой и смотрел на плавающие листья. Нюрка сразу догадалась и подсела к нему: «Что, Серенький, плохо?» — а он дрожал и бил зубами. Она спросила, не лихорадка ли, хотя знала, что это гулики. Севка выговорил еле-еле: «Когда маленький был... маленький, в церковь ходил». — «Молился?» — «Каждый день», — и тут он откинулся на землю, на траву и стал мотать головой из стороны в сторону, как мотают во сне больные люди. Нюрка позвала Ваню Зубкова, и оба смотрели, что с ним делается.

Казак уже было проехали мимо, но один из них приостановил коня: «Тимка. Бабой пахнет. Ей-богу». — «Дурной. Тебе везде бабой пахнет». — «Ей-богу, чую... Молодая!» — голоса их были хорошо слышны. И тут казак наехал на яму с водой: там сохла стиральная косынка Нюрки, алая. Казак зыркнул глазом, разглядел, молча прицелился и первой же пулей уложил коня Вани Зубкова. Лошадь Серого рванулась, но в нее тоже попали. Серый побежал, пригнувшись и припадая под выстрелами, — на его счастье, на пути оказался низкорослый ельник. Серый кинулся туда; на четвереньках он вынырнул на той стороне ельника и побежал под гору. Там были дубы, и ничего уже не оставалось, кроме как залезть в дупло. Ружье он бросил еще в ельнике. В дупле пахло прелью, под ногами что-то пискнуло, белка или крыса. «Убег?» — голоса послышались со-

всем близко. «Не убеги... Вот и дупло!» — казаки были рядом. По телу Серого — от ног к спине — прокатился нервный когтистый комочек: животное загодя почуяло опасность.

— Глянь. Белка, — засмеялся один из казаков, он как раз навел ружье на ствол дуба.

С коней они слезать не стали. Бахнул выстрел, свинец задел плечо, Серый негромко охнул. Дуб загудел там и здесь: свинец распарывал кору и влетал в дупло. «Мамынька, — повторял шепотом Севка Серый и при новом выстреле опять: — Мамынька... Мамынька... Мамынька». Он не смел пошевелинуться, дышал трухой и прелью и ждал пулю в грудь.

— Хватит заряды тратить, — крикнул казак постарше.

— Глянуть, что ли?

Третий сказал:

— Незачем и с седла слезать. Если он там, завтра учуем; на весь лес смердеть будет. — Они лениво повернули коней и поскакали. Один из казаков сунул в сумку двух белок; пока остальные палили по дубу, он времени не терял. Серый ждал. Стихло. Кое-как он ухватился за край дупла, подтянулся, потом рухнул на траву и истошно заорал от боли. Плечо, щека, ноги были в крови, он орал, ему было все равно, слышат его или не слышат.

В обед ударили в колокол во всех четырех близких церквях; в той церкви, которую грабили, убиенного звонаря заменил Афоня. Он очень похудел, звонил он старательно, яростно. По дорогам самолично ходил поп Василий, отступнику Севке, говорил он, ни крова, ни воды, ни хлеба. Поп Василий низко кланялся на перекрестках: «Помните, люди, кроме вас, ему некуда деться», — иногда поп Василий ходил вместе с Афоней, и они вместе кланялись людям на перекрестке. Тарас Михайлович велел привести Афоньку; когда остались наедине, он велел Афоньке не юродствовать, он спросил — где может таиться твой дружок. «Он мне не дружок», —

ответил Афонька. Тогда Тарас Михайлович повысил голос:

— Где может таиться твой дружок?

Афоня ответил:

— Раз — это у матери.

— Еще?

— Два — это, может статься, к атаману побег. — Однако ни у матери, ни в той полудохлой шайке Серого не было; Тарас Михайлович задумался. Под окнами опять гомонили старухи, они трясли клюками. «Афоня, — кричали они и звали: — Афоня-милостивец!» Афоня переминался с ноги на ногу. Он хотел уйти. Тарас Михайлович еще спросил: не объявить ли для пользы дела, что золото, которое найдут у Серого, пойдет в шапку тому, кто поймал или больше других помогал поймать отступника. Афоня был против; Афоня покачал головой, глаза у Афони стали лошадиными, печальными:

— Народ не за золото ловит его, Тарас Михайлович...

Однако всераскаявшегося из Афони не получалось. Все больше и больше бегал он от двора к двору, от поселка к поселку: «Люди! Не упустите его, прошу вас!» — Афоня был в мыле, он осунулся. Но слушали его не так охотно, потому что появились праведные люди и теперь слушали их. За Фомой из далекого и старого города Гориславля ходила большая толпа. В каждом поселке Фому кормили, и старухи загодя и задолго забегали вперед и отыскивали почище двор, где его накормят и дадут ногам отдых. Фома носил на груди медный крест величиной с ладонь. Если он проклинал, всем делалось жутко и сладко:

— Воры вы. Скоты вы. Потому и не можете отыскать богохульника.

И еще выкрикивал он:

— Как можно отыскать каплю среди капель?.. Как можно отыскать грешника среди грешных? — Мужики замирали. Иногда Фому слушали на коленях; старухи просили его: «Праведный. Слепцы мы. Укажи нам ты, где богохульник Севка». — «А я вам говорю, что он под крышей», — отве-

тил Фома, и ранним утром толпа разворотила все сеновалы, все чердаки, обшарила дом за домом, и всем сделалось легче, когда стало ясно, что Серый скрывается, стало быть, не в их поселке.

С воспалившимися ранами, в полубредовом состоянии Севка Серый шел по лесу, шел и падал. Он ковырял пулю в плече со стоном и тихим воем. Потом он ел траву — он рвал ее пучками и ел, потом перебирался на другое место и опять ел, как это делают больные собаки. Он брел всю ночь и — при луне — наткнулся на полуобвалившуюся землянку, ту самую землянку, где их настигли казаки. Оказывается, он кружил по лесу. «Эй, кто там?» — окликнул его бабий заспанный голос, и он увидел Нюрку. С трудом поворачивая язык, он спросил:

— Чего ты здесь?

— Ничего... Бросили они меня. А Ваню убили.

— Здесь же убили?

— Ага. Зарыла его.

У Серого кружилась голова — он сел, он не хотел больше двигаться.

— А казаки?

Она рассказала — казаки, конечно, схватили ее. Бить не били. Казаки баб не бьют.

— Накормили на год вперед? — спросил он вяло.

— Еще бы. Кто им мешал. — Нюрка погладила свои плечи, скользнула руками по груди; огладилась, словно отряхнулась. Они поели остатками казачьей еды, погрызли зайца. — Светать скоро будет.

— Ага.

Он лег подремать, а она все горбилась над котелком, чистила. Серый влез в землянку и зарылся в солому на час-два, как-никак, а под крышей. На Нюрку напали благочестивые мысли: она всплакнула, она думала, что с утра обязательно попросит Серого больше не воровать, попросит полюбить Бога и жениться на ней, на Нюрке, а иначе как ей вернуться в поселок. «Что?» — Серый не понимал, а

Нюрка уже жарко шептала ему на ухо, прилезла к нему в солому, уговаривала. Тело Серого болело, горело, особенно ноги. А Нюрка ластилась и уговаривала: «Поженемся... Женой буду... верной», — он начал стонать: оставь же ты меня в покое. Он думал, что надо бы встать и, пока свежо, уйти подальше в горы, но тут Нюрка неосторожно придавила ему плечо, и он потерял сознание. Увидев, что он недвижим, Нюрка заревела и стала его проклинать:

— Сволочуга ты серая. Будь ты проклят, и ты, и род твой, и твое потомство...

Она билась головой о низкие бревна землянки:

— ...И чтобы не спалось тебе отныне нигде! И чтоб покоя ты ночами не находил! И чтоб смерть стерегла тебя страшная! — Потом она вытерла слезы и осторожно вытащила Серого из землянки. Она подняла его, он не понимал в короткие просветы сознания, что с ним происходит, — она вела его к дороге; бережно и крепко прихватив руками, она чуть ли не на себе тащила его. Ей вновь думалось, что главное добраться до дороги и что в первом же поселке с церковью батюшка пожурит ее, заставит покаяться, простит воровство Серому и обвенчает их. Потом они сядут на телегу и приедут в дом, где мать и где сестренки; и тетка Луша, поздравляя, принесет давно обещанные красные и белые ленты.

...Первое, что, очнувшись, увидел Севка Серый, это колесо; из втулки жирно выступал деготь, колесо было запыленное. Он понял, что они оба стоят у дороги — Нюрка и Серый — и Нюрка его поддерживает. Сам стоять он не мог. Он пошатывался. «Эй! — кричала Нюрка. Она остановила проезжающую телегу и уговаривала: — Эй, подвезика нас... Нам недалеко. А это — мой мужик».

— Чего он у тебя на ровном месте колышется?

— Да побили.

— Вижу... Кто же это?

— Нашлись люди добрые. Мне бы с ним до церкви доехать — обвенчаться нам надо.

— Невтерпеж? — Возница молодой, и смешливый, и

белолицый, и хваткий, подошел ближе. Но Серый мутным взглядом только и видел колесо да его сапоги, деготь на колесе и на сапогах деготь; головы поднять он не мог.

— На погост его, а не в церкву... Нет, что ли, вокруг людей поздоровее? Хотя бы и я!

Парень шлепнул Нюрку по заду, она взвизгнула. Осторожно клоня, они вдвоем положили Серого на телегу — тронулись. Сначала Нюрка сидела рядом с Серым. Он процедил сквозь зубы: «Тряско мне...» — «Потерпи», — потом Нюрка пересела ближе к вознице. Одной рукой он правил лошадьми, другую смело пустил по бедрам Нюрки. Она была его ладонью. Оба смеялись.

Дорога пошла сильно вниз — к ручью. Парень сдерживал лошадей, как мог, потом пустил. Когда телега с лету загрохотала по гальке, тело Серого сместилось, голова перевесила, и он вывалился, больно вскрикнув и не понимая, что случилось. «Э-гей!» — кричал молодой возница, и лошади, не теряя разбега, тем же летом взбирались теперь в гору. Оба не заметили. Нюрка оглянулась уже на самой горе — Серый мертво лежал в ручье. Она что-то сказала вознице.

— А пусть попьет, — громко и лихо ответил тот. И хлестнул лошадей. Пара пошла резвее, прибавила, запыхала. Слышно было, как Нюрка смеялась: «Ух ты какой!» — говорила она вознице. «А вот такой!» — отвечал он и одной рукой правил, а другой, отложив кнут, опять взялся за Нюрку, молодой был и смешливый, и белолицый, и хваткий.

«Серый, Серый!» — кричали пацаны, и, поднявшийся, Севка шатался из стороны в сторону. Он подошел к пацанам ближе и, мыкая словами, попросил хлеба. Кто-то из пацанов узнал его, или же пацан попросту испугался и уже от испуга решил, что перед ним тот самый, кого ловят. «Серый, Серый!» — пацаны кричали, и тогда он побежал. Они бросали в него камни. Он бежал, тяжело шатаясь, как набухшая колода. Пацаны не отставали. Он замах-

нул, но еще больше раздражил их. Тогда он свернул с тропы и влез в кусты шиповника, — а они побежали к взрослому: «Серый!.. Нашелся Серый!»

Он слышал, как ударил колокол в церкви. Тело горело огнем. Тошнило, и жевать траву он не мог... Сквозь шиповник он видел, как шли мужики с вилами. Колокол бил не переставая. Серый поднялся и медленно вышел им навстречу — на дорогу. Мужиков было трое. «Хлебца мне», — попросил он.

— Иди, иди!.. Иди, не мешай нам! — сказали они.

Он стоял и пошатывался.

— Бродяг в этом году развелось, — сказал мужик и сплюнул в дорожную пыль.

Второй вновь прикрикнул на Серого:

— Иди, говорят тебе — хлеба нет, хлеба мы сами на раз взяли. А нам, может, до ночи тут караулить.

Двое мужиков были с вилами, третий с топором — тот, что с топором, имел при себе крепкую и большую веревку. Серый, шатаясь, поплелся в лес, потому что они его согнали с дороги; они были совершенно трезвы, они попросту не знали его в лицо. Они предполагали, что богохульник, которого ловят, человек особенный. А тот, что держал веревку, был втайне уверен, что у богохульника есть рога и хвост, хотя бы небольшой.

К вечеру, ковыляющий и тяжело дышащий, Серый через овраг выбрался к реке и упал там в кустах. Он увидел в реке — на лунной дорожке — русалку, он взгляделся и узнал ее. Она была далеко. Она плавала; он видел, как она заиграла казака из тех, что сторожили на лодке. Казак был пьян и хотел речной свежести. Он плавал под луной возле лодки, фыркал, смеялся и кричал на всю реку: «Ого-го-го-го!» — она заиграла его на самой середине Урала, поманила, потом высунулась из воды по грудь, отжала волосы, — казак кинулся за ней, глубоко нырнул и был готов. Вода серебрилась; была луна.

Нежась, она плыла вдоль берега и увидела Серого — она подплыла поближе, теперь она стояла на отмели. Севка

лежал у куста, в десяти шагах от нее. «Здравствуй, — сказала она и улыбнулась. — Здравствуй... Это я ворожила. Это я, милый, эти дни оберегала тебя». — Она засмеялась своим холодным смехом:

— Это я ворожила, чтобы ты им не попался.

— Спасибо тебе.

— Идем, — поманила она. — Поиграем...

— Не. Больной я. Не подниматься мне.

— Спустись хотя бы ближе к воде. Я тебя немножко потрогаю. Поцелую. — До воды было шагов пять, не больше. Но ползти он не смог — он тяжело дышал и, как рыба, хватал ртом воздух. Песок был мокрый, и Севка смог продвинуться только на шаг... Плечи ее замерзли. Она окунулась в воду. Она долго ждала его на мелководье, потом уплыла.

Боль поутихла, однако вылезти утром из оврага самостоятельно Серый не мог, вновь упал — сверху над оврагом он увидел вдруг человека и узнал его. Старик Федосеич, известный мастер по камню, стоял там и неторопливо мочился сверху вниз. «Серый, — крикнул Федосеич, не прерывая дела. — Ты, что ль?.. Левее бери. Там тропа», — он вскарабкался вверх, а Федосеич ему говорил:

— Ты уж, малый, не прячься более — поймали богохульника. Вчера еще мужики схватили его. Хитер был бес, да не спрятался.

— Поймали? — тупо переспросил Серый. Он был слишком слаб, чтобы расспрашивать или удивляться.

— А конечно!.. Поехали — сейчас и посмотришь.

Федосеич вез битый малахит. Камень громоздился большими зеленоватыми глыбами.

— Садись, — Федосеич отгреб камень, давая на телеге место, и крикнул лошади: — Нно-о! Трогая, клятая.

Телега мягко катилась в пыли. Серый сидел, лишившись последних сил; он вяло глядел по сторонам — там медленно ползли горы. Севке казалось, что сто лет он не ездил на телеге, сто лет не слезал он с седла. И земля, и

кусты, и деревья были совсем другими, если глядеть с телеги. «Поймали, — рассказывал монотонно Федосеич. — Поймали... Правду, брат, не утаишь. Грянул суд Божий».

С телеги слева открывался пустырь — с полынью и с кучами отработанного камня. Толпа была немалая. «Ой, лишенько наше! Ой, горе!» — повизгивали бабы в белых платках, возбужденно прижав руки к груди. Рядами стояли женщины. Рядами стояли мужики. Чтобы увидеть и протиснуться, надо было поработать локтями и протолкаться к одинокому дереву — там, на дереве, кончали Афоню. Сыромятными жилками бедняга был прикручен к стволу старой березы; руки тоже были прикручены. Кнутами били двое — один справа, другой левша. Оба заплечника стояли не рядом, чтобы не тесниться, чтобы метить и чтобы кнут не мешал кнуту. «Не топтал я божьей матушки! Слепые! Глупые!» — кричал казнимый. Один глаз у него был выбит. Щека с этой же стороны превратилась в рвань; ребра и грудь кровавились полосами. Заплечники не били по животу и не били по паху, чтобы Афоня не кончился быстро. Кто-то из толпы крикнул:

— Топтал! Топтал!.. Кто же, как не ты!

И высокий, мстительный, молодой голос какого-то парнишки добавил:

— Узнали. Мы, брат, все узнали.

Афоня исходил криком: «Люди!.. Воровал, грабил, но не топтал я заступницу, люди!» Бабы заголосили. Заплечник, что справа, нечаянно взял кнутом ниже и тут же распорол живот. И тогда тот, что слева, профессионально глянул на правого — пора, что ли? — и тоже ударил ниже. И в перестук они в три минуты доделали дело. Голова Афони свесилась вниз; светлые и наполовину белые волосы закрыли лицо. Подскочил Дуда на вороном коне.

— Это что за самосуд? — заорал он. — Запорю мерзавцев! — Люди стали тесниться. Заплечники тут же нырнули в толпу и исчезли. Возле Афони валялся брошенный кнут. Кто-то крикнул: «А все же поймали!» Дуда наехал на него конем:

— Что-о?.. Расходись!

Толпа уже разбегалась. Дуда криком кричал:

— Расходись! Р-расходись, болотные!

К Севке Серому стали приходиться все те, кто еще вчера его ловил... *Одним же из первых пришел к Серому родич его Петр. И громадный же был человек родич Петр, и руки сильные, и лучший мукомол в округе. И еще как Серого вылавливали, сторожил же его родич этот Петр на определенном месте Урала, и большая ж была в те времена река Урал, и мальчиками играли там в детстве — и была там потаенная пещера, и думал Петр, что израненный Севка Серый туда непременно придет, и куда ж ему деться. И появившись Серый там раненый и стони громко и больно, — и все равно скрутил бы его немедленно родич Петр. И помощи никакой звать не стал бы, один бы скрутил, и громадный же был человек, и сильные руки, и в округе же лучший мукомол.* Теперь этот родич и лучший мукомол пришел каяться.

— Прости, Северьян, — сказал родич Петр с порога. Он комкал в руках шапку и не знал, дадут ли ему хоть чаю. — Плохо я о тебе думал тогда. Прости.

— Проходи, Петр.

— Прости сначала...

Мать дала чаю и по стопке им дала, и Серый охотно отвечал родичу, что все случившееся не беда и что Бог простит. Серый был спокоен, и как-то даже необычно спокоен. Он целыми днями ничего не делал. Он целыми днями распивал чай. Он каждый вечер мылся в бане и попивал водочку. И опять к нему приходили. Опять стояли на пороге знакомые или родные. «Прости, — говорили они. — Плохо о тебе думал. Винюсь», — они приносили подарки, приносили выпить. Недели через две все так же тихо и спокойно Серый стал собираться в горы. Он отыскал себе хорошие рукавицы, потом нож; готовил помаленьку одежду.

— Да куда ж ты, поганец? — выговаривала мать.

Он отмалчивался. Он пил чай. Он мылся в баньке. А однажды ответил ей со смехом:

— Надо, мамынька, вот и ухожу.
— Афонькиным путем пойдешь!
— А что ж такого, мамынька, Афоня у меня друг был один-единственный. Смерть за меня принял. Может, ждет он.

— Тьфу! Где он тебя ждет?

— Там, мамынька.

Мать связала ему теплую рубашку из чистой шерсти и носки; в горах холодно.

— Спасибо... Это сгодится.

— Какой он тебе друг!.. Собака. Ты и знать не знаешь, что он на тебя наговаривал.

— А он не наговаривал. Он правду сказал.

— Тсс, сынок. Тссс...

Тарас Михайлович тоже приехал на час в гости, сидел, стопку выпил, привел коня в подарок. «Спасибо за коня, спасибо вам, Тарас Михайлович...» — и было непонятно и даже как-то неожиданно, когда на другой же день Серый отбыл в горы. Мать провожала его далеко, до крутого подъема — шла рядом, держалась рукой за стремя. Людям отъезд Севки Серого не понравился. Еще больше им не понравилось, когда через несколько дней он ограбил мещанина на дороге, отнял коня себе в запас и ружье. И скоро люди стали поговаривать, что это неспроста и что Серый, видно, тоже топтал в тот раз икону, «хотя бы немного, а все же топтал»... С этих слов начинаются, как правило, все рассказы о Северьяне Сером, знаменитом уральском разбойнике; топтание иконы засчитывалось ему как первый по порядку грех, а вся история, рассказанная выше, так обычно и называлась — *первый грех Серого*.

11

Есть такая картинка в книге греческой мифологии — борьба богов и титанов: они там бросаются огромными скалами, душат друг друга и всячески сводят сами себя на нет.

Есть свой гигантизм и у голосов. Почему бы голосу и не поселиться в твоём нутре, как поселяются там паразиты, почему бы и не высасывать, не вычерпывать тебя до немоты, если ты сам вроде бы этого хочешь. Исход же неясен. Голоса подчас проникают в человека до той глубины, когда вопрос, кто сильнее — человек или голос? — становится вопросом первостепенным или даже больше, чем первостепенным; вопрос силы здесь почти всегда вопрос равновесия. Одержимый идеей или фанатик, или даже маньяк, или просто пенсионер, круглый год смиренно и тихо играющий в домино, однако каждую весну добровольно отправляющийся в клинику, так как вновь, едва зазеленеет трава, он считает себя маршалом Коневым, — все это можно увидеть (при желании) огромным полем борьбы, развернувшейся меж людьми и голосами. Иногда психика сламывается, иногда она сплавляется с голосом воедино; исход неясен. Иногда появляются провидцы, подверженные болезням, иногда больные, подверженные прозрениям; возникают пророки и, деловое их дополнение, герои («Вы уверены, что слышали голоса, Жанна?» — «Да, монсеньор». — «Их было несколько?» — «Это был один голос, монсеньор»), — и можно легко представить, что пропусков и пробелов тут нет и что по всей ширине фронта, где сражаются (сопрягаются) люди с голосами, на каждом погонном сантиметре топорщатся судьбы, судьбы, судьбы, и, если они не отмечены летописцем, это еще не значит, что их не было, напротив, — это-то и значит, что они были. За вычетом гигантизма остается еще кое-что. И, может быть, главное сосредоточено как раз вне страницы с той картинкой, где боги душат титанов, а те хватаются за каменные глыбы.

Впрочем, люди любят присочинить, и истины ходят парами, как ходят голуби, забывшие про зерно и про хлебные крошки. Я вовсе не хочу противопоставлять литературу живым людям, не хочу ни делать выбор, ни предпочитать, — не хочу их даже отделять сколь угодно тонкой чертой.

Когда издали — из окна, например, вагона — смотришь на горы, на лес, на опушку леса, это уже сродни искусству: охаешь и ахаешь, как, мол, чудесно. Но вот ты влез на эту именно гору, и красоты поубавилось; гора как гора. Приятно, что костер развели, и картошка молодая, и сели в кружок, но не ахаешь: реальность вроде как в чем-то малом тебя разочаровала и даже надула, не полностью, а все же...

Зато теперь ты можешь смотреть с этой горы — на другие, соседние горы, и вот они вроде как действительно прекрасны. И дело не только в том, что хорошо там, где нас нет. И не только в том, что в твоём взгляде на соседние горы есть, пусть в малой мере, искусство, а в твоём присутствии на горе его нет. Тут есть нечто третье, чему нет названия, даже если это название давно придумано, и хорошо придумано. Чувство и обратимость его, вероятно, едины. И потому еще занятнее, если с этой горы, на которую влез, можно смотреть вниз, в долину и увидеть там нитку железной дороги и последний вагон тянувшегося поезда, — увидеть и думать, что гора — это гора, а вот хорошо бы сейчас пересекать пространство, колеса постукивают, ты с книжечкой лежишь на верхней, и, может быть, в соседнем купе поют женщины, проводница опрятна и несет чай.

А рассказ начинался так — две девчонки, молодые женщины, шли, как они говорили, на хату к парням; вечер намечался в узком и как бы классическом плане: два на два в отдельной квартире. В повестях тех лет такая сцена бывала вроде как обязательной; такая сцена манила. Такую сцену ждали заранее и провидели ее издали и загодя, как провидят приближение поезда, который появился и мелькнул внизу, в долине и вот-вот возникнет вновь из-за горы. Была и причина ожидания: в те времена свободные отдельные квартиры появлялись на страницах повестей, как и в быту, впервые, и, скажем, Бахтин назвал бы это изменением хронотопа прозы. Пустовавшая по той или иной при-

чине чья-то квартира стала доступным и вполне возможным местом действия; это не пришло вдруг, и тут была своя постепенность. Квартира появлялась и оправданно и случайно: родители, к примеру, уехали в отпуск. Потом свободнее и шире: к примеру, квартира приятеля или старшего брата, который, швырнув звонкую связку ключей, уехал на год-два тянуть газопровод в Индии. Потом пояснений уже не требовалось: просто квартира без хозяина, зато с холодильником и с магнитофоном, а каким образом она опустела и стала местом действия, оправдывать уже не приходилось — мало ли как. Читатель уже верил. Дело стало обычным.

В общем, они ехали «на хату»; звали их Женька и Валька, а ехали они к Сережке и Кольке. Более миловидная, Женька, ехала к ним впервые и потому интересовалась:

— ...Значит, Сережка кто — студент? А Колька постарше?

Валька отвечала, что нет — все, мол, мы примерно одногодки.

— А то я раз была в стариковской компании, — ничего были, вежливые, лет под пятьдесят. Но на морду, конечно, крокодилы... Я так испугалась, что не стала вторую рюмку пить, — и тут Женька захихикала, — а то, бывает, какой-то допинг в вино незаметно вливают.

— Допинг? Что это?

— Не знаю. Что-то такое.

— А-а...

В троллейбусе в тесноте и давке к ним пристал пьяный. Гордая Женька выставила локти вперед и молчала, смотрела уничтожающе, а Валька, понимавшая мир проще, замахнулась на него сумочкой и крикнула: «Ну ты!.. Подрости сначала. Метр с кепкой!» — из троллейбуса они выскочили повеселевшие и смутно приготовившиеся к началу начал.

Они пришли. Они познакомились. Девушек ждали. Музыка редела всюду.

Они сели за стол, и Валька сказала:

— Да сделай же потише. Ни слова не слышно!

* * *

Далее рассказ двигался по канонам жанра: деться тут было некуда, фабульный костерок поддерживался тем, что девчонкам Сережка показался и нравился куда больше, чем Колька. Или наоборот, разность имен неважна, да я и не помню. Словом, обе нацелились на одного и даже слегка поссорились. А время шло к ночи: они танцевали то так, то этак попарно, томясь и нервничая и никак не желая в итоге оказаться с малосимпатичным внешне Колькой.

Однако смирились. Страсти выбора поулеглись; в рамках квартиры и всего лишь двух парней девицам некуда было деться, как и мне в рамках рассказа: они поладили. Валька, как более знакомая и более здесь своя, выбрала Сережку; Женька ограничилась Колькой. Женька решила, что лето длинное и как-нибудь на химкинском пляже она еще отвоюет себе смазливого мальчика — переиграет; а пока пусть идет как идет. Она тут же эту свою мысль забыла: дело шло к ночи, музыка и вино расслабляли, и мысль была из разряда самоутешающих: самообман на время. Диалогов и всей психологической игры уже не помню и потому сразу перескочу к той минуте, когда парочки разбрелись по разным комнатам и погасили свет. Впрочем, небольшая сценка колорита ради: Женька, считавшая, что заслуживает лучшей участи, чем ушастый Колька, дулась, а парни как раз плохо отозвались о ее любимом актере Баталове.

— ...Что вы смыслите в мужчинах? — заорала она вдруг на них. — Он интеллигент. А вы хамы!

— Тише, тише!

— Вы тупицы и хамы. Слюнтяи... Чего посмеиваетесь — чего? — она вышибла из рук предназначавшегося ей ушастого Кольки сигарету: — Хамы... А ты, Валька, не подруга, а сводня!

Она вырвалась из объятий Кольки — легко вскочила на подоконник, сначала на стул, потом на подоконник. Они и глазом не успели моргнуть. Она прыгнула в темноту распахнутого окна, локтем она задела створку, стекло с грохотом посыпалось, частью сюда, а крупными осколками за

окно. Все кинулись следом — к окну. В кустах, в темноте она что-то выкрикивала гневное. «Перепила», — сказал Сережка.

— Совсем спятила. Хорошо, что первый этаж, — заметил ушастый Колька.

— Дура, дура! — кричала Валька. А Сережка-студент отер со лба пот: он вспомнил, что квартира чужая и что на шум могут запросто примчаться соседи, никого из ночных пришельцев не знающие. Тем не менее Сережка вместе со всеми продолжал хохотать — сели за стол, смеялись и опорожняли рюмки; рюмки, конечно, тоже были чужие, об этом тоже Сережка на миг вспомнил. Вскоре Женька явилась. Она была слегка оцарапана и слегка все еще дулась; ей дали штрафную рюмку. Теперь «вечерушка на хате» потекла ровнее, как выравнивается всякий процесс после некоторого необязательного всплеска; в конце самоопределившиеся парочки оказались в разных комнатах. И свет был погашен. Только на кухне горел свет.

Валька и Сережка вдвоем.

— Но-но, хватит! — отталкивала его Валька. Они устроились на тахте. Сережка (если я правильно помню) упрекал Вальку, что она, стало быть, его не любит или же недостаточно любит. Он выдавал потоком этакое юношески-напористое, чистое, наивное бляение, он не закрывал рта. Валька высвободилась. Валька оттолкнула его решительнее; ощущение ночи и темноты придало отталкиванию подчеркнутый смысл не отсрочки, а отказа; Сережка набрался смелости и спросил: «Ты что — девушка?» Валька заплакала. Она всхлипывала и теперь рассказывала, какая у нее в жизни была любовь. Большая любовь. Необыкновенная. Она и тот человек любили друг друга; они жили, как живут муж и жена, потому что подали уже заявление. И за неделю до свадьбы он погиб. Он был летчик-испытатель.

— Не плачь, — со вздохом произнес Сережка и погладил ее; рука его теперь была мягкая, он ее успокаивал. Они опять лежали рядом, опять прижавшись, и Сережка опять склонял ее к мысли полюбить его, возник новый оттенок:

он советовал постараться забыть того, первого — что поделаешь, погиб — значит погиб.

Женька и Колька были в другой комнате; тоже в темноте; тоже на каком-то ложе. Там, разумеется, происходило нечто похожее — но было и свое: ночь неожиданно пробудила в Женьке нежность. «Зацелую тебя», — говорила, шептала она и предпочитала сама целовать ушастого Кольку. Колька был полон агрессивных намерений, но Женька своими поцелуями его сковывала и держала слишком лирическую и, на его, Колькин, взгляд, слишком затянувшуюся ноту. Сердце Женьки (она много дней скучала) исходило нежностью, она никак не могла нацеловаться досыта. «Да дай же я поцелую тебя!» — чуть не вскрикнул Колька и потянулся к ней, тут произошла короткая бессловесная стычка — и вот Женька уже строгим и холодноватым голосом отчитывала его и объясняла, что она не хочет так быстро, что девушку надо уважать и не надо торопить и что они оба будут после стыдиться, если сейчас поспешат. Колька тер зацелованный лоб и никак не мог уразуметь, чего он будет после стыдиться. Он попросту не поверил Женьке. Он подумал и спросил: «Ты девушка, да?» Женька немного помолчала, коснулась его щеки пальцами и тихо заговорила:

— У меня была большая любовь, Коля. Мы должны были пожениться. Но он вдруг погиб за неделю до свадьбы — он был летчик-испытатель, ты же слышал, что это за профессия.

Колька молчал. Она продолжала касаться его щеки пальцами.

— ...Теперь ты понимаешь, Коля, почему я не могу спешить. Я обожглась один раз в жизни. Я теперь всего боюсь.

— Понимаю. Я очень понимаю. — Колька опять приник к ней и опять стал уговаривать: в конце концов, погиб — это погиб, это случайность, и нельзя же останавливаться на полпути. Оттуда возврата, насколько он, Николай, понимает, нет...

Ночь шла. Рассказ все более наполнялся ночными не-

громкими разговорами двух парочек. Собственно, эти разговоры и составляли суть рассказа: я метил в сторону незлобивого подтрунивания над юностью и любовной игрой, имея в виду определенный перекликающийся параллелизм их ночного шепота — обе пары нет-нет и вновь шептались о летчике-испытателе, который с некоего момента стал незримо здесь, в темных комнатах присутствовать. Молодые женщины рассказывали, как каждая из них познакомилась с летчиком. И как он провожал, и как первое время она считала, что это очередное знакомство, не более того. И как он сразу же (или не сразу), придя в дом, понравился маме.

— Он пришел с цветами и с шампанским, — говорила Валька.

— Он пришел усталый-усталый. Только что из полета, — говорила Женька.

Переноса на отдельных ударных репликах читателя из одной темной комнаты в другую — и, не затягивая, вскоре же назад, — я добивался сильного эффекта, однако повествование вдруг двинулось в иную и неожиданную для меня сторону. Дело в том, что у каждой из двух молодых женщин рассказ о летчике обрастал глубоко личными подробностями: началось с простенькой лжи, но теперь уже была не ложь или не только ложь. Каждая из них вполне независимо от другой рисовала свой образ любви, свой отход и свое отшатывание от киношного стереотипа, короче: свою любовь, какую она *хотела бы*. У одной летчик был высокий, смешливый и, пожалуй, драчун на улицах. Он не мог пить спиртное, как профессионал летчик, и очень мило врал: «Нет-нет. Не могу... Я вчера дико напился. Не уговаривайте меня, ребята, — ВВС свою норму знает». У другой летчик был интеллигентен, насмешлив, беспечен и пил, если хотелось. Он был испытатель, а не пассажирский летчик, в конце концов, если считать головы, он рисковал только собой.

Парни вышли на кухню перекурить: они оставили дам в темноте и полуразобранном состоянии, они вежливо позва-

ли их выпить и подкрепиться, но те отказались. И вот парни стояли на кухне, шурясь от света. Покурили. Нет, сначала выпили, потом закурили, и Сережка негромко спросил — ну как?

— Никак, — ответил Колька.

— Но все-таки получается, как думаешь?

— Думаю — да. Дело нескорое... А у тебя?

— То же самое.

Помолчали. Сережка, словно извиняя подругу за нерешительность и некоторую несовременность, сказал — оно бы и просто, да вот память ей мешает, память о первом мужике; он кратенько выложил приятелю рассказ о летчике-испытателе. Колька присвистнул:

— Ну дает летчик! И когда это он успел обеих?

— И у твоей летчик?

— Сказать по совести, это у меня уже шестая девчонка, которая оставляет меня с носом, — и все из-за летчика-испытателя. По-моему, он пол-Москвы обработал, и ведь какой шустрик — со всеми подавал заявления в загс.

— Да врут они обе. Хоть бы меж собой заранее договаривались...

— Может, и не врут; может, это твоя врёт — моя очень даже похоже рассказывает.

— Моя тоже. Как книжку читает!

Убыли не случилось; покурив, парни вновь разошлись по комнатам, и вновь рассказы, в глазах у рассказчиц были слезы, и в словах их огня не убавилось. Речь не о шуточном — речь шла о жизни, какую молодые женщины для себя хотели и какую они, намечтав, вдруг кинулись рисовать; они творили; повесть о первой любви, быть может, технически и несложна, однако это жанр, требующий большой отдачи. Женька вдруг разрыдалась, поясняя, как летчик-испытатель первый раз взял ее на руки и понес сначала к окну, за которым падал пух снега. Она рыдала, она взяла у Кольки сигарету и жгла себе ладонь. Колька онемел. Он не знал, что говорить и что делать, — он только машинально стискивал ей плечо и просил: успокойся, да ладно тебе

об этом, погиб и погиб... В другой темной комнате Валька тоже всхлипывала. Она повторяла:

— Он был такой... такой... — Она хотела сказать «такой прекрасный», но книжное слово не шло, не втискивалось в прозу обычной и честной пьянки два на два в чужой квартире с чужими даже рюмками.

Рассказ этим был, в сущности, вычерпан, виднелось дно, и забота была теперь лишь о том, чем кончить и завершить; именно в силу полной вычерпанности конец мог быть более-менее произвольным. Проще всего было дать финал, не выходящий из скромной объемности «вечерушки» как жанра, — ребята взяли свое, разошлись; утром усталые, подурневшие Валька и Женька торопливо пудрятя, подкрашиваются и бегут на службу в контору, где трудятся бок о бок; в самом же конце рабочего дня Валька говорит:

— Позвонил только что Андрей Шумилкин — помнишь его? — в гости зовет. — Они не знали, пойдут ли, но уже начали подкрашиваться к вечеру: наводили теперь уже вечернюю красоту. И даже слышался голос критика К.: «Среди этих, казалось бы, несчастливых, не самой высокой морали молодых женщин автор сумел найти живинку, сумел отделить золотые крупички их сердца — и это заставляет нас, читателей, поверить в Вальку и Женьку, в дальнейшую их судьбу». Однако если уж о торных путях, то можно было дать финал пообрывистее и посовременнее. Является, к примеру, среди ночи хозяин квартиры, и вся четверка вынуждена спешно уйти, недояснив отношений. Они уходят, идут по пустой улице, — и фонари на пустых ночных улицах стоят, как стоят они на краю земли. Две-три мрачных, заигрывающих с вечностью фразы, последний выхлоп элегической ноты — рассказ готов.

Старуха, убившая во мне этот рассказ, жила в нашем доме, более того — в нашем подъезде. Удивительно горделивая была и надменная старуха, держалась она заносчиво — сын ее «как-никак работал у Туполева, как-никак

имел черную “волгу”». Бывают же такие сыны и такие дождавшиеся сыновнего счастья старухи.

Брат старухи, насколько я помню, был фигурой поскромнее, но тоже птица и тоже по заграницам торчал. Престижным с пеленок было и младшее поколение: однажды старуха велела всем нам — соседям — смотреть в девять тридцать по четвертой программе телевизор: в известном московском детском ансамбле выступал ее внук, примета была простая: внучек танцевал в паре с самой высокой девочкой. Это было во вторник. Внучек действительно танцевал неплохо, а вместе с высокой девочкой они составили лучшую пару; впрочем, пара в украинских костюмах тоже была на высоте, а многим из нас понравилась даже больше.

В среду — на другой день после выступления ансамбля — старухе сделалось плохо. Разом и вдруг произошло расслабление ее горделивого мозга, и в первые часы вполносившиеся соседи не знали, что и подумать. Расслабление мозга — болезнь из заметных, у людей горделивых она заметна вдвойне: после выступления внука старуха сама стала плясать. Она выходила на лестничную клетку, пела фальцетом: «А я красочка. Т-танцую т-только вальс...» — и притопывала разношенными, но все еще красивыми шлепанцами. Потом всю ночь она кричала и стонала. К утру стало ясно, что плясунью совершенно необходимо поместить в больницу, желательно в хорошую, желательно поближе к березам и соснам, — тут-то и выяснилось, что старуха одинока как перст указующий. И всю жизнь была одинока. Ни брата, ни сына-туполевца, ни тем более внуков у нее никогда не было и нет. Через две недели в некоей больнице на окраине города, куда ее отвезла «скорая», старуха отправилась в лучший мир в полном одиночестве, как и жила. Совпадение уничтожило рассказ. Вдруг выпятившаяся для меня человечья черта присочинения теперь проломилась, как проламывается под ногами прорубь, — на миг я увидел под ногами глубину, если не бездну, и невозможно стало и совестно рассуждать о девицах, сочиняющих про

первую любовь; старуха сочиняла лучше. До сих пор мне слышится ее голос, голос вполне земной:

— Да-а, — говорила старуха манерно и жестко, — сынок мой, конечно, человек занятой, но уж этим летом я к нему на дачу нагряну. Ничего-ничего. Пусть невестушка потерпит старую свекруху. — И добавляла: — Не такая уж я стерва.

12

Маленький — это было условно; и придумано это было позднее; Акакий Акакиевич отнюдь не трусил перед начальством и, уж конечно, не робел перед начальством холопки. Разумеется, он не умел разговаривать с «значительным лицом» на равных — но именно не умел, не имел опыта, не случалось и не приходилось ему, но никак не более того. Для выражения этого состояния и этой ситуации *несумения* Гоголь находит своеобразное и емкое слово, находит сразу и не колеблясь; он берет его легко и просто, как берут верную ноту.

Акакий Акакиевич, как известно, пришел жаловаться — так, мол, и так, украли шинель, только что пошитую, и за немалые деньги. Однако «писаря в прихожей никак не хотели пустить и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность». Акакий Акакиевич рассердился. Вот именно; как ни странно для нас это звучит, Акакий Акакиевич рассердился, и никак не меньше. Он решил, что раз в жизни «надо показать характер, и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого... что они не смеют его не допустить... и что вот как он на них пожалуется, так тогда они увидят». Тут все знакомо и узнаваемо: голоса бедных писарей можно услышать, а размахивающего руками Акакия Акакиевича можно даже увидеть; и далее — лестница как лестница — следующий шаг. Его допустили. Его приняли. И вот, допустив и приняв, Акакия Акакиевича на новой и более высокой ступеньке стали расспрашивать о

потере шинели, «да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич *skonфузился* совершенно»... Тут это слово Гоголем и названо. Контекст дает продлить слово и в обратном времени: Акакий Акакиевич и раньше, едва пришел, был сконфужен, и у писарей был сконфужен, и вот теперь он сконфузился совершенно.

В чем суть конфуза? — а вот в чем. Гоголь не скрывает и не прячет: у Гоголя это на самом что ни на есть виду.

Произошел случай, особый, отдельный, твой или мой, однако *не общий*, — к примеру, у Акакия Акакиевича Башмачкина украли шинель, а что касается всей остальной жизни, то она идет своим путем. Шинель украли, а жизнь идет: молочники приносят молоко, чиновники идут в департамент, а с утра приезжает по-прежнему генерал и с утра восходит по-прежнему солнце, — потом, слава Богу, обед, потом ужин. Жизнь идет, фабрики дымят. А тебе, Акакию Акакиевичу или Ивану Ивановичу, надо с отдельной, личностной своей просьбой соваться в эту налаженную и полноводную реку общей жизни, — тебе надо приходиться, стучать в дверь, отвлекать занятых людей и чуть ли не мешать всему ходу и налаженному порядку вещей. В этом и конфуз. Как же, мол, так получается, что я, сырый и малый, или даже не очень сырый и не слишком малый, приду в приемную и явлюсь к генералу в департамент, к занятому делами серьезному человеку, приду и явлюсь с личностной и даже вроде бы глупой своей пропажей.

А идти тем не менее Акакию Акакиевичу надо; и он идет. Именно, именно так. Тебе с самого утра уже как-то не по себе, ты смущен и сконфужен (гениальное по уместности слово), но ты идешь в приемную к занятому делами человеку и жалуешься — извиняешься, конфузишься и робеешь, однако говоришь свое. Шинель-то украли. Тут полезно еще лишний раз обратить внимание на эти, вовсе не характерные в приемных для маленького человека слова — «Акакий Акакиевич рассердился» — «Акакий Акакиевич захотел показать характер» — «Акакий Акакиевич сказал им

наотрез». А лестница, конечно, шла опять вверх, как и положено идти лестнице.

Подобное повторилось и еще одним кабинетом выше, в знаменитой сцене у «значительного лица». Забудем на время о «значительном лице», а припомним, что Акакий Акакиевич вошел ведь к нему — всякий ли войдет? — вошел ведь, сказал свое, стал даже перечить; вот только изнутри он был уже подточен конфузом, он с ним пришел; и когда генерал заорал, конфуз мгновенно разросся, как разрастается вытекший из бутылочного горла восточный джинн, и именно конфуз этот и непривычка к грозному окрику, а отнюдь не малость человеческая, сразили чиновника Башмачкина.

Конечно, повлияли звезды генерала; повлияло и то, что генерал был как бы занят в минуту прихода Акакия Акакиевича, в минуту его великой тяжбы; все так: влияет большой кабинет, влияет и не может не влиять обстановка кабинета, даже ковер на полу влияет — и кресло, конечно, в которое ты сядешь, если предложат, и телефон, и зуммер, и бумаги, которые тот, к кому ты сунулся со своей тяжбой, как раз в эту минуту надписывает в верхнем углу спокойным властным почерком... Не мешаю ли я? — вот в чем суть и смысл конфуза. — Не мешаю ли я *важному* какому делу своей мелкой просьбой, своей пропавшей шинелью? — Как бы заранее решенный вопрос о том, что ты и твое дело мельче, и много мельче, чем кабинетное, подтачивает тебя; в этом глубина *конфузной ситуации*. И тут многое в тебе поднимается вдруг из той глубины, всплывает наверх, и ты сам об этом смутном и всплывшем не все знаешь. Тут открытие Гоголя. Он назвал это словом «skonфузиться», он не захотел других слов.

Ситуация возникает не обязательно извне, — у Чертокуцкого не украли некие люди шинель, он сам спяну присочинил свою шикарную коляску. И этот небольшой и обычный и простительный человеческий грех вдруг пришел в столкновение опять же с реальным ходом общей жизни — вырвавшиеся слова не вернуть, и конфуз возник немедлен-

но, как только генерал и господа офицеры, воспринимающие жизнь как дело, приехали поутру не болтать и не пить шампанское, а *покупать*.

Летом на отдыхе мой приятель сказал грубое словцо некоему мужчине в разгаре обычной и мелкой, даже микроскопически мелкой стычки. Перепалка произошла в шумной и людной столовке, где мы питались. Мужчина только что поел и уже поднимался со стула, а мой приятель искал, где сесть, — или же они оба искали? — суть в том, что нужно было успеть занять стул; стульев в столовке не хватало.

Пообедав, мы пошли к реке; тут я вспомнил, что этот толстый мужчина, кажется, сам Колобов: директор крупного НИИ, человек, в орбите которого в числе нескольких не сотен, а тысяч других мелких мошек вращался и кружил мой приятель, сам по себе тоже человек не самый маленький. «Да? — сказал мой приятель. — Это Колобов? Это Колобову я сказанул словцо — неужели?» — и приятель этак хмыкнул и победоносно улыбнулся: так, мол, ему, толстому, и надо.

Тем не менее в приятеле моем конфуз возник, и сидел в нем этот конфуз куда глубже, чем он сам мог предположить, таился на такой глубине, на какой только и может таиться забытое. Начались кое-какие перемены. Виктор, так звали моего приятеля, невольно и даже как бы нехотя стал поглядывать на сановного человека. Он вроде бы отмечал каждый раз, *каким* шагом Колобов входит в столовую, как садится за стол и как ест. Дальше — больше. Поев, мы обычно шли к реке: у всех там были ежедневные и нехитрые маршруты: либо в сторону столовой, либо к реке. И вот, завидя впереди теперь уже хорошо знакомую нам полную фигуру, мой Виктор прибавлял шаг. Я тоже прибавлял. Колобов прогуливался с какой-то некрасивой, сердитой женщиной. Колобов был недалеко — он был уже в пределах негромкого голоса, и тогда Виктор довольно громко и звучно говорил мне:

— Все это глупости, дружок. В нашей жизни есть, конечно, мистика, но только совсем иная! — Или что-то вроде говорил он. Такая вот многозначительность. И под такие вот отточенные не нашим веком его реплики мы мало-помалу обгоняли впереди идущих. Мне делалось неловко: отраженный конфуз. Иногда я даже раздражался: пусть бы он меня предупредил или разъяснил, что хоть за пьесу мы разыгрываем и зачем, — пусть бы без неожиданностей.

Но штука была в том, что Виктор сам не знал, что за пьеса в нем разыгрывается и зачем она; повторяю, это происходило в нем невольно. Это как бы высвобождалось в нем и всплывало наверх.

В другой раз Колобов попался нам навстречу; он шел с мужчиной. Они приближались. Виктор опять же грубо, с хрипотцой, опять же с некоторой наглинкой его вдруг окликнул; в искусном сплаве с наглостью сосуществовала, однако, и иная нота — мягенькая, — и вот он окликнул грубовато, дружески и как бы даже молодо:

— Привет, Виталий Сергеевич, погодка-то, а?

Директор слегка растерялся от оклика, почти окрика, — уступая нам с Виктором куда большее пространство на асфальтовой дорожке, чем себе и спутнику, он пожал плечами и улыбнулся. Он забыл стычку, он не совсем понимал, кто это его окликнул и зачем. Но, конечно, ответил.

— Н-да, — сказал он, поспешно соглашаясь, — погодка!

И они прошли мимо нас.

За завтраком Виктор выбирал теперь место и поодаль, и одновременно близко от Колобова, есть такие скромные стулья и есть такие выигрышные столы. Он садился (и меня тянул за собой) таким образом, чтобы его видели. И чтобы при случае негромко сказать и быть услышанным. Вероятно, он выбирал и вычислял не только место, но и время еды — я за этим не следил, но что-то часто мы стали «совпадать». Отдых вдвоем, пусть даже случайный, не лишен некоторых правил и полуразмытых условностей. Чужой голод, я иногда торопил его, звал в столовую, и Вик-

тор в рамках тех же условностей отвечал: «Давай еще раз пройдемся по тропке. Подышим. Не спеши, надо же дышать свежим воздухом...» Бывало, правда, что я кислил или же кривил морду на эти его фокусы, но он меня как бы не брал в расчет: *меня* он не конфузился. И не потому, что считал меня за глупенького или за ненаблюдательного, — нет, просто он был вне меня теперь. Вне людей как бы. Он пребывал наедине с тем, что теперь всплывало из его взбаламученного нутра наверх, высвобождалось из глубины, как высвобождается и всплывает огромная и сырая, разбухшая колода.

Пожалуй, это его состояние было сродни состоянию некоей влюбленности и шире — сродни тяготению человека к человеку. По глазам Виктора, по голубым его глазам (он смотрел то на толстяка Колобова, жующего курицу, то на голубизну неба — мы завтракали на веранде) я догадывался, что мой приятель мечтает. В мыслях своих Виктор уже вернулся домой и уже рассказывал о... Сначала он рассказывал жене, для обкатки, что ли, для домашней выработки и выверки точных словосочетаний, а уже потом на работе, в этом самом НИИ — был, мол, я нынешним летом в захудалом пансионатике без икры и без люкс-номера со своим входом и познакомился, мол, там с дядькой... Тут бы Виктор обязательно сделал паузу. Не рисовки и не игры ради, а чтобы самому себе отчеркнуть от рядовых нерядовую минуту. Познакомился, мол, с довольно толковым дядькой — болтали о том и о сем, дядька у меня сигареты стрелял, на реке плавали — и угадайте, кто это был? — Колобов. Да, он самый. С размахом, надо сказать, мужичок. Умница. Демократичный и без ихнего чванства. Сначала, между прочим, я ему нахамил, послал в одно место, ей-ей, так и было — с этого наше знакомство и началось...

— Эй, — толкал я его в бок, — о чем задумался?

— Да так... — Виктор отрывал глаза от Колобова, уже доедавшего курицу.

Толстячок, разумеется, не реагировал никак. Он нас попросту не замечал, он даже не догадывался.

* * *

В столовой устроили вечером маленький банкетик, проводы: Колобов и его компания уезжали. Этот банкетик определил занятость столовой на весь вечер, и нам, не входившим в окружение Колобова (а оно оказалось к концу его срока немалым и шумным), пришлось поужинать в другом месте — чужие столы, чужие стулья, яичница с ветчиной тоже как бы с чужим привкусом, да и бросили нам на стол ее, яичницу, небрежно, как и бросают пришлым. После ужина мы вернулись, и вот Виктор, воздуха ради, водил и водил меня кругами возле нашей, такой оживленной сегодняшним вечером столовки — он нет-нет и поглядывал в окна. Стеклянные окна веранды к вечеру уже закрывались.

— Чего мы тут ходим? — поинтересовался я опять же с кислой улыбкой.

А Виктор опять же ответил, неловко засмеявшись:

— Дышим воздухом...

Мы дышали воздухом довольно долго; ноги устали. «Еще круг, а?» — спросил Виктор. Тут я (время моих кривых усмешек и улыбок кончилось вдруг само собой) спросил с некоторой тоже неловкостью, но в открытую:

— Скажи. Зачем он тебе нужен, этот толстяк, не могу я никак понять?

Виктор, кажется, только тут сообразил, что я не вполне слеп и глух и что как-никак все эти дни я «дышал воздухом» с ним бок о бок.

— Этот толстый баран? — переспросил он небрежно. Он пересаливал свою соль.

— Ну да, этот толстый баран, — повторил вопрос я.

Виктор опять засмеялся. В третий раз.

— Видишь ли, в чем дело — утром, когда ты ходил к реке, я случайно столкнулся с этим Колобовым и разговаривался. Он, между прочим, дядька интересный. И демократичный...

В паузу я спросил:

— И умница — да?

— Умница. И работяга настоящий. Мы было разгово-

рились, а тут набежали его друзья и, конечно, быстренько отпихнули меня в сторону.

— И разговор не закончили?

— Вот именно. А завтра он уезжает...

Сочинил ли он сценку тут же на ходу, выдавая наружу свое желаемое и потаенное, или же действительно перекинулся поутру с Колобовым двумя словами об устоявшейся хорошей погоде, — не знаю.

— Ого. Как быстро темнеет...

А я сказал:

— Домой пойду. Ноги уже гудят.

Я отправился в корпус и поднялся в комнату, которую делили мы с Виктором, — и тут, собственно, можно ставить точку. Продолжения их отношений (речь об отношениях и волнениях односторонних: Колобов тут никакой) не было ни здесь на отдыхе, ни тем более в Москве, домысливать их обоих я тоже не собирался, как не собирался тогда и не собираюсь сейчас делать из этого повесть или рассказ. Тут важна сама по себе *конфузная ситуация*, тут она в чистом виде, обнажена, и, к счастью, для этой обнаженности нет ни дальнейшей драматургии, ни типажей, — люди как люди.

Поскучав в комнате, я вновь потащился на улицу и на воздух. Возле фанерной палатки, что у реки (палатка вот-вот закрывалась), я спешно выпил пива и с легким пивным хмелем в голове прошел вдоль реки. Я свернул к столовке, подумывая про себя, что если Виктор все еще бродит там кругами, то я, пожалуй, подсмеюсь... Но я не подсмеялся. В кафе шел банкетик, проводы как проводы — там уже горел свет, — а у окна, прильнув, прилипнув к стеклу, приложив обе ладони к лицу, чтобы лучше видеть, стоял и вглядывался внутрь Виктор. Я быстро шагнул в тень с асфальтовой тропы с безотчетным желанием не быть человеком, на которого он вдруг оглянется. Он не оглянулся. Он жадно вглядывался. Он стоял и вытягивал шею. На другой же день, едва Колобов уехал, Виктор сделался нормальным и обычным, каким он был всегда. Мы пили пиво, играли

в шахматы, плавали и загорали; ни словом, ни тогда, ни после, он не вспомнил и не заикнулся о Колобове, — он его попросту забыл; да он и не был ему нужен; это было похоже на болезнь, пришла и ушла.

Создав или, лучше сказать его же словами, «породив» конфузную ситуацию в «Коляске» и в «Шинели», Гоголь хотя и не убивает ее, но отходит от нее в сторону, отдаляется и как бы забрасывает — оставляя ее полностью на откуп двадцатому столетию.

Что, казалось бы, проще: помешик Чертокуцкий, будучи навеселе, прилгнул его превосходительству и другим чинам, что у него есть необыкновенно легкая и «укладистая» коляска в четыре тысячи ценой. А утром, когда к нему нагрянули высокие гости, чтобы посмотреть и, возможно, купить четырехтысячное диво, Чертокуцкий не знал, что сказать и что делать. Говоря общо: некий человек солгал безмотивно, прихвастнул, язык его сам собой ляпнул — и вот, стало быть, простенькая незамедлительная расплата. Но простоты тут нет. Двадцатый век будет использовать эту и подобные ситуации бесконечно. Заметим, что никакого бы конфуза не случилось, если бы солгал или ляпнул слово человек, удерживающийся в рамках литературного типа; напротив, вместо конфуза была бы очередная типологическая забавность. Плут, в плутовском романе, без труда вывернется и выйдет сухим. Это понятно. Но даже если не плут, а просто тип — Ноздрев или, скажем, Хлестаков, — трудностей тоже ни малейших и конфуза как конфуза нет. Сквозь типаж просматривается арматура крепкой конструкции. Ноздрев стал бы и дальше врать, и хамить, и лезть, к примеру, в драку, а Хлестаков бы, соответственно, стал нести еще большую околесицу, присочиняя к чепухе чепуху и поминутно вводя в бой и тем более в образовавшийся конфузный прорыв верные ему тридцать пять тысяч курьеров. В итоге *тип* не только не разрушился бы, а напротив: Ноздрев еще больше сделался бы Ноздревым, а Иван Александрович Иваном Александровичем. Сомнений это не вы-

зывает, а искусству подобный эффект приумножения типической черты во благо образу и характеру известен был задолго до Гоголя. Фальстаф, например.

В Чертокуцком же, создавая его и лепя, как лепят из глины, Гоголь вдруг резко обрывает игру в типаж: сейчас, в двадцатом веке, уже можно заметить, какая нужна была смелость и какой полет, чтобы выйти или, лучше сказать, выскочить из системы типажей к системе обыкновенного человека. Обыкновенность не замкнута на самое себя. В том и суть, что солгал или просто «ляпнул» некое слово не типаж, устойчивый в себе, который своей же устойчивостью и вывернется, а просто человек — обыкновенный помещик Чертокуцкий. Ничего не произошло, и по-прежнему дымят фабрики. А человек уже сделал некое несвойственное и необязательное движение, человек не типаж и готов на попятную — внутренне он теперь едва ли не вскрикивает: ах, господи! — но не поправить, потому, например, что не все же поправимо. Человек начинает отчасти суетиться, отчасти мучиться: на этих вот сбалансированных «отчасти» и возникает конфузная ситуация. Тут именно нарушение равновесия. А финал? — а намечающийся впереди неуклюжий и неприятный финал, этакая горькая очная ставка с общим потоком жизни, может, разумеется, произойти завтра или послезавтра, а может и не произойти, но существовать существует в сознании читателя, как и в сознании самого человека, нарушившего равновесие. Завтрашний разоблачительный день во времени растяжим. Необязательно, разумеется, прятаться одетым в халат в старой дешевой коляске, сидеть там, скорчившись и согнувшись, в трех шагах от господ офицеров, которые — разоблачители! — беспечно разговаривают и подходят все ближе и сейчас приоткроют, скрипнув петлями, ветхую дверь.

Таков бедняга Чертокуцкий, и таково его похмелье; человека, который не испытал, хотя бы единожды, подобного похмелья, нет. И тут особенно понимаешь, что Чертокуцкий не Ноздрев. Он обыкновенный человек. Он наш человек. Он нашего века, он не типаж, — он из банально

честных, если хотите, и понятных людей. Потому-то ему и похмельно и стыдно, как бывает похмельно и стыдно банально честному; Ноздреву стыдно бы не было.

Блистательно мелькнув в «Скверном анекдоте» и как бы с аккуратностью отметившись в нескольких рассказах Чехова, конфузная ситуация полностью перешла на откуп в двадцатый век; девятнадцатый все еще держался за типажи.

В рассказах, в психологических повестях и романах конфузная ситуация возникла отныне в самых разных обличьях и проявлениях; понадобился даже специальный термин, и вот ввели его — остранение; в параллель возникли термины и пожестче. Суть стала прозрачной. Прием стал расхожим. Даже ремесленник стал понимать, что отнюдь не обязательно создавать, как в девятнадцатом и раньше, литературный тип, крепящийся на определенном человеческом качестве, как на стержне. Человека стало возможным выявить, не обобщая, — достаточно было стронуть этого человека с места, заставить его невольно или вольно нарушить житейское равновесие, все равно где — в отношениях с женой, на службе или в захудалом пансионатике без икры и без номеров-люкс со своим входом. Потеряв на миг равновесие, человек *обнаруживался*, выявлялся, очерчивался индивидуально, тут же и мигом выделяясь из массы, казалось бы, точно таких же, как он. Голос выбивался из хора или, точнее сказать, отбивался от остальных голосов и — пусть даже слабый — был слышен в ста и более шагах, а сам хор, мощный и правильно расставленный, делался рядом с ним как бы фоном, как бы тишиной или молчанием.

И как понять Гоголя — изобрел, открыл, породил и свернул в сторону: чем далее, в направлении «Мертвых душ», тем более занимался он типажами. Он тщательно и с любовью вылепил Коробочку, Ноздрева, лепил и других, — «Выбранные места» сквозят желанием: присылайте, собирайте и присылайте мне черточки людские, штрихи, факты их жизни, а я буду лепить типажи, типажи, типажи, — он только об этом и думал. Значительно опередив время в «Коляске» и в «Шинели», он вдруг вернулся в свой

век и в свои дни. Урок в этом? или же просчет?.. Он словно забыл о своем открытии. Или на него давила тогдашняя традиция, считавшая, что лепи, мол, образы, как у Мольера и Шекспира, и ни о чем ином не помышляй. Или же у Гоголя была особая, хитрая и пронзительная мысль о верности своему веку — как понять его?

13

О Сереге можно только упомянуть вскользь, что я и сделаю; чтобы написать о нем всерьез, нужен дар какого-то неслыханного по нашим временам размаха. Тут не человек, тут прежде всего спрессованная энергия, и не понять этого — не понять Сереги. Из него *прёт*, и здесь уже сразу необходимо перечисление — из него прет хамство, дикость, бесшабашность, дурь, он большой, разумеется, мастер выпить, мастер подраться, мастер нести чушь. И еще в плюс — мастер ремонтировать телевизоры, это его работа.

Как-то к нему в ателье пришел сосед, тихий и застенчивый человек, — и принес испортившийся телевизор; по профессии сосед был столяр. Серега открыл лихим движением заднюю стенку, поковырялся: «Значит, так, — требовательно и весело сказал он столяру, — ты сделаешь мне раздвижной модный столик».

— Ладно...

— Я тебе ремонтирую телевизор — ты мне делаешь столик. И квиты.

— Ладно, — тихий сосед вздохнул.

— Вот и поладили... А то я было хотел твою жену в гости зазвать, — хотел зазвать ее, завлечь, и пусть, мол, натурой оплатит...

— А?

— Зазову, думаю, ее посмотреть, как работает телевизор (у нас тут в ателье есть уголок укромный), зазову, а там дальше винца по глоточку, музыку можно завести негромко. И прочее. А там — посмотрим, как оно пойдет.

— Что? Мою? — сосед в ужасе.

— А что такого? Ты думаешь, она — *нет*? Чудак... Все они одинаковы.

— Моя?

— Моя, моя, моя, — что ты заладил, как попугай. Твоя такая же, как и все прочие... Да не робей. Я же раздумал. Мы ведь с тобой договорились — ты мне столик раздвижной сделаешь.

Две молодые женщины (девушки, как к ним обращаются на улице и в троллейбусах — девушка, оторвите билетик) сидят и обсуждают грядущий вечер. Они обсуждают, кого позвать. И кого не позвать.

— Петю?.. Зачем тебе Петя? Зануда твой Петя.

— Не хочу Петю.

— Да и я не хочу. Просто так сказала. А может, позовем Серегу?

— Серегу само собой. А Петю?

— Петя не человек, а вот Серега человек.

— Серега — ох, какой человек! — Они хихикают. Они подружки, им надо все обсудить. Вечер приближается, а за вечером будет ночь. Серега, конечно, груб, непостоянен и переменчив — неизвестно, на кого набросится. Но мужик. Это точно, мужик. «А ты помнишь, как плакала в прошлый раз Валька?» — и две молодые женщины вновь хихикают. И шепчутся: «Бедная Валька. Он, заперся с ней в комнате, шкафом припер дверь». — «И Валька ревела, и муж плакал...» — они шепчутся, посмеиваются, после чего следует вывод на вечер глядя:

— Зовем Серегу!

— Звони ему!

— Звони ты!..

Серега, конечно, приходит, когда все уже собрались; его уже и не ждут, но он приходит и сразу же — едва вошел и сел — рассказывает о расчлененке на Боровском шоссе. Врет, конечно. Втискивается в застолье, как всегда, шумно городит чушь и дико при этом хохочет. Женщи-

ну-кассира будто бы везли в двух чемоданах и в авоське — в авоське были ее колени, а все остальное в чемоданах; толстая была женщина, кассирши все толстухи. А колени, мол, повторяет он, в чемодан не помещались... Девицы да и мужчины тоже смеются несколько нездоровым смехом. Им жутковато. Серега смеется смехом вполне здоровым. Ему хорошо. И стакан в руке:

— Первый мой тост!.. Выпьем за... — Другие званые гости рядом с Серегой, гогочущим и хлобыстающим водку стаканами, потускнели и съежились. Но это их не убергло: один ушел с поврежденным глазным яблоком, другой с переломанной ключицей. Чтобы рассказать, что натворил Серега за вечер и за ночь, опять же понадобился бы перечень, отчасти даже неприличный. Жильцы снизу и жильцы сверху не спали всю ночь. Рита и Рая после этой ночи стыдились всех там присутствовавших — и даже меж собой Рита и Рая не разговаривали два дня; они не могли смотреть друг другу в глаза. Началось, конечно, с того, что он их обеих спойл. О Сереге теперь они вспоминали только с ужасом. Втихую друг от друга они плакали ночами, уткнувшись в подушку. Они жили в этой квартире давно и дружно — у них был общий хлеб, общая заварка к чаю и общий сахар.

Есть гипотеза, подкрепленная фактами и историческими сопоставлениями, предполагающая, что древний грек Ахиллес был изначально тавро-скифского происхождения. Он жил где-то на юге; пусть не без колебаний, но я в эту гипотезу верю. И в поддержку ее мог бы выстроить свой ряд доказательств и рассуждений.

Сереге тоже тавро-скифского происхождения, и тут сомнений нет. Миловидные и с добрым нравом славяне подмешались в его кровь гораздо позднее и исправить его (лично его) уже не смогли. Давным-давно в незапамятные времена в тех же южных краях жил предок Сереге, лучше сказать, праотец его, и именно он спойл Ахиллеса. Таковы факты.

Известно, что праотец Сереги по-приятельски приходил к Ахиллесу в жилище, пил с ним, спаивал его; Ахиллес вскоре падал под стол, а праотец Сереги, скорее всего, от скуки — делать-то нечего — уводил одну из его жен к себе. Или даже не уводил; если от выпитого тяжело было идти, он располагался с нею здесь же. Выражаясь языком современным, в жилище Ахиллеса тоже имелись все удобства. Это была повседневная картинка: утро, похмелье, Ахиллес кое-как протрезвеет, увидит происходящее на постелях и горько заплачет; именно от общения с праотцем Сереги Ахиллес стал слезливым. Это подтверждает Буало:

Он плачет от обид. Не лишняя подробность,
Чтоб мы поверили в его правдоподобность.

Буало. «Поэтическое мастерство»

Праотец приходил вновь и вновь — войдя к Ахиллесу, он отшвыривал ногой его любимую черепаху, а рукой хлопывал плачущего Ахиллеса по плечу: «Не кисни... Это, брат, все хреновина. Пойдем-ка лучше со мной». — «Опять пить?» — «Гулять. Сначала погуляем...»

— Я не могу больше гулять, — всхлипывал Ахиллес. — Я не могу больше пить. И кстати, имей совесть: все мои дети на тебя похожи.

Праотец Сереги только смеялся:

— Ты же пить не умеешь!

— Ну и что?

— А то, что с моей помощью хотя бы дети твои пить научатся. Если они похожи на меня лицом, то будут похожи и сутью — резонно?.. Не плачь, Ахилл. Им это пригодится в жизни.

И они начинали сызнова; праотец спойл Ахиллеса вусмерть, и уже очень скоро молодого юношу отправили на принудительное лечение. Праотец как истинный друг навещал его почти ежедневно в больнице. И изумлялся: «Со всем, что ли, нельзя пить?» — «Ни капли». — «Ну ты даешь!» — и вскоре он стал незаметно приносить Ахиллесу

водку. Он приносил ее в грелке; именно тогда утвердилась эта практика, дошедшая отчасти и до наших дней.

Лечение не продвигалось. Врач нервничал. Врач сказал Ахиллесу:

— Меняйте место проживания. Я бессилён.

— Уехать?.. А как же мои жены, дети — жаль их терять.

— А здоровье? А жизнь молодую — не жаль терять?

После долгих колебаний и уговоров Ахиллес уехал — это и спасло. Отбыв в далекую Грецию, он совсем бросил пить, после чего и стал там известным героем. Именно оптимистический финал и вывод, какой может извлечь отсюда молодежь, дают мне моральное право присоединиться к тавро-скифской гипотезе.

Известно, что пять или шесть столетий спустя — это была уже эпоха Рима — один из последующих праотцев Сергеи был взят в плен легионерами Квинтилия Вара. Это было, разумеется, до печальной истории в Товтебургском лесу. Римляне с интересом присматривались к захваченным пленникам. Люди им были незнакомы. Нравы непонятны. Именно о последующем праотце, взятом в плен, после тщательного наблюдения за ним Тацит писал как о самом непонятном и самом счастливом человеке:

«...Он достиг высшего счастья на земле — отсутствия всяких желаний».

Тацит. «О германцах»

В Институте травматологии Серега лежал в больничной палате напротив меня, койка против койки, и я не покривлю душой и не скажу о нем хуже, чем есть. Что да, то да: он был мужественный человек. Мы все валялись там с переломами позвоночника, особых пояснений тут не нужно: травма широко и печально известна.

— ...Едва ли он будет жить, — сказал профессор о Серге; он сказал это после двух кряду сложнейших операций в поясничном отделе травмированного, после воспалительно-

го процесса вдоль позвоночного столба и после чудовищных пролежней.

Сергеа стал жить.

— ...Жить будет, но не будет мочиться. Паралич тазовых органов. Тяжелейший случай, — сказал профессор месяц спустя.

Во вторник утром Сергеа выдал фонтан.

Сергеа был лежачий, неподвижный, прикованный к постели собственной спиной, — и вот все забегали, заметушились от случившегося события, а он лежал на спине, смотрел на свой великолепный фонтан и смеялся. Обычно в таких случаях плачут от радости.

Фонтан бил. Прибежал профессор и пожал лежачему Сергее руку. Это напоминало открытие нефти в Тюменской области. Скважина работала бесперебойно в течение десяти минут; случай с Сергеем, или, как они выражались письменно, — с больным Б., стал научной сенсацией и обошел мировую медицинскую прессу.

— Выжил, — радовались медицинские сестреночки.

А лечащий врач вздыхал:

— Выжить-то выжил... Но ходить не будет. Инвалидная коляска до конца дней.

Ровно неделей позже Сергеа почувствовал прилив сил и потребовал, чтобы его поставили на ноги. «Ну живей, живей! — покрикивал он на сестреночек. — Шевелись, команда!..» Они поднимали его и ставили, как поднимают и ставят упавший столб. Сергеа был нестигаемый, он был загипсован от шеи и до колен. Когда его подняли, он стоял и шатался на месте, а сестреночки его страховали. Сестреночки любили дежурить возле него и ночью: он знал тьму анекдотов. Одна из сестреночек забеременела и позже родила. В то время он мог только лежать на спине или же стоять, держась руками за спинку кровати. Он еще не ходил. Но не прошло и месяца, а он уже стал передвигаться на костылях, выходить из палаты, бродить по этажу и таскать у сестреночек спирт, отливая его из большого сосуда. К морфину он относился с здоровым презрением:

— Плевать мне на ваши уколы — я люблю хмель живой.

Он шастал по мужским и женским палатам бесконечно, орал на врачей и устраивал веселые перебранки с няньками. По вечерам, когда врачи уходили домой, он, раздобыв ключ, по-тихому забирался к ним в ординаторскую и приглашал к себе травмированных спортсменов, чтобы без волнений и окриков спокойно играть там в карты. Спортсмены и спортсменки лежали этажом ниже. У них были сравнительно легкие травмы. Они много смеялись и много ели, и Сереге они пришлись по душе. Именно Серега устроил у них на этаже вечером соревнование — кто первый пробежит весь коридор туда и обратно на костылях. Те, кто был с одним костылем, к соревнованию не допускались.

Однажды вечером после ужина Серега, как обычно, пошел в ординаторскую. Кто-то из лежачих больных хотел глянуть свои рентгеновские снимки хотя бы мельком, и Серега пообещал помочь, — Серега долго рылся в шкафах, но не находил. Он попытался посмотреть и в верхнем отделении шкафа. Он влез на стремянку и грохнулся оттуда наотмашь. Гипс треснул. Серега нет. Но встать самостоятельно он не мог и всю ночь провалялся там на полу, а утром Серегу вышибли из травматического царства за нарушение дисциплины. «У, зануда, — замахнулся он костылем на лечащего врача. — Выписывай быстрее. Надоела ваша каша...»

14

А жизнь идет. Минуты яркие, а затем, наоборот, минуты пообычнее, потусклее.

И этих-то, которые потусклее, больше; переливающиеся одна в одну, цепко тянутся они, обычные и ординарные: эпический век, за минутой минута. И нет-нет замечаешь за собой связанную со всей этой эпичностью черточку характера. Черту.

Дома, скажем. Вечером. Пришли друзья. И рассказы-

вает кто-то о ком-то. «Мерзавец, — говорит он о ком-то. — Нет, ты только послушай, каков мерзавец!» И рассказывает каков. А ты его слушаешь, конечно, киваешь, но почему-то вдруг начинаешь того человека защищать: «А может, он не мерзавец, может, он не умышленно?» — «Как то есть не умышленно?»

— А так, — поясняешь и возражаешь ты уже громче, — может, этот человек хотел как лучше, однако его *обстоятельства*... — За нажимным словом следует еще слово, тоже нажимное, и уже оказывается, что, сидя за столом, мы спорим. И глаза у обоих горят, и выражение лиц какое-то странное. Не праздничное. И жена, постукивающим шагом спешно входя, интересуется, чего это вы друг друга дерьмом зовете, — и ведь дети слышат.

Дети — это конечно. Тут уж чего, закуриваем и при- молкаем оба — сидим и молчим; друг на друга некоторое время не смотрим... Собеседник скис и, по-видимому, слегка раскисается: думает, что вот ведь придирчив и резок и даже, пожалуй, груб с ним был, со мной то есть. У меня тоже отлив. Вижу, что тоже был и придирчив и резок. Более того: вспоминаю, что ведь и правда, о чем бы мой приятель ни рассказывал, я вроде как корректировал его и непременно подправлял, нет-нет и подправлял ему кисточкой, как бы добавляя некий мазок. Оно, может быть, и жизненней и достоверней становилось от этого мазка, как от всякого дополнительного мнения, но ведь приятель-то мой не эскизик и не картинку рисовать хотел, а хотел свое что-то высказать. Свое и наболевшее. А теперь оба сидим и покуриваем: оба не настаиваем. И разговор продолжаем уже ровный и чисто дружеский: зарплата, женщины, дела.

Но вот через неделю или две мы уже сидим дома у него. У приятеля. И тоже повод какой-то был, межсемейный, — сидим мы, разговор туда-сюда, однако же я чувствую (да и по глазам вижу), что сейчас он преподнесет мне некую заготовку в продолжение прошлого разговора, который остался и дозревал в наших головах сам собой. А вокруг застолье... И он, более или менее со мной уединившись или

просто придвинувшись за общим столом, начинает: «Я, — говорит (и смеется), — ошибочку в твоих извилинах нашел». — «Ну?» — «Человек ведь как-никак должен отражать цельность мира. Пусть в какой-то мере. Верно?» — «Допустим». — «А ты, — говорит, — не отражаешь цельность. Изъян я в тебе нашел». — «Обидеть меня хочешь?» — «Не отшучивайся, — говорит он. — В мире, как ни верти, есть ведь и обвинитель, и судья, и защита. Так?» — «Ну допустим». «Ага! Значит, и в каждом человеке должно быть то же самое. А вот в тебе этого триединства нет!»

Он мало-помалу горячится и уже настаивает, что слишком я защитничек и слишком уж охотно оправдываю — нет во мне триединства. И все, кто меж рюмками слушал, улыбаются. Вон, мол, с каким грешком, триединства не имеет. А ведь взрослый человек. Ай-ай-ай. Шутят они, конечно, а все же. И сижу я почесываю затылок: да, мол, таким вот, увы, оказался, — и вроде бы думаю, что и как на сказанное ответить.

На самом же деле никакого обдумывания во мне нет, никакого экспромта не будет, — потому что я ведь тоже заранее думал. Тоже, как выражаются шахматисты, домашняя заготовка. «Верно, — говорю я, в меру почесав затылок. — Но вот ведь мы с тобой сидим и болтаем. Так?» — «Так». — «Вдвоем болтаем?» — «Вдвоем». — «И, болтая, мы ведь тоже в эту минуту *вдвоем* отражаем цельность мира и это самое триединство, так?» — «Ну пусть». — «И значит, когда ты кого-то выставляешь подонком, я соответственно выдаю слова в его защиту — именно в силу триединства...» Ответ состоялся. Однако же мой приятель тоже не лыком шит и тут же находит ответ ответу. А затем я, так сказать, ответ ответу ответа. И начинается чистейшая схоластика. Это как у ребенка, кубик на кубик и еще на кубик.

Гости — все прочие — посматривают на меня с невыразимой тоской. На меня, а не на моего приятеля: он-то хозяин, простительно, а чего этот-то, защитничек, на себя много берет? Тоже ведь гость. Наконец все кричат, чтоб мы

замолчали, а жены — чтоб мы заткнулись. А тут, кстати, и кубики наши уже рушатся сами собой, как и положено им рушиться.

Или вот, казалось бы, другой случай: встретил я человека — встретил случайно на пустой автобусной остановке. Он мой знакомый. Более того: когда-то начальником моим был и давил меня безбожно, давил тяжело и не без некоторой даже фантазии. Не важно в эту минуту, где, не важно, как и почему, а важно, что давил, — на автобусной остановке спустя много лет вспоминается лишь это, остальное побоку. И вот он уже не начальник мне: «Здрасьте». «Здрасьте», — вырвавшееся и обоюдное. И стоим, ждем, и не уйти, не разойтись нам в разные, к примеру, стороны, потому что разойтись — это уж очень нелогично и смешно и нелепо; а автобуса все нет и нет... И вижу: испуган он, побаивается. Вспомнил, конечно, и ведь тоже человек. И я уже как бы спешу навстречу ему, на помощь: «Лето, — говорю, — какое жаркое. Вы заметили, какое жаркое в этом году лето?» И он, конечно, тоже начинает словами и даже жестами рук спешить. Жене, говорит, путевку. И детям тоже путевки. Никак, говорит, достать не могу, а ведь жара, жара...

И так он опечален, и так он морщится, и так он убит, по той причине, что никак этих вот необходимых путевок достать не может, что тут уж все ясно и понятно. Заговорил он было, что еще и радикулит его мучает, — но осекся, замолк; радикулит уж как-то слишком нацелен на мое снисхождение и на мое сочувствие: слишком уж ясно, что весь он сейчас мягкий, бери его руками. И тогда он о путевках, опять о путевках. Ну никак он их достать не может, а ведь жена и дети...

И странная жалость постепенно проникает в меня. И ведь не прощаю я его, не христианничаю, — я точно знаю, что не прощаю его сейчас и не простил тогда, однако и жалость и прощение есть: жалость изнутри. Выглядит внешне она так: вроде как не ему я сейчас на автобусной

остановке сочувствую, не ему конкретно... А всем нам. Такие, мол, вот мы люди, и что поделаться... «Да, — говорю, — с путевками погано. Вот еще через объединенный профком попробуйте», — и вот ведь говорю и себя как бы слышу со стороны, и самое удивительное, что мне совестно это говорить *вслух ему*, и лоб мокрый, и весь я вдруг вспотел (он-то уж давно вспотел), и все же я эти слова говорю. *Вслух. Ему. И наконец-то* выполз из-за дома автобус, — подходит...

И это ж, конечно, смешно объявлять хотя бы и шепотом, хотя бы и самому себе, что ты не судья. Это ж декларация, а главное, неправда. Не вся правда. То есть за эту самую несудейскую черточку точишь ведь себя и точишь, а затем вдруг вновь думаешь: а может быть, прав я в своем... И вновь ломаешь голову, и вновь не знаешь, как оно будет жестче и как гуманнее, — вроде бы и понял и запомнил, но и сквозь суд свой, и сквозь недолгую агрессивность все-то слышишь эту трогательную и мягкую ноту. Вроде как в себе носишь: не судья.

Савелий Грушков, старея, стал неожиданно для многих злым: это злой, не озлобленный, а именно холодно и желчно злой старик. Такую вот шутку сыграла с ним старость. У него и причуды, вполне соответствующие его злобе и его желчи. Он, к примеру, толкует и разъясняет людям «Божественную комедию», и это в маленьком поселке, где одна-единственная библиотека (книги на дом не выдаются) и где считают, что Данте — это главный инженер соседней фабрики, смещенный с должности за постройку вне очереди кооперативной квартиры для своей рыженькой секретарши. «Что делаешь, Савелий?» А он листает Данте не спеша и не спеша поднимает на тебя злые глаза: «Я толкую» — так он заявляет. Это его собственное выражение. Оно бы и ничего и даже хорошо, — в конце концов, человек спину гнул, вкалывал, почему бы не заняться теперь, на пенсии, чем хочешь — человек ведь свободен в выборе. И если Савелий Грушков, старичок, выбрал толковать не что-нибудь, а

«Божественную комедию», в поселке, где козы чешутся о забор детского сада и где все еще не перестроена мрачная, уральская, заводских времен баня, то, стало быть, так надо. Превращения в стариков удивительны. Книгочеем Савелий Грушков никогда не был, и вообще с книжкой в руках до этих — *стариковских* — дней его ни разу не видели.

Савелий сидит иногда на скамейке возле дома и, если спросить, охотно поясняет главную свою мысль: грехи в наши дни другие, а значит, нужно по-другому распределять и наказание. Не совсем как у Данте. Сидит он на виду с толстым фолиантом юбилейного издания и, объясняя, непременно постукивает карандашиком по переплету... Однако куда чаще он сидит один на заднем дворе вдали от глаз; он сидит на солнышке в оберегаемом одиночестве, и это не поза. Он действительно углублен в свою мысль. Он судит. Он поглощен своей мыслью полностью, вплоть до некоторой потери рассудка, и, поглощенный, он издает вдруг громкие, каркающие (хотя и без «р») звуки; это очередной приговор:

— В ад!.. В ад!.. В ад! — Его рот при этом раскрывается не сильно, но страшно. Старик в страсти. Он только что обдумал, взвесил чьи-то грешки и осудил — и вот один из несчастных, один из жильцов барака (еще живой), уже закувыркался, визжа о милосердии, болтая руками и ногами, брошенный в только что заготовленную ему стариком «злую» шель с отмеченным номером. Выкрики старика раздаются неожиданно. Звуки сливаются воедино, женщины, развешивающие на заднем дворе белье, вздрагивают, и весь двор прорезывает это жуткослитное: *«В ад — в ад — в ад!»*

У всех жильцов и у всех соседей была в будущем только одна эта дорога. Выбора не было. Он толковал «Ад», он думал только о наказаниях. Как он сам говорил, ядовитенько улыбаясь, раем он займется попозже. Гора-аздо позже... Он сидит, солнышко греет его старые кости — он в упор взглядывает на проходящих мимо и с самомнением бога-прокурора (а там тоже триединство) постукивает ка-

рандашиком по суровой книге. В его стариковском воображении мир погружается во мрак, единственный свет — это адский огонь, в котором плавают и пылают пьяницы работы с третьего стройучастка, истошно кричащие: «Пить! пить!» — но жажда их отныне неутолима; в темноте ощупью бродят, выставив руки вперед, прачка Зина и невестка его Василиса с зашитыми глазами (он колебался, не выколоть ли) за то, что они любят подглядывать в окна. Для родичей Савелий особенно любит примеривать наказания. Это уж как водится.

Я же знаю и помню, что старик был когда-то совсем другим человеком; это как картинка из детства. Савелий Грушков был тогда молод, воскресным днем сидел он на крылечке барака, свесив босые ноги в горячую пыль, напевал глуповатую песню:

— Эх, была не была-а-а... —

и чистил картошку, орудуя ножом в такт. К картинке был еще и сюжет. Неподалеку строился цех, пацанов на стройку не пускали, а на страже манящих закоулков и высоких переходов и винтовых лестниц был поставлен поселковый дурачок Сеня. Другой сторож, как и положено сторожу, со временем ослабил бы бдительность. Но дурачок Сеня не расслаблялся, жил с ровностью мотора, не пускал — и хоть умри. Идеальный страж. Наконец однажды в великом своем рвении и с неосознаваемой самим собой жестокостью он стукнул мальчишку по голове куском доски, до плечи стесал ему волосы с затылка и рассек ухо. Работу ему пришлось тут же бросить. И к тому же он трясся, как лист, потому что отец мальчишки и два дяди были здоровенные мужики, рыскавшие в тот вечер по поселку с пеной на губах. И именно Савелий Грушков спрятал у себя и не дал Сеню в обиду.

Прошла неделя — страсти поулеглись. А Сеня все еще жил у Грушкова в его комнатухе. И все еще пугливо ози-

рался, если на минуту выходил из барака в самой крайней нужде. Был вечер. И вот Петька Демин (его-то Сеня и треснул) и я подошли к бараку, а Грушков на крылечке напевал:

— Эх, была не была-а-а... —

и чистил картошку.

«Ну пойдите, посмотрите его», — разрешил Савелий Грушков. Мы прошли в комнату. Сеня, полуголый, сидел на полу, подобрав по-восточному ноги (жена Грушкова, тетя Паша, как раз обстирывала его), и тряся то ли от озноба, то ли все еще от страха. Он тихо мяукал. Мы погладили его по голове, спросили у него, как жизнь, и ушли с не вполне насытившимся пацаньим любопытством, — опять вышли к Грушкову.

Помялись, постояли на крыльце и спросили:

— Дядь Савелий... Зачем Сеню дурачком зовут? Зачем смеются?

Не переставая чистить картошку, Грушков ответил:

— А чего ж — плакать, что ли?

— И ты тоже, бывает, над ним смеешься...

— И я тоже.

— А ведь это нехорошо над ним смеяться.

— Нехорошо.

И Грушков продолжал чистить картошку, теперь уже не напевая, а насвистывая песенку. Затем вдруг объяснил: и мы услышали поразившее нас тогда объяснение:

— Он ведь, если подумать, этим смехом кормится. Этим живет... Если б над дурачком не смеялись — не стали бы жалеть.

— Как же так?

— ...Если не будут знать, что он дурачок, побить могут. И даже убить. Нормальных же за всякие выходки бьют — понятно?

Грушков звучно бросил очищенную картофелину в воду и засмеялся:

— Я вот его на гармошке играть научу. Сто лет проживет!

Я был уже студентом, когда приехал к ним, — на улице по дороге с вокзала я встретил тетю Пашу, его жену. Она затараторила: «Ну пойдем, пойдем (будто вчера меня видела)... Приехал, ну и ладно. Пойдем. Савелий обрадуется».

Дорогой она рассказывала новости:

— Савелий по-прежнему никого не стесняется — а теперь совсем свихнулся, черт...

— Свистульки делает?

— Какие там свистульки!

Савелий Грушков любил всякую ручную работу: руки у него тряслись от водки, но казалось, что они трясутся, потому что ждут очередное дело. Он лепил кувшинчики, он продавал елочные игрушки, он делал пацанам свистульки, от которых дурил поселок; что нового он прибавил к своему творчеству, тетя Паша сказать постеснялась. Только фыркнула:

— Тьфу... Срам от соседей, и больше ничего!

Когда пришли, Савелий встретил меня с объятиями, — в голове седина:

— Привет, грешник. (Это было его любимое обращение, хотя в ту пору он Данте не читал, он даже слыхом о нем не слышал.)

Тетя Паша готовила и накрывала на стол.

Савелий расспрашивал меня о своем сыне; сын и дочь Грушковых, студенты, учились в Москве — я их редко видел, но все-таки видел.

— ...Ведь в Москве до чего ж трудно жить! — рассуждал Грушков, никогда там не бывавший. — Вот пишет мне сын, а ведь это не письмо — писулька. То да се. Жив да здоров. И чувствую: не выдерживает он там ихнего *ритма жизни*.

Савелий продолжал:

— А я ему в ответ на его писульку — р-раз! — и послал сотню деньжат. И представь себе, следующее письмо от

него совсем уже другое — тоже короткое, но другое. Оно уже с *ритмом жизни*.

Голос его стал мечтателен:

— Вот представь себе: идет мой сын там по проспекту. Нервы. Работа. Отношения с начальством. А знакомств нет — знакомства надо делать, где с мужчиной знакомство, а где с женщиной...

— Молчал бы, хрыч, — сказала тетя Паша.

— А чего молчать? Все это надо, надо... А для всего этого в очередь первую что? — а конечно же, деньги. Если опоздает, на такси сядет. Проголодается, в ресторан сможет заглянуть...

Пришли соседи. И теперь — за столом, гоня рюмку за рюмкой, — стали говорить как бы хором: у того сын в Киеве, у другого в Москве; да, ритм жизни штука серьезная: выдерживают *наши* этот ритм или не выдерживают?.. Явился сосед, который умел петь. Запели... Помню, что, сытый и под хмелем, я, отвыкший, не выдержал их ритма, отправился на поставленную мне раскладушку и быстро, легко уснул.

Проснулся я рано. Хозяева тоже уже встали — тетя Паша мыла посуду и прибирала вчерашнее. Из второй полуперегороженной барачной комнатухи доносилось: «Вж-жик». И уже ясно было, что это рубанок, и, напирая, лез в ноздри сильный запах свежеработываемого дерева. Я — зевающий, в одних трусах — заглянул в приотворенную дверь. Савелий Грушков делал гробы. Вот именно, гробы, и притом с весьма яркими узорами. Их было штуки три в углу, а один перед Савелием как раз в работе. Савелий стоял спиной и не заметил меня. Вж-жик... Вж-жик...

Тетя Паша тронула меня за локоть:

— Ты уж никому об этом. Ладно?

— Ладно. (Я понял, что она имела в виду детей, которые ходят по московским проспектам.)

— А то смеяться будут. Или еще хуже — стесняться. — И затем пояснила: — У нас в поселке с этим делом плохо.

Контора в городе тоже на ремонте... А Савелий и деньги-то по-маленькому берет.

— Почему?.. Работа есть работа.

— Брать-то берет, это уж я так. Но ведь неудобно, пойми: человек на стройке работает...

Савелий крикнул из комнаты:

— Чего там шепчетесь?.. Входите сюда.

— Дел хватает! — отрезала тетя Паша и опять направилась к вчерашней посуде.

Я вошел.

Савелий как раз кончил очередную штуку. В углу я увидел свистульки, знакомые с детства... Савелий закурил. Что бы он ни делал, он не мог подавить в себе довольства своей работой, если она сработана хорошо. Артист. Чувство легко достающегося ему профессионализма и умения в любом новом деле пьянило его. Он отошел чуть в сторону — так было лучше видно творение рук — и, оглядывая великолепный гроб и сладко затягиваясь папиросой, сказал с подъемом:

— Каков красавец!

А теперь было лишь каркающее «*В ад — В ад — В ад!*», и была благообразность, и эти сухонькие пальцы, держащие карандашик, и многозначительное постукиванье карандашиком по томику Данте, бог знает как попавшего в этот поселок и на этот задний дворик с полощущимся бельем. Ничего больше в Савелии не осталось. Я любил этого старика долгой любовью, и мне было непонятно и больно его превращение. Подумать только, что именно этот старик прежде говорил кому-то (он говорил, а я слышал и по сей день слышу его голос), — он говорил, и глаза его сияли торжеством и даже вызовом:

— Живи, грешник, — говорил он кому-то из соседей, улыбаясь, — живи, милый, пока живой. Живи *дальше* и ничего не бойся! — Если бы не хмельное пошатыванье, он был бы похож в ту минуту на местного, провинциального пророка, как водится, среднего полета, но с неисчерпае-

мыми ресурсами; возможно, он тогда и был им, пророки встречаются чаще, чем принято думать.

Если старухи сопровождали меня в течение всей моей жизни, появляясь там и здесь в облике людей малоприятных, в облике морализирующих судей, то *старики* как-то все вроде прятались. Я их видел, встречал, конечно, но как-то стороной. Не на главной дороге. Рассеянные в мелких встречах по жизни, в автобусах и в очередях, старики не запомнились мне, как запомнились властные старые или пожилые женщины, каждая из которых словно бы пыталась наложить на меня матерый оттиск, как налагают оттиск опыт и быт. Жизнь шла, колея менялась, но на смену одной властной старухе тут же и немедля вставала другая. Они были похожи на окликающих часовых вдоль долгой дороги; так уж мне повезло. Стариков не было.

Но зато как бы в виде предварительной компенсации однажды я увидел и узнал целую группу стариков разом. Похоже было, что они, не попадавшие мне в дальнейшей жизни, собрались равновесия ради все заодно, чтобы я не почувствовал изъяна и ощутил цельность людскую, как она есть. Было это в бане. И старики, конечно же, меньше всего думали обо мне и о моем дальнейшем равновесии, потому что думали о себе, о мочалках, о шайках — и о пиве после. Мне было лет двадцать. Баня же была поселковая, древняя. Шагах в шести мылись, не больше, — и всю группу стариков, не выделяя поначалу никого, я воспринимал как одно целое. Я видел их одинаково обвисшие детородные органы, давно отслужившие; они обвисли и оттянулись *к земле* — в самом последнем и конечном нашем направлении, покачиваясь, как покачиваются кисеты с махоркой, бывшие тогда в поселке все еще в моде. Сочетание обвислости с улыбающимися лицами стариков, с их выцветшими детскими глазами, которые уже не только не совестились какой-то там обвислости, но, вероятно, попросту забыли о ней, — было удивительно и отдавало великим, неслыханным счастьем: дожили наконец и ведь не умерли.

«Туда не пойдем — там скамьи стылые!» — засмеялся один из них.

Их было семь человек — как некая гроздь, они рассредоточились по краю одной и другой скамьи: трое и четверо напротив. Я не понимал, что меня волнует: старики, возможно, в своей совокупности представляли для меня варианты моей старости: буду ли я таким стариком? или таким? — и в конце концов я остановился на двух, которые были примерно моего роста. Мне казалось, что рост — это важно для прикидки; нутро мое топорщилось и сопротивлялось, но хорошо помню, что на всякий случай я смирился — ладно, я буду вот таким... У нас говорили, что увидеть и поразиться группе стариков — это к долголетию. И с самым откровенным эгоизмом по отношению к прочим людям меня, двадцатилетнего, вдруг обдало и обрадовало, что я буду долго жить; самосохранение в бане.

Эмоционально в моей памяти означился тогда и выделился лишь один старик. Благообразные, с детским пухом на голове старички еще только разделись и входили в банный зал, и вот, когда они вяло шлепали по полу и посмеивались, один из них вдруг оглянулся на меня, что ли, или же на горбуна гардеробщика, — и яростно проговорил: «Зар-разы!» — мрачный и озлобленный взгляд никак не увязывался с благостью и детскостью всей остальной группы. И сейчас еще вижу, как он идет, голый, свесивший вдоль тела руки, как вдруг оглядывается, как вдруг надуваются жилы на его шее и вырывается это жуткое и неожиданное «Зар-разы!» — он рывкнул, и один из пареньков, стоявших вблизи, выронил ком одежды, которую запихивал в маленький банный ящик.

В бане я к старику пригляделся — здесь он был таким же, как и все они, благообразным и безликим; он сидел ближе всех ко мне и степенно мылил голову, пах, худые руки и совсем уж худые, скелетообразные ноги. Он был росл, и я счел его за один из возможных вариантов моей будущей старости. И именно этот старик связался в моей памяти с другим человеком — с Савелием Грушковым, ко-

торый перед самым отбытием на небо вдруг тоже озлобился и всем живым прочил ад. И каким же образом, почему в одном из ста случаев, в одном, может быть, из ста стариков вспыхивает перед концом злое и личностное, в то время как девяносто девять старцев аккуратно уходят в благость и в детство, и их уже не раздражают ни болезни, ни умершая плоть, ни суетливые родичи, достойные ада, ни вдруг пробудившееся желание много и впрок есть, жевать, набивать утробу, как это бывает у детей. Нет-нет, подумал я тогда же в бане, в инстинктивном и молодом страхе подбирая себе возможную старость, вид старости, — только не быть таким, как он, *таким быть, наверное, мучительно*; нет-нет, надо отходить *туда*, срашиваясь и сливаясь воедино со всеми стариками, надо с девяноста девятью отходить вместе и спокойно, надо отходить, как отходят в траву, в небо, в землю, медленно растворяясь и теряя свое «я» во всех и во всем.

Они стали разбиваться на пары, чтобы тереть спину, — и вдруг отделились от меня на бесконечное расстояние, хотя были в тех же шести шагах. В бане становилось гулко. Гул в ушах где-то бегущей воды, а к вискам прилила кровь, глаза затмило, и я почувствовал свое распарившееся молодое тело, как чувствуют его перед близостью с женщиной. Тут старики и отделились. Мигом и разом они улетели от меня на космическое расстояние, я был щедр, я был переполнен, я был живой, а они нет. Не шесть шагов в пространстве была дистанция и даже не шестьдесят лет во времени (мне было двадцать), расстояние было куда большим, они были от меня за стертыми миллионами лет, в том времени, когда земля была из голого камня, кремнистая, без кислорода, без суеты множащихся клеток и, уж конечно, без единого на ветру листка.

А они уже разделились на пары, и старик старику кашлял: «Что? потеряешь тебе спину, как потеряли тебе ноги?» — и засмеялись оба. У старика, которому это говорилось, на внутренних сторонах ног, начинаясь от колена и взбираясь все выше и выше и даже выбрасываясь и выползая на ягоди-

цы, почти правильными полосами раскинулись чудовищные потертости, — был ли этот симметричный архипелаг от какой-то болезни, или от расправы, или же просто от седла, с которого он годами не слезал в молодое время, определить сейчас было уже невозможно. Цветом и составом потертости напоминали серовато-черную плотность кирзового сапога. И далеко не сразу на спине, делаясь все краснее, стали проступать неправильные шрамы-рубцы, разбросанные алыми зигзагообразными нитками на белоснежном теле. Этот старик был совсем тихий, из тихих тихий, — и даже стариковская странность его тоже была тихой странностью: старик был шептун.

Он любил сидеть на солнышке, грея старые кости, и, как только все умолкали — в паузу, — он начинал шептать, в какой год и с кем занималась тайно от мужа любовью его младшая, сорокалетняя дочь Клавдия. Сначала он шептал, вероятно, правду, потом, увлекшись, стал сочинять. Внимание он любил. Глаза у него были напрочь выцветшие и наивные, был и один зуб, — кстати, на всю группу стариков приходилось два зуба, все они обожали зевать, разводя пасть до немыслимых размеров и иногда ее крестя. Старик шептал, что дочка многих любила, «и Кошелева любила, и еще еного». Я помню, как дочь свирепела. Я не видел, но я слышал крики, даже не крики, а пiski младенца, не понимающего, за что быют и чем, собственно, Клавдия опять недовольна, — именно не понимающего, потому что уже вечером он выполз на солнышко при закате, побитый, с полуоторванным ухом, и тут же зашептал:

— А самое интересное про нее я досказать не успел...

В каком бы виде и обличье ни встречались мне дальше в жизни старики, я их не пугался, даже не настораживался, и, если старик был начальником и если начинал, скажем, орать, — я только улыбался втихую, думая про себя, что это он еще не добрал до бани, не разделся, не взял мочалку и не стал тереть спину напарнику, потому и сердится, бед-

ный, ну да отойдет скоро. Я их знал как бы наперед, сподобился в юности и помнил это; и удивительно, что старики, как бы грозны и сановиты они ни были, тоже вроде бы знали, что мы вместе когда-то мылись. Они тоже помнили. Иногда, впрочем, я натыкался все же на окрик: старик был узнаваем и угадываем мною не сразу — но незнание скоро и живо рассеивалось, он вспоминал меня, а я его; я просто доселял его в ту, моюшуюся группу, но не среди семи стариков, а чуть дальше вдоль по скамье, в клубах пара он тоже в тот раз терся мочалкой, тоже ловил выроненный обмылок, и я тогда попросту не разглядел его, потому что он сильнее других жался к теплу, а пар там был погуще.

Больше всего читались спины: спины стариков — это жизнеописания, их можно разглядывать часами, восстанавливая не только жизнь человека, но тип, вид этой жизни, даже ее ритм. Спина начинала разбег и рост вверх стремительной худобой, как молодое деревце, вклинивающееся в воздух, — говорила она о довольно вольготной, вероятно, сытой юности; потом шло округление, как окольцевание на дереве, на человека в середине жизни сваливались беды и тяготы, а развал лопаток подчеркивал боль дряхления и поздний, с пробужденным уже сознанием трагизм. Спина повествовала, как повествует старая книга. И невыразительность, по сравнению со спиной, детски опростившегося лица была очевидным и обидным фактом. Другая спина сразу же была словно задавлена тяжестью; сантиметр за сантиметром, не любимая людьми и Богом, она пробивалась кверху с невероятными усилиями и скрежетом; скисла, так и не пробившись, и лишь неожиданно легкий разлет плеч над этим бесформенным обрубок подсказывал, что и эта спина как-никак прожила жизнь долгую и, может быть, хотя бы потаенно прихватила кое-где свою малую долю солнца. Если хироманты не интересовались чтением спин, то, вероятно, только потому, что спина начинает читаться и говорить о жизни слишком поздно: в этом возрасте уже не гадают о будущем, будущее знает каждый.

Совпав со стариками однажды — допустим, во вторник, я попал в ритм и чуть ли не два месяца совпадал с ними, потому что баня в поселке была строго еженедельно. Какая-то домашняя случайность как свела, так затем и разела нас, и теперь мы мылись порознь, с разницей в день-ва, и иногда, спеша в магазин, я вдруг натыкался на всю тайку, со свертками идущую к бане. Последним в группке тариков плелся по улице тот единственный из них мрачный и злобноватый старик, который в предбаннике оглянулся и крикнул: «Зар-разы!» — он всегда плелся последним, бурча что-то самому себе под нос.

— Кто это? — спросил я у матери и теток, и они сказали, что старик был в молодости и в зрелости и даже в первой старости необыкновенно веселым человеком. Мне это запомнилось: перемена под самый занавес. Одна из теток прямо сказала: «Таким забулдыгам нельзя доживать до глубокой старости... Он же, *дэмон*, всех ест поедом», — а другая тетка подхватила: «Письма пишет в газету, гадюка!» — и они стали вслух гадать, чего бы это человек переменялся, притом без причины, на ровном месте переменялся, и ведь веселым был, бесшабашным каким был, и ведь как любили его все... надо ж так!

Я успел запомнить и то, как они трут спины друг другу. Стоя немного боком, не как женщина, старик упирался руками в скамью, а голову свешивал, расслабив шею полностью, как свешивают головы только старики, — напарник тер его мягко, даже нежно, ласкающими неторопливыми движениями. Он вовсе не драил, он словно тоже на спине видел и читал всю долгую жизнь склонившегося перед ним; а нацеливаясь и выходя мочалкой на ребра, труший старик скашивал голову в освещенную сторону, вглядываясь и словно не вполне и не до конца доверяя рукам, которые грубы и которые могут проскочить по этой костно-реберной волнистости, как по стиральной доске. Сказывался и опыт. Напарник тер ровно, не убыстряя и не умедляя темпа, и вдруг останавливался, завершал банное дело, как завершает его человек, всегда и точно знающий, когда будет

в самый раз. Они знали точно. Никто и ни разу не переспросил: «Еще?» Никто из трущих не предложил, как предлагают друг другу мужики: «Подраить по-второму, а?» — старики не спрашивали, они знали. Опыт сказывался и в самом начале: прежде чем тереть спину, напарник некоторое время вертел в руках *чужую* мочалку, он как бы изучал ее и примеривался, словно и у мочалки была индивидуальность и параллельная жизнь, отражающие индивидуальность и жизнь хозяина. Повертев и порассмотрев, он опускал ее на спину — опускал не жестким и не самым мягким углом, а тем, и только тем, каким надо. Ходовое сравнение стариков с детьми в бане нарушалось, — на улице, в магазине, в бараке старики и действительно были равнодушны, заняты собой и жестоки, как дети, но в бане старики были нежны.

Один из стариков заснул — он заснул, сидя на банной скамье, в позе кучера, свесив руки меж расставленных колен и уложив подбородок на свою впалую грудь: за миг до засыпания он выронил шайку, и сейчас она медленно описывала круг за кругом по банному полу, покрытому текущей водой — слой воды был тонок, расплющенный по полу, растекшийся вширь и распластавшийся ручей теплой воды, на которую гладко и так приятно было в юности ступать ступней. Мимо прошел другой старик. Он шел еще к одному старику, к третьему, собираясь тереть ему спину, — я думал, что, проходя мимо заснувшего, он непременно поднимет ему шайку, но он, видно, поторапливался, потому что тот, третий старик уже стал на изготовку, выгнув спину и в сладостном предчувствии мочалки медлительно и зябко поводил лопатками. Поэтому проходивший, не прерывая осторожного шага, лишь тронул мягко ладонью лысую с белыми охвостинками голову заснувшего старика и качнул ее направо-налево, — заснувший старик встрепенулся, зевнул во всю пасть и пробормотал:

— Шаячка укатилась... — и опять заснул.

Шайка, уже заканчивая движение, исчерпывая до нуля выданную ей энергию падения, поворачивалась совсем мед-

ленно, останавливалась, а старик спал — это был тот, желчный старик, который днем шастал по бараку, клял, бранил, писал даже в газету. У памяти своя сила и своя лепка: она уплотняет не только время, но и образы людские, если они схожи. Желчный старик, выронивший шайку, навсегда слился для меня с мрачно-злым Савелием Грушковым, толкователем «Ада», и подчас я почти с уверенностью думаю, что мылся в бане именно с Савелием. Не раз и не два подползала мысль, вкрадчивая: может быть, потому под самый занавес жизни они и переменялись, что всю жизнь были веселы, озорны, добры и любимы?.. Может быть, жила в этом тайная и скрытая и даже неосознаваемая потуга на бессмертие: конечно, все люди смертны и умирают, но почему бы ему, которого все *так любили*, не быть исключением? Почему бы не выжить лучшему? Возможно, что в старину наши святые, канонизированные или полуканонизированные церковью или просто возведенные народом при жизни в легенду, все эти подвижники, страсотерпцы, голодари, отшельники и добрых дел мастера, — быть может, ближе к часу, в поздней старости, они тоже начинали вдруг нервничать, волнуясь и тревожась, а ну как их кости по ту сторону смерти не превратятся в мощи, а сгниют и истлеют, как гниет и истлевают все. Едва ли это смешно и эгоистично: тут есть своя боль. Он заснул, его потрепали по голове — и, не просыпаясь, он пробормотал, как пробормотал бы о кончившейся жизни:

— Шаечка укатилась...

Покружив по влажному полу, шайка остановилась, — а здесь же двигался меж скамьями здоровенный, с выставленным вперед животом, работяга Куров. Куров держал в руках свою шайку, она-то и закрыла от его глаз ту, что кружила по полу, — Куров с маху и больно стукнулся о нее мословинкой левой ноги и даже вскрикнул, охнул. «Заснул, что ли, дед?» — рывкнул он так, что люди в бане на миг притихли и стал слышен шум воды. Старик, не очухавшийся вполне, протер глаза; он зевал и бормотал испуганной скороговоркой:

— Кто-ты-кто-ты-кто-ты?..

Куров, уже переборов остроту боли, вновь рявкнул: «Апостол Павел я — встречать тебя послан, мать твою в берег!» — и в бане засмеялись, загоготали, и вот тут, хотя, в сущности, ни намек, ни подсказки, ни тем более угрозы вовсе не было, — старики вдруг один за одним, как засидевшиеся гости, начали приподниматься со скамей, помогая друг другу в банной немощи; встали и один за одним потянулись к парилке. Они встали немо. Ни слова. Их никто не прогонял со скамей, их никто не прогонял из жизни. И медленно-медленно зашлепали, опасливо ставя ноги на скользкий ручьистый пол. Так же один за одним они входили в парилку — двери не было, из дверного проема оттуда валил пар, водяная пыль с жаром, и все это поглощало и съедало старика за стариком; они шли туда, может быть, три, может быть, пять медленных минут, но для меня, отстранившегося, они шли сотни, если не тысячи лет, — студент и болтун, уже подпорченный игрой обобщений, я видел, что это уходят *люди вообще*, вышедшие когда-то из воды, поползшие, затем поднявшиеся на четвереньки, затем превратившиеся в млекопитающих, затем вставшие на ноги: люди как бы дошли до своего конца и часа, исчерпали развитие — и опять уходили в воду, в пар. Я видел их спины: с каждым шагом опасливо удаляющейся цепочки стариков их спины (их нынешние лица) уменьшались, как уменьшаются светлые пятна, и, совсем малые, наконец скрывались в проеме парилки. Вода, пар и жаркая тьма дверного проема поглощали их одного за одним. Осталась видной единственная спина; погружаясь в проем, старик оглянулся — он и тут оглянулся, желчный и озлобившийся старик, он и тут шел последним в группке, — оглянувшийся, он уже в белесой тьме проема, словно вспоминая, что их прогнали и вытеснили, крикнул: «Зар-разы!..»

ОТДУШИНА

Повесть

Нет особенного и в том, что Алевтину любит некто Михайлов, и что зовут его Павел Васильевич, и что лет ему вот-вот сорок. Пожалуй, тяжеловесен он для амурных дел и неискушен, но, с другой стороны, принимая в расчет стабильность жизненного течения, для Михайлова сейчас самое время любить — у него жена, у него квартира, у него приличный заработок, а два сына уже заканчивают школу: один в десятом классе, другой в девятом. «Сыны у меня погодки», — любит повторять Михайлов, слыша в слове «погодки» некую значительность и опять же стабильность. Каким образом Михайлов изворачивается между семьей и любовью, неясно, и даже не верится, так как заметно — и это с первой же минуты, — что человек он во лжи несильный, из лгущих тяжело и, как правило, нескладно. «Михайлов!» — зовут его к телефону, а кругом, как всегда, истеричный визг пил, заказчики, суета рабочих, и вот Михайлов замирает в испуге: дети?.. или «она»? — и спешит в свой закуток к телефону, и тут важно отметить, что внешне-то он идет спокойно, тяжеловесно, а по сути своей спешит, торопится и даже подрагивает, как подрагивают люди, лгущие неумело и нескладно, а главное, не по летам редко. Алевтина и дети — только это волнует Михайлова в миг резкого телефонного оклика, хотя в другие минуты его заботят и дела, и жена, и старушка мать, еще, в общем, живая.

Михайлов человек загруженный, занятой, что тоже кладет на любовь свою окраску — *любовь занятого человека*. Он вкалывает (его обычное словцо) на мебельной фабрике,

официально называющейся «Ателье по изготовлению мебели — заказы от организаций и населения». Михайлов приходит туда минута в минуту рано утром, и уже с самого утра от его одежды разит политурой и лаком. Пить ни то ни другое он не пьет. Он инженер. Степенность и живой вес Михайлова, а он весит чуть больше центнера, вызывают уважение, и вот заказчик, или молодой столяр, или просто работяга из цеха иногда интересуются:

— Хоккеисту Михайлову никем случайно не приходиться?

— Прихожусь, — негромко и скромно отвечает Михайлов, и, когда его (еще более уважительно и с проникновенностью в голосе) спрашивают — кем же именно? — он отвечает все так же негромко и скромно: — Мы однофамильцы. — Это, конечно, такая шутка, и успеха, конечно, она не имеет, однако Михайлов время от времени повторяет ее с постоянством мужчины, который, может, и думал о славе и подвигах в молодости, но теперь уже нет: теперь он вполне смирился и конец свой, и итог жизни в общих чертах знает. Впрочем, у него есть закуток-кабинет, где он может посидеть один на один с телефонным аппаратом веселенького желтого цвета — предшественник Михайлова, смело глядевший в лицо опасностям и житейским бурям, засиживался здесь с толстухами из ОТК, и Михайлову иной раз кажется, что стены и обои с павлинами и сам желтенький телефон смотрят на него выжидающе, хотя и не торопя, как смотрят умные, готовые к услугам подхалимы, смотрят и ждут, но, конечно же, ничего смелого от Михайлова они не дождутся. Он инженер. Он не засиживается: он выполняет, разумеется несложные, чертежи по желанию заказчика, но в основном следит, как воплощаются эти чертежи в дереве, и вот он бродит по цеху, высокий и грузный мужчина, иногда отпускающий тихие шуточки, которые не имеют успеха.

О том, что у Михайлова не было или почти не было претензий к судьбе и спроса к собственной личности, свидетельствует и его юность: кончал он строительный вуз,

но, вместо того чтобы возводить какие-то там мосты на Волге или какие-то там ансамбли санаториев в Пятигорске, Михайлов вдруг оказывается здесь же, в Москве, на мебельной фабричонке — и это именно *вдруг*... Некоторым мебельная фабрика казалась удручающей прозой. Другим, которые побойчее, она казалась исключительно тонким замыслом («Московская прописка и теплое место! Да это же ход конем!»), и только самому Михайлову фабрика не казалась ничем, разве что фабрикой. Он инертен. Он из тихих. Он, пожалуй, слишком медлителен душой, как бывают медлительны телом, — такие люди не успевают уклониться ни от плохого, ни от хорошего, и если им так говорят — мебельная фабрика, значит, так тому и быть. Михайлову предлагают, он соглашается. Ему обещают жилье в течение ближайших трех лет и обманывают; он опять же соглашается. Он живет, молчит и, в общем, верит, что у фабрики в этом году были с жильем какие-то особенные перерасходы, и что директор фабрики и без того вконец замотан, и что у него, у директора, от забот ночами болит сердце и как бы не микроинфаркт... А время идет.

Время идет; Бог, как известно, оберегает нехитрые души. И вот вдруг оказывается, что мебель — это модно и ценно, и тут слово *вдруг* становится вновь нужным и, стало быть, характерным для Михайлова, в том смысле, что только это слово и может что-то в его жизни переменить. Большой город вдруг словно приходит в движение после спячки, и они, люди, со всех концов спешат теперь к Михайлову. Они хотят под старину. Они хотят под модерн. Они хотят просто под уют, они всё хотят — один, помнится, хотел стеллажи и чтоб линии там «пересекались, и разбегались, и вновь сбегались», и чтоб сверкало, и чтоб в целом напоминало аэропорт («Что-что?» — «Аэропорт, ну вы меня понимаете!»). Теснота квартир диктует свои законы, подчас приходится бороться за каждый квадратный полуметр, и, пожалуй, в этой-то борьбе Михайлов себя обрел. К работе возник интерес. Ну и деньги, они тоже возникли, и однажды Михайлов замечает, что живет, и ест, и

пьет он теперь куда лучше, чем раньше. И квартира у него лучше, чем раньше, и жена (нет, это удивительно!) становится лучше и красивее. Дама. Со вкусом одета. Скромна. И тут можно отметить, что сорок лет — это не двадцать, если о жене, о женщине, но двадцать — это ведь уже не для нас, и Михайлов это помнит. Михайлов и сам выглядит лучше, и дело не только в одежде. Он переживает и испытывает чувство сродни запоздалой славе, а это на время молодит и на время же способствует всяким таким зигзагам. Когда идет дождь или просто сырая погода, голос у Михайлова садится и рокошет: приятный голос. Когда они знакомятся, Алевтина — она поэтесса — спрашивает:

— Вы известному басу Михайлову никем случайно не приходиться?

— Прихожусь, — негромко и скромно отвечает Михайлов, и, когда Алевтина (уже с некоторым уважением в голосе) спрашивает — кем же именно? — он опять же негромко и скромно поясняет: — Мы однофамильцы, — и *вдруг* в первый раз — и, забегая вперед, можно сказать, в последний — его шутка имеет успех, впрочем, малый и относительный, так как поэтессы к юмору не склонны, скорее снисходительны.

Алевтине Нестеровой не двадцать, а тридцать, даже тридцать один год; впрочем, она моложава, с большой грудью и более или менее милым лицом — она молодая поэтесса, и если о хлебе, то хлеб это нелегкий и не самый белый. За десять примерно лет у нее вышли три тоненькие книжицы стихов, и теперь, ожидая четвертую, она рецензирует или же подрабатывает, выступая со своей лирикой в заводских и районных Домах культуры и в студенческих аудиториях на всякого рода торжествах. Ее миловидность тут кстати и к месту, хотя бывают издержки: однажды, например, на Новый год ей предложили в каком-то клубе заодно со стихами, а точнее, после чтения стихов нарядиться Снегурочкой, так как та легла в эти дни на аборт, а заменить ее было некем; в таких случаях звонят срочно в бюро,

где Снегурочек не так чтоб очень много, но имеются, однако в тот вечер и телефон почему-то отключили. «Снегурочкой?» — «Ну да... Я вас очень прошу, девушка, вы читаете стихи, поскачете заодно возле елки. Это ж нетрудно!» И Алевтине сказали, что заплатят за хоровод особо, и этим, конечно, обидели. Алевтина позже разобралась, что тут не обида в замысле, а случайное и даже водевильное стечение обстоятельств и что надо бы на это смотреть с юмором; к этому она и пришла, что поэтессе к юмору надо быть склонной. Однако и в праздники, и еще неделю спустя душа ныла, и Алевтине хотелось какого-нибудь отвлекающего события — например, пойти в гости — или вдруг виделась накатанная лыжня, снег и гогочущие лыжники в свитерах. Алевтина даже заспешила приткнуться в этукую гогочущую бездумность, названивая по телефону тем и этим, потому что под Новый год — свойство зимнего праздника — одиночество может совершенно внезапно высунуть серенькое свое личико, и Алевтина это хорошо знает. Мужа у нее нет. Детей нет. Есть квартира.

Муж у нее был, он был тоже поэт, но поэт-неудачник — он как-то не сумел выпустить трех тоненьких книжиц стихов, он не сумел выпустить даже одну; он часто плакал и жаловался, а потом стал считать, что выпуску книжиц мешает движение в небе некой планеты, населенной инопланетянами и нами пока не знаемой. Алевтина считала, что причина в другом: вместо того чтобы брать трудом, где не взял талантом, он пристрастился к дешевому портвейну — плюс к тому он был смазливенький, и это его окончательно определило. Он исчезал на год-полтора, где-то там жил и пил и являлся в дом лишь тогда, когда доползли верные слухи о том, что у Алевтины выходит или только что вышла очередная тоненькая книжица, — он являлся к деньгам. Он рассказывал Алевтине, что любит ее, и что одумался, и что устал, и что начинает новую жизнь, но, едва кончались деньги, кончался и он как муж. Он проваливался в щель меж этими деньгами и теми. А можно сказать, что он проваливался в щель меж этой тоненькой кни-

жицей и следующей, и это уже в самом деле напоминало космическую щель, или, как говорят теперь, космическую дыру, в которую то появляются, изучая нас, то исчезают инопланетные существа далеких цивилизаций. Характерно, что он даже не затевал ссоры, и это тоже походило на инопланетян, — он просто исчезал. Ни слуху ни духу. И лишь одна-единственная открытка под Новый год, тот самый, когда Алевтина едва не примерила кокошник Снегурочки. Открытка была почему-то из Ялты. «Алиночка. Жизнь прожить не поле перейти. Желаю хорошего праздника». Детей у них не было. Они развелись, и теперь Алевтина Нестерова, поэтесса и привлекательная женщина, живет одна, живет собственной жизнью и в собственной квартире, и надо ли говорить, что она счастлива и что ее старуха мать, в одной из курских деревень подающая по темноте своей каждый раз у алтаря батюшке записочку, глубоко не права.

Гордость зачастую является своеобразной и даже необходимой компенсацией; тут-то особенно кстати и милое лицо, и большая грудь, однако более всего — и это важно — Алевтина горда тем, что зарабатывает на жизнь сама и ни от кого не зависит: тот случай, мой милый, когда баба, притом одинокая, а вот ведь живет и не плачется встречным. Достоинство, как и положено всякому достоинству, имеет свою тень: та же внутренняя гордость, по-человечески симпатичная, делает иногда Алевтину вдруг манерной и бесцеремонной. Она как бы в роли.

— Хочешь хороших стихов? — спрашивает она, а в общем, и не спрашивает, потому что с ходу начинает читать. Голос, к счастью, у нее теплый, с той самой хрипотцой, читает она прекрасно. Она разделяет стих от стиха небольшой, и легкой, и домашней, что ли, паузой, ни названия не сообщая, ни автора, — и это трогает. В этом вновь всплывает свой плюс и такт, потому что тебя отнюдь не втягивают в беседу эрудитов, не спрашивают, хочешь ли «из последнего сборника Анны Андреевны» (а ты и не знал, что сборник вышел), — тебя не теребят, в тебе не сомнева-

ются, ты просто слушатель — ручей просто и покойно льется в шаг от тебя, хочешь — пей, а не хочешь как хочешь.

Если опять же о внешнем, гравюры повешены наспех там и сям или же просто стоят, прислоненные к стене, — не пни ногой, милый, — а приклепленные черно-белые фотографии поэтов давнего и недавнего прошлого нашептывают и являют урок того, что любовь границ не знает или, во всяком случае, знать не хочет. «Отобью себе стоящего мужика, — любит повторять Алевтина под грохот, например, стиральной машины, если подруга пришла и, скажем, помогает ей, направляя в раковину шланг и струю с бьющей мутной водой, — отобью стоящего мужика и, глядишь, замуж выйду», — однако слова тут больше для слов, для публики и опять же для роли и игры... Именно из-за манерности и устоявшейся роли, из-за длящейся до поры внутренней неясности Алевтина Нестерова многим кажется странной; инженеру Михайлову, пропахшему политурой и день за днем живущему жизнью мебельного цеха, гордая Алевтина поначалу кажется попросту чокнутой. Он в свой черед кажется ей молчуном и дебилом, и это, конечно, ничуть не мешает их сближению: это взаимно любопытно для них и похоже на постепенное узнавание, на снятие шелухи и на постепенное появление белого тела луковицы.

2

То, что он «мебельщик», поэтессу как раз не отпугивает: у нее вообще есть тяга к простоте, и ей нравится, если человек знает некое свое дело и в этом своем деле не случаен и ценен. С охотой, а иногда и без — то есть с усилиями — она старается, чтобы Михайлову было у нее приятно. Есть и понимание своих усилий: она старается быть «просто доброй бабой», и чтобы он отдыхал здесь от суеты и тщеты, и чтобы не мучился своей, скажем, судьбой, или женой, или чем там еще мучаются мужчины, не понимающие простой истины, что выше головы не прыгнешь и что в конце

концов игра с жизнью, как и игра с женщиной, идет не на обман и не на итог, — мужчины этого знать не желают, но пусть хотя бы, бедняги, почувствуют. Она старается, чтобы Михайлов был ее другом, и тут не нужно делать это слово чуть хуже, чем оно есть: иногда — например, в тряском автобусе, когда в тряский автобус вдруг ворвется закат, а на заднем сиденье зачуханная старушонка с кошелками и с закрытыми и почерневшими глазами предстанет в розовых лучах, как ангелок или как воплощение покойной старости, — иногда Алевтина думает, что она его любит.

Но в другой раз он слишком тяжел: Алевтина, скажем, думает о тихом вечере, о том, какая у Михайлова славная морда, и о своей любви, налетевшей вдруг в тряском автобусе; мысль, уже истончаясь, разрешается в длительное настроение, в нежность ко всем и всему, и вот тут-то Михайлов вразрез начинает говорить (ворчать), что Алевтина Алевтиной, а семья семьей. Алевтина фыркает: не то обижает, что семья у него на самом первом месте (да бог с ним, с местом!), а именно эти подчеркивания, зачем они. Оберегая настроение, Алевтина говорит — смотри, какой снег за окном, — а он словно не слышит (иногда он туповат) и вновь талдычит свое:

— Любовь бывает часто, а семья редко.

— Вот заладил... Семья, я слышала, тоже бывает не один раз, — пробует шутить Алевтина.

— Это у кого как.

Михайлов произносит тупо и тяжело, даже как-то зловеще и час еще после нажимных этих слов способен сидеть букой. Бедняга страдает: с тех пор как у Алевтины объявился новый знакомец — блистательный, и красивый, и несколько скучающий математик Юрий Стрепетов, — Михайлов стал как-то особенно угрюмо поговаривать о своей семье, вроде как грозился или демонстрировал Алевтине, что у него, мол, в жизни как-никак есть главное и вроде как он больше к Алевтине ходить не будет и совсем исчезнет. Однако он не исчезает. Старая песня: мужик способен, пожалуй, потерять или даже выбросить, но никак не отдать дру-

гому. А Стрепетов тоже не исчезает. А Стрепетов и красив, и умен, и, в общем, он нравится Алевтине, что там скрывать. И однажды Алевтина уже понимает, что определенлся треугольник и что тяга и взаимная напряженность от угла к углу проглядываются чуть ли не по забытым классическим образцам — о Господи, почто искушаешь? — и вот, понервничав вечер-другой, Алевтина чувствует, что пора ей развести в стороны этих милых идиотов: пора ей тянуть, и вытягивать, и вправлять личную жизнь в какое-то русло. И именно ей, так как от мужиков не дождешься, мужики в наш век ничего не могут.

«Надо решать», — говорит она себе. И отчасти ей нравится, конечно, что надо решать, не без того.

И вот колебания: если рассуждать вообще и отстраненно, то, конечно же, ей ближе Стрепетов, он и физически приятнее ей, и в стихах разбирается куда тоньше — математики те же поэты, — однако старый друг ценнее двух, и Алевтина повторяет себе эту вековую мудрость все чаще. Ей жаль Михайлова. Михайлов добр и чуток и немало для нее сделал, в частности кое-что из мебели, и дать ему отставку только потому, что на горизонте появился красавчик, жестоко. Красавчики появляются и исчезают, так уж они задуманы, а старый друг — это старый друг; и уж кто-кто, а женщины это ценить умеют... Но, с другой стороны, если Алевтина пересилит, скажем, голос и зов сердца, и стало быть, Стрепетов исчезнет, а Михайлов останется, благодарности от него все равно не жди; однажды — и это легко себе можно представить — Алевтина пожалеет и горько вздохнет: исчез, мол, Юрочка...

— Все исчезнем, — угрюмо и мрачно проворчит в ответ Михайлов, он даже оценить благородство Алевтины окажется не очень-то способен: медведь — он ведь и *за медом* медведь.

А это уже колебания Михайлова: мебельный цех опустел, конец дня, но Михайлов все еще не знает, ехать ли сегодня вечером домой или же к Алевтине. Он что-то скла-

дывает, что-то запирает в ящик и слышит наконец внутренний голос: домой... а мысль об Алевтине делается мыслью маленькой и незначительной, и если даже желанной, то с оттенком некоторой собственной прочности.

— Ухожу, — говорит он приемщице.

— До свиданья, Павел Васильевич.

— До свиданья. — Михайлов идет улицей и, довольный, убеждает себя в правильности принятого решения. Однако, окончательно себя убедив, он вдруг понимает и постигает неожиданное: он вовсе не идет улицей, он едет к Алевтине. Он даже не уловил момент и миг, когда же он решился к ней, да и решался ли, — он только обнаруживает, что он в метро и что сидит он в голове вагона, покачивается в такт ходу поезда и, вот так покачиваясь, едет к ней... Он спохватывается, вспоминает, что с утра температуры жена, больна вроде бы, — и на весах эта гирька, малая, в общем, однако упавшая неожиданно, оказывается вдруг весомой — Михайлов, чертыхаясь в адрес собственного безволия, тряпка и есть тряпка, выскакивает из вагона и трусцой, прижимая к боку раздутый портфель, перебегает на противоположную сторону платформы — к обратному поезду.

И вот он дома.

— Ну как? — спрашивает он, кося глаза в сторону. Он запыхался.

— Ничего, — отвечает больная жена, и это «ничего» придавливает Михайлова: некоторые переносят чувство раздвоенности легко или, может быть, попросту ловко, живут себе и живут — и молодцы, а вот о его великих страданиях уже, кажется, все догадываются. Рабочие, к примеру, отвозили Алевтине столик и тахту с фабрики (он шел при погрузке с другой стороны машины и слышал их треп собственными ушами): «У Михайлова в Химках баба есть — сосет из него соки». — «Аппетитная?» — «Ничего себе. Я бы не отказался». И этот парнишка, сопляк, отпустил такое с забора, что Михайлов уже хотел было рявкнуть и дать нагоняй, и плевать, что пойдут разговоры.

А жена готовит ужин, руки у нее немеют, но она добросовестно и не без скрытого упрека делает свое повседневное женское дело. Больная жена — это совсем новый человек, тихий и слезливый. И мнительная: ей кажется, что она умрет. Склонившись к плите и скребя ножом в сковородке, она плачет:

— Павел, у меня ведь ничего в жизни нет — только наши мальчишки... — А час спустя температура подскакивает до сорока. Жена ложится в постель и опять мнительно плачет, и слова ее опять впопад: — Павел... Прошу тебя — не женись больше.

Лицо у нее пылающее, красное.

— Если умру, береги мальчиков... — Жена лежит лицом к белому потолку; как все больные, она не целит словами в конкретность, она сейчас отделена и отчуждена и ушла в свои долины. Михайлов несильно сжимает ей руку. Он понимает, что жена не умрет, но испуг уже коснулся его и задел — оттиск какого-то страха, затаенного и угнездившегося в каждом человеке с детства.

И вот тут она звонит. Из другой комнаты (прикрыв плотнее дверь) приглушенным голосом Михайлов объясняет, что приехать сейчас не может — больна жена.

— Да, да, — шепчет Алевтина, с сочувствием шепчет, — когда мне тебя не хватает, когда ты мне нужен, у тебя больна жена...

И, вздохнув, кладет трубку.

Михайлов выкуривает сигарету на кухне, потом тяжело топает к детям. Они отрываются от уроков, выходят из комнаты и стоят, стройные и тоненькие сыны. Лица их с оттиском того самого страха: мать больна. Они стоят, подняв лица к отцу, как бы вынув и выложив свои детские души, — ждут.

— Ребятки... — он откашливается. — Бросьте на время уроки.

Они молчат. Уже девятый час вечера.

— Бросьте на время уроки и идите к маме. Я должен уехать.

Он не объясняет. Они привыкли понимать его, и верить ему, и слушаться с полуслова. До запанибратства и смешочков еще не доросли. Молчат. Кивают: да... да. Сначала младший кивнул и шагнул в комнату матери. Затем старший.

— Я только закончу задачу, папа. Мне две строки.

— Закончи.

Ну и, конечно, Алевтины дома нет.

А он отпустил таксиста. И теперь, запыхавшись, Михайлов то поднимается к ней на этаж и сильно, нервно жмет кнопку звонка — не спит ли? — то вновь спускается вниз и всматривается с улицы в темные ее окна, окна он знает. Алевтина не спит. Ее просто нет. Михайлов понимает это, однако не может избежать острого, хотя и короткого, приступа ревности — ему неловко, ему совестно, но, большой и солидный и рыхлый мужчина, он прикивает лицом к замочной скважине, а потом, воровато оглянувшись, становится удобства ради на колени, стоит на грязном полу лестничной клетки, прижимается ухом к замочной скважине и вбирает в себя ту задверную пустоту, ожидая хоть какого-нибудь оттуда звука или скрипа.

Он ловит такси, он пыхтит на каждом шагу, бежит поперек улицы, а потом назад суетливым и жалким бегом сорокалетнего толстого человека, которому по внешнему виду всегда дают пятьдесят, — он спешит, он мог бы обойтись без такси, но он хочет курить в машине (совсем недавно сознанное и найденное жизненное удовольствие) — курить и, будто бы всматриваясь в окна летящей машины, всматриваться в некую томительную и сладкую пустоту внутри себя, — и вот он едет и курит, а едет он в дешевенькое кафе-столовую, что возле одного издательства. Он приехал (он выкурил даже две) — он бродит меж столиков и подвыпивших людей, выглядывая и выискивая глазами знакомую темненькую головку с коротко остриженными волосами: нервную и как бы пугливую женскую головку. Но Алевтины нет. Он едет в Дом литераторов, это недалеко (два места, где она чаще всего бывает: «Должна же я общаться. Должна

же я делать дела!»). Но там не пускают. У дверей стоит исполненный внутреннего достоинства администратор, и Михайлову приходится выждать, пока тот с остервенелым криком куда-то умчится, и только теперь — вымученно, жалко, с постыдным хихиканьем совать рублевку сменившей администратора тетеньке с усами. Алевтины нет...

Есть еще знакомый баскетболист, у которого они были недавно (единственный случай, когда Михайлов и Алевтина пошли на люди — Михайлов вообще не любит никуда ходить, он любит сидеть у Алевтины в ее милой квартирке в Химках, сидеть долго, тихо и безвылазно), и вот он тащится теперь к баскетболисту, и это уже как отчаяние и как последняя попытка, лишь бы поставить точку, однако Алевтины действительно там. Накурено. Дым пластами — и темленькая головка резко и энергично поворачивается и с кем-то спорит в сизом и красном (от настольной лампы) дыму. Компания теплая и небольшая, баскетболист с женой и другие, а в общем, тридцатилетние и даже моложе, худые, рослые, сомкнутые своим застольем и своей молодостью. Балагурят. Посматривают на притащившегося сюда Михайлова (а он входит с виноватой улыбкой незваного), как всегда посматривают в таких случаях на потертого жизнью пятидесятилетнего хмыря, уже с животиком, уже со взрослыми детьми, которому «все же хочется» и который все же притащился, и сидит теперь, и поддакивает, и сносит насмешки, и все это даже не ради бабы, а ради того, чтобы именно посидеть и погреться возле их молодости, чтобы похихикать над анекдотами и, может быть, только под самый занавес попробовать что-то такое себе урвать. У них как раз кончилось спиртное. Кого-то гонят в дежурный магазин. «Погодите, погодите, — спешно и с народившейся детской улыбкой всовывается Михайлов. — С меня как-никак причитается... Пожалуйста...» Он теребит в руках бумажник, не зная сколько, и не умея дать, и чувствуя на себе взгляды.

— Да, да, он богатый! Бери больше! — кричит Алевтина, выявляя для народа хоть некое его достоинство. Какой-

то шенок ловко выхватывает у него десятку (выхватывает, некоторое время легко вертит бумажку в руках — не будет ли сверх? — и берет еще) и летит в дежурный. Все смеются. У всех возникает одинаковость ощущения, что вечер продолжается и что конец вечера вновь отдален и отодвинут на неопределенный срок с той минуты, как хлопнула дверь и Витька запрограммированно и нацеленно погрузился в московские сумерки и суету, а смятый из ловко выхваченных двух бумажек красный комок уже превратился в пламя и жжет Витьке ладонь и гонит его вперед. Витька сумеет... Улучив минуту, Михайлов шепчет Алевтине («Не поедем ли к тебе?»), она качает коротко остриженной головкой — нет, не поедем («Здесь совсем неплохо, давай посидим здесь»). Но шум и застолье Михайлову не по нутру. Им хочется потанцевать и попрыгать — это понятно, а ему хочется быть у нее, у Алевтины, и это тоже понятно. Уяснив, что она собирается сидеть здесь допоздна, он встает и потихоньку, безоглядно уходит, не прощаясь и понимая, что его не хватятся ни сейчас, ни когда придет Витька и что в лучшем случае кто-то спросит у Али: «А где твой тип, а где этот недобравший в молодости — ушел к своей старой, но верной жене?»

Он возвращается домой смирившийся, но с осадком — вечер, настроенный на Алевтину, потерян: а у него их и есть вечер-два в месяц. Завтра после работы ехать к заказчикам и послезавтра ехать, и, значит, к Алевтине не успеть. А там суббота и воскресенье, жена больна, и, стало быть, хотя бы несколько вечеров кряду надо выложить и отдать семье. Такая жизнь... Он уже дома. Намаявшийся и прихваченный на лестнице одышкой, слыша, как стискивается от виноватости сердце, он садится возле жены. Она без перемен, как лежала, так и лежит. Стараясь не дыхнуть на нее случайной рюмкой водки, Михайлов целует ее в лоб и шепотом говорит:

— Я здесь... вернулся. Видишь, я сделал все дела и уже вернулся.

Дети укладываются спать. Старший лег. Младший в од-

них трусах (какой худой) стоит в дверях и, зевая (долго ждал), смотрит, как отец сидит подле матери.

Но даже если день из удачных и он застает Алевтину дома, *вечер* возникает у них не сразу и не из ничего. Поначалу Алевтину бесит его молчание или его правильные и тупо положительные рассуждения.

— Михайлов, хороший ты мужик, но какой-то скучный.

Он молчит.

— Скучный ты. — Алевтина сказала с вызовом и ждет ответа.

— Я не скучный. Я старый.

— Наплевать мне на причину, из-за чего ты скучный — я знаю все это наизусть: ты стар, ты глуховат, у тебя семья, у тебя одышка, ты загнанная мебельная кляча... Кстати, вчера Дужкин (художник) вдрызг раскритиковал твою мебель...

Речь о мебели, которую Михайлов сделал для Алевтины.

— ...Сказал, что ты в своем роде гений: гений воинствующего, но *осторожного* мешанства.

— Это моя работа.

— Ну-ну. Не обижайся.

Он не обижается: самолюбивы те, у кого есть свободное время: у Михайлова свободного времени нет. По-вечернему зевнув, он с прохладцей выслушивает, как все эти Дужкины и Коноплевы, мнением которых она дорожит, хаот его изделия.

Но постепенно вечер свое берет — разговор мужчины и женщины делается мягче и ближе и как бы сумеречнее: общение... Иногда, правда, свое берет постель — Алевтина говорит: «Ну ладно. Я сегодня настроена по-боевому» — и, улыбаясь, бросается к нему и виснет, а Михайлов несколько теряется; смысл-то ясен, однако преодоление пространства от кресла к постели каждый раз кажется ему задачей — дело в том, что он боится грубоватых своих движений. Как правило, они долго разговаривают, как бы раскачиваются: двое

взрослых людей. Алевтина варит кофе. Она рассказывает о детстве или о матери, продолжающей доить коров в курской деревне. Есть тема из любимых — о том, как в школе ее долго считали некрасивой. Или вдруг она спрашивает, не хочет ли Михайлов послушать стихи, иногда это свежие. «Ты не понимаешь, Михайлов, как важен даже самому маленькому поэту слушатель. Маленькому — слушатель даже нужнее». — «Почему же я не понимаю?» — по-доброму улыбается Михайлов. «Понимаешь или не понимаешь, а слушать тебе сегодня придется», — смеется она. И читает:

Люблю! И больше нет потерь.
Люблю! И все на свете в силах,
Скажи, мой друг, скажи, мой милый... —

в стихах она всегда кого-то любит, и Михайлов уже, слава Богу, вырос до знания, что этот ее любимый — не Михайлов, и не другой, и не третий, это некто и это вообще как бы неживой человек. Иногда у него тонкие руки. Иногда голубые глаза. Иногда он, по-видимому, здорово смугл («Ты цыган мой, моя кудряшечка»), но главное, конечно же, тут напев:

Ты был печален, я лукава,
А осень радовала нас...

В такой вечер, а точнее, в самом только разбеге такого вечера и появляется блондинистый, с точеным красивым лицом Юрий Стрепетов — появляется Стрепетов, вообще говоря, еще с одним знакомым, но при всей новизне их обоих он появляется уже как бы из них двоих отмеченным и своим, — Стрепетов сидит весь вечер до упора, говорит он умно и нервно. Бледен. Истошен. Красив. «Что за падший ангел слетел к нам?» — осторожно и негромко и с некоторой боязнью спрашивает Михайлов. Михайлов вышел к ней на кухню, где Алевтина варит кофе на всю компанию. Она не рассердилась. Она смеется. Она даже хвалит его:

— А ты наблюдателен, Михайлов. Каким тонким репликам ты у меня в доме научился — чувствуешь?

— Стараюсь.

— И немножко ревнуешь?

— Ну что ты...

И как раз на кухню входит Стрепетов (скучает — смотреть на развешанные гравюры ему надоело) — он улыбается. И говорит:

— Уединились?

И начинает с улыбчивым лицом ходить по кухоньке (небольшой, 4х2) из угла в угол, этой вот вышагиваемой диагональю отрезая Михайлова и Алевтину друг от друга. Они в разных углах. Они переглядываются. А Стрепетов говорит:

— Кофе вкусно пахнет. Люблю подышать. И свежим сеном люблю подышать. — И продолжает ходить, не поднимая головы и не глядя на них. Выглядит это довольно нелепо на тесной и маленькой кухне, такая вот самоуглубленность. «Пижон, — спокойно и с холодком оценивает его Михайлов. И тут же оценивает еще: — Но красив, зараза». И хотя Алевтина — глазами — с ним, с Михайловым, а не с пришельцем, Михайлов чувствует, что в эти минуты возникает нечто новое и новизну эту ему, Михайлову, увы, не обойти и разве что приспособиться.

А возникает вот что. Возникает более-менее постоянное сидение втроем — прочие гости редки и, в общем, не отмечены глазом хозяйки, придут и уйдут, — а эти сидят: Михайлов и Стрепетов или, может, Стрепетов и Михайлов, кто кого высидит, точнее, кто кого пересидит, и всего тягостнее Михайлову, что высиживание или пересиживание попадает на его настроенные вечера, и неслучайность этого налицо. Он ей звонит, он договаривается и передоговаривается (иногда с умыслом), он откладывает поездки к заказчикам, лжет дома, наконец приезжает — и тут же, как по часам, приезжает Стрепетов. А иногда Стрепетов уже сидит здесь и как бы ждет заранее. Они сидят втроем, пьют вино, чаще кофе — рассеянно поли-

стывают сборнички стихов и безлико тянут разговор. Игра в третьего лишнего проста, но требует известной осторожности. А потому Алевтина меняет стиль. Она навязывает и чуть ли не принуждает их выслушивать магнитофонные записи каких-то знаменитых концертов, ей хоть бы что, и Стрепетову хоть бы что — сидят, слушают. — а Михайлов не любит ни фортепьяно, ни клавесин, в особенности клавесин. Он не пытается лукавить или скрывать свою не-любовь, чего нет, того нет. А его словно берут измором. Он чувствует, как необратимо тупеет его мозг при этих однообразных, хотя и мелодичных звуках. От досады и потягивания в скулах у Михайлова невыносимо искажается лицо, и в зеркале — если зеркало напрогив — он видит, что лицо теряет человеческий облик. Уходят они вместе. Идут до метро, оба заторможенные, оба с портфелями. Как после дежурства. Или, если Стрепетов на моторе, он даже подвозит Михайлова столько, сколько позволяет путь, а путь обычно позволяет ему подвезти до Белорусского. Иногда Михайлов все же бывает у нее один и из этих нескольких «иногда» — иногда остается у Алевтины до утра. Но у него нет ни малейшей уверенности, что такое же не выпадает Стрепетову. Игра, если это игра, тянется. Алевтина прихотлива, капризна, своевольна в лучшем смысле этих слов, а он есть у этих слов, лучший смысл, а именно — оттенок самостоятельности в жизни: «Хочу — и люблю, мое дело».

— ...Не приставай, Михайлов, хватит расспросов, ты что-то стал говорлив — ревнуй молча.

— Хочется все же знать.

— Зачем?

— Так... Знать всегда лучше, чем не знать.

— Не уверена в этом. А чем ты со мной расплатишься за это знание — а? — представь, если взамен я попрошу и тебя вывернуться наизнанку. Представь, если я в твою душу запущу руки по локоть?

В другой раз она говорит со слезами на глазах и с неподдельной болью. Плачет:

— Оставь меня в покое — слышишь, оставь... Если баба, так сразу ее ногами топтать — да?

Глаза ее просыхают; потом она плачет вновь, и вторые слезы делают ее некрасивой и совсем жалкой:

— Оставь в покое... Не хочу я свою жизнь держать у тебя на виду... не хочу... не хочу!

И однажды Михайлов совсем перестает ее расспрашивать; он только весь внутренне ссыхается и тускнеет, как ссыхается и тускнеет внешне от бесконечных магнитофонных записей клавирина — одно к одному. И теперь он куда тише и куда смиреннее сидит напротив Стрепетова — оба сидят, оба сохраняют спокойствие интеллигентных, и неназойливых, и вполне умеренных самцов, для которых слова женщины закон, а слова ее к концу вечера обычно такие:

— Ну, мальчики, все. Пора закрывать на ночь глазки.

И сорокалетние мальчики встают. Одеваются, если это не летом, и мирно, не толкаясь, забирают свои портфели. Алевтина — в прихожей — целует обоих в щеку, откровенно и с удовольствием, и щедро прижимаясь на прощание высокой и пышной грудью, грудь так и ходит под свитером, когда она вскидывает руки для прощального объятия. Она искренне желает им «спокойной сегодня ночи». Она искренне улыбается. Она лукаво и ласково говорит им на дорожку еще два слова:

— Смотрите не подеритесь.

И конечно, в Михайлове нарастает неприязнь к математике: и машина своя, и красив пёс, и времени свободного хоть засыпья, и, конечно же, баб хватает, — а он, Михайлов, для которого Алевтина редкость, подарок свалившийся, ходит теперь к ней как в самое ненадежное место, откуда могут выбить одним шелчком, если не сегодня, то завтра, могут, конечно, и не выбить, могут даже приласкать, но... Домой Михайлов возвращается неудовлетворенный и ничего наперед не знающий. Молчит. «Что с тобой?» — спрашивает жена, а уже поздний час, и дети спят, и зевающая жена смотрит по телевизору документальный

фильм о красотах Сибири. Зевая, она сообщает — звонил заказчик из Орехова-Борисова.

— Что? — уточняет Михайлов.

— Просит сделать кухонные шкафы.

Михайлов думает — да, надо бы сделать, давно просит.

— Они хотят в финском стиле.

— Мало ли чего хотят, — Михайлов не потакает хозяйским вкусам, он навязывает свой. И чем меньше он им потакает, тем больше они его превозносят и тем ошутимее приплачивают, люди как люди... Жена (не отрываясь от телевизора) вновь о заказчиках. Михайлов не отвечает. Михайлов весь там, с ней. И даже не с ней, не с Алевтиной, — он сейчас сам по себе, и отдален, и в той высокой степени одиночества, которую только и может дать любимая женщина, когда ее нет рядом.

Мысль об университете для сынов приходит к Михайлову случайно как раз в тот день, когда они с Алевтиной едут в Загорск (она обожает осматривать церкви) и когда бродят там по улицам и улочкам. Они присутствуют на вечерней службе, поют там и впрямь неплохо, во всяком случае это не так мучительно, как клавесин; они ходят, смотрят, слушают, а в Михайлове крепнет и крепнет случайная мысль. К ночи они уже валятся с ног и пытаются заночевать здесь же, в Загорске, напросившись в какую-то убогую и жуткую гостиницу. Стены серые. Номер тусклый. Еда плохонькая, и единственная радость — горячий и вкусный чай. Алевтина уже сильно не в духе: был бы математик, он бы отвез их на машине домой — надо было, конечно, поехать втроем, — в тридцать лет хорошо спать дома, какая, к черту, романтика... К тому же мокрый снег. Снег идет вполонину с дождем и бьет по подоконнику дряблым кашеобразным стуком.

— Чего бы я не хотела в старости, — мрачно сообщает Алевтина, — так это помереть в такой вот гостинице.

И еще ворчит:

— Ну и дыра.

И еще:

— До чего же скучные стены.

Стены и впрямь обшарпаны. Обои висят клочками. Постель чистая, но от кровати веет убожеством, одинокими стариками и нищетой, а чистота белья только подчеркивает убожество. Михайлов же ничего не замечает или почти не замечает. Он весь в своей мысли, он наполнен ею по самые края — он видит обоих своих сынов в яркий день (какое солнце!), они поднимаются по ступенькам к высокому, со шпилем зданию университета — у младшего под мышкой зажаты тетради, они приостановились; нет, они встретились на этих ступеньках в перерыве занятий, и старший втолковывает («...У меня лекция кончается в два. Пообедаем вместе?» — «Идет». — «Смотри не опаздывай!» — и оба смеются), — не в силах противиться счастливой картинке, Михайлов неожиданно говорит, у него словно вырывается вздох:

— Хорошо!.. — Он спохватывается, он видит тусклый гостиничный номер и Алевтину, которая раздевается и с гримасой брезгливости кладет юбку на стул. Михайлов прячет и маскирует вырвавшееся восторженное слово. Он говорит:

— А мне здесь ничего... Мне нравится...

Алевтина фыркает:

— Знаешь, Михайлов, а ведь ты счастливый человек.

— Что? — Он не чувствует иронии.

— Счастливый — тебе что ни положи в рот, все мед.

Она прикидывает, не раздеться ли полностью, любит спать голенькая, — она колеблется, борется с искушением, еще раз приглядываясь к белизне простынь, — и все же ложится в постель в комбинации. Михайлов тоже ложится. Стены гостиницы вновь и вновь легко вытеснены в его сознании сверкающими ступеньками к университету — бок о бок стоят там его сыны, разговаривают, а сверху косо и сильно легли желтые солнечные лучи. Михайлов думает, что после этой картинке ему уже больше ничего не надо — семья есть, дети на ногах, и, в сущности, Михайлов про-

жил и отстучал свою жизнь (у него даже любовь была на вечер глядя, чего же еще).

И наконец, колебания Стрепетова: он тщеславен, горд, заносчив и, конечно же, с таким вот букетом внутри, болезненно от всякой мелочи страдает... Тот удивительный факт, что Алевтина не предпочитает его сразу (а нужно сразу, именно сразу!) какому-то вонючему (пропахшему лаком) Михайлову, конечно же, задевает больно, и понять или постичь раздвоенность Алевтины математик Стрепетов никак не может: какой тут выбор? О чем тут речь, дорогая?.. Михайлов для него туповатый и медлительный «мебельщик», деляга, начальничек с пухом; пожалуй, он даже с душой и даже с глубиной души, но это уже так, это уже от природы, от оврагов, от деда-крестьянина, а не от собственной глубины. И, конечно же, прежде всего Михайлов раздражает его своей манерой устало и по-хозяйски садиться, выкладывать локти на стол, как будто все вокруг пили чай, он же от зари до зари пахал, а теперь, стало быть, подайте ему ши со свининой. Дуб.

Они сидят на стульях, разделенные столом. Стрепетов прихлебывает кофе из хорошо знакомой ему чашки с красным аистом на боку и видит перед собой Михайлова, который тоже пьет кофе (и эту чашку с голубым аистом Стрепетов знает отлично — подчас из нее пил он, а из этой, что в его руках, медленно цедил «мебельщик»). Стрепетов остроумен, находчив, он постоянно держит в разговоре верх, вызывая и высекая от раза к разу звонкий смех Алевтины и отчасти признающую чужой юмор улыбку Михайлова; однако победу эти победоносные разговоры не дают. И для Стрепетова не секрет и не загадка, остается или не остается иногда на ночь у Алевтины этот пузатый Михайлов, — остается.

— Ты стал часто задерживаться, — спокойно и холодно выговаривает Стрепетову дома жена: жена у Стрепетова третья и, надо думать, последняя. — Стал часто задерживаться...

— Но я аккуратно прихожу обедать.

Она смеется глазами, ее не проведешь. Она смотрит на Стрепетова, как смотрит опытный санаторный врач на слабобольного и избалованного своей болезнью курортника.

— Вечерами задерживаешься, родной мой.

Он слабо брыкается:

— Но в постель-то я ложусь в назначенный час.

— Только потому, что у тебя с утра лекции. И только потому, что у тебя такая жена, как я.

Она смеется холодными своими глазами. Она ставит перед ним на ночной столик смрадную жидкость в пузырьке. Ее голос сдержан. Ее тон непререкаем:

— Пора, Юра, провести курс бромидов. Твоя нервная система уже больше месяца взывает к помощи.

— Ничего она не взывает.

— Не пугайся, родной, лечение не будет длительным...

По профессии жена врач, притом психиатр, и Стрепетову никак не понять, в какой мере она подсмеивается и в какой хочет его вылечить, да он и не пытается понять. Он о другом. Он о своем. Он думает о том, что одолеть «мебельщика» никак не удастся — а почему? — Стрепетов пьет смрадные капли и в который раз обдумывает положение и выпавшую ему роль: похоже, что этот тупица Михайлов и Алевтина (надо сказать, тоже умом не блещет) ждут или выжидают, не предложит ли он, Стрепетов, обаятельной поэтессе руку и сердце и оставшееся в паспорте местечко для штампа — делал же он это трижды, а для людей где три, там четыре. Пожалуй, оженят. С них станет. Стрепетов ворочается в постели и чертыхается. «Не спится! — Он берет пузырек с каплями и начинает его зачем-то встряхивать. — По-моему, ты дала мне возбуждающее». — «Это по-твоему», — сквозь сон сурово отвечает жена. «Но почему же я не сплю?» — «А ты спи. И не капризничай».

Одно время, дней пять, что ли, это тянулось, ему до такой степени осточертевает Михайлов (сидеть с туповатым типом нос к носу и ждать, пока туповатая поэтесса оценит, кто из вас лучше, — о господи!), что Стрепетов и впрямь ду-

мает — а не жениться ли? — в конце концов, он делал и делает со своей жизнью, что хочет; куда хочет, туда себя и швыряет, а здоровья смрадными каплями все равно сбережешь не много. В конце концов, жизнь — это жизнь: Стрепетов в свое время болел рожей, лежал с переломом бедра, сидел пятнадцать суток, был искусан взбесившимся ньюфаундлендом; после всего этого он вполне может позволить себе еще род удовольствия — пожить с женой-поэтессой. Он будет обладать поэтессой ночью, а также поутру, а также, если очень захочет, в середине дня, и уж во всяком случае из ее квартиры «мебельщика» как ветром сдует. Но Стрепетов остановился, и вовремя. Хватит с него жен; этак и имена не упомнишь. Помрачение длилось недолго, да и можно ли долго — пять дней, что ли, и на шестой стало ясно, что и Алевтина, и вечера у нее после женитьбы немедленно и необратимо потеряют свою прелесть и свою магию. Приятно же (именно иногда) прийти к ней издерганному, исколотому недругами и с натянутым, как барабан, самолюбием, в котором еще ухают и отзываются чьи-то глухие злобные окрики, — прийти, и выпить кофе, и вытянуть ноги, и медленно, медленно, медленно расслабляться. Жизнь перенасыщена. Дел не переделать. Жене сказать, что идешь на заседание матобщества, в обществе — что читаешь сегодня спецкурс, студентов спецкурса, не говоря лишнего, разогнать, распустить с задачками на дом, остается в долговом списке кто? — первая жена — ей позвонить, сказать, что навестишь не сейчас, а после поездки за рубеж. Это ее вполне устроит — костюмчик для сына, авторучку для сына, набор слайдов для сына, а ей какую-нибудь броскую тряпку и, как только она метнется к зеркалу, потихоньку сунуть папану жвачку... Сказав и позвонив по всем этим направлениям, исчезнуть. Пропасть. Раствориться. Нет такого человека, понимаете, нет. Уехать к Алевтине и сидеть там, вытянув и расслабив ноги, и ни о чем не думать и слушать:

Уходят в море корабли.

Зовет их вдаль дорога белая, —

завывает она, конечно, как при луне волчица, но при всем том какой голос, какое чувство стиха. Даже сейчас, вдалеке от Алевтины, отгороженный от нее ночью и пространством в полгорода, Стрепетов вдруг слышит звучание стиха и ощущает подобие той самой расслабленности, и этого хватает — звучание завораживает, действуя в параллель с изысканной смесью бромидов и валерьяны, — и Стрепетов наконец засыпает.

Соперничества, тем паче унижительного, Стрепетов вообще не выносит: он знает, что женщинам он нравится, и это знание либо немедленно приводит к цели, либо вызывает легкое и столь же немедленное отвращение к «борьбе за бабу»... Разумеется, можно начать играть и сорить по-крупному, можно ввести Алевтину в круг математиков, она будет без ума, давно рвется. Можно завлечь или просто пригласить Алевтину в университет на свою лекцию, можно даже прихватить ее с собой в Париж на очередной симпозиум, в качестве секретаря, есть такая возможность — какая женщина устоит против двухнедельного пребывания на Монмартре?.. Стрепетов колеблется: все это, разумеется, можно сделать, но есть тут некая постыдность и жалкость, есть явное и ясное признание того, что он не может справиться с «мебельщиком» сам по себе и вынужден спекулировать на атрибутах мирской суеты и славы. Стыдно. И плюс — тут уж Стрепетов признается себе до конца — нет уверенности, что вся эта тяжелая артиллерия поможет и пересилит и что после, скажем, осеннего в дымках Парижа Стрепетов не обнаружит у Алевтины «мебельщика», который вновь объявится зимой, в первый же снегопад, тут как тут. А похоже, так оно и произойдет. И это уже будет совершенно непереносимо, и какой же останется шрам.

«Да и чего ради?» — Стрепетов кривит губы. В который раз он повторяет себе, что Алевтина глупа, и взбалмошна, и неразборчива в людях, и вообще млеет от высоких слов, как млеет дикий и неотцеженный человек, который жизнь целую был диким и неотцеженным и только-

только вчера услышал и почувствовал, что есть небо, и красота, и Бог. Она именно из них. Из тех, кто только-только слез с дерева и теперь шумит и кричит, думая и полагая, что никто о небе, и красоте, и Боге до них не догадывался.

Неожиданно он чувствует, что ревнует, — ну да, он едет в машине, он за рулем, он оставил их там вдвоем, — и вот он едет домой и ревнует Алевтину самым элементарным образом, ревнует и исподволь злится...

3

Михайлов и Алевтина сошлись разом и как-то стремительно, хотя, пожалуй, именно для Михайлова это было стремительно, а в общем, время у них отсчитывалось и время шло. И, быть может догадываясь, что для него это стремительно, и стремительность оправдывая, Алевтина тогда же (в первый их вечер) говорит:

— У меня бывает такое. Вдруг понравится очень мужик — и я уже не стараюсь себя сдерживать.

Поясняет:

— Свободная и одинокая женщина. Незамужняя — и ведь тоже хочется ласки, верно? — И опять же по ее глазам видно, что ничего дурного за сказанным не стоит, разве что ее особенный, и личный, и женский, и оправданный одиночеством поиск.

— Конечно, хочется, — тут же кивает Михайлов. — Конечно.

Приходить к Алевтине удобно: метро, разумеется, и время, но метро и время не в счет. Михайлов сказал, что женат и что дети, и тут уже есть доверие, поскольку сообразить, что у Алевтины цель и что она из тебя хочет что-то выудить или чем-то заарканить, невозможно: хочешь — приди, не хочешь — как хочешь.

— Замечательно у тебя, — говорит он ей как-то, прикладываясь губами к чашечке с кофе. — Даже не представ-

лял себе, что может быть так замечательно. Знаешь, я ведь тебя боялся сначала: я вообще баб боюсь.

— Знаю, — смеется Алевтина. — Все знаю.

А его чуть ли не восхищает открытость и ясность Алевтины. Есть у нее подруга, тоже симпатичная, но та куда больше смахивает на ловительницу мужика или мужа — слишком уж прикипают к тебе ее глаза, слишком женщина, слишком мать-одиночка. Есть и друзья. Алевтина разговаривает с Михайловым лицом к лицу и прерывается, и вот она уже говорит *тому* по телефону, не уходя даже в другую комнату, все на виду («Я не смогла. Я была занята. Я женщина, милый, прости меня»), и все это ничуть не убыстряя и не замедляя своего естественного ритма жизни и, уж конечно, не суетясь и не краснея. Именно эта ее способность не обидеть тебя и не спугнуть его чуть ли не восхищает Михайлова.

— А красиво ты с нами управляешься, — говорит он как-то Алевтине, когда получается совпадение и кто-то к Алевтине приходит, — приходит, сидит, пьет кофе и потом, окрыленный, уходит, уверенный, что Михайлов — это просто какой-то толстый дядька, в деле не участвующий. Чудак с тем и уходит, ликуя, хотя Алевтина вела себя с ним ровно, ни одним словом присутствующего здесь Михайлова не задев и не принизив. И, уж конечно, не сказав, что Михайлов родственник из Ленинграда и что ему, увы, негде переночевать.

— Управляюсь? — ей не нравится грубоватое слово.

— Ну это я так. Прости, ради бога. — Михайлов тут же идет на попятную. Но в то же время он хитро ей улыбается — есть, мол, люди наивные, чудаки, а мы, мол, с тобой люди умные, и тем более нам с тобой стоит общаться и дружить. Михайлов посмеивается.

Он посмеивается теперь довольно часто, он смотрит на ее жизнь как бы сверху вниз, как бы шутя, как бы взрослый на играющую девчурку, он посмеивается и не замечает, как втягивается сам в эту ее жизнь.

Однажды Михайлов едет к Алевтине исключительно из-

за того, чтобы узнать, чем и как у нее кончилось с пьян-чужкой мужем (она в тот раз недорассказала — прервали, а ведь любопытно), в другой раз ему любопытно послушать и узнать, например, о ее подруге с прикипающими глазами, в третий раз и вовсе без причины — попросту выпадает тоскливый вечер, а деться вроде некуда, а домой можно, конечно, и попозже.

Раз в месяц — это, разумеется, редко, это даже дико; раз в неделю — это, пожалуй, часто; Михайлов прикидывает, и это он уже ограничивает себя — два раза в месяц, а самое большее три — времени у Михайлова в обрез, человек занятой, семейный, к тому же буквально разрываемый на части заказчиками («Уж пожалуйста, шкафчик и стенку. Уж пожалуйста, ждем в восемь, а днем не можете?» — а днем он не может, днем он в цеху), и потому два раза в месяц кажется Михайлову и солидным, и достаточно частым, пока однажды Алевтина не говорит ему:

— Значит, в апреле милого больше не ждать. Значит, в мае теперь? — и смотрит с улыбкой, и обиды нет, а если обида, то запрятанная. И то, что он угадан и как бы даже с равнодушием угадан, задевает Михайлова. Алевтина смотрит на него с улыбкой и с некоторым сожалением, что он так же занят и замотан, как все обычные люди, и даже эту обычность она ему прощает. Михайлов задет. Он появляется у нее на этой же неделе, и еще раз, и еще, и вновь обнаруживает, что здесь замечательно. А когда однажды у Алевтины в гостях появляется незнакомый мужчина, явно новенький, Михайлов вдруг с удовольствием чувствует себя старожилom этого уюта. Широкое чувство: Михайлов и ведет себя как старожил — просит кофе, прохаживается, привычно и со знанием роется на книжной полке. Тут он впервые понимает, что в известной мере живет в этой квартире: зачистил, браток, — у него любимые *свои* книжечки стихов, *своя* чашка, из которой он пьет кофе, и кресло, на которое он садится чаще, чем на другом, вроде бы тоже *свое*. Кресло это кажется Михайлову сравнительно с двумя другими куда более уютным и расположенным заведомо

лучше — из зеркала выглядывает часть прихожей: видно, например, кто придет и как придет. И даже само чувство к Алевтине, а оно поначалу было средненькое, перестает быть сгустком тепла или, скажем, частицей жизни, потому что сгустком тепла и частицей жизни становится само ее жилье, и пространственное расположение вещей, и кресло, и книги, и чашка для кофе. А появившийся новенький — это Стрепетов. Нет, новенький был, и мелькнул, и как-то мгновенно исчез, а второй новенький — вот это уже математик.

Михайлов видит вдруг, что теперь не его черед и час и что теперь в эту ее жизнь втягивается Стрепетов, приходит Стрепетов, звонит Стрепетов. И по-видимому, математик тоже привыкает незаметно и тоже поначалу смотрит на жизнь Алевтины свысока и посмеиваясь и, быть может, ограничивая себя, уже тоже думает про два раза в месяц. В общности и схожести чувства тут можно не сомневаться. Алевтина читала стихи в поездке по Крыму — там их трудилась целая рота: певцы, поэты, рассказчики-юмористы. А математик в Крыму отдыхал. Остальное Михайлов и сам может дорисовать. И первый их вечер тоже. Дорисовав, Михайлов находит даже, что математик — это неплохо и это много лучше, чем рассказчик-юморист из той же бригады или, скажем, конференсье (нечто навязчивое и постоянно раздражающее — он занимал бы у Михайлова трояки и непринужденно распивал бутылки: «А мы, брат, по-быстрому!» — утверждая при этом, что у него широкая душа, а у Михайлова нет). Математик не худшее, без драк хотя бы.

Алевтина в новом теперь и не в лучшем свете, как всякий человек, делающий выбор. Она на виду. Она не только знакомится, не только влюбляется и потом разочаровывается и дает отставку — она режиссирует весь процесс, она тянет нить, она мелькает спицами, она вяжет, как вязала ее прабабка теплые носки внуку. «Нет, Михайлов. Сегодня я утомлена». — «Я приду посидеть», — уверяет Михайлов. «Нет-нет. Сегодня у меня гость. Тот математик», — откоро-

венно и просто объясняет в телефонную трубку она, уверенно и легко отодвигая вечер с Михайловым по меньшей мере на неделю. А что поделаешь. Его вытесняют просто и, чтобы не болело, без церемоний. Алевтина сама вяжет роман, сама ставит точку и сама доставляет тебе горечь, не дожидаясь, пока ты вдруг уйдешь и доставишь горечь ей.

Михайлов пытается что-то переменить, звонит чаще или приходит к ней без звонка и внезапно («Случайно шел мимо — дай, думаю, зайду»), но тем бесцеремоннее его вытесняют. Алевтина сердита: «Знаешь, Михайлов, ты что-то зачистил, помни свое место».

— Я же проходил случайно — дай, думаю...

— Брось.

— Не веришь, а я расскажу — я ехал от Павелецкого к одному заказчику, он живет...

— Михайлов. Мы же взрослые люди! — Алевтина раздражена. Она всегда его хорошо принимала. Она читала ему стихи. Она варила ему вкусный кофе. Она честно и искренне любила его, она отпустила ему этой нележкой, надо сказать, эмоции — полную меру. А больше не надо — не она его, так он ее завтра бросит, разве не так?.. Оба обостренно молчат и, может быть, впервые видят и понимают друг друга — понимание, в сущности, и начинается с той минуты и с того изгиба отношений, когда одному нет, а другому больно.

— Такие вот дела, — без всякого смысла произносит Михайлов и повторяет, сколько можно прячась в себя и в свою медлительность: — Такие вот дела...

Алевтина треплет его по плечу. Но голос отнюдь не мягок:

— Выше голову, Михайлов. Ничего из ряда вон не случилось, пока нам больно — это еще жизнь.

— Шибко мудро, — ворчит Михайлов.

— Что да, то да. Стихи я пишу не шибко мудрые, но сама я ничего!

Она целует его в щеку и прибавляет мягче:

— Ладно, Михайлов, иди домой.

— Ждешь гостя?

— Жду я или не жду — пусть тебе это будет все равно.

— Пусть, — кивает он.

— Вот и умница.

Он уходит. Он вытеснен — это ясно, и еще одно ему более-менее ясно — он получил по морде, и крепко получил, и теперь должен быть благодарен за урок и уйти как бы с заданием на дом, исчезнуть. Так оно и бывает, не он первый. Извлекут опыт и бегут дальше по жизни, и торопятся, и ищут, где бы этот опыт теперь использовать, называя свою боль и все, что с ними было, прошлым. Но в том и суть, что для Михайлова это не просто Алевтина, и не просто опыт, и никак не прошлое — это любовь или почти любовь, да еще под занавес жизни (ему сорок, и Михайлов из тех, кто считает, что сорок — это уже под занавес). И потому Михайлов уйдет, но не совсем.

Сначала он исчезает. Его нет. Но недели две спустя (Алевтина его когда-то об этом просила) он отправляет ей с рабочими изяшный шкафчик, счет, конечно, приложен — никаких, извините, даров. И записка приложена — так, мол, и так, сделали, как ты просила, извини, что дороговато (на самом же деле цена занижена, выгодная и видная вещь). Следует звонок Алевтины. Спасибо, и не больше. Но и не меньше. Михайлов же деловит, сух и говорит ей (хотя она вовсе его к себе не зовет), что в эти дни он, Михайлов, очень, очень занят.

— Зайти не смогу.

— Вот и умница, — говорит Алевтина не без иронии. И опять же к себе не зовет. И ждет, что же он теперь, загнанный в тупик, скажет.

А вот что:

— Слушай-ка, нужен тебе кухонный шкафчик? У нас как раз начали изготавливать: емкие и современные.

И еще неделю и другую он не является и не звонит. Получив кухонный шкафчик, звонит она:

— Михайлов, ты меня уже давишь своей мебелью. Почему так дешево?

— Такая цена. Нестандартное дерево.

— Не дури мне голову.

— Как хочешь, — смеется он. — Можешь заказывать мебель в другом месте.

О чем-то надо бы теперь о постороннем. И Михайлов говорит:

— Вчера по телевидению гнали старый фильм «Стройка» — не видела? Там актер, на меня похожий.

— Наверное, он покрасивее? — не церемонится с ним Алевтина.

— Покрасивее. — Михайлов охотно соглашается и охотно смеется.

— И тоже, как ты, молчит часами?

— Молчит. Все время молчит. — Михайлов смеется. — Да и фильм, если правду сказать, немой...

И опять он не ходит и не звонит. Однажды он все-таки приходит, но это как бы не он, как бы просто знакомый, в меру нужный хозяйке мебельщик. Стрепетов, конечно же, здесь. Но Михайлова Стрепетов не заботит — Михайлов спокоен, деловит, и видно, что он ни на что не претендует. Он спрашивает о здоровье, без суеты осматривает, так ли вписалась новая мебель — а она вписалась так, она отлично вписалась, ему ли не знать интерьер этой квартиры, — и уходит, оставляя их вдвоем и не пробыв там десяти минут. Потом Алевтина ложится в больницу с аппендицитом. Михайлов ходит к ней, носит какие-то там яблоки и апельсины, однако не больше, чем другие (а другие тоже ходят и носят), — единственное, что он делает, — идет на прием к заведующему отделением, после чего заведующим сам оперирует Алевтину, так как она из боязливых и не хочет, чтобы ее оперировали милые студенты-практиканты. Михайлов не простаивает под больничными окнами. Михайлов не пробирается мимо шоколадниц-сестер, чтобы поболтать с Алевтиной в больничной палате. Он не лезет в душу. Он делает не больше, чем хороший с нами человек. Но и не меньше. И когда Алевтина наконец выписывается из больницы, она зовет его в гости — она полулежит, она

еще не вполне оправилась. Они вдвоем. Михайлов сам варит кофе и себе и ей, и вот он разливает в чашки горячую и пряную жидкость, а Алевтина следит за его медлительными движениями и, чуть откинув голову на подушку, произносит вроде бы переломную фразу:

— А ведь ты настоящий друг, Михайлов. — Они получают слишком нагие, эти слова, и нагота лишает их убедительности, но суть остается, а ведь ты настоящий друг, Михайлов. Без восклицания.

Она молчит. Алевтина разглядывает его, как разглядывают человека, вернувшегося после долгого отсутствия, — ей доставляет удовольствие взглянуть на людей как бы заново и как бы заново им, людям, удивиться. После болезни человека многое радует. Они выпивают по капле вина. Алевтина раскраснелась.

— По-человечески я тебя очень люблю, Михайлов, и знаешь, совсем не так, как я раньше тебя любила. — Алевтина немного смущается. Она, в общем, уже проговорилась, но проговорчивость видна ей — ему еще нет.

— Я рад, — говорит он.

А она ищет слова:

— ... Люблю, но мне, допустим, совсем-совсем не хочется постели. Ничего не хочется. — Теперь улыбка у Алевтины извиняющаяся и робкая. И слова точнее. — Тебя это не обижает?

— Нет.

— Честно?

— Честно.

— Ты, Михайлов, просто золото.

Он молча варит еще раз кофе — они пьют. Потом Михайлов уходит. Алевтина останавливает его окликом — она хочет *хотя бы* почитать ему стихи.

— Я ведь еще очень слаба. Много я не прочту, а все же это стихи.

Она читает то, что он когда-то хвалил. И он опять хвалит. И уходит. Он уходит и как бы уносит наконец с собой то, что хотел унести. Стихами можно отблагодарить на

слишком короткое время, и, когда стихи раз от разу потеряют смысл и значение отдарка, она попадет в некое подобие зависимости от Михайлова. Алевтина этого не знает пока. Но зато Михайлов знает отлично. Что касается шекотливого оттенка в деловых отношениях, он даст сто очков и математикам, и физикам, и лирикам, и кому угодно. Михайлова подчас даже поражает, как они легко идут на поводу и не пугаются, не боятся изысканных этих отношений, неужели наивные: он ведь ведет игру на виду и, в общем, в открытую и хоть завтра может прекратить и прислать счет, а они не пугаются и не боятся.

Теперь вот (и именно теперь) начинается то самое про-сживание друг против друга с чашечками кофе в руках — и оба, и Стрепетов и Михайлов, так сказать, признаны и приняты, и это, вероятно, несколько нарушает обычную спланированность жизни Алевтины, но Алевтина неспланированность эту терпит. А время идет. Стрепетов все еще посмеивается, как посмеивается старожил, но и тут эволюция, математик заметно нервничает. Михайлов же продолжает свое — тихое и скромное, ненавязчивое вползание: состояние «я тебе, ты мне» не так уж и сложно, однако только до той поры, пока оно не переходит в состояние незаметной зависимости. Кто-то из гостей, вот паразит, испортил у Алевтины магнитофон — мелочь, совсем мелочь! — Михайлов в телефонном разговоре об этой мелочи кстати вспоминает. И говорит ей:

— Слушай, как раз сейчас у меня заказчик один есть, он инженер по телевизорам и прочей технике, — прислать?

— Ой, Михайлов, это неудобно.

— Алечка, не волнуйся: он у меня по уши в долгах. Он будет счастлив хоть чем-то отблагодарить.

— Спасибо, Михайлов...

— Только не вздумай дать ему рубль за труды. — Михайлов смеется. У него нет как раз сейчас такого заказчика, это он солгал, но он смеется. Он роется в своей записной и находит, правда, не инженера, а техника (все одно) и дей-

ствительно по телевизорам и прочим домашним агрегатам, и действительно у Михайлова он в долгах — короче, через три дня магнитофон Алевтины в лучшем виде. Заодно сменины старые блоки. Заодно почищен и смазан мотор. Заодно принесены в дар две пленки с современными записями. Алевтина как-то охает — нет у нее подписного издания Мопассана, она бы заплатила и выложила втрое, но где его найти (она охает между прочим и без прицела, как охают часто женщины, — и при Стрепетове, и при Михайлове, и при прочих знакомых тоже). Михайлов роется (на другой же день, не проронив вперед ни слова) в засаленной записной, отыскивает книжника, и через неделю Мопассан на столе у Алевтины. Разумеется, за деньги; разумеется, без нажима и тяжести дорогого подарка, однако ведь Алевтине не бегать, не искать, не поднимать пыли — человек сам к ней приезжает и сам недорого продает. Михайлову совсем не трудно было перекупить и, скажем, подарить ей, но он чтит ненавязчивость. Он ткет, конечно, но он ткет легко и вдали и раскидывает в самых высоких углах, понимая и чутко предвидя, что дары угнетают, и задариваемый или задариваемая чувствует себя не лучшим образом и рано ли, поздно ли будет жаждать из паутины освобождения. И Алевтина его ненавязчивость ценит. И вытканной паутины не видит. И не жаждет освобождения. Как-то в постели после близости и в состоянии утомления (она только что переболела гриппом) Алевтина говорит:

— Ты потрясающе милый, Михайлов.

А он смущается. Он всегда смущается ее похвал, понимая, что он не острослов и не красавец и что он далеко не Стрепетов, а лишь обычный человечек с деловой сметкой, выработанной в мебельном ателье и в мебельное время. Он натягивает простыню (стесняется своего большого и жирного тела), а Алевтина тут же замечает и засекает движение и, оттягивая угол простыни на себя, смеется:

— Ну чего ты стесняешься — ты милый, милый, милый, я люблю тебя. — И добавляет: — У тебя приятное тело.

— Это у тебя приятное тело.

— Что, что?

— Ты же слышала...

— Нет, повтори. Выжать из молчуна такой комплимент — да после этого не страшно всю жизнь числиться в дурнушках! — Она смеется. Она встает и голая, счастливая идет на кухню, чтобы заварить им обоим крепкого чая и чтобы он видел, как и каким шагом она чай сейчас сюда принесет.

И возвращается чувство: удивительно, но еще удивительнее, как оно возвращается; сначала скрытые подарки и ненавязчивые услуги — это только ход, довольно точный и продуманный ход, из тех рычагов, какими Михайлов поднимает себя в глазах Алевтины. Но очень скоро Михайлов отмечает, что дарить радостно. Это любовь. Из давних и чуть ли не пещерных времен всплывает оно, сродни поклонению женщине, и загнанный, обычный человек по фамилии Михайлов вдруг узнает и угадывает это чувство, хотя не знал его никогда. Он знал, конечно, из кинофильмов, но считал такие вот подарки и подношения лишь разновидностью мужского ума, умением привлечь женщину или умением ее удержать. Михайлов удивлен. Он прислушивается к самому себе — так ли торжественно чувство, как ему кажется, так ли чисто. В эти дни он и делает Алевтине тот удивительный столик об одной ножке (сам придумывает, сам рисует наброски и модель и тщательно следит за исполнением), в эти дни и начинается та полоса, когда рабочие на фабрике болтают там и сям, что из Михайлова сосет соки баба. Михайлову плевать. Он не замечает пыли. Зато он замечает другое — Стрепетов проиграл.

И вот вечер, и Стрепетов сидит в последний раз, а вот и минута из последних — математик поднимается и сообщает, что ему пора домой.

— Я выпью, пожалуй, еще кофе, — это Михайлов.

— И я! — подхватывает Алевтина.

А Стрепетов, такой умный и такой неоцененный, поднимается и уходит. Он спускается по лестнице и в сердцах повторяет:

— Тупица выиграл... Тупица выиграл, а как?

Михайлов это слышит. Математик забыл шарф, он слишком быстро и взвинченно ушел и, конечно, забыл, и Алевтина посылает вслед Михайлова — догони, мол, и отдай. Михайлов берет шарф (а Алевтина ему улыбается: «Жду, милый, возвращайся, милый») и, трясая грузным телом, вприпрыжку нагоняет по ступенькам Стрепетова, и вот тут слышит про «тупицу» — слова неразборчивы, но смысл ясен, и горечь мужчины ясна тоже. Он нагоняет, отдает ему шарф — это уже у выхода.

— А, — говорит тот. — Спасибо. — И уходит. А Михайлов поднимается наверх.

4

— ...Таким вот образом вычисляются коэффициенты Лагранжа. Все ли ясно? — Молчание. — Все ли ясно? — повторяет Стрепетов ровным голосом, и это он читает лекцию, отмечая и подчеркивая смысловую паузу в данный момент. — Студентка! Вы... Нет, вот вы! — указывает и зовет он, не помня фамилий. — Идите к доске и помогите-ка мне посчитать. Идите, идите. Бояться не надо. — Легкий гул. Студенты оживились. Выбранная жертва подходит к доске, и Стрепетов вручает ей мел. Она слушала лекцию. Она внимательно записывала, однако неожиданность приводит ее в известное состояние подавленности и полной немоты.

— Ну?

Она молчит. Он не смотрит на ее лицо — он берет ее руку в свою и, водя по доске ее рукой с зажатым в ней мелом, начинает писать формулу. Потом улыбается и отпускает руку, как отпускают ребенка, чтобы он сделал несколько шагов самостоятельно. Ребенок делает два-три шага и, как и положено ребенку, падает. Стрепетов вновь берет ее руку в руку и вновь пишет. И наконец отпускает ее тихую душу с миром.

— Продолжаем... — говорит Стрепетов. И студенты (каждый из них пережил эти минуты у доски применительно к себе), стряхнув оцепенение и некоторую сонливость второго часа, тут же прикипают к тетрадкам. Они боготворят Стрепетова. Моложав. Красив. Много ли надо, чтобы стать идолом. Ну и утонченные насмешки, конечно, — относиться насмешливо к их молодому и сырому уму для Стрепетова привычно, но это не значит, что в глубине души он с ними не считается. Он считается. Он попросту издерган. Он не знает отчего, но знает, что издерган.

А дома, вечером, его уже будет ждать жена, очень продуманно и мило создавшая помесь семьи и санатория на дому. Врач-психиатр, шутка ли. Сухая, скупая на слова и рубли — и любящая, конечно, — она лечит его прежде всего отборнейшей медицинской терминологией, вскользь и исподволь сообщая о человеческих недугах. Стрепетов уже мог бы, пожалуй, и сам читать лекции о том, как зачинается и возникает (а у него уже возник) гастритик, как образуются на этих же тканях язвы и полипы и как чуть позднее вся эта радость двадцатого столетия переходит в неудержимо растущие клетки. Стрепетов пуглив (она это знает и с любовью этим пользуется), при мысли о смерти он делается трепетной ланью, олененком, хотя и умеет над страхами своими смеяться. Дома он лечится. Дома он живет. Дома он вручает свою психику жене с великим доверием. Но именно поэтому возвращаться домой после трудового дня он иногда не торопится. Не так все просто. Не так все однозначно. Стрепетов дорожит домом, очень даже дорожит, но возвращаться туда не торопится и оттягивает минуту, слишком хорошо зная, что его там ждет. Этот промежуток меж рабочим днем и домом он старается использовать так, чтобы хорошенько расслабиться и забыться — хотя бы раз в неделю, хотя бы редко, хотя бы иногда. Этот-то временной промежуток он и называет отдушиной.

А отдушины нет — он проиграл «мебельщику», и уже три или четыре месяца он не видел Алевтину. И даже не

звонил. С трехмесячного расстояния Алевтина уже как бы не Алевтина; чем далее, тем сильнее она смыкается и срашивается с этим словом. Жизнь слишком насыщена, чтобы держать в голове и конкретно помнить вздорную, и шумливую, и грудастую, и завывающую при чтении стихов поэтессу. Зато взамен ее, взамен живой женщины в памяти возникает и идет в рост слово «отдушина», оно пускает корни, оно растет и раскидывает крону, и объем, и свою даже тень, как раскидывает объем, и крону, и тень большое дерево. Оно становится понятием, оно становится звучащим и грандиозным словом и заполняет сознание Стрепетова, требуя там, в сознании, своего места и своей доли. Алевтина или не Алевтина, неважно; важно, что была отдушина, теперь ее нет, — вот что точит Стрепетова...

А любимый профессор (то есть тот, у кого Стрепетов в любимцах, это точнее) говорит ему:

- Плохо выглядите, Юрий. (Нездоровы?)
- Да нет, я, в общем, здоров. Разве что нервы...
- Что, что?
- Нервы.
- А гимнастика?
- Ненавижу гимнастику.
- Напрасно. — Они встретились в коридоре. Они прогуливаются — преподаватель старый и преподаватель молодой.

Студенты в одиночку, и стайками, и целыми косяками обгибают их и дают зеленый путь. Любимый профессор тем временем рассказывает о гимнастике йогов. О том, как полезно пить кипяток поутру. О том, как важно отлаживать глубокое дыхание в позе лотоса. А поза змеи гарантирует интенсивную и бесперебойную работу пищеварительного тракта. Стрепетов слушает и дается диву: что за поколение, они умеют увлекаться чем угодно. Веры в старом смысле нет, однако способность верить еще не кончилась и не сошла на нет, отсюда и чудаковатые... Стрепетов продолжает беседовать, а в параллель чувствует, что те незабвенные два-три часа отдушины неумолимо приближаются — промежуток меж работой и домом все ближе, — а вот пойти ему, Стрепетову, некуда.

Некуда — и Стрепетов перебирает в памяти заменители, но они, как и положено заменителям, малопригодны. Есть, к примеру, молоденькая аспирантка, Варей зовут; и влюблена, и мила, и с квартирой, однако отдушины там не получается. Звонит часто. Дергает. Расспрашивает о жене. Главное же, что все или почти все ее разговоры о науке, о диссертациях, об оппонентах — и этим немедленно подстегивается недремлющее тщеславие Стрепетова, а тщеславию тоже нужен отдых: лошадку, которая тебя везет, нельзя гнать и днем и вечером. Есть еще вариант: маникюрша, тридцатилетняя, умная, дает все, что нужно, и не спрашивает, что не нужно. Однако у нее братец — шумливый, обидчивый, вдруг приводит всякую братающуюся полупьянь, и уже через десять минут нет тишины, нет кайфа, нет отдушины. Не то.

Пожалуй, суть даже не в маникюрше, не в аспирантке и не в их разбитных братцах и сестрах, — суть в том, что его, сорокалетнего преподавателя, с детства помешавшегося на стихах Лермонтова, тянет к Алевтине, и именно к ней. Это как любовь, а может быть, это и есть любовь или вид любви. Отдушина — это отдушина, и никак не меньше; это, пожалуй, индивидуально и избирательно, и не всякая женщина годится в отдушины, как не всякая женщина годится в жены. А уж если тянет к стихам, не такое уж оно мелкое чувство, не прихоть и не блажь; тут своя боль, отдушина как-никак от слова «душа», и некоторые, например, старики на последнем своем больничном матрасе ни о чем более не думают, кроме как о той или иной отдушине; детство, между прочим, тоже отдушина.

И совсем не случайно в некоторые минуты туповатый или, скажем, хитроватый Михайлов делался ему даже симпатичен. Тоже ведь человек и тоже собачится. И, уж во всяком случае, у Стрепетова нет и не было к Михайлову той неприязни, которая нет-нет и полоснет (могла бы полоснуть) по сердцу, когда подумаешь, что он с той же женщиной, с твоей женщиной, знаешь, и он тоже про тебя знает, и оба знаете, и все трое, пожалуй, знаете или догадываетесь.

— У тебя, чувствую, тоже жизнь замотанная, — сказал Стрепетов как-то Михайлову (Алевтина печатала на машинке свои творения).

— Замотанная...

— И тоже только тут можешь расслабить ноги?

Михайлов усмехнулся, не ответил и словно что-то свое спрятал.

— О чем это вы? — спросила Алевтина, на миг отвлекаясь.

— О ком, — засмеялся Стрепетов. Он невольно сказал тогда мирные слова Михайлову — сказал и тут же дал тормоз, не переходя слишком границу. Минутная симпатия — это минутная симпатия, не больше, а взаимное высиживание продолжалось и даже усиливалось в те дни, пока хитроватый Михайлов каким-то образом не высидел Стрепетова окончательно.

Странное все же чувство, если это, конечно, чувство, и странная любовь, если это любовь, продолжает размышлять Стрепетов. Он (после лекций) торопится в НИИ, где ежедневно проводит консультации. Он спешит. Он гонит машину, и времени у него в обрез — потом часа на полтора в Вычислительный центр, потом вновь в университет, и только потом он сможет поехать... куда он сможет поехать? В том и беда, что какой-нибудь кабак для Стрепетова не отдушина, и не только потому, что скучно и что за столиком в соседстве обязательно окажется бывалый и шумный командированный, знаток жизни и цен. И не потому, что вдруг подсядет, что еще утомительнее, навязчивый сноб-интеллигент петербургского разлива, которого можно вынести, только если пить как лошадь, а здоровья, как у лошади, нет. Стрепетов вообще не любит компанию. Он не ходил бы и к Алевтине, будь там народ, пусть даже в виде вполне мирной плотской гулянки — для кого-то отдых, для него нет. Отдушина — это когда ты сам по себе. Отдушина — это в одиночку. Но не в одиночестве, для этого именно и Алевтина, и чтение стихов, и кофе, и род любви...

В нескольких метрах от перекрестка Стрепетов едва не совершает наезд. Впереди, кажется, столкнулись грузовики, но заурядность улицы и негромкий, в общем, скрежет распадающихся где-то там стекол не дают Стрепетову осознать случившееся, однако люди, слышав там и сям скрип тормозов, вдруг бросаются с проезжей части кто куда, лишь бы поскорее достичь тротуара и не пропустить зрелища. Они спешат. На пути к тротуару и к зрелищу один из бегущих, не глядя, или плохо глядя, или просто в малой панике, оказывается под самым носом Стрепетова — Стрепетов тормозит, но все же задевает. После удара правой фарой человек подпрыгивает, однако не падает, а, на счастье, взлетает — на миг он зависает в воздухе — и выскакивает наконец за пределы опасности, грозя оттуда Стрепетову кулаком и ругая, конечно, его мать. Стрепетов засыл. Он не в состоянии двинуться. Он у самого тротуара. Он сидит, обхватив руль, и старательно дышит, сгоняя волнение и перемогая стресс.

В такой вот примерно день — а дни схожи — Стрепетов оказывается у Алевтины; он именно оказывается, он даже не успевает подумать: зайду, мол, на минутку и погляжу, как там *они*, и, может быть, кофе выпью — даже скромной и загодя капитулянтской этой мысли не успело возникнуть. Как бы по привычке Стрепетов прячет ключи от машины и устало поднимается к ней. Вечер как вечер. Время отдушины. Хитроватый Михайлов, разумеется, здесь и, разумеется, любим и выкупан в ласке.

— Смотри, кто у нас появился, — я уж и забыла, как его зовут! — кричит Алевтина.

И только тут Стрепетов понимает вполне, куда он приехал и к кому пришел.

— Н-да... Можно знакомиться заново. Срок огромный, — медленно и тяжело шутит «мебельщик».

— Кофе хочешь? — Алевтина отыскивает Стрепетову чашку с аистом, наливает и смеется: — Долгонько тебя не было — месяца четыре, а?

Стрепетов подавлен собственным здесь появлением. «Зря пришел», — думает он. Досада и самолюбие обычно не дают ему возможности вернуться — он возвращался и к болтливым женщинам, и к дурнушкам, и к «изменщицам», и даже к корыстным, но никогда к тем, где он в собственных и чужих глазах оказался несостоявшимся и проигравшим. А здесь он именно такой. Это для него внове. Он вяло прокручивает в мыслях несколько давным-давно заготовленных фраз для перехвата инициативы; придуманные в одиночестве фразы казались острыми, а здесь они слишком общи и нежизненны и напоминают удивительно яркие находки во сне, которые утром, когда проснешься, даже ошарашивают своей безликостью и заурядностью. А тут еще Алевтина подначивает, спрашивает не церемонясь:

— Как твоя жена, Юрочка, ладишь с нею?

— Стараюсь, — отвечает Стрепетов.

— Она по-прежнему тебя пугает и лечит?

— Да, — холодно отвечает он, — пугает и лечит. У меня давно уже возникла потребность, чтобы меня пугали и лечили.

— Не за это ли ее любишь?

Он молчит.

— А значит, ты большой эгоист, Юрочка!

— Значит или не значит, — резко говорит Стрепетов (он заметил, что они мило перемигнулись), — но мне моя жена нравится.

Разговор сбит. Стрепетов слишком завысил голос.

Михайлов откашлялся и медленно начинает о своем:

— А мне хлопоты предстоят — мой старший в этом году поступает.

Алевтина оставляет (давно пора) Стрепетова в покое и теперь подтрунивает над Михайловым:

— В университет, конечно?

— Да...

— Ты, Михайлов, все-таки ужасно спесив — если сын поступает, то обязательно в университет.

— Сам хочет.

— Уж будто бы?

— Сам выбрал. Математиком хочет стать. — И Михайлов кивает на Стрепетова и улыбается: по твоей, мол, стезе.

— Прекрасная профессия, — сухо и коротко откликается Стрепетов.

— Да. Пацан влюблен в формулы.

— Математика — это, к счастью, не формулы, — так же сухо говорит Стрепетов. Ему надоела досужая болтовня, точнее, он сам себе надоел посреди этой досужей болтовни. Он сейчас уйдет. Встать и уйти — и хватит с него. Однако он не уходит. Более того: уходят они в другую комнату, а он сидит совсем уже без смысла и будто бы чего-то ждет. Алевтина в той комнате клеит какие-то строчки (готовит новый сборник) — она подзывает ближе Михайлова, чтобы помог, а Михайлов, видимо, опрокидывает клей, потому что Алевтина смеется: «Ну-у, медведь в помощь пришел!» Они выклеивают строчки и воркуют: «Михайлов, это безобразие, а не работа — немедленно переклей строку!» — слышится сердитый ее голос. А Стрепетов сидит и униженно держится за чашку с кончающимся кофе, как держатся за последнюю возможность.

— Я пошел, пожалуй, — говорит Стрепетов, заглядывая к ним в комнату.

— Еще по чашке кофе — и отчалим вместе, — предлагает Михайлов.

«Отчалим», — морщится Стрепетов. Ждать ему «мебельщика» не нужно, и глупо, и постыдно даже, однако всплеска воли хватило только, чтобы сказать: «Я пошел, пожалуй», — спокойно и с достоинством даже сказать. Но при возникшей малейшей новой возможности он опять садится и сидит, и зад его словно пристал к стулу.

Нет особенного и в том, что после кофе они вместе спускаются вниз. Идет Стрепетов — за ним спускается Михайлов.

— Садись, — Стрепетов сажает его в машину; он, пожалуй, подвезет «мебельщика» до метро, как подвозил когда-то.

Долгое время они едут молча. На душе у Стрепетова уютявшаяся приниженность, и тут он отдает должное такту Михайлова, который ни словом не прицелился в это его постыдное возвращение к женщине.

— Зря я приехал, — вырывается у Стрепетова.

Пауза. Михайлов некоторое время молчит, потом говорит:

— Почему же зря — может быть, как раз вовремя.

Здесь (в этот первый раз) Стрепетов еще не обращает внимания на скользящее «может быть»: оно вроде как вводный оборот и довесок речи для смягчения. Но тут же след в след Михайлов допускает повтор и говорит нечто никак не ожидавшееся:

— Я, может быть, расстанусь с Алевтиной. Совсем расстанусь.

— Разлюбил?

— Нет. Но хватит...

— Почему же?

— О детях думать надо... У меня сложные времена начинаются.хлопотливые времена. Я теперь только о детях буду думать.

Что-то он еще хочет сказать, но молчит или же пока молчит. Но и Стрепетов молчит. У метро «Белорусская» (здесь он, как и в былые времена, вылезает, а Стрепетов поедет дальше) Михайлов вновь начинает говорить:

— Поступить в университет на математический непросто, я это знаю, — не можешь ли посоветовать, порекомендовать кого-нибудь, кто позанимался бы с сыном?

Доверие за доверие. Стрепетов отвечает:

— Я подумаю.

— Сын у меня не темная лошадка, — с расстановкой сообщает Михайлов. — Учится отлично. Но все же надо подстраховаться.

— Разумеется, надо — я подумаю.

Михайлов уже вылез из машины. Стоит, наклонясь большим телом; благодарит, что его подвезли.

— Давай, Юрий, встретимся и обговорим — ты когда будешь у Али?

Стрепетов в некоторой растерянности, однако он не хочет, чтобы растерянность была заметна:

— Не знаю. Возможно, в четверг... Но, возможно, я вообще у нее больше не буду.

Если Михайлов уходит — значит, уходит; этот тяжело-дум пустых слов не говорит, и если слова его не совсем ясны, то, значит, они попросту промежуточны и недоговорены, но не пусты. По едва уловимым оттенкам Стрепетов догадывается, что Алевтина не знает сказанных в машине слов и, стало быть, Алевтина не знает, что Михайлов от нее уходит: созрело за ее спиной... Однако игра, если это игра, совершенно незнакомая, и Стрепетов не хотел бы сделать неверного хода и шага. Четверг. Он приехал, но он будет сдержан. Он приехал, но будет молчалив.

Стрепетову становится много легче и проще, когда оказывается, что Алевтины дома нет. Дверь ему открывает Михайлов и говорит: «Проходи», — а Алевтины нет.

Она поехала на телевидение: пригласили читать стихи, и, конечно же, для нее и внезапно, и радостно, и, конечно, большая честь — она вернется часа через три, говорит Михайлов, она только-только уехала. По четвертой программе. В девять тридцать. «Так что послушаем сегодня Алечку на голубом экране». Михайлов сияет огромным лицом, он откровенно рад за нее.

— Как-никак для Али это реклама. Это признание. Это поможет ей быстрее издать книжку!

— Еще бы! — откликается Стрепетов. — Я тоже за нее рад...

Стрепетов, может быть, и рад, но, скорее всего, растерян. Он думает: а был ли тот разговор в машине, не померещилось ли, то есть не сам разговор, а смысл и значение его — были ли? Или же это какая-то психологическая накладка и самообман?.. Стрепетов спешно закуривает. Сдерживая голос и сердце, он хочет выждать, сойти в сторону, но почти тут же не выдерживает и пускает пробный шар:

— Мы ведь хотели поговорить о твоём деле.

— Да, — кивает Михайлов. — Сейчас...

Молчание нарастает чуть быстрее и тяжелее, чем хотелось бы Стрепетову.

— Аля сварила кофе. Пей, он еще горячий, — говорит Михайлов. — Она только что уехала.

И вновь молчание. Теперь они пьют кофе.

— Юрий.

Стрепетов чувствует, что Михайлов поднял на него глаза.

— Да.

— У тебя много работы?

— Хватает. — Стрепетов осторожничает и дает себе возможность обратного хода. — Но если очень надо, время как-то выкраивается — верно?

Михайлов молчит — вероятно, Стрепетов, нервничая, слишком быстро двинулся навстречу, а такое тожестораживает и заставляет лишний раз присмотреться. Стрепетов подносит чашку ко рту и чувствует, что Михайлов его рассматривает.

— Значит, есть время?

— Отыщем. (Да есть же, есть время, сукин ты сын, желание есть, все есть — не тяни же!)

Тогда Михайлов решается, тянуть и впрямь нечего:

— Я хотел бы, чтобы с сыном моим занимался ты сам, — ты, Юрий, это понял?

— Конечно.

— И чтобы как надо подготовил его в университет.

— Если он действительно учится отлично, я это сделаю.

— Он учится отлично.

Теперь им обоим и легче и труднее — главное названо и угадано, но впереди еще подробности и просто какие-то людские и скрепляющие слова, и их не обойдешь, и уже их черед. Поторопленный Михайлов сказал свое и как-то вдруг отяжелел — Стрепетов чувствует, что Михайлову сейчас несладко. Теперь Стрепетов рассматривает его.

— Давай я сварю кофе — хочешь? — начинает Стрепе-

тов. Но спохватывается и тянет из портфеля за горлышко французский коньяк. — Давай лучше пить. Французы пода-рили; раз уж хозяйки нет, давай пить с тобой.

— Давай. И ей оставим.

— Разумеется, — улыбается Стрепетов. — А надо ли? (Разговор кончен, и можно чуточку посмеяться.)

— Что?

— Надо ли оставлять? Бутылка любит двоих.

Михайлов не улыбается.

— Надо, надо. Оставим и ей. Ей будет приятно. — И это означает не только избыточную прочность медлительного Михайлова, и не только его недоверие к шуточкам и ерничеству, которые могут подточить любое верное дело (и ведь верно — могут!), и не только его профессиональную серьезность в деловом разговоре — это означает еще что-то, но что? И тут же Стрепетов догадывается: разговор деловой не кончен; не точка.

Стрепетов спешит, шутка ему не удалась, но близость пусть даже неудавшейся шутки, соседство с ней облегчают речь, и Стрепетов (иначе он никогда не спросит) спрашивает:

— Ты, стало быть, уходишь от Алевтины? — И Стрепетов добавляет к выражению своего лица запрашивающую и прощупывающую собеседника условную улыбку, двоякость которой обезопасит его от всяких неожиданностей. Но неожиданностей нет. Михайлов говорит:

— Ухожу.

Коньяк разлит. Они пьют по рюмке, потом по второй, они не чокаются — некоторая осторожность присутствует, — один раз Стрепетов было потянулся с рюмкой, но Михайлов свою не поднял и уж точно не поспешил под-нять.

Михайлов выпивает. Потом отдыхается. Потом гово-рит:

— У меня еще сын.

— Тоже будет поступать в университет?

— Да... Но не сейчас. Он в девятом. Через год.

И тут Стрепетов уже не может не поглядеть глаза в глаза Михайлову: каков мужик... Стрепетов секунду-две прикидывает, как прикидывает цену: одно лето на приемных экзаменах так уж и быть, но на следующее лето он хотел бы в запас свободы и покоя, хотел бы куда-нибудь удрать, уехать. Два лета кряду в городской жаре не сахар, но именно эта несахарность (и Стрепетов это теперь понимает) придает устойчивость и прочность их сговору.

— Не много ли хочешь? — смеется вдруг он.

— Не много. — Михайлов серьезен. — Тебе будет не так уж трудно: второй сын тоже хорошо учится.

— Надеюсь, у тебя только два сына?

— Два. — На лице Михайлова наконец-то если не улыбка, то пол-улыбки: впервые за весь разговор. Стрепетов разливает коньяк, Стрепетов берет рюмку, а Михайлов смотрит и видит, как его тонкие, изящные руки словно напоказ замирают на секунду на темно-вишневой поверхности стола. «У моих такие же руки», — отмечает Михайлов. И вдруг говорит: — Я хотел бы, чтобы мои дети были хорошие математики. И чтобы вообще они были похожи на тебя.

— Ты это без иронии?

— Без. Даю слово.

— Мужчины такими комплиментами редко разбрасываются.

Они замолкают, и на этот раз молчание как итоговая черта, как точка в долгом их торге.

— Ладно, — говорит Михайлов (и вдруг вздыхает). — Давай допьем. Аля все равно не любит крепкое.

— Ну, разумеется, не любит — я же тебе сразу сказал.

— Давай.

— Давай.

Михайлов спохватывается:

— Время!

— Что?

Михайлов поднимает со стула свое тяжелое тело и, сделав два звучных шага, от которых запели стекла в

книжном шкафу, включает. По четвертой программе уже читают стихи: сначала это делает молоденький длинноволосый поэт. Потом выступает поэт военного поколения. Потом объявляют Алевтину — она на экране, она читает: «Люблю! И небо стало звездно. Люблю! И больше нет судьбы...» Дождавшаяся своей минуты, она немедленно начинает завывать, а глаза ее привычно увлажняются. Но вот и ее голос уже не режет слух, завывание становится нормой и как бы обязательной условностью, а еще чуть позднее Алевтина полностью отдается стиху и чтению, и теперь голос завораживает. Она хорошо читает. Она читает о любви — о том, что любовь сильнее жизни и даже *вперед* жизни, такой образ: когда-то не было на Земле живых, не было растений и одноклеточных, только камни, но уже тогда в неоплодотворенном и безликом кислородном пространстве жила любовь — такой образ, — прыгала зайчиком среди первородных скал и голых глыб. Алевтина понимает, что сейчас ее видят. Она понимает, что сейчас ее слушают. Она понимает, что сейчас ее любят. Это приводит к новому выбросу и выхлопу энергии, и Алевтина с мокрыми глазами, ликуя, приступает к едва ли не лучшему своему стиху — он тоже о любви.

Сообщить ей эту хронологическую подробность («Сегодня последний вечер, любимая!») Михайлов никак не может. Слова, конечно, подготовлены; язык, конечно, не поворачивается. Однако деться ему некуда, и сейчас он эти слова скажет.

— Михайлов. Ну, Михайлов! Ну чего ты такой скучный!

Она теребит:

— Ну не будь скучным. Не будь старым. Не будь занудой. Ну выпьешь, может быть, рюмочку?..

Алевтина вздохнув рассказывает — неделя прошла, только неделя, а уже отклики на ее выступление по телевидению, письма пишут («И какие письма. Какой наив, но, однако, какая, Михайлов, чистота — знаешь ли, что такое

письма простых людей!») — она взаллеб радуется, а Михайлов вставляет незначашие слова и думает, что надо бы этот ее бурный восторг пресечь, хотя бы в качестве *первого* жесткого хода.

Но тут звонит телефон, и почти с той же пылкостью и страстью (обожает телефон) Алевтина бросается к аппарату, и у Михайлова нет теперь жесткого первого хода, однако есть миг подумать. Не больше чем миг, но Михайлов успеваает. И когда Алевтина от аппарата (прикрыв трубку) сообщает полупшепотом:

— Баскетболист звонит. С женой. Напрашиваются в гости.

Он кивает:

— Зови.

— Зачем?..

Алевтина продолжает говорить в трубку, а Михайлов погружается в не слишком блещущую новизной мысль о том, что уйти — это уйти, а уйти вместе с кем-то или с помощью кого-то во всех случаях жизни легче и проще. И очень может быть, что удастся обидеться на этого болтуна баскетболиста: тот обязательно пройдетя раз-другой, например, насчет его, михайловской, мебели. Изобразить, сочинить обиду и уйти и, может быть, хлопнуть, и это бы совсем хорошо; то есть хлопнуть дверью, а дальше уже по телефону и с расстояния; дальше уже проще. Или сама же Алевтина подставится под удар, не такое или не так ввернет словцо (на людях она не прочь подтрунить над Михайловым), или же жена баскетболиста, тоже баба языкастая и тоже с прицелом. Михайлов не знает, как случится его обида и его уход, но он точно знает, что в одиночестве ему проделать все это тяжелей.

— ...Чего же ты молчишь?

— А? — он откликается; он словно из другой комнаты.

— Ты, милый, сегодня на редкость говорлив.

— Угу.

Вот так он и молчит. Нервничает.

— Когда они придут? — спрашивает он.

— А они не придут, — смеется Алевтина. — Ну их. Зануды они. Я сказала, что занята.

Она смеется, у нас, дескать, теперь весь вечер и ночь: мы, дескать, вдвоем, милый, и ждать некого, и можно посидеть вразвалочку. Михайлов спешно кивает — да, дескать, вечер; да, ночь; да, вдвоем. Он боится ее интуиции, боится женской и тонкой ошупи, если она угадает прежде, чем он скажет, тогда ему уже не сказать, не суметь.

— Да, вдвоем будет лучше, — подхватывает он. — Конечно, лучше.

Поощряемая мягкими его словами, Алевтина не угадывает. Более того, она начинает вдруг спешить — она запускает (как всегда) негромкую музыку, гасит лампы, кроме одной, все это стремительно, быстро, и, хохотнув, скрывается в ванной, оставляя Михайлова один на один с надвигающимся фактом. Он слышит плеск воды. Даже этот плеск сегодня напорист и тороплив. Михайлов сидит в полумраке и в приглушенной музыке, совершенно одетый и совершенно неспособный сдвинуться с мертвой точки. Алевтина сидит уже рядом с ним, она в ночной рубашке, возбуждена, глаза как большие черные вишни.

— Ты что? Решил спать в пиджаке? Может, у тебя фурункулы? — Она смеется.

Он молчит.

— А ну марш в ванную!.. Михайлов!

Она не понимает и вновь не угадывает — да и как угадать? — она целует его; груди под рубашкой ходят; с головы, с коротко стриженных волос каплет вода, Алевтина шепчет:

— Знаешь, а я сегодня очень настроена. Мне кажется, у меня с юности такого не было — ужасно тебя люблю...

И еще шепчет:

— А ты не настроен? Не очень?

Лукавить Михайлову не приходится, тут уж совершеннейшее совпадение того, что думает, и того, что говорит, — да, сообщает он ровным голосом, не очень. Может быть, устал. Может быть, измотан.

— Старенький становишься? — ласково подсмеивается она.

— Может быть, старенький.

Алевтина легко стаскивает с него пиджак, отпустила ему и его усталости ровно одну тихую минуту и опять торопится («А славные я получила сегодня письма — правда?»), распахивает ворот, стаскивает ему рубашку рывком через голову («Ну милый, ну не снимать же мне с тебя брюки — для этого, как я догадываюсь, придется содрать с тебя ботинки!»), и вот Михайлов, не то подталкиваемый, не то упрашиваемый, уже стоит в ванной, под душем, и сверху льется вода, пожалуй, даже холодная. Ладно. Последняя ночь. И Михайлов ловит себя на том, что не станет он сейчас регулировать воду, — какая есть.

Они лежат в постели, и она шепчет:

— Только не сразу, ладно? Хочется поболтать. — И Михайлов тоже, в согласии с ней, испытывает после душа желание не двигаться, и отяжелеть, и застыть в неподвижности.

Она продолжает. Она шепчет:

— ...Только не думай, что я спятила от стихов и от писем на телевидение — есть немножко, не без того, — но, в общем, плевать, главное, мне с тобой хорошо.

Она вдруг плачет:

— У меня никого нет, кроме тебя.

Михайлов привык к ее преувеличениям, и все же его мало-помалу забирает и греет. Однако, уравнивая ее красивые слова, он видит себя сейчас со стороны в этой любовной полутьме. Большой и грузный и вмявшийся телом в постель человек; руки этого человека лежат (покоятся) на вместительном животе; лицо с жесткими, практическими, интендантскими складками; и завершают вид свалывшиеся от шапки и дневного гона волосы. Это сделалось и произошло с когда-то худеньким и малокровным мальчуганом, который скудно ел и мечтой которого было иметь салазки на железной основе. Детство всколыхнуло. Михайлов вдруг пугается мысли, что любит Алевтину и что

никого, пожалуй, кроме нее, не любил, а жизнь была долгой.

— Не плачь, — говорит он.

— Нельзя и поплакать? — откликается Алевтина неожиданно весело и откуда-то сбоку; и только теперь оно начинается, и тянется, и продолжается; потом Алевтина ставит обязательную точку: целует его. Благодарность. Она садится. Она привычно попадает ногами в шлепанцы и расслабленно, как бы неторопливо гуляя по лесу, идет на кухню и ставит там кофе. Шумит газ. Голос Алевтины доносится, слегка искаженный ночью, и расстоянием, и долгим до этого шептаньем: «Есть еще яблоки — захватить?» — «Ага». Он лежит и обводит глазами темные стены. Ночничок давно погашен. Он обводит глазами и, умышленно пробуя, как это будет звучать в прошедшем времени, произносит: «Здесь жила моя баба», — он хочет зачерпнуть в этих жестких словах смелости, но тут же и разом немеет и отступает перед надвигающейся болью и правдой.

Они осторожно двигают чашками в темноте, отстраняя и вновь поднося ко рту.

— Замечательно, что мы вместе (она делает глоток), мне кажется, что мы уже сто лет вместе.

И еще говорит (глоток, глоток, глоток):

— Сначала думала: ну мужик, ну симпатичный, однако пора ему в отставку.

И еще:

— ...Потому что не люблю привязанности — муженек мой из меня столько выщедил крови, что я уже не способна жить бок о бок и вот хотела тебя в отставку, помнишь?

— Помню.

— Совсем было решила. А потом как-то вдруг оказалось, что ты вернулся. Смешно?

Она говорит. Она не умолкает. Ласковая:

— Мне ведь много не нужно. Мне ведь больше никто не нужен.

— Да, — говорит он.

— Будут идти годы, зима за зимой, лето за летом — мы будем потихоньку стареть, верно?

Отчетливо понимая, что здесь некстати, и грубо, и отчасти даже неправда, он говорит:

— Очень уж со многими ты спала.

— Я?

— Не я же. — Он говорит и удивляется своим словам: заготовленные, они все же нашли себе место и высунулись. Очередным словам он уже не удивляется, тоже запрограммированные, слова идут вслед: — Где у тебя валяются мои бумажки? С утра могу их забыть...

— Что?

— Бумаги.

Он встает. Он босо, и решительно, и значаще шлепает к ее столику. И задевает в темноте стул. И чертыхается. И топчется у столика (ищет квитанции и накладные заказчиков — однажды он случайно оставил их у Алевтины, и, конечно, надо взять их сейчас). Он находит. Он знает квартиру наизусть. Он прячет бумаги в пасть портфеля, достаточно долго и грубо гремя ими в ночной тиши, как гремят жостью.

Он ложится. Он готов к объяснению и ждет, что теперь будет, а не будет ничего.

— Ты что, спятил? — спрашивает она. И тут же приглаживает ему волосы на голове, как приглаживают бесценному и любимому. Так, и именно так, и непеременившееся время продолжает вязать на своих вечных спицах. Михайлов сник. И постепенно уже входит в сонный ритм сердце, а Алевтина наклонилась над ним. И шепчет: — Милый ты мой. Ревнуешь? Вот глупенький...

Он прикрывает глаза, ее не проймешь. Она как бы нависла над ним, гладит ему виски и откуда-то сверху шепчет: «Будут идти годы, зима за зимой — особенно я рада тебе зимой, почему бы это, будут идти годы, а мы будем стареть».

Он не знает, спал ли, — надо полагать, час-полтора спал. За окном серенькая рань. Зари нет.

Он встает. «Спи», — говорит он Алевтине, когда она некоторым движением тела и еле уловимым беспокойством спящего человека, не открывая глаз, спрашивает, как и что теперь, когда придешь, милый?.. Он не отвечает на это. Он говорит:

— Спи. Я себе сам все сделаю. Тебе-то чего вставать.

Он вяло завтракает. Он сонный, он разбитый, и он ничего не сказал Алевтине.

Он возвращается в комнату, чтобы взять портфель и прихватить сигареты, — закуривает, однако не уходит сразу (зов комнаты) и задерживается у окна. Спиной он чувствует, что Алевтина смотрит на него: одеяло натянуто до подбородка, до самых губ, но глаза ее, хотя и сонно, смотрят. Что-то ее, видимо, кольнуло; что-то докатилось до нее и доползло, как исподволь докатывается и доползает до спящего человека итог прошедших полутора лет... Смотрит. И пусть.

Михайлов тоже смотрит — в окно. Докуривает. Он смотрит с некой внезапностью чувства — поле, и овраг, и два журавля строительных кранов, и незаконченный фундамент дома, — он смотрит сейчас, как смотрят в день скорого отъезда, стараясь вобрать в себя и втиснуть эту землю, на которую едва ли когда-нибудь ступишь и вернешься, потому что жизнь коротка, а заботы, и поток жизни, и вагоны метро покачивают и несут тебя, как шепку. Михайлов оделся. Вышел. Ровное гудение лифта (он утопил кнопку, и потекло, поехало) напоминает Михайлову, что, так ли, не так ли, жизнь продолжается.

5

Раза три или четыре телефонный звонок, но это уже как бы не Алевтина, а некое промежуточное звено для стирания в памяти:

— Не могу, занят, очень занят.

— Не можешь или не хочешь? — плачет и, конечно,

устраивает ему телефонную истерику или вдруг называет его старым жирным боровом, который ей осточертел. Уколоть и задеть: иногда такое помогает, и человек в юности или в обиде является к бывшей подруге, чтобы ответить или оправдаться, не сознавая, что, если он пришел, значит, пришел. Но Михайлов не приходит. Пауза. Затем новые три или четыре звонка, но он начеку — трубку берет Вера Емельяновна и с полупрофессиональной ядовитостью отвечает товарищу Алевтине Нестеровой, что Михайлова нет (первый звонок), что Михайлов на выезде (второй звонок) и что Михайлов в цехе — не передать ли чего, *если это по делу?*. Звонки прекращаются. Это конец. Михайлов знает или догадывается, что Аля отступилась, привыкая и привязываясь сейчас к Стрепетову, как привыкала и привязывалась когда-то к нему. Конец. Алевтина еще некоторое время возникает в его ежедневных мыслях (по инерции и по необходимости быть начеку), а затем ее лицо, и ее облик, и образ в целом передвигаются за линию горизонта и уходят в то, что называется по-разному, но чаще всего прошлым. И уже там, в прошлом, занимают свое уяснившееся место.

В один из тех дней происходит ожидаемый и потому краткий телефонный разговор со Стрепетовым — они согласовывают, когда и где: уроки со старшим сыном начнутся на этой неделе, да, Юрий?

— Я, Юрий, справки навел. Поскольку ты доктор наук, буду платить тебе пять рублей в час. Стало быть, десять за занятие...

— Как — ты собираешься еще и деньги платить? — В голосе Стрепетова и улыбка и ирония.

— Конечно, Юрий. Обязательно.

— Ну-ну.

Переговорив, Михайлов кладет трубку и закуривает — он думает о том, что доктору наук Стрепетову надо будет платить аккуратнейшим образом. У отношений должен быть свой четкий стиль. Время (а оно будет идти и идти) размывает слова; время размывает и слова и разговоры, как и по-

ложено их размывать, но не размывает лишние сто или почти сто рублей в месяц.

— До свиданья, — говорит Михайлов приемщице.

— До свиданья, Павел Васильевич.

Михайлов возвращается домой.

— Иди-ка сюда, — зовет он. И вот обычным и ровным голосом он объясняет старшему сыну, что начиная с завтра старший будет заниматься с известным математиком Стрепетовым; если же сын не будет валять дурака и окажется не тупицей, то, поступив в университет, он, возможно, станет на долгие даже годы учеником этого блестящего ученого.

Семнадцатилетний мальчик смотрит робко и, пожалуй, напуганно.

— Ты будешь приезжать к нему домой по вторникам и четвергам к шести вечера.

— Ехать далеко, папа?

— Тебя это не должно волновать. Выучишь в метро лишнюю теорему.

Младший похрабрее. Он спрашивает:

— А я?

— С тобой он начнет заниматься через год. В десятом классе.

В конце разговора присутствует жена; она только что пришла из магазина.

— Математик он, возможно, хороший, а хороший ли он учитель?

— Что?

— Хороший ли он учитель?

— Можешь не сомневаться.

Жена кивает:

— Раз ты говоришь, я, конечно, не против... В неделю двадцать рублей? Это, стало быть, восемьдесят рублей в месяц.

— Это девяносто рублей в месяц.

Жена вновь согласно кивает. В месяце, конечно же, четыре с половиной недели. Жена относится к Михайлову

чаще всего спокойно и согласно, с тем спокойствием и согласием, какое испытывают не слишком уверенные в себе женщины при виде (изо дня в день) мужа, поступки которого медлительно точны, и верны, и отцежены опытом, и хорошо оплачиваемы.

Этим же летом старший сын Михайлова легко и даже блестяще сдает вступительные в университет.

Самое неприятное для Михайлова в его работе — это ползать; вес и большой живот не дают ему присесть на корточки и тем более на корточках передвигаться. В ход идут коленки (годы, разумеется, уводят нас от детства, но незримыми и изощренными ходами опять же ведут к нему). А для того чтобы передвигаться на четвереньках спокойно и не слишком униженно, Михайлов изгоняет из комнаты хозяев. Тут он принципиален и неумолим. («Люблю, извините, побыть один. Люблю обдумать. Вы мне мешаете». — «Нам уйти?» — «Да».) Клеенчатый сантиметр болтается у него на шее. Михайлов перемеривает углы, нишу, расстояние до радиатора отопления и толщぴ плинтусов. Время от времени Михайлов распрямляется и, стоя на коленях, записывает в книжицу цифры. Теперь черед объемов. Михайлов взмок, но не прерывается. Чтобы учесть высоту, он лезет на шаткую стремянку, стремянка скрипит под ним и попискивает...

— На минутку! — Михайлов зовет хозяев. Он оттирает пот.

Хозяева входят. Они возбуждены ожиданием и этим непереносимым состоянием вне игры (они-то предполагали, что будут всласть обсуждать и всласть советовать), и вот они входят. Отирая платком шею, Михайлов начинает излагать им свое — если они хотят белую стенку-шкаф *вплоть до балкона*, комната волей-неволей приобретает лицо. — значит, сюда же и белый столик, и хотя бы два светлых стула.

— Если вы так считаете... — Хозяйка доверительно улыбается.

Михайлов записывает.

Хозяйка льстит. Она в ярком добротном халате. Причесана. И брови подведены.

— Мы ведь как рассуждали: если уж Михайлов *сам* придет и сам посмотрит, все будет сделано и красиво и быстро.

— И дешево? — грозно улыбается он.

— Нет-нет, мы понимаем, что недешево.

Хозяин тут же. Он басит:

— Нам так сказали — главное, положитесь на вкус и руки Михайлова.

Хозяйка с улыбкой подтверждает:

— Нам именно так и сказали.

Как правило и как это водится, следом за лестью единая, сбалансированная душа хозяина и хозяйки жаждет усладиться собственной своей добротой. И чужим унижением. Они это умеют. Они это считают обязательным — значит, на кухню, — и чем дольше и упорнее ты сопротивляешься, тем усиленнее и, как им думается, искреннее становится их нажим. Михайлов давно привык и потому не отказывается. Он уже много лет не морщится и не считает это за унижение, как не считает человек за унижение то, чего не миновать.

— Передохните, Павел Васильевич...

И опять насаждают:

— Нет, нет. Нужно прерваться. Вам просто необходимо прерваться. — Хозяин и хозяйка с улыбками обступают его. Хозяйка касается его пышным бюстом: шалунья.

Однако, чтобы поставить точку, Михайлову нужно еще спросить и записать:

— Вы не собираетесь в одно из гнезд стенки вмонтировать телевизор? (Они потом могут поднять вой, что у них не все как у Заруцких.)

— А вы как считаете?

— Если здесь детская, то не надо. Вы же захотите смотреть фигурное катание вечером.

— Да, да. Вы правы.

— Значит, решено — здесь детская?

— Да.

Михайлов записывает еще три-четыре конкретности, и они оба вновь обступают его и теперь уже прямым ходом волокут туда. На кухню. Хозяин незамедлительно впадает в стереотип рубахи-парня (интеллигент, отнюдь не чуряющийся и демократичный) и широким, вольным жестом обезглавливает беленькую. Закуска на месте. Михайлов тоже. Можно приступать. Михайлов несколько смущен: смешно сказать, но ему каждый раз кажется, что отказом он их не шутя обидит. Он бы давно спился, но более или менее следит за этим, и потому как закон — две-три рюмки, не больше. Сегодня еще один закачик в Сокольниках и еще один возле вокзалов: Михайлов это помнит.

— А это правда — говорят, вы с высшим образованием? — интересуется хозяйка.

Кусок колбасы зависает у него во рту. Михайлов кое-как сглатывает и кивает — правда. Теперь они, разумеется, спрашивают, какой вуз. Он отвечает коротко и однословно. Хозяин тем временем — а время движется как надо, и рюмки тоже — расслабляется и начинает немного хамить, впрочем неосознанно; сам он этого не понимает и полагает, что хвалит Михайлова.

— Вот как, — косит он глазом на жену, — надо работать. У человека есть профессия, *нужная* людям. А что твой муж — двести двадцать в месяц, и точка...

Он рассуждает. Он сидит холеный, и сытый, и убаженный рюмкой, неторопящийся, а напротив — в потертом пиджаке, в грязных брюках, потный, невыспавшийся, с серым и полумертвым лицом Михайлов, у которого, конечно же, как им думается, куча шальных и легких денег. Ладно...

Возле дома, и это уже после Сокольников и после трех вокзалов, Михайлову делается плохо. Не в первый раз, а все же пугает. Почему возле дома, почему всегда *они* кончаются возле дома — расслабленность, что ли, после пути, спад? — Михайлов медлительно обдумывает это и облизывает губы. Плохо, братец. Не дойдем, братец. Ну так доползем... Он сидит на ступеньках лестницы в подъезде свое-

го дома, сползший вдруг вдоль стены и обмякший. Перила близко, а не дотянешься. Вот так... Он начинает медленно ползти по ступенькам. Он думает, не позвать ли кого, но вспоминает, что от него непременно пахнет водкой, а это уже лишнее. Такие подробности дом-пятиэтажка узнаёт слишком быстро и необратимо: до детей тоже доходит. Ладно. Всего-то на третий этаж... Коленями и руками, работая поочередно, Михайлов перебирается еще на четыре ступеньки вверх. Самое неприятное для Михайлова — это ползать. Лестница. Еще малость, еще немного, говаривала безмужняя мать, когда она и маленький мальчик тянули в гору салазки на деревянном ходу с полмешком муки, и он ни разу не вспомнил матери, как она эту муку зарабатывала, выводя Пашеньку в люди. Ладно... Ну а теперь встать. Теперь отряхнуться. Он жмет кнопку звонка.

— Опять от тебя несет, Павел, — жена шепчет, она упрекает еле слышно, потому что поздно и дети уже легли.

— Тсс! — Михайлов протискивается в дверь, продолжая это обычное перешептыванье в прихожей.

УТРАТА

Рассказ

Все знали, что Пекалов пьянь и промотавшийся и что затея его, конечно же, была и есть дурацкая; и все же он, подлый, хватал всякого за рукав и вопил:

— Ну, ребята, кто со мной — ведь под Урал подкоп рою!

И опять вопил:

— Под самый Урал рою!

В трактире нарастало недовольство: и поскольку Пекалов продолжал вопить, подручный Пекалова, званный Ярыгой, сначала делал знаки, а потом просто прикрывал ему ладонью рот: помолчи, мол, и не гуди, не время. (Пекалов дергался, мычал, но Ярыга держал его крепко.) А уже и пальцем показывали — пошли бы вы отсюда вон!

Они пошли; и на выходе пьяный Пекалов врезался плечом в зеркало, оно не вывалилось, но трещина зазмеилась, а все те, что в трактире ели и пили, заорали ему вслед, чтобы отныне Пекалов ел и пил исключительно в прихожей, а далее ни его, ни тем паче Ярыгу не пускать.

— И болтать тебе, Пекалов, сейчас совсем не время, — корил его Ярыга.

Они шли к реке. Пекалов все время оступался. («О-ей, — вскрикивал он. — О-ёй!») Он падал на колени в песок, подымался и стонал, что ему тяжело. Пекалов нес водку, а Ярыга свежекопченный окорок.

День нагревался. Понизив голос, Ярыга говорил:

— Потому что опять, Пекалов, у нас новость: упокойничек.

— О господи.

Мертвый лежал возле самого подкопа, неровно рыжеволосый, в вихрах, с запекшейся на лице кровью. Песок налип на щеки, на глаза. Даже и руки не сложили ему на груди, нехристи. Это уж был второй прибитый — не много ли? «Как же погиб?» — спросил Пекалов, и ему, как и в тот раз, наспех и равнодушно объяснили, что в темноте кто-то ударил беднягу ломом — то ли нечаянно, то ли сче-ты свел. «Как это в темноте?.. Я же дал денег на смолье. Неужели все выгорело?» — и Пекалову они, конечно, ответили: да, выгорело все. А свечи? — а свечи роняли да и, конечно, затоптали, выронив, в тесноте и в неловкости. Да и что ж ты сегодня какой — не веришь, что ли?.. Они объясняли сбивчиво. Их колотила дрожь: они не отрывали глаз от водки. Они уже столпились не возле Пекалова, а возле Ярыги — Пекалов дал знак, и Ярыга наливал им по полному стакану, принявший клянчил, просил еще, но Ярыга отправлял его трудиться:

— А теперь, молодец, иди и долби землю.

Или проще:

— Иди и долби.

Или совсем просто:

— Ступай!

После чего они, люди беглые, скрывались в зеве норы и час-два, а реже три долбили землю с охотой. Они долбили неплохо. Но затем им становилось не по себе. Из двух десятков беглых, трудившихся в подкопе, только Ярыга и мог пойти показаться в поселке, остальным было лучше отсиживаться и пьянствовать именно здесь, поодаль; воры и насильники, они долбили землю исключительно от безнадёжности. Долбили они выдвинутой вперед парой: один бил киркой справа, другой слева, — потом они менялись. В тесноте подкопа приходилось сильно гнуться, сутулиться. За забойщиками по одному, редко по двое — в цепочку — стояли отгребальщики, что перебрасывали землю от себя к следующему. Среди лязга ломов и скрежета лопат Пекалов приближался то к одному, то к другому, шепча: «Кто его убил? Как думаешь?..» — а тот пожимал плечами: не знаю.

Работали при огарках свечей, было тускло, сыро, и Пекалова передернуло, когда он представил, как был здесь убит рыжеволосый. И что за злое баловство? Самое страшное состояло в том, что, если уж такой убийца завелся, он не остановится. Этот будет потихоньку убивать и убивать, пока народу в подкопе останется совсем мало и в оставшихся не вселится ужас, — вот тут ему; убийце, и сладость.

Согнувшийся Пекалов пролазил меж ними и, видно, мешал копать, а еще и затоптал нечаянно огарок.

— А что ж ты паскудишь?! — крикнул забойщик, будто бы во тьме Пекалова не узнавая, и пнул его ногой в сторону отгребальщиков. «Гы-гы-гы-гы!» — здоровенный отгребальщик загоготал и, прихватив за рубаху и за штаны, швырнул Пекалова дальше: забаву нашли. То пинаемый, то пихаемый, Пекалов выбрался из подкопа: он отряхнулся от земли и сел возле мертвого. Этому уже не больно. По лицу мертвого полз муравей, со щеки переполз на лоб, а потом на щеку, покрытую коркой подсохшей крови. Мертвый сам по себе Пекалова не очень заботил, но ведь на одного работника стало меньше. Был живой, стал неживой, что поделаешь. Куда больше заботили деньги: Пекалов куражился, шумел, делал вид, что деньги еще есть, но это ж до поры.

В течение следующих двух дней он лишился Алешки. Кроме пришлого сброда и отпетых, нужен же был хоть мало-мальски знающий в работе человек, и потому Пекалов нанял и очень дорожил этим малорослым беловолосым мужичком, которого отовсюду гнали за свирепое пьянство. Но Алешка уже боялся обвала. Напивавшийся сильно и быстро, Алешка сразу же засыпал. Так получилось, что он лежал рядом с убитым, и они были похожи, спящий и мертвый. Один лежал; и другой лежал. Выскочив из кустов, жена Алешки, баба из тех, от кого скрываются, даже и не поняла, что рядом мертвый, — она растолкала Алешку, ухватила за ворот и сразу в крик:

— Домой! Домой! Там отоспишься — у-у, пьянь!

Она была в добротной кофте и в алой косынке. Пекалов

сунулся было, но она зыркнула волчицей и замахнулась. Могла прибить, против нее Пекалов был хлипок. Прихватив Алешку, она толкала его, тыкала кулаком, дергала за уши. Она уводила его, крича:

— И надо ж было мне, бедной, за пьяницу выйти!

Алешка, уводимый, спотыкался. Наконец пришел он в себя — и вырвался, оставив в ее руках половину рубахи.

Уходя, она кричала:

— Пьянь! Нашел бы себе стоящего купца да работал! И уж каким бы мастером стал! — И конечно, тут она стала честить Пекалова, крикнула: выродок, мол, погибели тебе мало!

На шум из подкопа повылазили пьяненькие работнички. Пекалов сказал им, чтобы зарыли мертвого, — они понесли его за руки, за ноги в дальние кусты, двое, а третий смотался в подкоп и выволок оттуда лопаты, чтобы зарыть. «Не забудь, малый, лопаты на место вернуть!» — крикнул им Пекалов, а они захохотали: для них замечания Пекалова всегда были слишком уж очевидные, лишние.

Ярыга стал загонять сброд в нору:

— Пора, ребятушки!.. — И крикнул Пекалову: прибеги, мол, водку!

Солнце уже жгло. Четверть с остатками водки стояла в тени, покрытая мокрой тряпкой, и спохватившийся Пекалов, поставив бутыл в сундучок, тотчас запер: тут нужен был глаз и счет.

Спрятав ключ в карман, Пекалов убил на шее комара и предложил все еще сонному Алешке:

— Ты лезь в воду. Ты искупайся!

— А можно, — ответил Алешка.

Двое, они плавали, фыркали и нет-нет поглядывали на ту сторону. Берег был далек. Пекалов все спрашивал, когда, мол, настанет момент, чтобы нам больше в землю не углубляться, и правда ли, что, как только пройдем полреки, уже можно будет копать вровень.

Алешка важничал:

— Давай, Пекалов, сначала пройдем полреки. Тогда поговорим.

А когда пьянь и беглые, отработав три часа, вылезли на белый свет перекурить, Пекалов и Алешка остались под землей. В темноте, в самом нутре подкопа Алешка тыкал острым ломиком-щупом под ногами, а Пекалов держал свечу. Алешка втыкал через каждые полшага.

— Слышишь, под нами камень какой — не пробиться нам глубже.

— А если выше идти?

— А выше — река на нас обвалится.

Пекалов стал смеяться: не бойся, мол, даже и ребенку ясно, что мы как раз и пройдем меж камнем и рекой. Но Алешка, настороженный, все тыкал ломиком-щупом. «Ясно то, что обвал будет, — я же говорю, тварь, что мы, — как крысы, потопнем» — вот тут, нервничая, Пекалов и ударил его: он не любил, когда поселковские, а за ними и всякий пьяндыга звали его тварью. Алешка схватил его за грудки:

— Купчонок недоношенный, еще руку подыметь — ножом припорю!

Свечка погасла, и Пекалов, торопливый, выкрикивал в темноте:

— Да ладно, ладно тебе! Большое ли дело! Ну ударь и ты меня в морду, ударь, и ладно, а то сразу ножо-ом, — передразнил он.

Когда выбрались, он закричал:

— Вали на работу! А если Алешка пугать будет — не верьте. У меня, рванины, все обдуманно: прошмыгнем под рекой, как нитка в иголку!

Алешка смолчал.

Но тут начал вопить Тимка, которого за кражу и утайку водки Пекалов лишил выпивки на весь нынешний день:

— Дно проседает!..

От жгучей жажды Тимка купался беспрерывно. С камнем в руках он, задержав дыхание, опускался на дно над самым подкопом, оттолкнувшись от дна, он всплывал и опять опускался: он как бы плясал там с камнем в обнимку. Кричал Тимка слуру, на дне была обычная тина, и, ясное

дело, тина под ногами проседает, но, когда Пекалов, ища поддержки, оглянулся на Алешку, тот промолчал, вроде бы дурака даже и поддерживая.

— Дно проседает! — орал Тимка.

И вот рассевшиеся на берегу там и тут пьяндыги заворчали:

— Это ж куда ты нас, Пекалов, гонишь, это ты что ж — на смерть гонишь?

Им вроде бы впервые пришла в головы мысль, что произойдет обвал и вода их в подкопе затопит. «Братцы, да что ж такое — неужто за шкуру трясетесь?» — лживо смеялся и подбадривал их Пекалов; он был перепуган; суетный, он не сразу понял, что хитрят, страх в них был невелик, зато же велико было давнее желание, чтобы он прибавил водки. Отчаянные людишки, они теперь кривлялись и выкобенивались. Улучили-таки свою минуту. И деться Пекалову было некуда: к вечеру он удвоил выдачу водки. На этот раз водку в бутылках и еду Пекалов и Ярыга из трактира еле приволокли.

Тогда же Пекалов отозвал Алешку в сторону и прямо спросил:

— Уйти надумал?

— Надумал.

— А ты, парень, слабак, — вдруг озлился Пекалов; от растерянности он сорвал голос, он шипел: — Иди, иди к своей лютой бабе, пусть утешит! Катись!

Он и расчета Алешке не дал, теперь он сэкономил вдвойне.

Неудачливый и пустой, застрявший в малом поселке, Пекалов был пьяница, и больше ничего: без денег, без имени, без совести. Он и пил-то без особого разгула или там удали: во всем серенький. И солдатка Настя при нем была безлика, никакая.

— А вот я все думал, Настя... — разглагольствовал Пекалов. — А вот пройдет, Настя, много-много годов — а удивятся ли люди тому, что и в наше время было так сладко выпивать в постели, а?

Приподнявшийся на подушке Пекалов наливал себе водки, а ей красного; полулежа, они выпивали, после чего он в охотку курил. Он посмеивался, а она стыдливо натягивала на себя одеяло.

— Чего ты прячешься в жару-то такую?

— Страмно, — сказала она тихо.

От болтовни Пекалов легко переходил к нытью. Он подумал о работагах, которых в подкопе все меньше.

И пьяно вдруг заплакал:

— Разбегутся они, Настя. Все сбегут... Ни черта не получится.

— Ну и ладно.

— Разбегутся.

— Ну и ладно, говорю. Давай поласкаемся.

Она и одеяло скинула, а он все плакал: на ребенка был похож, когда сильно пьяный.

Оставшийся без мало-мальски понимающего в деле человека, Пекалов хорохорился, бодрился, однако в конце дня из подкопа послышался гул голосов, шум, и, когда Пекалов сунулся туда, навстречу бежали его пьяндыги. Обнаружилась течь: один из забойщиков почувствовал вдруг ожог — упавшая сверху капля была холодной, но показалась ему каплей кипятка. «Братцы! Каплет!» — крикнул он, после чего и началась паника. Пекалов останавливал их, кричал, уверял, что выдумки, его сшибли, наступали на руки, он визжал, а из темноты оставшиеся там пьяндыги крикнули: «А ты ступай сюда сам, проверь!»; весь дрожа, Пекалов пролез вперед, просунулся, и ему тоже капнуло горячим на лоб. Капнуло еще. Капли падали там и здесь.

Теперь повалили к выходу все, Пекалов с ними — упустить их было сейчас никак нельзя. От реки веяло холодом, как и от земли. А на вечернем небе тучи натянулись к дождю. «Эка невидаль, — выкрикивал Пекалов, — ну и каплет! С неба вон тоже каплет!» — но никто работать не хотел: дождемся, мол, утра, а там будет видно. Они и не посмотрели на небо. И конечно, они опять намекнули, чтобы Пекалов

не жилил на водке: добавь, мол. Пекалов обещал все что угодно. Пекалов все еще дрожал. Ярыга тоже уговаривал: земля, мол, слоями идет, сейчас мягкая и потому сквозь нее каплет, а далее заново твердая, — давай, мужики!

Но те стояли на своем:

— С утра посмотрим.

Накрапывающий дождик кончился — был мягкий закат: когда Пекалов прошел мимо той улочки, где жила солдатка, она уже была в огороде. Согнувшись, Настя ковырялась в размокших грядках. Пекалов легонечко свистнул — она оглянулась, а он уже шел мимо. Увидела.

Он пришел в свой домишко, где и стены уже старели и где былую жизнь со всех сторон подтачивали ветхость, бедность, безденежье. И все же это был дом. Он глянул на портрет родителя: удачник! Да и брат, говорят, в Астрахани уже дела делает... А ему, пустельге, даже подкоп не дается. Ах, если б сделать, красивая могла бы выйти штука — на ту сторону Урала да и гуляй! Дальше этого «гуляй!» мысль Пекалова никак не шла: он и понятия не имел, зачем туда рыть подкоп, зачем там людям «гулять», да и где — на болотах? Оставив дверь открытой, чтобы в его отсутствие Настя могла выйти, Пекалов отправился к богатому мужику Салкову. Тот жил близко.

— Меблишку мою не схочешь ли купить? — Пекалов как вошел, так и спросил.

— Нет.

Салков еще не знал, что и как, но он очень хорошо знал, что Пекалов тварь маленькая, знал, что он в разоренье и что падает, а уж если человек падает, у него можно задешево купить не только мебель.

— И полдомишки моего, а? — спросил Пекалов, теперь и сам пробуя поддеть на крючок.

— Полдомишки?..

И с места струнулось, а как только речь зашла о цене, Пекалов сказал, оборачиваясь: никаких-де полдомишек, дом продаю целиком и сразу, так и покупай, — берешь, что ли?..

— А деньги?

— Деньги немедля, — раскрылся Пекалов. Деньги, мол, немедля, а купчую хоть и завтра.

— Покупаю.

Они поторговались, а потом и позвали человека быть свидетелем, после чего Салков сразу же нашел готовые и выложил: ах, богат как! Передав деньги, Салков еще и спросил: уезжаешь разве? к отцу небось и к брату?

— Точно: к отцу и к брату. Дельце там есть.

— Ну и верно, милый, верно поступаешь. Там ты развернешься вовсю. Народец-то у нас дрянь, уж какая дрянь непонимающая, а там-то ты развернешься! — лстиво пел Салков, пока Пекалов не ушел. А едва хлопнула за ним дверь, Салков, конечно же, подумал, что этот недоумок, тварь эта, развернется разве что в могиле, там все прямые лежат.

Пекалов послал какого-то мальчишку за выпивкой и закуской, сам пошел домой. Настя уже ждала. Сидела и покусывала уголок платка, толстоватая, скучная, но не без красоты. Стать в ней была. А как выпьешь, кроме стати, ничего и не надо, считал Пекалов, сам еще молодой.

— Ах ты, красавица моя! — стал восторгаться Пекалов, так как выпивку и еду уже принесли, и никто им не мешал, и предчувствие было хорошее. — Красавица моя! А ведь забудешь меня, как только деньги мои истают, а? — Он засмеялся: мол, еще не завтра они истают, смотри — и вытаскивал кипы бумажек и потрясал ими, хвастая.

Она молчала. Покусывала платок. Скромница. А, видно, понимала, что идет на убыль и что после сорения деньгами ему только и осталась она, Настя-солдатка, — он целовал ее, а она все скромничала, пока он не раздел силой, бубня о том, как, мол, нам хорошо, и как замечательно, и неужели в будущем люди этого хорошего в нас не поймут...

В густых сумерках он стал собираться, выпроводил Настю и спешно вышел. Он шел, пьяненький, и пьяной па-

мятью огибал дома. На окраине прибавил шагу. Чуть ли не побежал. Только выйдя к реке, он понял, что ночь, и что, конечно, никто в такой час не роет, и чего это он спешил — ах да, проверить!

Гремя под сапогами речной галькой, он раздвигал руками кусты, а едва вышел к зеву подкопа — наткнулся на Ярыгу.

— Ну?... Не разбежались?

— Нет. Спят вон, в кустах.

— Слава Богу!

Шагнув на бугор, Пекалов сел там на камень и закурил, расслабившийся после спешки.

Ярыга стоял рядом и смотрел на реку.

— Все думаю — не затопит ли нас завтра? А может, не завтра, так послезавтра?

— Вот еще! — сказал Пекалов. — Для того чтобы утопить таких дураков, как ты да я, зачем Богу рвать реку, зачем, можно сказать, лоно портить?

— Это верно, — согласился Ярыга.

Теперь оба сидели рядом. Ярыга, завернувшийся в дражный полушубок, тут же и заснул. Пекалову сделалось пьяно и радостно, он не отводил глаз от лунной дорожки: русалки, говорят, здесь водятся, пощупать бы одну. Покурив еще и полюбовавшись рекой, Пекалов полез в подкоп. Он несколько раз ронял свечку и вновь ее разжигал. Наконец он добрался до места, где вгрызались в землю, подошел: кап-кап-кап... — падало ему в протянутую руку. Сочится. Ах ты ж, речка-реченька.

На другой день стало страшно уже и не в шутку. Прорыли на пять шагов, только углубились, как вновь раздался крик: «Каплет!» — а в ответ: «И тут каплет!» Стали как замороженные. Если в пройденном месте капало мерно, то тут была целая капель: как с крыши в дождь, полосой капли падали и падали, поблескивая в пламени свечей. Пекалов кинулся к забойщику. Забойщик бил; по голой его спине бежали ручейки.

— Ничего, братцы, проскочим — земля опять твердой будет, — уверял Пекалов.

Тот, у которого бежали по голой спине ручьи, опустил кирку, отер пот и спросил:

— Вверху-то твердо?

— А?

— Я говорю, лишь бы вверху твердо держалось. — Забойщик ткнул кулаком в свод над головой.

Он ткнул играючи, несильно, но рука чуть не по локоть погрузилась в мягкую грязь, а как только он кулак оттуда вырвал, вслед плюхнула вода, как из нескольких сразу прорвавшихся худых ведер. Шум падающей воды напугал: толкаясь и торопясь, работяги заспешили к выходу — они мчались, натываясь на падающих, на лопаты и кирки, наступая на свечки, давя их, гася и продолжая бег в совершеннейшей уже темноте.

У выхода они столпились — Пекалов, нагнавший, угонял их, выволок и выставил бутылку: мол, налью, мол, налью сейчас же.

— Братцы, братцы! — зывал он, но не помогло.

«Нам и в другом месте нальют!» — кричали уходящие, а Пекалов удерживал хотя бы тех, что пока колебались:

— Да что вы! Да я шас сам туда полезу! Пример подам! — Он зажег трясущейся рукой свечку и полез, пришлось ползть, а они там, у входа, ждали.

Сзади его нагонял Ярыга; оберегая рукой свечу, Пекалов плаксиво чертыхнулся:

— Зачем их оставил — уйдут.

— Не уйдут — я уж откупорил им, закусь выложил: пока все не выжрут, не уйдут.

— А ведь страшно, Ярыга...

Они подошли к месту, где хлынула вода: она текла ручейком, текла послабее. Забойщик кулаком пробил дыру, а вода, видно, там стояла, скопилась в земле, вот и вылилась, как из кармана, — они совещались, а вода все текла. Когда Пекалов приблизил свечу, Ярыга подставил ладони — огромные ладони в один миг наполнились водой.

— Жуть какая, — сказал Пекалов. — А может, укрепить как-то можно?

Ярыга кивнул: еще пьянчуга Алешка говаривал, что землю в подкопе можно крепить, скажем, кровельным железом, а даже и трубу можно соорудить для оттока воды.

— Попробуем, — согласился Пекалов. — Конечно, реки это не удержит, но хоть страшно не так будет.

— То-то и оно.

Пекалов повесил свечу, воткнув острый крюк подсвечника в боковой свод. Он взял кирку — давай, мол, Ярыга, прокопаем малость, пока ручей не останется за спиной. Ярыга взял другую кирку. Пекалов бил с правой, а Ярыга с левой, а через полчаса они поменялись. Они долбили не спеша — лучше уж они, осторожные, пройдут это опасное место, где пьяный сброд, нервничая, мог бы наделать дел. Они прошли шаг, оба были мокрые с головы до ног. Но впереди не капало. Осмелев, они расширили горловину, и как раз послышались шаги сзади: отпетые людишки все же спустились в подкоп, может, они думали посмотреть на уже затопленных, на мертвых; Ярыга и Пекалов, спокойные, постукивали кирками. Они работали не оборачиваясь. Людишки тем временем сами оценили через полосу капель, что впереди сухо и спокойно.

— Смените-ка нас, — сказал им Ярыга.

Помолчали, потом кто-то из них подал согласный голос:

— Ага.

Пекалов и Ярыга вылезли, наказав, чтобы при работе в верхнем слое киркой не лупили, а стесывали понемногу глину лопатой. Мол, на глине-то вода и держится, не река, а вода. А река много выше.

На бугре Пекалов и Ярыга открыли бутылку, выпили. Медленно жевали.

Пекалов дал денег и отправил Ярыгу за листовым железом, горбылями и досками — он хотел послать кого-нибудь другого, а не Ярыгу, но была опасность, что тот, другой.

с деньгами сбежит. Теперь на счету был каждый. Когда хлынула вода, ушли пятеро.

— Ничо, — вслух размышлял Ярыга. — Зато остались уже самые отпетые: по ним казаки, да каторга, да еще веревка давно скупают.

— Да и по тебе небось, но ты-то в поселок ходишь.

Ярыга не ответил, только ухмыльнулся.

С утра после очередной попойки стали сколачивать под землей стояки как для крепости, так и для спокойствия. Ярыга и Тимка рубили колы для подпор, остальные крепили и обшивали железом: в подкопе работали теперь веселее. В пугающих местах не только подперли, но и обшили досками верх, а также боковые своды.

В перерыв даже и песню запели — давно не пели. Обтесывая жердину, Ярыга поманил Пекалова к себе и, когда тот подошел, под общий шум пьющих и орущих песню шепнул ему: мол, обнаружил убийца наконец, того, что двоих уже наших угробил.

— Лычов, — сказал шепотом Ярыга, — он, сука. Я видел, как он сейчас обратную сторону у ломика затачивал. Махнет рукой вроде как назад — а человека нет.

— Думаешь, счета сводит? — шепнул Пекалов, разглядывая среди развалившихся на траве Лычова.

Ярыга хмыкнул: «Какие счета. Просто любит это» — и оба задумались, как быть и как сделать, чтобы никто в пару с Лычовым долбить землю не лез.

И точно: после выпивки Лычов, играя глазами, по пояс голый, грязный, поднялся с травы первым и позвал: «Ну, кто со мной?.. Пошли!» — и тогда за ним не спеша, но и не мешкая, слова не сказав, пошел Ярыга. Он только мигнул Пекалову; придержи, мол, других — попьанствуй с ними еще. Придержать их было проще простого, никто в подкоп, или, как они говорили, в нору, не спешил. Пили и орал. Тимка с напарником даже и заснули, упившись. Ярыга через час появился и громко сказал:

— А Лычов-то, сука, видно, сбежал! Нигде нету!

— Да ну?

Кинулись туда-сюда, поорали, позвали — нету. Кто-то еще и бранил его со зла.

— А ведь был такой отчаянный, — разводил руками Ярыга. — Я-то думал, он дольше всех нас рыть будет.

— Да и мы так думали! — говорили другие.

Когда спустились в подкоп, Ярыга и Пекалов сначала отгребали, и Ярыга ему сказал: «Здесь» — и показал на боковой свод.

— Смердеть ли не будет?

— Не должен. Я его на шаг почти зарыл. Как в могиле. Еще и доска сверху.

— А что, Ярыга, много крови на тебе?

— Да разве ж то кровь...

На смену они оба протиснулись вперед и взялись за кирки. Ярыга долбил напористо, даже и весело. Долбить и копать стало неожиданно легко — пошел мелкий камень.

Мелкий камень не прекращался, копать было легче, но зато пошли осыпи, да и сам вид мелкого гравия, а то и гальки пугал: казалось, что над головой уже проступает, обнажаясь, дно реки и что вот-вот все это рухнет и тысячи пудов речной воды хлынут такой лавой, что не только не убежать, но и не встать — убьет тяжестью. И каждый день случались сухие обвалы: земля глухо сотрясалась, ухала. Крепезный материал кончился. Пекалов подбадривал: купим, мол, купим еще, — пока Ярыга его не одернул:

— Не брешу. Я ж знаю, что денег нету.

Тех денег могло бы хватить, но после одного из сухих обвалов ушел Буров, а с ним еще один отпетый, с шрамами на голове и с не растущим волосяным покровом; ушли ночью. Они сбили с сундучка замок, взяли початую бутылку, а больше не взяли, боясь озлить и вызвать погоню. Но в придачу к початой бутылке, вытянув из-под сонного Пекалова узелок, они взяли деньги. В норе их осталось теперь четверо, считая и Тимку, который спивался все больше. Работали в пары: пара долбила, другая отдыхала. После все четверо отгребали, растянувшись и отбрасывая землю

один к другому. Пекалов совсем пал духом. Он лег на пригорке и заворожено смотрел на ту сторону, где болота.

— Молодой я. Неумелый, — говорил Пекалов, смаргивая слезы.

— То-то и оно, что молодой, — засмеялся Ярыга.

И вот тут Ярыга стал собираться: ухожу, мол, и я. Пекалов закричал: нет! Пекалов клял всех и вся. Лежа, он бил кулаком по земле и ругал Ярыгу: не надо, мол, было обшивать подкоп досками и деньги тратить, не надо, мол, было убивать Лычова — из-за него и Буров с дружкой сбежали. Ярыга засмеялся: дурак, они сбежали, потому что земля осыпается. Если уж ему, Ярыге, снится по ночам, как ухаёт земля, что ж о других говорить?

— А вот мне не снится! — выкрикнул с обидой Пекалов, на что Ярыга только повторил:

— То-то и оно, что молодой...

Ярыга бы ушел, но захотел покурить перед дорогой, медлил, а тут из подкопа выскочил перепачканный Кутырь, он тряс своими тряскими черными руками и кричал:

— Половину прошли! Полреки прошли! — Он кричал: — Полреки!.. Полреки!

— Откуда ты знаешь?

Не сбавляя голоса, Кутырь вопил, что он только что смерил — двести шагов! Еще Алешка, выплыв на лодке с тянущейся веревкой, увидел на свой наметанный глаз, что в обе стороны реки равно далеко, а после-то и посчитали, сколько в веревке шагов: двести — это половина реки!.. Когда смысл дошел, Пекалов тоже вскрикнул. Пекалов побелел лицом, он весь дрожал.

— Ребятушки! Выпить! Давайте выпьем — полдела!

Пекалов суетился, открыл сундук, метнулся к подкопу и вопил: «Ребята! Эй!.. Бросай работу — выпьем!» — а там только и был Тимка. Тимка вылез, кинулся. Конечно, к водке, а Пекалов все звал и кричал в зев подкопа: «Эй, эй, ребятушки!» — пока не подошел Ярыга и не цапнул его за плечо:

— Чего блажишь — нас всего и есть четверо, иль счет

потерял! — Он отташил купчика, а тот все подпрыгивал, кричал.

— Ребятюшки! — дергался Пекалов. — Водка теперь ваша! Не запираю! Ребятюшки! — Вывернув ломиком петли сундука и сам замок, недавно починенный, он с маху зашвырнул и замок и петли в реку, только булькнули.

А вечером Пекалов спешно отправился в поселок — *денег, денег достану!*. Пекалова даже и в дрожь бросало при мысли, что *теперь* денег не хватит.

В доме было темно; богатый мужик Салков никого из своих еще не поселил тут, однако запоры уже поставил новые. Пекалов знал открывающееся снаружи окно — он влез, двигаясь во тьме ощупью. Про одежду в уговоре речи не велось, и потому Пекалов собрал в узел одежду, что попристойней, взял шкатулку личную, а также хорошее ружье. Он быстро все это продал — он ходил по дворам торопливый, возбужденный, и ладно, что вечер, вечером было не видно, какой он грязный. И все равно люди в глаза не глядели и цену давали быструю, как за краденое.

Он посвистал в темноте под окнами Настю, а когда выглянула ее мать, обносившийся и грязный, он спрятался за дерево. Он шумно дышал. Потом Настя вышла.

— Ой, какой ты... — сказала и все молчала, покусывая уголок платка.

Он позвал ее к реке. Он пояснил:

— Нет у меня теперь своего-то дома.

— Знаю.

Она прошла с ним по темноте совсем недалеко. Чуть только ушли к реке, она сказала — прощаться будем; теперь, мол, водиться — лишнего стыда набирать. А мне, мол, жить, мне мужа ждать из солдатов... Он хотел приласкать ее, хоть обнять, но даже во тьме было заметно, что руки у него грязные, а если не руки — испачкает одежда, а ведь она, Настя, была чистенькая в сереньком своем платке. Она отстранила руки. Она сама протянула губы. Поцеловала. Сказала: прощай, милый, хорошо мы друг дружку любили, но, видно, пора. И улетела, серый чистый воро-

бышек... А он все мял деньги — дать ей на последний подарок или не дать. И не дал. Денег было в обрез. Один, он постоял в темноте, первый раз в жизни уныло чувствуя себя скупым.

Слаженно продвигаясь и сменяя двоих двое, они шагов уже пятнадцать перевалили за полреки, когда вдруг случилась беда с Тимкой. Пекалов с Ярыгой отгребали, а Кутырь — из глубины забоя — закричал, звал их. Они заторопились. Протиснувшись в забой, они увидели при колеблющемся пламени свечи, что Тимка сидит задравши голову, смотрит и вдруг шарит руками по нависшей земле. Он трогал руками верхний свод и приговаривал: «Речка звенит... Слышите?» — и опять трогал там, вверху. Они прислушались: ничто, конечно, не звенело.

Они сказали Тимке, чтобы шел наверх и отдохнул, но он все повторял, что вода звенит и что речка звенит, — и тогда они вывели его из подкопа. Он сел на песок. Водка была от него неподалеку, и когда через час они выгребли наколотую землю и вышли передохнуть, оказалось, что Тимка выпил всю бутыль: он спятил тихо, без единого вскрика. Водку он даже и не выпил, было там два с половиной литра, — он вливал ее себе в рот, а она выливалась, он вливал, а она струями текла по горлу ему на грудь и на колени. «Ты что добро переводишь?» — зло крикнул Ярыга, еще издали крикнул, а тот лил и улыбался. Когда отняли бутыль, Тимка стал набирать сыпучую землю в горсть и сыпал из руки в руку. Играл песком, как маленький. «Речка, — говорил он, — речушка... Звенит!» Все трое стояли около, слыша в тишине, как спятивший сыплет шуршащий песок туда-обратно.

— Отойдет, — сказал Ярыга.

И Кутырь тоже сказал:

— Перепил лишнего. Отойдет.

Но он не отошел; когда они сели поесть, он поднялся и на ногах, казалось, стоял с трудом, за кустом стоял, а когда хватились, Тимка уже был на середине реки; плыл на

ту сторону и тонул. Холодные водовороты, что столько лет не пускали к тому берегу ни людей, ни даже их лодки, уже прихватили Тимку. «Речка, — кричал он, захлебываясь, — речушка-а-а!» Ярыга бросился в воду, но, как ни быстро он плыл, не успел: Тимка пошел на дно. Даже и тела Ярыга не нашел: искал, но едва приблизился к холодным водоворотам, уверенность покинула его. Свело спину, и Ярыга повернул обратно. Он плыл медленно, долго. Вглядываясь, Пекалов и Кутырь никак не понимали, отчего у него такое синее перекошенное лицо. И только когда Ярыга был шагах в десяти, потом в пяти, на мелководье, они увидели, что он не может встать, — он только силился, он выполз кое-как на отмель, дергался, а встать не мог. Пекалов и Кутырь подхватили его, выволокли, положили на сухом песке. Ярыга долго лежал, а потом встал и осторожно направился к сундуку, он не пил: заводя руку за спину, он втирал себе водку в позвоночный столб. Кутырь и Пекалов подошли, положили его на живот и, сменяя друг друга, растерли ему докрасна спину.

А едва отдышавшись, Ярыга ушел.

Пекалов цеплялся за него: «Да погоди! Да кто же так поступает!» Пекалов не мог поверить, что так просто все кончилось. Пекалов бежал за ним, просил и молил, а как только он стал хватать за руки, Ярыга его отбросил. Ярыга коротко взмахнул и двинул его меж глаз. Когда глаза стали видеть, Ярыги уж не было.

С Пекаловым остался лишь Кутырь, постаревший вялый вор, который уже не мог, не умел воровать, потому что от пьянства и побоев у него тряслись руки. Этот никуда не уйдет. Был вечер. Пекалов плакал, побитый. Кутырь, утешая его, протянул вперед тряскую руку:

— Глянь-ка.

— Чего?

— Мы теперь вон где — видишь? — И Кутырь указал впереди некую точку на уральской воде, до которой они под землей уже добрались: точка была далекая, неуловимая, волна там шла за волной.

Они били землю теперь по очереди — уже и не расширяли, сберегая силы. Подкоп сузился: нора и нора. Сначала бил Пекалов, а Кутырь оттаскивал, потом они сменились. В одном месте сверху вдруг закапало, но они не обратили внимания: привыкли.

Было шумно: посреди дороги трое слепцов колотили мальчишку-поводыря, который подвел их под монастырь.

— Ой! — кричал мальчишка. — Ой, я же не нарочно!

Пыль стояла, как от проехавшей тройки. Когда слепцы на дороге топчутся и размахивают руками, не знаешь, как пройти мимо. Пекалов, оборванный и грязный, их обошел и втиснулся в трактир.

— Я в закутке посижу, с краешку, — сразу же сказал Пекалов половому, чтобы тот не прогнал.

И тот не прогнал. Народу было мало. Пекалову жадно хотелось горячего, однако на ши с мясом Пекалов не посягнул (придерживал остатки денег); он пил чай стакан за стаканом — оборванец с ввалившимися щеками. Он ни о чем не думал, его трясло и знобило.

— Дожди пройдут, — сказал ему половой, подавая от самовара очередной стакан и навязывая хоть какой-то разговор о погоде. Пекалов кивнул: «Да. Дожди...» — а про себя испугался: с сыростью не усилятся ли грунтовые воды, не случится ли чего с рекой?

Когда Пекалов вышел из трактира, слепцы все еще колотили мальчишку: лупили его и крутили ему уши, а он орал. Все-таки вырвавшись, малец отскочил в сторону.

— Сами теперь живите, бельмастые!.. — орал он злобно с расстояния, отбегая все дальше. Гневливые слепцы тоже кричали и даже клялись Богом, что никогда не простят поводырю его злую дурь.

«Эй, отцы!» — Пекалов окликнул, и, поскольку слепые так явно были голодны и неприкаянны, Пекалов пообещал им пропитание и даже немного водки; а работа как работа, рыть под землей. Слепцы прислушались.

— Богово ли дело? — спросил старший, ему было уж много за сорок.

Пекалов ответил, что дело Божово. И не воровство. И не иная мерзость. Он только не стал говорить, что подкоп роется под рекой, — ему показалось, что Бог внушил ему умолчать в горькую минуту, когда он остался лишь с Кутырем. Зачем им знать, что над ними река: пусть копают без страха... Слепцов было трое, и, едва сговорившись, Пекалов заторопил:

— Пошли, голуби, пошли скоренько!

— Да куда ж ты спешишь?

— А дождь начнется! — суетился Пекалов, боясь, что маленький поводырь вернется к ним и, раскаявшись, все испортит.

Со слепцами вместе, незрячими и потому бесстрашными, Пекалов рыл еще три недели. Через каждые десять прорытых под рекой шагов слепые бросали работу, становились на колени и яро молились:

— Господи, помилуй нас.

И еще через десять шагов:

— Помилуй нас!

И еще:

— Господи, помилуй!..

Они прошли осыпающийся щебень, они осилили звонкий и пугающий слой гальки, затем — глина, затем вновь щебень, и наконец они докопались до огромного валуна, за которым и стали кусты нехоженого заболоченного берега. Вышли наверх. В старой уральской легенде это особенно удивляло: слепые лучше и надежнее других завершают дело.

В варианте история подкопа под Урал заканчивалась тем, что отец и процветающий брат хватали Пекалова и, дабы не ронял имя, упрятывали его навсегда в какую-то хибарку с надзирающей старухой — вид ссылки. Если не вид лечения. Там он и окончил дни. Иногда выходил и вглядывался (во время грозы — ветер доносил влагу), всматривался: далеко ли Урал? Был он совсем одиноким.

В самом же конце долгой этой истории происходило как бы освящение купчика Пекалова и даже вознесение его на небо, Бог уж знает за что — за настырность, что ли.

(Как сказали бы сейчас, «за волю к победе».) Ибо не открыл он на той стороне реки никакого источника, не заложил церкви. Да и сам по себе был Пекалов вполне живым и грешным, и лишь в финале легенды обнаруживается литература, делающая попытку, каких много: слепить *образ святого*, вдруг, мол, приживется.

Слепцы — люди, живущие *в утрате своей*, так пояснялось. В те времена слепцы брали мальчишку, обычно из сирот, брали совсем малого, кормили его и поили, за что он и водил их по белу свету. Слепцы не были из добрых; конечно же, они помыкали мальчишкой, отчего у мальчишки день ото дня за душой накапливалось, даже неосознанно. К тому же мальчишка рос: он начинал чувствовать мир, озорничал и нет-нет проявлял мстительность, единственную, уникальную в своем роде, когда после перехода, после долгого пути слепцам надо было справить нужду. «Мальчик, — просили они его, — а ну-ка, милый ты наш, найди-ка нам укромное место», — а он подводил их под окна и стены монастыря, необязательно даже женского. Место у монастыря было такое, что подвоха не почуять, воистину тихое и укромное, не улица и не базар, и совсем не трудно вообразить сцену, как слепые рассаживаются, а затем и кошунство под окнами, и крики, и как выскакивают на них с дубьем. Мальчишка же, разумеется, поглядывал, затаившись поодаль и корчась от смеха, с тем чтобы после избиения слепых зрячими предстать перед слепыми вновь и оправдываться, что его привлекло, мол, тихое место, что это случайность и что он сам, *видит Бог*, сидел с ними рядом.

На том месте Урала теперь мост, и до недавнего совсем времени стояла там часовня, при входе в которую на левой стороне белел полустершийся рисунок вознесения (Пекалова с нимбом вокруг головы возносили на небо два ангела). В тени часовни часто сидели с корзинами старухи, ехавшие с рынка. Время шло. Однажды весной часовня рассыпа-

лась, рисунка нет, и ничто не напоминает там о безумном копателе, который людям был памятен и, что там ни говори, вошел в легенду.

2

Один из отцов акупунктуры, китайский врач в седьмом, кажется, веке, поднялся талантом своим до исключительных высот врачевания, однако в легенду не вошел. Он вошел в известность и в силу — но не в легенду.

Он не остановился: он, как сказали бы сейчас, стал делать карьеру до упора и достиг наконец полного признания современниками своего дара, он лечил не воинов, а уже полководцев — и вскоре он лечил самого императора. Великий и, может быть, величайший придворный медик со всяческими почестями, он уже вошел в историю, но не в легенду.

Легенда возникла лишь после следующей, и последней, попытки его самовыражения, попытки именно бессмысленной. Десятки раз излечивал лекарь и самого императора, и членов его семьи, но вот однажды, когда император, уже стареющий, пожаловался на головную боль и когда обычные, ходовые средства не помогли, лекарь предложил императору вскрыть голову. Вероятно, лекарь умертвил бы его тем самым, но, в сущности, он хотел сделать то, что сейчас называется лоботомией. Возможно, истовый врач уже и не излечить хотел, а в жажде познания хотел посмотреть глазами, как там и что: что за неведомая боль и почему не унимается?.. Император, старый, но еще здравомыслящий, отказался: в конце концов, рассудил он, можно жить годы и с головной болью, череп же не кошелек, открыв который тут же закроешь. Лекарь настаивал. И тогда император отказал ему категорически и накричал, как может отказать и накричать китайский император. Лекарь ночью прокрался в покои и попытался вскрыть голову сонному; он был казнен на следующий же день, обвиненный в покушении на жизнь.

Чтобы перекричать век, а также век другой, и третий, и пятый, легенде нет нужды напрягать глотку. Легенда кричит красотой и будто бы бессмысленностью и ясным сознанием того, что здравомыслящие будут похоронены и забыты.

Тоска же человека о том, что его забудут, что его съедят черви и что от него самого и его дел не останется и следа (речь о человеке в прошлом), и вопли человека (в настоящем), что он утратил корни и связь с предками, — не есть ли это одно и то же? Не есть ли это растянутая во времени надчеловеческая духовная боль?

Легенда внушала: купчик Пекалов, пошловатый и забулдыжный, взялся сдуру за некое дело, дело притом сорвалось — и он остался, кем был, пошловатым и забулдыжным. Но в длительности упорства есть, оказывается, свое таинство и свои возможности. И если в другой и в третий раз он берется за дело вновь, от человеческого его упорства уже веет чем-то иным. И вот его уж называют одержимым или безумным, пока еще ценя другие слова. И если, оборванный, голодный, он доведет свое до конца и погибнет трагически, как не начать примеривать для него слово «подвижник», хотя бы и осторожно.

Если же окружающие люди оценить его дело не могут, если подчеркнута неясность поиска как некоего *Божьего* дела, которое и сам он не осознает, то тем более по старым понятиям он и сам становится человеком призванным, как бы Божьим, — а тут уже шаг до слова «святой» или до употребления этого слова (на всякий случай) в более скромной форме: в форме вознесения ангелами на небо — вознесем, мол, а там со временем разберемся, святой ли. Что и следовала легенда.

— Вот и встретились... — уныло сказал мой давний друг детства, лысеющий уже человек.

Я кивнул: встретились.

Мы давно сговаривались, где встретиться после

стольких лет, крутили слова так и этак, и вдруг сразу и легко оба согласились — и встретились не у меня дома и не у него дома, а за столиком, вокруг которого бегал недовольный официант. «Не у меня и не у него» имело свой смысл: оба не хотели видеть, как и что, мы оба не хотели видеть, *как жизнь и как дела* (так-так, стало быть, твоя жена, а это дети, а это твоя квартира), мы не хотели видеть нынешние предметы, нынешний обиход и вообще нынешнее время. Друг детства не пьет — он завязал и пьет только нарзан, так как его больной желудок даже лучшей и очищенной водки не приемлет. Я тоже не пью, и тоже пью только нарзан, и тоже есть причины. Он не пьет и кофе, у него давление. И я тоже не пью кофе. Он не ест острого. Я ем, но отказ этот тоже не за горами. Теперь все близко.

Мы оба не жалуемся, хотя, в сущности, для нас, помнящих, ничего более тоскливого, чем такая встреча, придумать нельзя. Мы суть продукт. Мы утолили инстинкты молодости, обеспечили *первые потребности*, а также продолжение рода: дети уж есть, а там и внуки. Сознание, в свою очередь, развилось до той относительно высокой степени, когда жизнь видится с высоты птичьего полета и когда, пусть абстрактно, уже можно смириться с тем, что смертны все и мы тоже. Так и было: мы оба не жаловались, но при встрече возникло ощущение, что нам холодно, зябко и что неплохо бы зарыться вглубь (в глубь *слоистого пирога времени* — его выражение), где много солнца и где с каждым слоем жарче и жарче, потому что ближе детство.

Возникла и тема, достойная воображения пьющих нарзан. Предки наши были из разных и из различных мест, и вот мы сравнивали, сверяли, с некоторой даже живостью выявляя присутствующую в каждом говоруне способность гадать: в чем польза объединения людей и в чем минусы?

Ворчливый официант уже и не ворчал, уже и головы не поворачивал в нашу сторону, в то время как мы, расслабившиеся, не отрывали глаз от подымающихся вялых пузырьков нарзана. Мы заказали еще две бутылки с этими пузырьками: пить так пить.

Тогда друг детства и произнес слово, прозвучавшее для меня как бы впервые:

— Утрата...

— Что? — Мне показалось, что я недослышал.

3

И характерно, как ответил Пекалов, обманывая слепцов. «Какое же это Богово дело, ежели смысла в нем нет?» — здраво вопрошали слепцы, которым Пекалов велел рыть и не сказал ничего, ни даже про реку над головой. Пекалов ответил им сразу. Пекалов ответил, вроде бы успокаивая слепцов и хитря, а в сущности, работая на легенду и на ее сочинителей: а разве, мол, в Боговом деле есть смысл?.. Смысл всегда и именно в человеческом деле, Бог же для того нам и внушает, что вроде бы смысла нет, а делать хочется и делать надо. В пределах образцовой наивности легенда тем сильнее напоминала: если в деле уже есть логика и ясность — зачем тогда внушать свыше?

Когда Пекалов привел всю троицу в свой подкоп («Сюда, убогие, сюда!»), они в темноте спотыкались о лопаты и бились головой, плечами о низкий свод, но темноты вокруг по слепости не осознавали: лишь слышали потрескиванье свечей. И вскоре они пообвыклись: сначала отгребали, а потом уже и долбили землю, подменяя Пекалова и Кутыря. Особенно покладистым и милым, как уточнила легенда, оказался третий слепец, самый молодой. Тихий, он и работая распевал молитвенные песни. «Господи, поми-и-илуй мя-а-а», — вполголоса тянул он.

А когда Кутырь, выпив и смачивая оставшейся в стакане водкой пораненную трясушуюся руку, спросил: «Что, убогие, примете помаленьку?» — слепцы отказались. Если в меру, водка их не манила. Тут и выяснилось, что как рабочие они необыкновенно выгодны: дешевы. Возникла наконец истинно сменная работа, так как слепые, оставшиеся без поводыря, не отходили ни на шаг: возле зева подкопа в

кустах они соорудили прочный шалаш, там же спали и Кутырь с Пекаловым; разброда, скликанья на работу не было и в помине, и как было не сказать, что слепцов в гибельную минуту послали небеса.

Однако выяснилась и забота: слепцы сбивались с направления. От незнания, что над ними река и опасность, слепые копали, забирая невольно все выше и выше, а на все уговоры держаться принятого пути отвечали, что они и сами знают, как копать, ибо теперь их ведет богородица. Почему именно богородица ведет их, ни Пекалов, ни Кутырь не понимали. Пекалов уговаривал, просил, ублажал, но слепые работали уже как бы сами по себе и нет-нет, в работе ожесточаясь, вдруг забирали, скажем, влево или круто вверх. Крепежные же столбы давным-давно не ставились. Как-то Пекалов и Кутырь, только что заступившие после отдыха, заняли свои места и тут же обмерли от страха: слепец с пеньем молитвы вкалывал и вкалывал и вдруг с такой силой лупанул киркой вверх, что оттуда мигом вырвалась вода. Вода обрушилась настолько мощно, что человеку от такой воды было не уйти никак, все равно достанет. И Пекалов не побежал. Кутырь побежал, но и ему разве успеть осилить двести пятьдесят с лишним шагов подкопа. Вода уж была по колено. Слепец недоуменно крикнул-спросил: «Что это?!» — сам же, не прекращая, продолжал бить киркой. Вода залила сапоги и подымалась выше. Пекалов, в сущности, тоже был слеп: обе свечи стояли на земле и оказались вмиг залиты.

Слепец, о реке не знавший, крикнул Пекалову: «Покурим — грунтовая вода должна скоро уйти!» — после чего попросил высечь ему искру и закурить. Он крикнул Пекалову еще раз. Очнувшись, Пекалов машинально стал шарить по карманам и только тут заметил, что карманы не залиты, сухи и что вода выше не пошла (или же вода подымалась медленно, а это также значило: спасены). Пекалов закурил сам и дал свернутую сигарку слепому. Вода стояла. Потом вода стала спадать, уходя и всасываясь куда-то вглубь, — слепой же ворчал: вот, мол, Пекалов так пуглив

да и сигарку плохо скрутил, он бы, слепой, сам скрутил лучше. Покурив, слепой взялся за кирку. Появился Кутыр: он также сообразил, что вода грунтовая, и теперь, торопливый, бил ломом под крупные камни, увеличивая сток. Он бил и искал дыру — и нашел: вода с утробным шумом, урча, всосалась куда-то в глубину, после чего под ногами была лишь раскисшая грязь. Пекалов, переволновавшийся, пошел выпить водки. Он вылез из подкопа, вышел на траву и упал, он хотел тут полежать — было мягкое солнце. Неподалеку спали отдыхавшие слепцы, старый и молодой.

С первыми осенними дождями заявился мальчишка-поводырь: он набегался, вполне утолил свою резвость, а теперь, когда лето кончилось, искал надежного прокорма. Но слепцы не хотели идти в далекий путь, не кончив Божьего дела.

— Пойдем, дядьки, — звал их малец и уже клялся, что поведет их лучшими и самыми мягкими дорогами.

Пекалов, выставивший голову из шалаша, слушал разговор, насторожившись. Но поугагать слепых рекой и обвалом маленький поводырь не догадался: малец был слишком занят своей судьбой, не смекнул, — и успокоившийся Пекалов вновь спрятался в шалаш, так как всю хлестал дождь, почти ливень.

Старый и молодой слепцы, стоя с шалашом рядом, не поддались и на жалость.

— Ступай! Прокормишься Богом! — прикрикнул старый, суровая и никак не прощая ему той околмонастырской издевки.

— Дяденьки, я ж винюсь, — мальчишка захныкал, и, может быть, непритворно.

Дождь лил, но старый слепец стоял не шелохнувшись, по его лысине дождевые ручьи сплескивались на спину и на плечи. Рядом стоял молодой слепец, светловолосый, с длинными, как у девушки, мокрыми прядями.

— Ступай.

Мальчишка ушел, а они оба стояли недвижные, пока могли слышать через дождь его шаги в кустах.

Слепцы работали, как заведенный механизм, но, когда вновь пошел щебень и крупные камни, они занервничали: словно бы сговорившиеся, они все чаще молились и пытались копать вверх. Они стали неуправляемы, и Пекалов то грозил их прогнать, то просил ласково и униженно. Кутырь же, опасливый, чуть что вырывал у их кирку и орал: «Куда ж ты вверх лупишь, дура слепая!» — после чего они едва не дрались. Земля стала пугающе сыпучей. Это уж была не глина, которая несла на себе нестрашную грунтовую воду. И именно этим днем старый слепец *увидел* в подкопе богоматерь как никогда близко, он вскрикнул — он вопил, что увидел, прозрел ее, *милую*, как раз в том самом направлении: если рыть выше. Он ясно, четко ее увидел и тыкал пальцем вверх: там.

— Как ты мог ее видеть? Да ты хоть на иконе-то ее видел? — кричал в злобе трясорукий Кутырь, на что старый слепой спокойно ответил:

— Видел. Много раз видел. Я ослеп в девять лет.

Они уже на скакивали друг на друга, когда Пекалова осенило. Пекалов пошел к выходу, он спешил, но не бежал — он шел самыми ровными шагами, и, только когда у начала подкопа ровных его шагов оказалось четыреста, он повернул и кинулся в глубь подкопа вновь. Теперь он бежал, он бежал сколько было сил, а едва добежав, крикнул: «Верно, копай вверх!..» — и дух у него захватило.

Отдышавшийся, он не стал объяснять, но весь задрожал, засуетился.

— Давай, милые, давай! — Пекалов хватал то лом, то лопату, взвинчивая слепых, и без того уже взвинченных. «Я вижу ее, вижу!» — кричал старый слепец, остервенело вгрызаясь в землю, а рядом и Кутырь, уже догадавшийся, бил ломом вверх и вверх — они мешали друг другу. Они били как спятившие. Вскоре Пекалов услышал скрежет: старый и молодой слепцы — оба кирками — били по боль-

шому недвижимому камню. Сыпались искры. Отбросив кирпичи, слепцы взялись за ломы, и тогда искры посыпались еще сильнее, но слепые не видели искр.

— Вижу! — кричал старый слепец. — Вижу ее!

Бить по цельному камню было бессмысленно, и Пекалов хватал их за руки.

— Остановитесь! Это ж камень!.. Слепые, что ли?! — злобно орал он, уже и не слыша своих слов.

Но те слышали.

— Сам слепой! — гневно кричал старый слепец.

— Да помощи же! — Пекалов крикнул Кутырю, и только вдвоем, пустив в ход кулаки, они отогнали убогих.

Камень оказался огромным, и подкопывать надо было с умом: камень, когда подкопают, должен был выпасть сам, но выпасть несильно, тогда вода реки, если река еще над ними, не поглотит их всех мгновенно — валун сыграет роль затычки, пусть даже неплотно подогнанной. Прогнав слепых, Пекалов и Кутырь посоветовались; они осматривали камень внимательно и сколько можно спокойно, но угла так и не нашли — камень закруглялся. «Валун», — решил Пекалов, и Кутырь кивнул, а по подкопу слышались осторожные шуршащие шаги: возбужденные слепцы вновь подбирались ближе, хотели работать.

Камень был похож на огромное яйцо, лежавшее на боку. И если камень такой огромный, что с места не сдвинуть, то остается именно подкопать, и пусть съедет вниз, сползет своей тяжестью, своим весом. «А если реку вскроем?», «А что делать иначе?» — шептались Пекалов и Кутырь, обсуждали, а убогие стояли сзади них, не уходили, тоже шептались. Слепцы были слишком возбуждены, к тому же затаили мысль, что их сознательно не допускают к святыне. Слепцы считали, что их обкрадывают.

Так что едва Пекалов и Кутырь расширили подкоп, слепцы тут же втиснулись, чтобы отгрести. Отгребая, тощие и полуголодные, они грянули петь псалмы. Копали разом. Овальность камня полностью наконец обнаружилась: земля под камнем пошла мягкая, даже как бы нежная. Со-

гнувшийся Пекалов выгребал и отбрасывал землю руками, по-собачьи. «Идет!.. Идет!» — кричал ему Кутырь, заметив, что камень подрагивает, а Пекалов все выгребал, и камень нависал над ними, округляясь и оголяясь все больше. Послышался скрежет; копатели замерли. Усиливаясь, скрежет вырос в зловещий звук, земля как бы ахнула, и огромный валун с шумом обрушился на них. Слепцы кинулись вперед; свеча погасла.

Пекалов успел увидеть, что слепец, суевившийся меж ним и Кутырем, раздавлен всмятку. Еще он понял, что их не затопило, что воды нет. Но света там не было, была тьма, хотя и пахло вдруг оттуда воздухом остро,пряно, прибрежно. И тут оживший валун вновь содрогнулся, сместился и по локоть отдал Пекалову руку, отчего он сразу потерял сознание.

Кутырь отскочил. В свете гасшей свечи он тоже успел увидеть раздавленного, растекающегося слепца и там же — корчащегося Пекалова. Но свечу задуло, и Кутырь, уткнувшийся в мрак, не мог понять, почему темно и почему такая непроглядность, если есть выход и если пахло уже воздухом. Кутыря охватил страх. Во тьме Кутырь все же кинулся к придавленным.

— Силы небесные и силы земные... — бормотал он, стуча, клаца в страхе зубами.

Кое-как высвободив, он поволок Пекалова по подкопу назад, придерживая его расплюснутую руку. Он спешил. В темноте он спотыкался, ронял Пекалова, подымал и волок вновь.

— Силы небесные и силы земные... — причитал, всхлипывая, старый вор.

Лишь выйдя и вытащив Пекалова из подкопа, Кутырь понял, почему там они не увидели света: была ночь.

Рванувшиеся вперед слепцы, как и положено слепым, отсутствия света не испугались. Более того: не слыша погибшего, они решили, что третий их товарищ уж там, впереди, и устремились к выходу. Они вылезли быстро. На той стороне реки, в кустах и в провалах болот, они громко

кликали и звали богоматерь, которая теперь их почему-то оставила, не услышала. С этого берега ночью их тоже никто не увидел и не услышал: поселок спал. Они метались, проваливаясь в болоте по пояс, и уже не звали богоматерь.

— Люди! — звали они. — Люди!.. — А потом, уже почувяв беду и гибель, звали своего поводыря, кричали, что они ему все простят. — Мальчик! Мальчи-и-ик!.. — ласково, по-женски звали и кликали они.

К утру их уже не стало. Мечущиеся по болоту и сплошной топи, хватаясь за ветки кустов, они мало-помалу отделились друг от друга и утонули, найдя мукам конец.

Знахарь отнял Пекалову руку чуть ниже локтя; культя подсохла, но обмотку еще держали. Пекалов очнулся в домишке, в хибарке близ церкви, где из призрения уже жил спившийся мастер по малахиту, человек когда-то известный и не бедный. Ухаживала там и прибирала богомольная старуха. Пекалов был, по-видимому, не в себе, потому что, очнувшийся, стал рассказывать старухе, какой мягкой была потерянная его рука (он говорил и смотрел на культю), и как ловко держала рука свечу, и как хорошо он помнит, что меж указательным и безымянным пальцами у него была малая родинка, — где же она?.. Старуха, не ответив ему, где родинка, сурово прикрикнула:

— А ну молчи!

И добавила:

— Станешь еще *заплетаться* — прогоню, и живи мило-стыней.

Старуха принесла куриный навар на ночь. Пекалов выпил, а сам все думал теперь о подкопе — можно ли ходить там? А если земля рухнула и подкопа вовсе уж нет?.. Он взволновался. О подкопе и заикаться было нельзя. Он знал, что ни помнить, ни думать об этом не надо, что богомольная старуха в слове тверда и что, пожалуй, выгонит его, как собаку, но желание проверить подкоп усиливалось. Осторожность и страх привели лишь к тому, что возникло детское желание пойти туда *потихоньку*: пойти но-

чью, поглядеть и скоренько, незаметно вернуться. Он припрятал спички. Спыхватившийся (он охнул), он попробовал зажигать свечу единственной рукой, чиркая спичкой о ремень, — получилось! Это было важно, теперь он мог ждать, когда стемнеет и когда старуха уйдет. Он ждал; он все поглядывал на синие сумерки в окнах — так и уснул, и сон был, что он идет по подкопу.

Проснувшийся ночью от несильного и ровного стрекота дождя, он понял, что много проспал и что надо спешить, если он хочет незаметно вернуться. Он тихо вышел из дому. Покрывшись дерюжкой, он быстро шел под дождем, а едва лишь добрался до знакомого места, дерюжку отбросил и нырнул в подкоп. Место стало совсем знакомым, знакомее не бывает, и он счастливо засмеялся, как ребенок, нашедший свое.

Теперь не во сне — теперь он шел наяву, и как же здесь все переменялось: осенняя вода намыла в подкоп всякой дряни, пахло разлагающимися отбросами, а поверху помимо их же трудового дерьма плавал обильный сор. Пекалов шел по кслено в воде. Удерживая свечу и боясь, что вода станет еще выше, он догадался переложить несколько спичек из кармана за ворот (однорукому, ему пришлось для этого задуть свечу и потом снова зажечь).

Но вода становилась ниже и ниже, а потом совсем сошла на нет, зато теперь он натыкался на завалы, падал, ронял свечу. Подкоп сделался узким. Они работали здесь, когда людей стало мало, копали, уже не заботясь о ширине, так что теперь свежие осыпи сузили проход до невозможности. Став на колени, он отгребал и очищал проход заново. Он часто ударялся о свод головой. Свеча погасла. Он лез на коленях и даже и полз, хватаясь рукой за выступы и подтягивая тело, как червь. В конце пути он почувствовал застарелый запах мертвечины; судя по тому, сколько он прошел и прополз, где-то тут истлевал слепец, раздавленный камнем. Это значило, что и сам валун рядом. Когда Пекалов ткнулся в валун плечом, послышался шорох, и Пекалова придавило сползшей с валуна сырой шапкой земли и глины. Он задер-

гался, выбрался, как выбирается червь из осыпи, после чего и увидел серенький проблеск света.

Выйдя наружу, он прикрыл глаза ладонью: было как удар, он вылез прямо на восходящее солнце.

Едва он ступил на болото, его охватило почти детское, огромное счастье; солнце заливало и осоку, и кусты, и реку — он прыгал, скакал с кочки на кочку, забыв, что хотел таиться. «Э-э-э! О-о-о!.. А-а-а!» — кричащий, он протягивал руки к людям на той стороне, как бы делясь с ними радостью. Первые поселковые люди, вышедшие поутру кто на базар, кто по раннему делу, не услышали его, но слышали птиц. Встревоженные появившимся человеком и его криками, птицы взлетали, галдели, кружили за рекой — люди не могли их не заметить, тогда-то они заметили и крохотную фигурку человека, который бежал, скакал там по кочкам и кричал им, простирая руки. Поселковские люди все же узнали Пекалова: он кричал, махал, крутил культей, единственная его ладонь посверкивала на солнце.

Тогда-то поселковские люди, взглядевшись, увидели нимб. Они не знали, что за месяцы, когда рылся подкоп и когда покалеченный Пекалов лежал без сознания, он поседел; они только и видели белый свет над его головой, видели, что он, молодой, бегаёт, и кричит им, и ликует.

Больше никто из поселковских его не видел. Некоторые женщины уверяли, что тогда же к молодому Пекалову, осененному нимбом, подлетели ангелы — два ангела, — подхватили его под руки и унесли на небо. А через сто лет, когда наладились дороги и когда на той стороне тоже вырос поселок, меж поселками появился связующий мост, сначала деревянный, а рядом, у въезда на мост, поставили часовню. На стене — изображение. И до самого недавнего времени картинку, пусть сильно поблекшую, можно было видеть и различить: ангелы возносят человека на небо. Ангелы изображены с руками и крыльями. Тело возносимого ими и взлетающего человека завалено несколько набок, потому что ангелу, который придерживал и подхватывал однорукого слева, не так удобно, как ангелу справа.

4

Есть мнение, что состояние бреда исключительно, но не интимно, а даже и ценно как раз тем, что человеческое знание самого себя тут обнажается (высвобождается) чуть ли не до самых глубинных ходов генетической памяти: ты вмещаешь больше, чем вместил. Есть мнение, что в состоянии бреда, освобожденный, мол, от цензуры своего века, ты способен воспринимать и способен слышать прошлое, мало того — жить им.

Однако на поверку настоящее не отпускает человека так просто; настоящее — цепко. (А банальность рада подстеречь.) Так и было, что в тяжелейшем шоковом состоянии человек вовсе не жил прошлым; человек не воображал себя ни прашуром, ни ручьем, ни птицей в полыни — он воображал себя громоотводом! (Работа на образ — неинтересное в расстроенном сознании.) Он считал, что он самый что ни на есть современный громоотвод, и что он, разумеется, на крыше, и что вот он уже поблескивает над зданием, как поблескивает меч в высоко поднятой руке.

Он жил и жизненно, то есть подлинно, чувствовал, как сначала тучи проходили мимо, а потом густели с ним рядом, поджимаясь в воздухе одна к другой: тучи тяжелели. Накрапывало. Следовала первая короткая вспышка, но промах! (тут важно его ощущение: он и хотел молнии, и боялся) — и еще вспышки, которые все ближе и ближе к зданию, на котором он. Он весь сжимался в ужасе и в сладкой истоме; маленькое тельце его трепетало.

Наконец следовал выжданный и точный удар. Его всего передергивало. Пропуская тончайшую боль через тело, он думал, что погибнет, — и гибель была в радость. Следовал еще удар. И он еще раз пропускал вспышку и боль через тонкий свой позвоночник. Он был весь в испарине. И в то же время, жаждущий, звал и кликал молнию вновь на себя. «Еще!.. Ко мне!..» — он сзывал тучи и искренне жалел, если вокруг светлело и гроза шла на убыль: ему казалось, что он недополучил свое, недобрал в жизни.

В палате для послеоперационных шоковых он лежал от меня совсем близко, койка к койке. И если за больничными окнами собиралась гроза, он первый слышал воздух, напоенный электричеством; медицинская сестра Оля задергивала шторы, а он кричал:

— Ко мне! Ко мне!..

Медсестра Оля, иногда милая, иногда вздорная, вполусмех отвечала:

— Ну вот еще, очень ты мне нужен.

А он, конечно, кричал не ей и не нам — кричал тучам и звал молнию, бедный. Он так ее звал! Психика восстановилась, и вскоре он вышел из шоковой палаты; он вышел раньше нас, он был ходячий. Он шастал по больнице, всюду заглядывал. Он выпрашивал у сестер и нещадно пил таблетки, за что и был прозван. Ему было двадцать девять лет. У него жила на позвоночнике опухоль, которая продвигалась, но не в самом опасном направлении: его несколько раз оперировали.

Года два спустя позвонил мой сотоварищ по больнице, один из сотоварищей, и сказал, что *таблеточник-то в земле сырой*, — и во мне что-то тихо шелкнуло, как шелкает оно при утрате. Что ни утрачивай, оно исчезает по простой, по нехитрой схеме: было и прошло, — пока вдруг не утратится необратимо, вплоть до непонимания. А непонимание при нас. Я поинтересовался, тяжелая ли была у *таблеточника* смерть.

— Пустяки: во сне.

Я только и помню, как он шлялся по больничным коридорам, выпрашивая крохотные белые таблетки, и как ему говорили, что же ты, мол, поедаетшь их без счета, химия, мол, и бесполезно, и нельзя же быть таким безвольным, перетерпел бы, а он с лучащимся лицом, с хитренькой и милой улыбочкой отвечал:

— А если боли адские?

Я тоже от него недалеко ушел, когда после травмы под морфием бредил и считал себя не тополем, не оврагом, не

волчонком, не копателем Пекаловым и не ярыжкой. Генетическая память молчала.

Я считал себя ходовой частью самосвала, но чаще — «ЯК-77», самолетом, у которого пробито крыло и который идет на посадку, но никак (ну никак!) не может сесть. Так и было: то громоотвод, то истребитель. (Претенциозная, бессмысленная работа на образ — вполне современная черта.)

Даже и в полосе выздоровления, когда страшное позади и когда уже можно было передвигаться, пусть на костылях, я вновь начал вдруг настаивать, что я «ЯК-77», что я иду после воздушного боя на посадку и что у меня всего лишь пробито крыло: это, мол, теперь запросто, сяду, не волнуйтесь. Не помню, ел ли я в те дни, разговаривал ли с соседями по палате, но отчетливо помню, как хирург, слернув с меня на перевязке очередной грязный бинт, заорал:

— Еще раз пойдешь на посадку — и я сдам тебя в психушку!

Психушкой как раз и называлась особая палата для шокковых.

Тогда-то из прошлого объявилась неброская легенда о Пекалове, тогда-то, восстав, она и взялась меня манить, преследовать. Я хотел в нее вжиться, я хотел туда, в тот мир, к тем простецким людям (генетика пыталась врачевать!), но тут же сбивался, не попадал и вновь воображал себя кружащим однообразно, воинственным «ЯКом». Войти в известный с детства старинный рассказ я не умел: прошлое не давалось, мучило меня, но оставалось — прошлым. Прошлое как бы все время ожидало моего первого шага в правильном направлении, чтобы тут же и замолчать: прошлое было пугливо, было неуловимо, показывая тем самым, что возврата не будет и что оно, прошлое, замолчало во мне куда раньше, чем я это осознал, — и какое же устрашающее количество слов было мною нажито и наговорено без него!

— Оля!.. — кричал я, мучаясь, и было больно, и казалось важным сообщить хотя бы и ей, задерганной медицинской сестре, что я понял некую суть: не бояться рассказать, не бояться сделать свою боль всеобъемлющей и свою утрату — всеобщей. Я тогда же понял, что я польщу себе и даже себя обману, если самоограничусь и не свалю, не сброшу *это* с себя на всех сейчас живущих (не сводя, конечно, к взаимным счетам с кем-то или с чем-то).

На миг прошлое вновь приблизилось, поманив, и я держал в руках лопату старого образца, рыл землю. Копанье напоминало или только хотело напоминать течение жизни, в которой за отсутствием моста или большого гулкого туннеля я шел иначе: я шел, пробиваясь туннельной тропкой, подкопом, сворачивая и вправо и влево, я шел какими-то слишком уж витиеватыми, зигзагообразными ходами, в то время как надо было лишь переждать. Не умел и не хотел ждать, пусть даже и собственного опыта, и неудивительно, что очень скоро я уже не знал направления, сбился (в темноте и при одной-то свечке) — а река текла; река была надо мной, я слышал ее шум и шума не боялся, но я уже не знал, куда она течет, где русло, и где против русла, и где поперек; я так наизвивался, что в темноте оставалось одно: копать; копать куда придется, и пусть с лишним трудом и потерями, а все же выйти на тот нехоженный берег. Но это уже было, кажется, невозможно.

— Оля!.. — звал я, лежа на больничной койке в бреду после травмы.

А Пекалов продолжал копать. И было ощущение, что он все еще копает, людям не видный, и что оттого-то, может быть, и вознесли его, что вознесенье ничего не меняло: он остался на своем же месте, с лопатой. Тут дело взгляда: молодые, как известно, слишком доверяют воображению, а старики слишком боятся смерти, но если же ты не молод и не стар и если, как водится, обладаешь чувством меры и в излишние преувеличения все равно не впадешь — зачем тебе какой-то Пекалов?.. И все же я (уже усилием) пытался представить его, представить, как напрягаются его мышцы

и как он отбрасывает землю назад и вгрызается в щебень, когда его охватывает раж.

Я не хотел, как не хочу и сейчас, чтобы от него и от его упорства осталась обнаженная людская мысль, слабая в высказанности, емкая, но без запахов, без нависшего темного свода, без скрежета лопаты и без падающих капель воды, — разве мне это нужно *без*? Я хотел увидеть его — живого Пекалова — и лишь однажды через толщу времени увидел. Он стоял, опершись о лопату, согбенный от низкого свода подкопа, по колено в грязи: он был двурукий, а за ворот ему упали комья земли, и, копанье прервав, он скреб рукой по спине. Лицо усталое. В шаге стояла на щебне не свеча, а керосиновая лампа. Однако, как всякое видение, он был немногословен. Медлительный, он перестал почесывать спину и выбирать оттуда комья осыпи. И, обнаруживая непонимание меня и моего присутствия (я был для него кем-то из пришельцев), сказал:

— Нет времени... Чего тебе от меня надо?

И повернулся ко мне спиной, продолжая копать дальше.

Больница отошла ко сну. Сестра с уколами на ночь глядя ходила из палаты в палату: я видел ее вынырывающий и вновь исчезающий белый халат, — и наконец ушла совсем; ни души в длинном больничном коридоре. Ночь. Осень. За окнами — несильный дождь. Окна коридора отсвечивали, и я видел себя ковьяляющего: параллельно, в отраженном коридоре шел отраженный больной на костылях с моим лицом — облик был совсем непрочный, зыбкий, а если, пробиваясь через свое лицо, глядеть дальше, с высоты четвертого этажа видно дорожку асфальта, мокрую, блестящую от дождя. Но меня озаботило там совсем иное. Напротив больницы стоял жилой дом, и там, тоже на четвертом, среди множества потухших выделялось освещенное окно, где, припав, прилипнув к стеклу, стояла девочка (я ее вдруг заметил) лет десяти и отчаянно махала рукой. Лицо у нее было испуганное.

Я проковылял по коридору этак метров пятнадцать, бо-

ковым зрением наблюдая за ее фигуркой в окне. А когда я, переставляя костыли, на миг приостановился, она еще сильнее замахала рукой, так что и сомнений не было: девочка махала мне.

Там происходило что-то неладное, и девочка подавала знаки, взывая о помощи. Быть может, она заперта? Коло-тить и бить в дверь она почему-то не может (или боится? может, там кто-то пригрозивший?) — не может и выпрыгнуть, разбив стекло окна, этаж-то четвертый. И возможно, кроме меня, шагающего по больничному коридору, никто, ни одна душа ее не видит и помочь не может, иначе зачем бы, взывая, стала она махать человеку на костылях. Она была худенькая и маленькая — жалкая. Но как помочь, если я даже крикнуть ей не мог, окна нашего коридора никогда не открывались. И ноги мои дрожали: уже устал. Я еле ступал. Только-только прошли дни после двух операций. Я сел, почти рухнул в старинное кресло на колесах — дряхлое, давно заржавевшее в ходу, кресло день и ночь стояло недвижно в коридоре больницы и использовалось для отдыха такими, как я, *костылюшками*, устававшими в середине столь длинного коридора.

Все-таки нужно было встать и идти, хотя на костылях спускаться на первый этаж совсем непросто. (Ее немые отчаянные знаки, ее прилипшее к стеклу лицо торопили меня.)

Спустившись, я затаился. На одну сторону был основной больничный выход, где слышался голос гардеробщицы, переговаривающейся с врачом, тут мне следовало быть незаметнее. К счастью, была глухая дверь, на другую сторону, и в ней лаз; я огляделся — никого. Я поставил костыли близко возле забитой наглухо двери и сунулся туда. Удалось не сразу. Гипс, сковавший мою поясницу, позволял пролезть в лаз, только если сначала ляжешь на пол. Я лег. Пролез. С той стороны, уже слыша запах и стрекот дождя, я лег снова и рукой через лаз вытянул — по одному — костыли к себе. Поднявшийся, я заковылял, заторопился. Пересекая под дождем пространство меж больнич-

ным корпусом и домом, я в спешке нет-нет и махал девочке — иду, мол! И когда я выскочил за полуповаленную больничную ограду, она тоже замахала, радостно, но и с каким-то ужасом в лице, словно бы я на своих костылях уже сильно запаздывал и едва ли мог успеть прийти на помощь. Я спешил, я уже задыхался.

Окна я посчитал — но все равно с квартирой можно было ошибиться. Войдя в подъезд, я стал подниматься, но и этажи были несколько неопределенны, с лестницы не в два, как обычно, а в три марша. Получалось пол-этажа. Потом полтора этажа. Два с половиной. И я не знал, находился ли их четвертый этаж выше или ниже уровня четвертого этажа больницы. Я не знал, в какую дверь мне начать стучать, звонить, а быть может, ломиться.

Стучать костылем в каждую дверь подряд мне пришлось в голову сразу же, но ведь в ночном общем шуме, когда проснувшиеся люди начнут бегать и орать, можно не найти, не расслышать маленькую девочку. Ошибиться было легко. Тем более что на четвертом (на третьем с половиной) этаже коридор вдруг повел сильно вправо и вниз — обнаружилась планировка старинного дома, где было много всяких и вразброс расположенных квартир. Я проковылял вглубь. Там были еще три квартиры, но, едва я подумал, что квартиры эти последние, тупик вдруг расширился и на углу объявился встречный коридор, который шел от меня уже сильно влево — и вниз. А за поворотом виднелся новый коридорный отросток, уже и без окна в торце, каким-то образом переходящий в полуподвал. В такую коммунальщину я еще не попадал. Всюду были квартиры, и квартиры, и какие-то трубы, и запахи полуподвала. Я явно сбился, запутался, и стучать в двери здесь было бы, конечно, ошибкой. Я выдохся. Ноги подгибались, а натертости от костылей отдавали под мышками сильной резкой болью. *Костылюшка много не набегает* — так говорили. Я остановился. В сумраке коридоров (были уже лишь отдельные проблески света) запахло сильно землей, я видел, что коридор все углубляется. Своды сбоку уже были земляные.

И сверху была земля. Местами — глина. Я вновь остановился: увидел каплю, сползшую с потолка и павшую под ноги. И тут я услышал, что вверху, надо мной, шум: там шумела река. Река негромко и мерно шумела. Своды над головой, и земля, и чья-то свеча возле моих ног — все внезапно дрогнуло, переходя на другую ритмику, поплыло...

Пусть бред, пусть втискивалось прошлое, но больничный-то коридор был в реальности — я глянул в окно: был виден фонарь с матовым плоским абажуром, в котором скапливалась понемногу дождевая вода. Была ночь, был мерный осенний дождь, был дом напротив и одно освещенное окно. И девочка, приложившая руки к стеклу и вглядывающаяся. И личико, искаженное болью. Это-то было въявь.

И тогда я заковылял в явь. В больничном коридоре ни души — и я двинулся, переставляя костыли и шурша по линолеуму кожаными домашними тапками. И насколько же путь теперь был медленнее и труднее. В реальности приходилось к тому же быть осмотрительнее. (Знание больницы было знанием ее порядков и черного хода.) Предварительно я зашел в свою палату, угловую, самую далекую от лифтов. Под больничный халат я пододел (учел дождь) имевшийся у меня свитерок, а больничные штаны сменил на тренировочные с белой полоской. И двинулся к двери, сунув на всякий случай в карман десятку из бывших у меня денег. Один из моих сопалатников спал; другой лежал, глядя в потолок, никак не реагируя ни на мой приход, ни на мою возню с переодеванием. Рубаха на груди у него была развалена, раскрыта, как при удушье. Я вышел из палаты, и вот — костылюшка много не набегает — я спускался по неосвещенной лестнице вниз марш за маршем. И спустился.

Именно главный-то вход в больницу был закрыт, там было пусто, темно, а вот нужный мне черный ход был открыт, там горел свет, несильная голая лампа, и сидел, дежурил мужичок в ватнике — курил. Он лениво зевнул, когда я проковылял мимо. Когда я уже пересек свет и по-

лосу табачного дыма, он проворчал вслед что-то вроде: «Только ты уж недолго...» Я шагал, ставя костыли на мокрый асфальт, на мокрую траву. Слабые мои ноги дрожали. Во рту пересохло. Дождь был теплый. Я миновал полуповаленную ограду, чувствуя, как после больничного духа в лицо бьет густой запах мокрых деревьев. Дом — рукой подать. Я видел: девочка в окне немо что-то говорила — шевелила губами. Подъезды (в реальности) были с этой стороны, и где мне войти, я без труда высчитал по отстоянию окон от угла дома. Задрав голову, я еще раз скорректировался по ее лицу в окне — и вошел. Дыхание участилось, я подымался вверх. Я постукивал костылями. Дом был самый обычный, с нормальным отсчетом этажей, с нормальными лестничными клетками, с нормальным числом — четыре квартиры на клетке, эта вот нормальность, будничность, прозаичность дома, а на этаже одна из квартир открыта. Дверь открыта. И когда я вошел, я увидел, что квартира нежилая, тянулись трубы. Входной коридор вел не в комнаты, а куда-то в сторону. А пройдя немного, я глянул вверх — потолок был обшит досками: земля. Я остановился. И увидел, что вновь спуск. И тут же услышал над головой тот самый шум: шумела река...

Примерно за год времени на моих глазах в палате сменились два десятка больных, одним из них был старик, по национальности туркмен. После травмы он находился в шоково-бесцензурном состоянии; он также не видел себя ни ящеркой, ни барханом, ни дервишем, ни муллой. У него был вполне современный и довольно распространенный сдвиг: он считал, что все часы испортились и что их надо уничтожить, ибо они показывают неверное время. Он молчал, и если говорил, то об испортившемся часовом механизме, о шестеренках, пружинках. К нему часто приходила дочь — сорокалетняя женщина, маникюрша.

Помню, что не очень скоро, но я нашел с ним род общения — я рисовал ему на бумажках циферблаты со стрелками, а он эти клочки бумаги с удовольствием заби-

рал и с еще большим удовольствием рвал на мелкие части: уничтожал часы, если не время. Медсестра Оля, а также нянька были мне благодарны, так как, изорвав десяток бумажонок с расположенными вкруговую цифрами, он приходил в отличное расположение духа и обедал без капризов и без выбрасывания посуды за окно. Мы с ним поладили, наши кровати были напротив — он рвал, а я вновь рисовал циферблаты; в этом процессе я тоже получал свою часть удовольствия, ибо в самом низу рисунка крохотными и незаметными для врачей буквами подписывался «ЯК-77».

5

(В психушке не было ни одного Александра Македонского, ни Наполеона, ни им подобных.)

Есть притча об Александре Македонском — будто бы разбил он какой-то красивый предмет, кажется амфору. Он бросил на пол прекрасную хрупкую вещь только потому, что не смог взять ее с собой в долгий поход: в походных условиях рано или поздно амфора разбилась бы, а ведь он-то уже ее полюбил бы и свыкся. Македонский опередил свою жалость: не захотел любить — не захотел терять. Он не был исключителен, юный завоеватель, так как в известном смысле все люди похожи на него: мы именно так живем, отбрасывая, а то и разбирая прошлое, — легкие, мы ходим в свои походы, едим, пьем, пока не хватимся и не завопим: утрата, ах, утрата!

Удивительно даже, что в числе прочих легенд о Македонском сохранилась также и эта, в ней нет решительно ничего особенного, более того: люди только так и живут. И можно себе представить, сколько ваз и не ваз расколотил Македонский. Его, как известно, обучал Аристотель, и, надо полагать, философ здорово плевался из-за драчуна и престижного ученика, которого приходилось терпеть.

* * *

Разумеется, не через все, что любишь, душа говорит и дышит — это одна сторона детали. Но есть и другая: если люди век за веком бросали полюбившееся, боясь, что слишком привяжутся, если они колотили свои вазы и амфоры, то неужели же это удел?

Ведь не в том труд, что дорога *назад* неэстетична. С этим можно бы и смириться. Жизнь нацеленна, и обратные дороги заплеваны не только потому, что по пути в настоящее человек ел,пил, бросал консервные банки и прочая и прочая.

Но и антимакедонец Толстой спрашивал, почему мы не понимаем прошлого или почему так плохо его понимаем. Он взывал, он говорил об утрате, а ему отвечали, притом и вполне современно: да, мол, памятники прошлого надо беречь (вот ведь красим церкви, вот книжку старинную переиздали); он говорил о понимании, а они говорили о музее. Он говорил о человеке, а они — о том, хороша ли над человеком могильная плита. Он говорил, а они не слышали. В конце концов, это могло и надоест.

«Прошлое должно вспархивать само собой, как птица», — красиво ответил один человек в застолье, не зная о столь же, впрочем, красивой истории с разбитой вазой.

Он сказал «вспархивать», не решаясь сказать, что птица — взлетает. Но смысл был ясен.

Мне тогда вспомнился седенький, беленький старичок, который в давнее-давнее время мелкими шажками бродил во дворе вдоль натянутых бельевых веревок. Двор был как двор. Стояло лето. Старичок уж давно не работал. Шастающий, молча он подходил и подмаргивал, как бы желая что-то потихоньку тебе показать; руку он интригуяще держал в кармане. И точно: он вынимал из кармана необыкновенную птичку. То есть вынимал он самого обычного воробья, но этот воробей трепыхал крыльями, а не взлетал. Старичок держал его на ладони, и мы, мальчишки, удивлялись, смотрели и осматривали, но крылья не были пере-

ломаны, а лапки не связаны, и вообще все было в норме. Воробей очень живо чирикал. Почему воробей не летел, не знал никто, не знал и старичок, который подобрал на земле его таким.

Шумное и пьяное бушует застолье, где мне четырнадцать лет и где рядом со мной сидит, тряся рюмкой, старик бухгалтер — настырный, с замашками поселковского философа, он затеял посреди общего гама разговор о самовыражении и об оценке в потомстве.

Никто его не слушает, но он все время говорит: когда некий, мол, обезьян встал с четверенок на ноги первым, его хвостатые сотоварищи ужимками и визгом намекали ему на его тщету; встать стоило немалых трудов, встать было для тела и мышц сложно, больно, а они еще и издевались: «Чудак! Неужели ты думаешь, что тебя вспомнит потомство?..» и ведь верно: не вспомнили. В том и вся штука, что не оценили смелого и умного обезьяна. Забыли его. Ей-богу, забыли! Он, старый, поселковский бухгалтер, прожил много лет и много на своем веку поездил. Он слышал разговоры в самолете, в поезде, в автомобиле, в трамвае, он слышал разговоры на пароме, в телеге, а также верхом, когда едешь с человеком седло о седло. И ни разу во всех тех разговорах он, старик бухгалтер, не слышал, чтобы кто-то добрым словом вспомнил того, кто первым поднялся с четверенок. Потомки не помнят. Забывают...

На столе домашняя колбаса, для которой сами варили и сами прокручивали мясо, сами перчили, сами пробовали и сами утрамбовывали фарш в кишки. С колбасой близко стоит в графине водка, а когда графин наклоняют, видно лицо тетки Дарьи — она бьется рюмкой о рюмку с Виктором Сергеевичем. Двоюродные, по некоему общеродственному замыслу, они посажены вместе. Они должны помириться, и Виктор Сергеевич, нащупывая к миру подходы, все повторяет: а чего ж, мол, пьешь плохо, соседка?.. — на что она отвечает, что пьет она вовсе не плохо и что у нее *в груди уже прыгает*.

Но он все корит:

— В груди не то. Надо чтоб в глазах прыгало.

А далее дядя Павел со светлым красивым лицом. Далее его жена Анна Васильевна. А там и дядя Кеша — без левой руки, восемь ранений, три медали, покалеченный, когда сидел у орудия, забивая гвоздь в сапоге. На днях у него умерла жена. Дядя Кеша сидит тихий, однорукий, выпивший уже все десять рюмок, а больше ему нельзя, — он не слышал про того обезьяна, он не слышал про примирение двоюродных, он ничего не слышал. Он смаргивает слезу среди шума застолья и все что-то шепчет себе самому.

«Песню-у! Песню хотим!..» — орут там и здесь.

За дядей Кешей, за дядей Павлом и наискосок от Анны Васильевны сидит дядя Сережа, человек особенный. Он и детей-то своих поколачивал как-то особо, а жену изводил даже и страстно, не без таланта, отчего она дважды пыталась повеситься. «Песню-у-у!» — орет он сейчас. Всегда в движении, энергичный и шумный зачинатель многих дел, дядя Сережа эти дела бросал на полдороге. Из исключительной своей суетности он как-то влез в крупную по масштабам поселка спекуляцию, а затем передумал помчался в милицию каяться, чем и посадил соседа своего и сотоварища на два года. Сам уцелел. Когда были под следствием, он похаживал к жене соседа и клянчил деньги: «Не то расскажу всю правду — и его посадят», — вымогая, он брал у нее червонец за червонцем, а на суде выложил все, что спрашивали и что не спрашивали. Держался он на суде гордо: «Я, товарищи, одумался. Совесть вовремя заговорила. Что-что, а совесть еще не усохла»; соседу дали пять лет, которые потом кое-как скостили до двух, а он отделался штрафом, который чуть ли не весь возместил из соседских же денег. Еще до суда, вымогая, он спал с женой соседа. Велеречивый, напористый, хваткий, он вновь и вновь говорил ей: «Не то всю правду на суде выложу», — денег же у жены соседа было немного, а значит, плати валютой. Когда соседа упекли на два года, он приучил его жену к постели выпивкой. Позднее, сидя в единственной поселковской

пивнушке, что рядом с баней, он рассказывал мужикам о некотором ее постельном бабьем любопытстве. «Нравлюсь я ей, — пояснял. — Но я-то от *таких* ухожу. Попробовал — и порядок».

В застолье шумный, дядя Сережа орет, требуя любимую песню, а через пять лет он будет умирать от рака, и тогда долгое родственное застолье (и это хмельное философствование старика бухгалтера насчет обезьяна) аукнется в нем странным образом. Дядя Сережа, умирающий, позовет жену. Позовет и детей. И тоже спросит:

— Неужели и я не останусь в вашей памяти — неужели забудете?

Он скупно заплачет. Он будет знать, что умирает. Он подзовет ближе жену, которую бил и мучил и которая дважды пыталась повеситься, и тихо — отдельно уже от детей — горестно ее спросит:

— Неужели я не останусь в твоей памяти, Нина?

И умрет. И — не останется в памяти. Потому что Нина забудет его зло, и его дерганье, и перекосы. И будет вспоминать и печалиться как бы совсем по-другому человеку, хотя и с той же фамилией, с тем же именем, с тем же отчеством. Вспоминая, тетка Нина будет вздыхать: «Да-а. Был у меня муж, умер уже. Хороший был. Ласковый...»

А вот и раскат: то особенное и пугающее нарастание звуков, когда легкие захватывают воздух чрезмерно, чтобы как по ступеням возносить к небу свой звуковой напор: и — *бес-пре-рыв-но-гром-гре-ме...* На верхах поющие выкладываются, отдавая уже и последнее. Запас воздуха на исходе. Глаза ищут точку, чтобы опереться, после чего возникает предельное напряжение: *гр-е-ме-е-е-э-э-эл...* — и вот звуки мощно выносятся за предел, а на лицах появляется разрешающая (исчерпывающая миг) улыбка, удовлетворенье, радость: можем, ай да мы, вот они мы. Женская втора взлетает теперь, как бы забегая вперед, и справа и слева, но не обгоняя. Огромные поля и пространства сливаются в точку. Это мы. И пусть нас забудут. Пусть совсем нас за-

будут. Это мы, пока мы живые. *Неужели забудут?..* Песня сходит на нет. И звучит последнее, значительное, как сами пространства:

И пала, грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина-а-а...

На день четвертый спад: все они валяются в лежку, вялые, похмельные, лежат там и здесь вповал... Встанут, хлебнут, похрустят полумертвым огурцом, скрипнут зубами, покурят — и заново в лежку. А какие ж прекрасные были три дня! Как садились за стол, как кричали, как родственно-неродственно целовались и как пели.

6

Если *копать* еще — мне одиннадцать лет: время голодное, а лето суетное, и матери в связи с обстоятельствами надо было куда-либо меня приткнуть, но куда?

Помыкавшись, мать отправила *уравновешенного* мальчика в пансионат слепых, где заведовал и тихо правил полуслепой и дальний наш родич. Конечно, я был там незаконно. И целое лето объедал слепых. Там же томилась одна бедная девочка и тоже, вероятно, их объедала: нас только и было двое детей, вялых, с ссохшимися желудками, и, может быть, мы вмешивались в их котел не так уж ощутимо. Тем более что меж нами — меж нею и мной — почти мгновенно возникла детская любовь, отчего мы почти не ели.

Слепые (их собрали со всего района, а возможно, области) находились именно на той стороне реки, хотя и несколько ниже того места, где Пекалов вышел с подкопом. Река осталась рекой, и два слепца, выбравшиеся когда-то через подкоп первыми и попавшие в топи, погибли где-то здесь, неподалеку; и, во всяком случае, за *долгую* ночь они вполне могли добраться, сместиться по берегу как раз сюда, погибая и клича на помощь.

День девочка и я проводили у реки, плавая, гуляя в лесу, а даже и ссорясь, потому что Сашенька, так ее звали, не утаила, что в прошлом году у нее уже была любовь: ее одноклассник Толя. Одиннадцатилетний мальчишка, я лишь благородно вздыхал: «Понимаю: у вас это серьезно...» — но вскоре я очень переменялся; я уже не был столь благороден и, едва выяснилось, что мы с Сашенькой тоже любим друг друга и что у нас тоже серьезно, стал ревновать к ее прошлому, недостойно выпытывая подробности или же вспыльчиво говоря: «Ну и катись к нему!..»

За все лето полуслепой зав два или три раза зазывал меня к себе и по-родственному спрашивал, как, мол, живется, на что я смущенно мялся и мычал — живется, мол, хорошо.

— А как спишь?

— Сплю хорошо.

— А как с едой?

— Хорошо...

Я боялся, что о нашей любви он что-то пронюхал. Вечером Сашенька приходила в отведенную для меня старую, протекавшую палатку на отшибе у слепцов, приходила с опаской, и мы целовались именно вечером, в темноте и ровно один раз в день, полагая, что целоваться больше — это уже вести себя как взрослые. Мы сидели в палатке, и в десяти шагах от нас Урал плескал волной. Я тогда уже покуривал и потому непременно задерживал полог, но дым валил, и Сашенька некоторое время прогуливалась возле палатки, чтобы не засекали. А как только я выбрасывал окурок, мы садились вместе бок о бок и долго молчали — Урал шумел, и мы тихо, по-сиротски слушали удары волн. Или же их мерный шлеп. Видели мы и ночную лунную дорожку в раздернутом пологе палатки.

Слепые, конечно, поразили нас; к примеру, я шел к Сашеньке днем, чтобы позвать ее на реку (или же она шла к моей палатке: она размещалась с поварихой), — я шел по берегу, а меня вдруг окликали: «Николай?..» — я шел дальше, не был я Николаем (а Сашенька говорила, что, когда

ее окликают, она обмирает), и некоторое время слепой вновь чутко вслушивался. Осознавший ошибку — по шагам, — он вновь окликал: «А-а... Сережка! Чего я не узнал тебя сразу?» — а я не был и Сережкой, молчал, шел своим путем, а если это была Сашенька, она вновь обмирала и с сердцебиением быстро-быстро шла берегом дальше. Слепой стоял и смотрел вслед.

Их было десятка полтора — и для двоих детей было не просто не вступать с ними в контакт, о чем зав предупредил нас с самого начала. Он сказал, что слепые привязчивы и что слишком радуются всякому новому человеку, а потому их надо обходить стороной. Возможно, зав побаивался, что, и впрямь привязчивые, они станут интересоваться и, расспрашивая, от нас же и узнают в конце концов, что живем мы за их счет из их котла. Короче: был уговор обходить. А они так тоскливо бродили по отмели или же сидели, все подбрасывая и ловя гальку, и, когда я шел мимо, не только слышали меня, но и чуяли по дыханию. Они чуяли, что курящий: «Николай... Иди же ближе!» Курцов среди них было трое, их знали, и меня окликали одними и теми же именами. Сашенька же была еще хуже, чем я, и поступь ее была так легка, что слепцы окликали не всегда, а только смотрели, ведя незрячими глазами вслед и принимая ее за птицу.

Когда Урал в непогоду шумел, они вдруг собирались на берегу и стояли живым, колышимым рядом на самой кромке мокрого песка. К ногам их подкатывались волны. Вперив белесые глаза, слепцы глядели на ту сторону реки (примолкшие, они как бы тоже ждали спасения), они часами вот так стояли, вытянув шеи и вглядываясь туда, а река гнала на них волну за волной. Что-то их там манило.

Ели мы врозь, и потому не видел и не помню, как они едят, как передают тарелки. Но зато мы видели, и не один раз, как они входят в реку, когда Урал тихий и ласковый, когда всюду развал голубого неба с солнечным шаром посредине, и жара, и самое время войти в воду. Они входили всегда в одном месте — вероятно, где было меньше камней и

выверенное песчаное дно. У берега Урал мелел, так что идти слепым приходилось довольно долго: неторопливые, они шли след в след растянувшейся цепочкой, а там, где уже синела глубина, они помогали Кирюше. Толстяк слепец, возможно водяночник, жирный и подрагивающий от страха, был зримой противоположностью всем им, поджарым и стройным. Там, где глубже, они останавливались, смыкаясь и даже теснясь, после чего помогали толстяку слепцу войти, он же хныкал, поскальзывался, боялся упасть; толкая и того и этого вздутым животом, он переходил к очередному в цепочке, а растопыренной ладонью уже тянулся к следующему. Так передав его из рук в руки до известной глубины, они наказывали: «Кирюша, тут плавай. Дальше не ходи!» — был ли он слабым или же плохо плавал, трудно сказать. Урал знаменит тонушими, а в тот год тонули чуть ли не один за другим. Кирюша боялся. Шумный, он плескался, как кит, ни на шаг не смещаясь с указанного ему пятачка.

Заплывшие далеко слепцы разбивались кто с кем, вероятно, общения ради, а может быть, чтобы знать и советоваться о возвращении на берег. Они часто вертели головой, как бы стараясь лучше и точнее сориентировать в луче мокрое лицо. Впрочем, они хорошо знали, где берег, и, возможно, просто подставляли солнцу лицо и глаза. Либо двое-трое мужчин, либо мужчина и женщина — так они рассредоточивались, так и плавали. Женщин среди них было всего две, слепенькие и довольно миловидные, молодые. Купались они всегда нагие, и мужчины и женщины.

Сначала они долго возвращались по мелководью, бредли, а у самого берега приостанавливались. Вернувшиеся разрозненно, они не ожидали остальных — двое, нагие, они останавливались на миг, чтобы сделать с мелководья *первый шаг на землю*. Мелкая волна еще шекотала ту ногу, что в воде, а ступившая на землю уже живо подрагивала, примериваясь к прочной тверди. Ступив, они вновь вспоминали, что они слепы, и что галька может быть острой, и что всякий куст встретит в штыки. Он уже стоял на земле насторожившийся, и теперь она тоже делала первый шаг.

Свершилось. Они стояли на берегу, оглаживая друг друга от воды, смуглые и смеющиеся, и вдруг смех смолкал, и на короткое время они вновь вперяли бельма в реку — в сторону того, тревожащего их берега.

7

Личные беды личны: тонки и смутны по восприятию и правильнее оставить их про себя. Но как быть, если не все понимается ограниченным, односторонним своим опытом?

Когда я увидел копателя сквозь время, он стоял, опершись на лопату, и ответил мне, что он спешит и что ему пора копать. Он стоял в подкопе. Было тускло от лампы. И помню: он сказал, что торопится. Но, может быть, он тоже *видел*? И возможно, ему тоже было тяжело в своем подкопе и он так же хотел понять меня, как я его. Может быть, он провидел меня через толщу дней и лет, и вот он стоял, опершись на лопату, и смотрел, как в палате на больничной койке в бреду лежит разбившийся человек, лежит лицом вверх и без возможности повернуться. Возможно, в тот миг мы желали друг от друга одного и того же, он — надеясь на мое, я — на его прозрение и силу, оба бессильные, что и было определяющим в иновременном нашем соприкосновении. Он копал — я лежал в бреду. От неожиданности мы оба насторожились. Мы не успели обрадоваться. Каждый, замкнувшись, все еще оставался в своем, что и было главным в этой краткой встрече. Встретились... Души молчали, не сознаваясь ни во взаимном страхе, ни в опасении заразы чужих чувств, протиснувшихся напрямую через толщу веков.

— Тороплюсь я. Надо копать... Чего тебе от меня надо?

И он замолчал, но ведь, ничего не требуя и ни на что не надеясь, я хотел лишь знака или полслова, лишь этого я и хотел, и ведь не только себя ради. И вовсе не таилось во мне тщательно запрятанного желания вмешиваться в чужие жизни.

Я ждал, пока этот неконтакт хоть чем-то окажется или во что-то перейдет: как ни молчи, в движение пришла и замкнулась на себе связка направленных усилий. Я верил этому, больной, и не только потому, что за свою физическую немощь, а также и за свой тупик мы вымещаем всюду, где нам дается. Пусть плохо, а даже и постыдно уходить от своей действительности, но ведь психика сама в метаморфозе освобождает себя, если ей непереносимо.

И не было самовыражение местию за некие разочарования. Пекалов овладел не землей, но пядью: он был слишком купчик для героя, слишком мелок и сбивчив для фанатика, слишком неукротим для тотального неудачника: он был всячески мал сравнительно с ними, однако же он был равен им всем своим упорным копаньем: он подтвердил природу человеческой тайны, что приоткрывается лишь в те минуты, когда человек не бережет себя.

А здравый смысл принижал: какая, мол, тайна! вздор! очень, мол, возможно, что нет и ничего не было там, кроме все той же косматой обезьяны: кроме криволапой и косматой, что слезла с дерева и пошла на своих двоих лишь потому, что тем самым явилась возможность легче, проворнее набивать брюхо. Очень возможно, что твой Пекалов — твоя же блажь и что подсознательно всякий не прочь стать тем мудрецом, для которого живо и трепетно лишь минувшее, а тогда и наши дни становятся только тем, что пройдет.

8

Человек — а ему уже лет за сорок, и имя его не важно — остановился посреди поля, затем шагнул в сторону (сменил ракурс) и смотрит.

Он отыскивает некое совпадение, которое его волнует, потому что сотни лет назад в точности так стояли и смотрели они, те, кто выбирал это место. Тут даже и ручаться можно, что они видели то самое, что и он, — именно *они*.

так как место для деревни, конечно, в одиночку не выбирают. Человек — а ему лет за сорок, и имя его не важно — подошел со стороны дороги, и, надо думать, *они* подошли оттуда же, хотя дороги тогда не было.

Увидели они эти невысокие две горы: одну сточенную временем, а одну с более или менее острым гребнем; а также увидели две сливающиеся речушки, нет, можно и уточнить — они увидели только Марченовку, тогда она была без названия, но они ее увидели и сказали: смотрите, мол, речушка вся в купах деревьев. «Не сохнет ли?» — «Какое там сохнет. Зеленая!» И они двинулись ближе вот по этой тропе (тропы не было — они пошли напрямую) и, лишь приблизившись, разглядели вторую, совсем малую речушку — Берлюзяк, она впадала в Марченовку, скрытая деревьями и той горой, что с вытянутым гребнем. Подойдя ближе, они пили, конечно, воду на пробу и поковырялись в корнях, чтобы приглядеться к возрасту, а также к живучести деревьев, которая (живучесть) была за счет воды. Они подошли именно сюда, никак не со стороны гор; увидев же вторую речушку, они не могли не обрадоваться — переглянулись наверняка: две! — две речушки, и уж, значит, одна не сохнет, что могло для выбора стать решающим. Ширина как Марченовки, так и Берлюзяка три-четыре метра, но воды немало, хватит — и тогда, возбужденные отчасти уже принятым решением, они стали присматриваться по-хозяйски, а может быть, и азарт возник: «Я здесь поставлю дом». — «А тогда я здесь стану»; теперь-то, задним числом, он знал и с определенной точностью мог сказать, кто из них и где стал. Их было немного. Он знал все их фамилии, превратившиеся в таковые из имен и кличек. Он сам носил одну из них. То и было удивительно, что вымершую деревеньку давно снесли, но снос и вымор не удалили, а приблизили его к ним, и как первое сближение, как частность был факт, что на пространстве без изб он видит сейчас то самое, что видели они, первые. Вникающий, он мог знать и что и как они выбрали, задним числом и поздним взглядом окидывая рисунок земли без изб, без плетней, без ого-

родов и без насаженных деревьев. Стоявшие вдоль дороги (главной и единственной улицы) деревья уже упали, попадали, а остались лишь те, что и были, — у речушек. Такая вот и была земля: такая вот, *безызбная* красота. Такой она им и глянулась. Одна плоская гора, одна с гребешком и спуски, по которым после протянули к воде огороды.

Он увидел, так сказать, землю *до* человека. Ведь горожанин, и не скорбеть по бывшей деревне он приехал, а именно побыть здесь в неопределенном для него состоянии, без дела и без цели, если не счесть целью желание увидеть это самое *до*. Не было деревеньки в те далекие времена, и сейчас уже тоже можно сказать, что ее — не было. И меж одним *не было* и другим уместилась вся деревенькина жизнь, в силу чего уместились и исчерпались люди, исчерпались жизни, судьбы, страсти, рождения и смерти действовавших тут лиц; исчерпалась и декорация этого неприметного, но красивого и долгого театра: изба. Деревенька имела свое рождение, свой рост, возможно, и свой взлет — теперь же, умершая, она имеет свое вечное небытие, и сейчас, в известном, старинном смысле слова, пришедший сюда человек находится в загробной ее жизни. Родившийся и живущий в городе, имеющий детей (родившихся и живущих в городе) и, стало быть, помимо деревенькиной жизни, уже имеющий как бы следующую и иную свою длительность, однако же сюда явившийся, — ну разве он здесь живой и разве он здесь не загробник?

Слово его не удивило, но позабавило: загробник!.. Радостно и отчасти беспечно улыбаясь, он открывает портфель и выуживает бутылку. У него с собой прекрасная пробка-открыватель, которая не только откупоривает бутылку, но, учитывая пьющего, предусмотрено также, чтобы после нескольких глотков бутылку вновь заткнуть и чтобы бутылка не расплескалась, а даже и совершенно безопасно валялась початая, скажем, в портфеле до очередной нужной минуты. Суть: можно не пить все разом, не напиваться, но ясно видеть, прямо ходить, то бишь жить жизнью, поддерживая

при всем том ровное кайф-опьянение; ему, в частности, важно поддерживать в себе восторг и некое обострение чувств. Приложившийся, он спускается к речушке, куда наметил спуститься глазами и куда уже спустились в свой час и в свой век они, предки.

Идущий за ними следом, он бросил бутылку в портфель и вот спускается к речушке — он спустится, а там и покурит, после чего опьянение-кайф как раз достигнет всплеска, а он в легкой эйфории подпития на воздухе даже и замурлыкает какое-нибудь вырвавшееся из детства двустипение; если же глотнул мало и опьянение начнет оседать, осыпаться, он тут же и немедля добавит. Не выходя, так сказать, из радости, но и не входя в пьянь, ибо ему — возвращаться.

Он прошел под ивами, высматривая у воды плоский камень (их оказалось два, белых и плоских, составивших один), где его прабабка, и прапрабабка, и прапра... полоскали белье, женская доля, вереница сцепленных женских ликов, рожавших, и рожавших, и вновь рожавших. (С известной натяжкой можно сказать, что все они последовательно рожали его, пришедшего сюда.) Покуривший, он запивает водой из Марченówki, зачерпнул ладонями и пьет, а затем он подыметя выше и непременно попьет из Берлюзяка: вода одна, а все же. Тем самым он удлинит свое очарование местом, для чего, в сущности, сюда и прибыл, он отметится и там и тут — он загробник, которого на день-два отпустили на землю, и он растягивает эти дни, что ж удивительного.

Растягивающий также и минуту, он сидит на плоском камне, выкуривая уже вторую и скосив глаза на нешумливую воду. И когда с ним рядом скрипит над водой дерево — нн-н-ны-ы... нн-ны (очеловеченная подробность: стонет старая ива), — он начинает ждать в душе отзвук. Он хочет отклика. (Ны-ны-н-ны...) Стон разрастается, заполняет его уши, но боли нет и жданного умиления тоже нет. И более того, проскальзывает мысль, что вовсе не по прошлому дерево стонет, оно стонет — зазывая! Когда *они* спу-

стились сюда посмотреть, не пересыхает ли вода, праива этой ивы точно так же скрипела и стонала, еще и прибавив, пожалуй, в надрыве, едва увидела их. Природа зазывает, как зазывает женское начало вообще, — ей хочется совместности с человеком, к нему, к человеку, даже и тянет. А когда человек приходит, совместная жизнь начинается не совсем такая, а пожалуй, и совсем не такая, какая рисовалась иве в момент притяжения: стычки и ссоры, обиды, а также разрушение и иссыкание женского начала природы вплоть до бесплодия. В жизни как в жизни. Однако же и отягченная полуплачевным знанием, вновь стонет неразумная ива, зазывая своей милотой, заманивая человека, чтобы попробовать еще; может, и в последний зазывает, чтобы выкорчевал, вспахал, выел, разрушил, вот только не понимает, бедная, что сейчас к ней пришел в определенном смысле даже и не человек, *загробник*.

Два первых года в брошенной деревне, а точнее, над деревней, кричат птицы. Год и еще год кричат они по весне (и тоже со стонами и жалобами) над бывшей пашней и над бывшими огородами, где после вспашки должны быть черви, их пища: птицы прилетели привычно, просто, подомашнему, а еды и прокорма нет. Птицы кричат, долго кричат. А потом они смолкают и перебираются к жилью, нет-нет и взлетая, вспархивая с места на место, где уже обнаружили мураши, пауки, тараканы — вся суетливая мелкота выползает из щелей в первую же брошенную весну, как только солнце пригреет. Выползшие, они ищут человечесь тепло. Целый год жили в вымершей деревне сопровождающие человека насекомые, самая мелкая его свита, но теперь птицы их уничтожают. Во второй год и во вторую весну птицы прилетают и вновь кричат над пашней и огородами, но недолго. Припомнив, они перелетают к останкам домов, и хлевов, и погребов, и сараюшек, рассаживаются и устраиваются, и только теперь, не обнаружив даже и насекомых, ими же пожранных прошлой весной или же вымороженных за зиму, птицы поднимают необыкновенный страдальческий крик. Они чувствуют, что больше здесь не

живут и жить не будут и что прилетать сюда более нужды нет. Они кричат в последний раз. Они долго кричат. Они кричат над брошенным жильем, и кто слышал, подтвердит, как болезненны крики по второй их весне.

Он перешел по камням Марченовку, взошел на гору и пересек ее у самого гребня, чтобы там встать и глянуть еще раз — теперь сверху. Оттуда он увидел на плоской горе заметный, размашистый (размахнувшийся) на склоне четырехугольник, почти прямоугольник — кладбище. Там была мята, был терновник. Кресты отсюда не различались. Год от года темно-зеленый прямоугольник, оставшийся без ухода, терял свою правильность и форму: сначала мята, а с ней и терновый куст шаг за шагом расплзались вширь, зато как уступка внутри прямоугольника наметилась белесая лысина. Еще через несколько лет лысина сильно увеличится, углы сгладятся, а края расплзутся еще дальше. Тогда прямоугольник кладбища, уже сильно искаженный, передвигающийся как целое путем семян и отпрысков, превратится в неправильное кольцо, а уж затем лысина изнутри, лысина светлой полыни и белого степного ковыля, разорвет это кольцо вовсе. Останутся только отдельные зеленые лоскуты мяты, останутся разрозненные терновые кусты — форма исчезнет, расплзется, и уже ничто не будет говорить, что тут лежат или лежали люди.

Кладбище он решил оставить напоследок. Вдоль Берлюзяка, где еще сохранились остатки козьей тропы, он вышел к тому месту, где когда-то речку пересекала дорога; она и сейчас пересекала, она не заросла. Плоская гора с темно-зеленым прямоугольником кладбища теперь виднелась на фоне неба, что сразу напомнило, как несли туда, на кладбище, старика Короля, — шествие долгое, мужчины несли гроб, за ними россыпью брели старухи, поодаль шла детвора, и он, мальчик, на этом вот месте стоял разинув рот, а отпевать приезжал поп из Ново-Покровки, где церковь. Связанное с горой воспоминание сделалось чрезмерным, а потому даже и с радостью захлестнулось другой картиной,

картинкой. На том месте, где дорога пересекает речушку, до воды несколько не дойдя, был вытоптаный пятачок, этакий флюс, быть может для разъезда встречных, а он и брат шли рядом. «Эй!..» — раздался крик сзади, они оглянулись и посторонились. Телега, запряженная парой, шла резво под гору — возница взмахнул кнутом, еще и набирая скорость, чтобы после речки взлететь как на крыльях. «Эй!» Он и брат посторонились именно тут, сошли на этот пятачок, расширение дороги (повторяя, он сделал шаг, и еще полшага, и еще, пока не стал точно, совпав с прошлым); телега прогрохотала, после чего поднялось облако пыли, клубящейся белой пыли, а он и брат, шуря глаза, стояли в этом облаке. Солнце пекло. Лошади и телега уж были на той стороне речушки, уже там скрипели колеса и цокали копыта, а они все стояли, и белая пыль стояла рядом, не рассасываясь. Ему было шесть лет, а брату пять. Может быть, пять и четыре. Два мальчика все еще стояли, и белая пыль стояла, не оседая. Уже сорок лет стоит здесь эта пыль и стоят эти два шурящихся мальчика.

Он жил здесь еще дошкольником, а после не был здесь даже наездами. Он жил лето-второе, после чего мальчика увезли, и можно считать, что на много лет он забыл, не помнил и что приехал лишь тогда, когда приезжать — некуда. Так сложилось. Но, пожалуй, эта сторона приезда (оборотная) ему и нравилась: он навещал теперь свое детство *в чистом виде*. Он мог теперь достроить и населить эту пустоту (при полностью сохранившейся географии) тем именно, что здесь было, никаких новшеств — а ведь новшества, проживи деревня еще, вполне могли быть. Новшества пришлось бы соотносить, сравнивать, что непросто. На завалинке, если бы деревня существовала, мог бы сидеть дед, чужой, чей-то, скоро состарившийся, одетый в выношенный, но городской и вполне современный свитер от внука (и свитер пришлось бы со старика мысленно сдирать, протискиваясь в то, в свое время: чтобы без наслоений). В какой-то деревне он даже и бабку видел, сидевшую с семечками на завалинке в юбке и в старых джинсах.

* * *

Продвигаясь, он поднялся по дороге к дому — правильнее, к остаткам дома, но для него сейчас это дом в том смысле, что из дома и посейчас сохранились проложенные маршруты:

можно выйти по дороге направо,

можно выйти по дороге налево,

можно сойти с заднего крыльца и через огород —

в каждом маршруте есть (или отыщется) своя сладость: по дороге направо — это, конечно, флюс, пядь с вечным облаком пыли и с двумя мальчиками, а если огородом, вглубь, то там живет выродившаяся и одичавшая, но все еще та смородина, можно сорвать несколько ягод и пожевать, отыскивая во вкусе вкус. Включая и смородину, все — его собственность, ничья больше. Дети играют в игры взрослых, а взрослый в игры детей. Даже и больше: он не играет, он всерьез: он не вспоминает, он *живет*, хотя и не своей уже жизнью.

Загробник, слетевшая сюда душа, в представлении веровавших, вероятно, вот так же способен лететь над землей и говорить, напоминая себе словами, — здесь-де мое тело пошло в школу; здесь я жил; здесь аз, грешный, впервые совокупился с женщиной, а здесь большая и замечательная больница, в которой тело мое умирало. Он, приехавший, еще и счастливее в чем-то обычного прилетевшего загробника, так как место не занято: нет новостроек, и видит он все как есть, и не мешают ныне живущие и все куда-то спешащие люди.

У прадедова дома он присаживается на — как это сказать? — на остаточный фундамент, так как дом снесен. Дома снесены, но каменные их фундаменты частично, сантиметров на тридцать — сорок (удобно ли сидеть, милый?), торчат из земли. Если бы не запустение, было бы похоже на начало, а не на конец. На общий и верхний взгляд здесь все двадцать пять — двадцать восемь домов как бы только начали строить: деревенька небольшая, и все двадцать пять фундаментов частично заложены, сделаны, а деревянные срубы

вроде как не привезли, может быть, еще и не срубили и потому не поставили на каменные эти кладки. Он искал в небе птицу — птицы нет, ни единой, небо светлое, и с высоты птичьего полета (оттолкнувшись от парящей точки) все двадцать пять фундаментов домов сейчас как план, как вид *сверху*: можно видеть дом, и внутри дома печь (тоже высотой в сорок сантиметров), и возле хаты хлев, и поодаль погреб — все в наличии. Когда понадобился стройматериал, разобрав, догнивающую деревеньку срезали донизу, до оставшейся высоты в тридцать — сорок сантиметров, но если убрали и унесли верхнюю часть, то в двумерном измерении деревенька еще существует. Утрачены птицы, нет высоты, и небо бездонное: полое торжество плоскости.

Он прошел мимо погребка — тот давно обвалился, а был глубок, продукты хранились и зимой и летом, *погребение*. Теперь же яма осыпалась, и, если ночью (ему надо в ночь уехать) он в нее упадет, беды не будет. Он вновь садится на остатки прадедовыx стен, теперь уже не чтобы сопричаститься, касаясь, а чтобы поесть. Глотнув из бутылки, он вынимает из портфеля еду. Он жует и сидит вполоборота таким образом, чтобы глядеть вдоль по улице, по единственной улице, что шла, белая и пыльная, вытягивая в нитку дома. На той стороне была кузня и два длинных амбара из совсем уж хорошего камня: так не осталось ни сорока, ни десяти сантиметров, камень увезли, даже из земли вынули, оставив неглубокие рвы, уже и заросшие бурьяном. Бурьян всюду. Местами бурьян в человеческий рост, с ним конкурирует только вечный покой да еще полынь, выскочившая там и тут рослыми метелками.

На кладке, камень которой прогрет и тепл, он сидит, ест крутые яйца, а также большие мясистые местные помидоры, присаливая из спичечного коробка и запивая горьким. Он насыщается, ноги после ходьбы отдыхают, а мысли приобретают оттенок сытый и, может быть, масштабно-сытый, как и положено, впрочем, загробнику, мысли которого уже и изначально неостры. Ему все равно. И ему

легко понятно, что *они*, трое или четверо, кто намечал в давний свой век построить, зачать здесь деревеньку, — они были *уходящими*; чтобы прийти сюда, они откуда-то ушли, так что в их время кто-то тоже скорбел по насиженному месту и на них же ворчал: куда, мол, претесь — сидели бы, где сидели (и вечно, мол, что-то выдумывают!). Всегда ворчали и всегда уходили, противопоставления, нет, даже и глупости, по сути, всегда делали. И почему бы, примеряясь (и примиряя), не помыслить, что природа отдыхает от человека, что сейчас она, земля, только и вздохнула, когда дома снесли: в других местах пашут и роют колодцы, а даже и вбивают сваи, взрывают, вгрызаются в глину, в щебень, зато уж здесь полынь, да бурьян, да забвенье... пусть хоть здесь земля отдохнет.

Он медленно идет вдоль деревни: здесь Короли..... здесь Грушковы... там Ярыгины... там Трубниковы... — все родня; свернув с дороги и напрямую шагнув через другую сорокасантиметровую стену, он оказался как бы в гостях у прадыдьки (тоже прадед — двоюродный дед матери), загробник может и в гости ходить — проходи, проходи, там ноги вытри, — сейчас он в горнице. Перегородки внутри дома ставились, конечно, деревянные и следа не сохранили. Но он угадывает ход из горницы и *правильно* идет в ту дверь, в детскую. Он может повидать троюродного брата Сережу и увидеть еще раз, как умирает мальчик шести лет. Сережу тоже привезли сюда на лето, чтобы отдышался, отпился деревенским молоком, но молоко запоздало, и от воспаляющихся легких через месяц он умер. Вот на этой кровати. Кровать стоит не в воображении — въявь. Городскую эту кровать с панцирной сеткой мать и отец Сережи привезли с Сережей вместе, считая, что мальчику неудобно на лавке и маловато воздуха на печи. Сейчас, когда деревянное сгнило, кровать осталась единственной кроватью в деревне. Тут она и стоит, где стояла, погружаясь с каждым годом все больше в землю, в которой давно, уж сорок лет, лежит ее мальчик. Панцирная сетка уже только на ладонь над землей, скоро она и совсем уйдет в землю: утопает. Он потрогал ладонью:

поржавев и заветрившись, железо сходило со спинок кровати даже и кольцами, как шкура змеи. Через два-три года останутся торчать только спинки, сетка утонет, засыплется прахом, и меж спинками кровати будет земля.

Зимой Берлюзяк промерзает до дна, а снег заносит и сорокасантиметровые остатки фундаментов, и огороды с сохранившимися еще межами, и остатки колодцев и погребов, и кровать с панцирной сеткой. Возникает предел воплощенности: снега так много, что нет и мысли о былом присутствии — человека здесь и не было, какой отдых земле, какое счастье. Поле и несколько деревьев. Когда ивы, белые, станут в снегу, вьюга будет спускаться на них лавой, мчать по огородам вниз, зная не зная, что здесь огороды, слетая с плоской горы на простор и свирепея в полной своей воле. До самой весны.

Летом на той стороне речки он и Сережа видели — вон там — цыганку, бог знает как сюда попавшую. Цыганка не подошла к деревне. Она к людям не хотела, или же она хотела быть близко от жилья и от людей лишь на случай беды. Она подошла к речушке, села там и начала рожать. Едва отдышавшийся (даже и летом тепло одетый) Сережа пояснил: «Сейчас младенец будет», после чего они все, человек пять детворы, терпеливо ждали, не уходя и смотря в оба. Цыганка рукой на них не махнула, не прикрикнула. Она подошла к речушке и спокойненько села, постелив под собой чистую тряпку. Юбка закрывала все, вплоть до ступней ног, никакой постыдности или наготы. Лицо ее было красное, но не багровое. Особых мук не было. Она, кажется, ни разу не вскрикнула. Наконец на тряпку выпал, даже и со стуком вывалился, с силой выброшенный комочек плоти. Ребенок, будто бы и он не хотел голосом выдать мамочку, не пискнул, такая выучка. Цыганка, повозившись, села на траву. Она вынула папироску из торбочки и закурила. Покурив, занялась ребенком: он теперь попискивал. Она запеленала его в тряпку. Встала. И пошла. Тут только она глянула на детвору, что поодаль, и, он хорошо это помнит, подмигнула им с некоторой даже веселостью:

мол, бывает в жизни. Нет, она еще выпила воды после курения, попила из речки, после чего ушла с ребенком в сторону железной дороги, откуда и пришла, так и не захотев подойти к ближайшей избе. Торопилась к поезду... Подумав о поезде, приезжий человек — лет уже за сорок, а имя не важно — немедленно глянул на небо: так и есть, пока он отсюда доберется до города и до гостиницы, будет темно (на кладбище не побывал; значит — завтра).

Допив бутылку, он выбрасывает ее в бурьян, а другую ставит в прохладе, в углу разрушенной праделовой стены, чтобы приехать и выпить ее здесь завтра (не отвозить же ее в гостиницу). Завтра последний день, и он прикидывает, кого бы надо еще навестить в этом небольшом и родном городке. Кого навестить и как успеть, вместив в одни сутки ту или иную встречу с еще одной поездкой сюда, с посещением кладбища (есть некая уже связанность с оставленной здесь на завтра бутылкой)... Нет, всех не объять: кого-то он навестит, а кого-то *обидит*; в конце концов, как у всякого приезжего, у него нет времени и есть право не застать дома. Он чертыхался, отметив, что и на сто метров не ушел, а в голове уже суета и подсчет. Он вдруг видит, что стоит на дороге, на заросшей травой дороге.

Ладно, говорит он себе, смиряясь, кого успею, того и навещу. В сорок человеку уже надоедает возиться с собой и там и тут себя подправлять, оттого-то однажды человек говорит себе и своей совести (и кому-то еще в стороне, третьему): ладно, мол, какой есть. Таким и проживу.

Валентина шьет в ателье (мужа у нее убило серьгой строительного крана, сын — в армии, дочь — в восьмом уже классе). В гостиницу к нему Валентина прийти постеснялась, так как портниху ателье слишком многие в городишке знают в лицо.

— А хочешь, на развалины твоей деревни я тоже поеду?

— М-м.

— С удовольствием поеду. И день там проведем?.. Верно?.. Все-таки друзья детства!

Друзьями детства они не были — правда, что жили близко, но даже и в школу ходили в разные классы, и потому в его детстве ничего она не значила: была девчонка Валя, вот и все. Теперь же эта сорокалетняя с лишним тетка, крепкая, красивая, возникшая в самом начале процесса родственных посещений, никак не хотела с ним расставаться. Они всюду были вдвоем. Он и сам, если б не ехать на деревенские останки, прилепился бы к ней намертво: он и она говорили друг другу много и с чувством особым, неподдельным, ибо никого других из *детства* здесь уже не осталось. В квартире у Валентины они хорошо, но мало посидели: пришла дочь-восьмиклассница и их чувства спугнула. Вставая из-за стола, он как бы по инерции предложил — если, мол, хочешь, заглянем ко мне в гостиницу. Заглянем, а там, мол, продолжим воспоминания. «Нет. Мне в гостиницу нельзя — ты что?!» — и Валентина хмыкала, покрасневшая: ладно, мол, чего-нибудь придумаем. И придумала: поехать с ним вместе.

И уже тогда его начал сосать изнутри червячок.

До поезда два с половиной часа (в бывшую деревню, как и вчера, надо ехать местным поездом). Купив билеты, он и Валентина убивают эти два с половиной, сидя у реки. Жарко. Томительно. Веткой на песке он рисует какие-то линии, каракули, а червячок изнутри сосет его все сильнее: и как это он, дурной, согласился поехать вместе? Не юному, ему уже совершенно ясно, зачем они туда едут, и много раз в своей жизни случаю и совпадениям благодарный, на этот раз он злится. К тому же жара. Раздражение нарастает: да что ж это такое? что за бесконечный командировочный сюжет с женщиной и что за удивительное постоянство концовок? (Уж будто и нельзя без *этого*.) Спору нет, Валентина симпатична, мила, а также встреча с детством, и воспоминания, и все такое, тут уж ничего не скажешь. Но ведь на то есть гостиница, есть штопор, и бутылка с вином, и *горячее в номер*, городу, так сказать, городское, а зачем туда-то Валентину везти? Нет-нет, только не *там*.

Он сидит на обломках кирпичей и облумывает, как из-

бавиться от подруги детства. Каракули на песке, которые он чертит, делаются все более ветвистыми и изощренными. Он обдумывает: время есть.

Валентина рядом. Она смотрит на течение Урала, на машины, движущиеся по мосту.

— Ты рад, что мы едем вместе?

— Да. (Говорит он живой, в то время как он загробник продолжает обдумывать.)

— А ты знаешь, что здесь возле моста был подземный ход — под рекой проходил?

— Знаю. (Он чертит.)

— Какой-то сумасшедший прорыл. Тебе тоже в детстве рассказывали?

— Да.

Солнце припекает. Щурясь, он переводит взгляд, и перед глазами крупным планом оказываются ее сильные колени, прикрытые ситцевым платьем: ноги крупные, атласная кожа в полевом загаре — Валентина крепко сбита, в соку, и он сглатывает ком своего скорого отступничества и отказа. Отводит глаза. Он уже твердо решил отвернуться от Валентины (от поездки с ней) и теперь ищет слова и повод, пусть даже не без легкой ссоры, которую после он как-нибудь загладит письмом издалека, красивой открыткой.

— Здесь еще и часовня стояла, — с охотой подхватывает теперь он нет-нет и провисающий разговор (ссора должна возникнуть сама собой). — Там этот псих купчик был изображен взлетающим на небо. Ангелы его подхватывали под руки и уносили — помнишь?

— Все уже порушилось.

— А место помнишь, где часовня стояла?

— Как не помнить — мы на ней сидим.

— Да ну! — Он чуть ли не вскочил. Встал.

(И тут только слово, вокруг которого в мыслях он так долго топтался, из-за которого и ехать не хотел с Валентиной *туда*, нашлось: кошунство. И червячок точил.) Он отходит в сторону, чтобы оглянуться. Так и есть: обломки старым способом жженного кирпича валяются небольшой

неузнаваемой горкой. Почти сровнялись с землей. На них уже удобно сидеть. И бурьян, конечно.

— М-да, — он высказывает глубокую мысль. — Время — это время.

— Она рухнула в ледоход. Весна подогрела...

— Я не знал.

— Говорят, от грохота. Когда лед трескался, здесь у моста как стрельнет, она и распалась. Мой сосед вон там стоял, на автобусной остановке, и сам видел: она распалась по кирпичику.

Теперь на этих кирпичиках сидит Валентина, обхватившая руками круглые крепкие коленки.

Валентина встает и вдруг бежит к нему, чтобы (от радости, что ли?) броситься ему на шею. Вдруг кинулась. Он даже и напрягает ноги, чтобы принять по-мужски ее разбет и вес; но с несколько неожиданным криком: «Коля! Коля!..» — мимо и в шаге от него она проскакивает, бросаясь к мужчине, только что сошедшему с моста. Тут же и выясняется, что это некто Коля Кукин, друг Валентины, вдовец, человек хороший и близко живущий.

— А пойдём, люди! А пойдём погуляем, люди! — зовет их Коля Кукин, добродушно и сильно встряхивая огромной авоськой, в которой гремит все что положено, и бутылка тоже.

Коля как бы зовет их всех, но ведь не всех; и тут бы ему, человеку приезжому, и оставить ее с Колей вдвоем, а самому поехать на останки деревни. Но выясняется, что Валентина против. Валентина непременно хочет, чтобы они гуляли все втроем, но если у нее с Колей Кукиным не просто так, зачем же еще и он? Зачем третий? Прихоть или она деликатничает?.. Он вновь и решительно отказывается идти к Кукину в гости, но Валентина как вцепилась: к чертям руины, ты вчера уже был там — ну и хватит! пошли, пошли погуляем к Коле!.. И ведь сдали билеты — и ведь пошли.

Двое мужчин немногим за сорок и женщина тех же лет, они сели за стол и пьют степенно, без суеты, — у вдовца

Коли свои полдома, свои уголья и своя тишина, и Коля все подливает и подливает: ну, мол, кто кого. Полагаясь на выпивку, Коля больше помалкивает. Он хочет честно перепить: пусть москвичок свинтится и пусть Валя сама из двух выберет. Москвичок становится говорлив, он и Валя уже который раз перебирают былое. Юрка уехал, Ваня давно уехал, а Геля? Такая отличница, такая избалованная, вышла замуж в совхоз и там коров доит — кто бы мог подумать! (Помнишь, как мать с отцом ее одевали!..) Разговор беспорядочен, но все более доверителен, и приходит момент, когда ступени опьянения даются легко, когда застолье длится, выпивки впереди гора, и москвичок (а помнишь, Гелькин отец помидоры сажал?) уже с облегчением чувствует, что ехать никуда не надо и что они будут вот так сидеть и пить год за годом, пока дом Коли Кукина не рухнет и не рассыплется, как та часовенка.

Но тут против логики он подымается со стула и говорит: — Надо позвонить в Москву — сметаюсь в гостиницу.

Его отговаривают: «Ты же не хотел звонить». — «Ну да. Но ведь все равно... Я сметаюсь в гостиницу и сейчас же приду». — «Ты точно придешь?» — это уже спрашивает Коля Кукин, по-мужски спрашивает, и он отвечает: «Приду...» — по-мужски же при этом Коле мигнув и быстрым своим шагом как бы поторопив судьбу. Идти ему под гору — он очень легко идет. (Когда на эту горку они взбирались, Коля Кукин шел впереди, она сзади, и платье Валентины плескалось по ветру, как знамя.) Он вдруг радуется, что не оставил у них, не забыл портфель. Они идет к станции, где успевает взять билет и садится в тот самый местный поезд, кажется припоздавший; он успевает еще и сообразить, что у Коли он набрался и что никак нельзя проспать маленькую ту станцию, от которой ему идти пешком. Хмельной, он засыпает и просит сидящего напротив мальчишку толкнуть его ногой на станции такой-то.

С поезда он идет сильно спеша — скоро начнет темнеть, и ладно, если он не все посмотрит, то хорош же он будет в

темноте на кладбище, где не отличишь креста от креста. Ему не по душе, что он так спешит и гонит, но успокаивает вдруг пришедшая широкая мысль, что в крайнем случае он здесь же и заночует: лето!.. Он выбрал шагами поле, за полем правее пересек сухой лог с чахлыми деревцами: путь неблизкий. Еще он пересекает небольшое поле рослой травы, но вот уже и пригорок, с которого видно, что направо гора с гребешком, а налево — пологая с кладбищем. Успел. Засветло. Отмахавший столько-то километров, он стоит весь мокрый и, поскольку вид уже вид, он может позволить себе быть неспешным, идти ровно, а вид — вбираться.

Он идет левее и пересекает Марченовку, после чего взбирается на пологую гору с распадающимся уже и теряющим форму темно-зеленым прямоугольником: вот оно. Или лучше и правильнее: вот *они*. Потому что они, кто выбирал место для деревеньки, тоже лежат здесь, хотя их-то крестов уже много-много лет нет и в помине. Крестов вообще мало. Это можно ощутить: есть тишина деревни, и есть тишина вымершей деревни, и есть тишина кладбища вымершей деревни.

Час или полтора света у него в запасе — не густо, и потому он смотрит то, что можно увидеть, и читает, что можно читать. Видит он штук пять крестов, наклоненных так, что вот-вот упадут, и остальные штук пятнадцать, которые уже упали — кто на восток головой, кто на запад. Фамилии те же: Трубниковы... Ярыгины... Грушковы... их бы и не разобрать, если не знать; но он знает и читает легко, видит, где фамилии недостает трех букв, где пяти, а где и вовсе вместо слова остался один-единственный слог. Дерево изъедено: сплошная труха от дождей, ветра и червя. Особенно не повезло Королям — они были в середине кладбища, где терновник уже напрочь вытеснен лысиной ковыля и степной полыни, где кресты распались и легли под ветром как изъеденные палки: одна большая и две малых рядом. Запустение у них полнейшее. Толщина изъеденных, распавшихся крестов щемяше мала, жалка, и только кой-где болтающаяся на палке жестяная табличка с двумя-

тремя сохранившимися буквами говорит знающему, что здесь лежат *Короли*.

Граница меж Королями и Грушковыми условная — опять же только знающий знает. Впрочем, оградок и отделенности здесь никогда не было, все лежат вместе, если же и есть какая-то отобранность фамильной тесноты, то лишь по той, и естественной, причине, что муж хотел лежать поближе к жене, а сама она ближе к детям, а маленького Сережу, привезенного из города и здесь умершего, совестно было приткнуть с краю, почему и положили меж дедом и его старухой... Обломив терновник, приезжий человек меланхолично грыз его тонкую веточку. Остаточный хмель действовал, но не сбивал: приезжий брел, пересекая лысину ковыля и затем возвращаясь вновь к темной зелени, он брел и так, и этак, и наугад, и по давней памяти, однако же не заходя на одно-единственное место — в верхний левый угол кладбища. Умудряясь удерживать в голове сложную вязь своих случайных шагов, угол он обходил. Там есть прямые предки. Туда он подойдет позже: и если стемнеет, он и в темноте увидит, что надо увидеть.

Пока же он смотрит их *всех* — и как же далеко уходит и тянется цепь имен, и как недалеко конкретная память: редкий человек сможет указать могилу своего прадеда, даже и деда не всякий укажет. У горных народов каменные склепы указывают иногда столь далекого предка, что разводи руками, горцы могут похвастать — равнинники никогда; и стало быть, ему, равниннику, еще и очень повезло, если он знает и имеет хоть это средоточие, пусть безымянное, — для него *это* мертво и не живет, но еще длится, чтобы в детях уже утратиться.

Он переходит наконец к своим, в верхний угол кладбищенского тернового прямоугольника, где кресты тоже, конечно, вповалку и где самое раннее из спаренных чисел (он искал его) случайно оказывается датой отмены крепостного права: 1861 — ... ; кто это был и когда умер — стерто и неизвестно, известно, когда родился. И то немало. Из

прямых родичей находится и такой, кто имеет только последнюю свою дату, дату смерти:

... — 1942

— впрочем, он сумел сохранить имя: Глеб. А логика все чего-то хотела, все чего-то искала — и нашла. Был здесь совсем уж удивительный павший крест, не крест, а то, что осталось, три чурочки, которые, тлея, так и лежали рядом. Ни имени. Ни дат. На жестяном листочке сохранилось нестертым только дпящееся тире, выглядело так:

... — ...

— и больше ничего; сама вечность.

Солнце садится; напоследок ало, даже и страстно красный луч шарит по горе с гребешком. Кладбище залито розовостью, и приезжий понимает, что сейчас станет темно, — здесь темнеет стремительно, в минуту. Он спохватывается. Вскакивает на ноги (и испуг, и упрек: ему ведь долгонько идти к поезду), вскакивает, но тут же и садится, цепляясь за мысль: когда еще он увидит закат и ночь здесь — да никогда!.. Кстати вспоминается, что есть же бутылочка вчерашняя, которую он уже прихватил в развалинах и которая скрасит ему ночлег: не замерзнет. Откупорив бутылку, он делает два-три обжигающих глотка. Закуривает. И когда он докуривает, на самых последних затяжках, солнца уже нет.

Он еще выпивает, а вот и удар хмеля сотрясает его изнутри: волна прокатывается до самых пальцев ног, отражается и мчит вверх, вот она снова здесь — у сердца. Темно. Ночь. Звезды зажглись — именно это, ночь и звезды, *они* тоже видели. Тут уж нет сомнений, это не менялось. И он может смело сказать, что вот сейчас, в ночной темноте он по ощущению полностью *с ними* совпадает: все же нашел. Он полулежит: земля теплая. И тут новый удар сотрясает его; хмель пересилил, хотя и контролируем. Он переждал, но за ударом последовал новый удар, — вслушиваясь в себя, как бы чего не выкинуть (и здесь с оглядкой), приезжий человек перетирает в руках пахучий кустик полыни. Потом вдруг встает и кричит в ночь: «Э-э-эй!» — безадресно

кричит, а когда в мертвой тишине голос его стихает, он валится на землю, вжав лицо в мяту, обернувшись то ли к земле, то ли к кладбищу, то ли еще к кому, пока мысль, не осиленная хмелем, не подсказывает ему, что и тут ему не удалось избежать некоего повторения, что все это обыденность и заигрывание с вечностью. И не ворваться в туннель. Но тогда-то, понявший, он еще сильнее и пронзительнее вглядывается куда-то в ночь, в темноту, в пространство, и глаза у него саднит от вдруг выкатывающихся слез: как же, мол, надо погрузить в суету и стиснуть нас, бедных, если приехавший сорокалетний с лишним мужик устраивает на останках такое, еще хорошо, что у него нашлось и есть это, а как, если у человека и этого нет? Где сейчас те, другие, где они вжимают лицо в мяту?

На небо выкатился Орион — и все недвижно; и стало просторно торжественное небо, в котором нет, кажется, места ни людям, ни их поступкам. Но приедем не легче: очищения нет. Он сидит вдруг трезвый, ясный. Он долго сидит. Смолкший, он думает о том, что приезжать да приходить сюда было не нужно. Отзвука нет.

Не забыв портфель, он начинает спускаться вниз, в темноте он идет довольно быстро. Прохлада дает ему знать, куда идти: от речушки доносится сырость. Вот и звуки. Бежит речушка по камням. Тыщу лет бежит. Но длительность времени уже не занимает приезжего человека. Он протискивается меж ивами, переходит на ту сторону и видит в звездной тьме — удивительно! — отчетливо видит во тьме старую дорогу. Он сильно прибавляет ходу, потому что еще можно успеть к поезду.

ЛАЗ

Повесть

НЕРЕШИТЕЛЬНАЯ КОШКА У ДВЕРЕЙ. То есть она у самых дверей. Ни туда, ни сюда. И конечно, мешает ему прикрыть дверь. «Ну?.. В дом? Или на улицу?» — торопит ее Ключарев интонацией голоса, после чего захлопывает дверь квартиры и быстро спускается вниз. Обогнав кошку (она мягко прыгает по ступенькам лестницы), Ключарев выходит на улицу.

Он думает вдруг о смерти своего приятеля Павлова — как умер? Каковы подробности?.. Он ничего не знает. В толпе, в давке движения поггло две сотни народу, если считать только на проспекте. Толпа не считает. (Но ведь Павлов там не был.)

О том, что улица пуста и что многие жители прячутся в квартирах за плотно зашторенными окнами, Ключарев старается не думать. Конечно, без людей диковато. Но нет людей — нет и опасности. На улице тепло. Вечереет. Но еще не ночь. Ощущение уличного тепла таково, что вот-вот раздастся свист и хлынут толпой некие люди, а с ними убийства, грабежи, попрание слабых, — ощущение тяготит, и как тут не пасть духом. Но в то же время на улице пусто. Тихо. Это и есть жизнь... — так колеблются его тонкие, пугливые мысли интеллигента, сам же Ключарев шагает.

Если посмотреть сейчас сверху — опустевший город, ни людей, ни движущихся машин (есть отдельные мертвые стоящие машины на обочинах, но они еще более подчеркивают общую статичность). Пустые тротуары. По глянцевой улице движется один-единственный человек, он в сви-

тере, в шапочке с помпоном, помпон чуть припрыгивает во время его хода. Этот человек — Ключарев, наш старый знакомец. (Он несколько постарел; потускнел; виски поседели уже сильно, проседь в волосах. Но еще крепок. Мужчина.)

Во время движения он иногда как-то странно на ходу подергивает телом, словно у него на боку под свитером и под рубашкой не вполне зажившая ссадина (так оно и есть, притом несколько ссадин). Вязаная легкая шапочка с помпоном (похоже, что лыжная) натянута на голову. Завершая свитерно-брючную обыденность, лыжная шапочка делает его чудаковатым. (Ключарев с этим не согласен. Он видит в шапочке проделавшую долгий путь логику его интеллигентности, которая нашла скромный вызов и одновременно защитную форму. Но не мимикрия.)

Свист и впрямь раздается, когда Ключарев проходит мимо третьей по счету пятиэтажки. Ключарев приостановился. Оглядывается. Нет. Нигде ни души. (Что ж, кто-то мог свистнуть и просто так.)

Продолжая путь вдоль ровно стоящих пятиэтажек, он выходит знакомой асфальтовой тропой к пустырю — пустырь переходит в разнотравье, а тропа из асфальтовой становится обычной тропой, узкой, петляющей в траве. Тропа еще хорошо различима. Вот и приметные два куста конского шавеля, высоко выбросившего свои метелки. Ключарев подходит к узкому лазу в земле, или к дыре, как он этот лаз окрестил; он привычно постукивает ногами, чтобы не тащить с собой в дыру лишнюю грязь. (Когда дождь, он счищает налипшую грязь о жесткую траву. Но дождя нет. Слава богу.)

Свесив в дыру ноги, Ключарев сидит и некоторое время решается на спуск. Затем спускается, правильнее сказать, протискивается. Тело его трется о края дыры, окорябываясь о неровности, но не обдираясь. (Иногда в дыру спускаешься довольно легко.) И тут же, подумавший о

легкости спуска и забывший об осторожности, Ключарев острым торчащим кремнем вспарывает на боку старую, уже было запекшуюся ссадину. Ч-черт! Рубашка сразу намокла, разумеется, кровь. А оборвавшиеся пуговицы рубашки полетели вниз. Ключарев еще только спустился до горловины (до середины), а пуговицы уже летят вниз много прежде него, и даже слышно, как они там внизу звенькают. Горловина узка. Тело Ключарева делает умелое вращательное движение, вкручивается, на миг ему перехватывает от стиснутости дыхание, но только на миг — он уже пролез, тело его висит теперь над пещерным пространством, но только не над темным, а над освещенным пространством довольно большого зала, где стоят столики и за столиками сидят и беседуют, пьют вино люди.

По лестнице-трапу (что-то вроде высокой стремянки), ступая ногами на металлические прутья, Ключарев спускается — и попадает уже внутрь этого красивого помещения с ярким полом в крупную шахматную клетку. Темные и белые большие квадраты разбросаны по всему полу. Спустившись, Ключарев ступает на один из них, тут же находя и две свои пуговицы.

Погребок шумит: люди пьют, разговаривают. (В сущности, Ключареву нужна была лопата, хорошая обычная лопата с гладким черенком, но, конечно, он не может сразу же и спешно пойти ее покупать.) Он видит Андрея Башкина, Северьяныча и Таню Еремееву, они машут ему рукой. В них уже не только сходство, уже сродство. Ключареву все равно проходить мимо них. Вероятнее всего, они искренно машут ему, зовут подойти, побыть с ними (оттенки! — тут ведь никогда до конца не знаешь), и Ключарев подходит, он тоже рад их видеть. Наливают в стакан вина, приветствуют радостно и шумно: подвигают блюдо с орешками, — ну как? как ты там живешь?.. небось хочешь пообщаться, поговорить? — спрашивают чуть не хором, зная его тягу.

— Хочу. Очень! — отвечает он очевидностью на очевидный вопрос, так что они, угадавшие, дружно смеются.

— Ну, молодец! Молодец!.. рады тебя видеть! Садись!.. Что пить будешь?

Тут же находят ему стул (слегка побранившись с кем-то и пошучивая, оттаскивают для него стул от соседнего столика) — Ключарев не собирается с ними засиживаться, но, конечно, сидит, с удовольствием сидит, держа в руках стакан и отхлебывая глотками темное вино (вино холодновато: он греет его руками). Он слушает продолжающийся их разговор о том, что есть по сути своей современное общество: община? или артель?.. Если община уходит корнями вглубь, то артель — это уже организация. Ключарев только-только вслушивается, он получает удовольствие, он тоскует по разговору, когда к столику подходит Никодимов, как всегда деловой. Он дружески кладет Ключареву руку на плечо и наклоняется к нему (чтоб говорить негромко):

— Виктор, пойдем. Обещаю тебе — там ровно на одну минуту.

Ключарев наспех бросает в рот два орешка. Они солоноваты, хорошо очишены. Ключарев хотел бы еще посидеть, но Никодимов просит:

— Витя, я уже пообещал, что как только ты появишься — приведу. Ну, выручи меня. Не подводи.

Ключарев кивает всей компании, умной и приятной ему, — мол, вернусь. Вдвоем Ключарев и Никодимов идут меж столиков через весь этот погребок-ресторан и выходят, сворачивая в длинный коридор с великолепным мягким освещением. Здесь, как на улице в яркий день, всегда светло. Со вкусом и талантом так сделано, что и не угадать, где источники света. Никодимов идет чуть впереди. Ага. Вот и офис. Ключарев чувствует, что идет он туда, в редакцию, за Никодимовым безо всякого желания; и ведь будет там без желания что-то говорить. Ему это не нужно. В сущности, ему нужна лопата. Обычная лопата. Ну не смешно ли?

Они входят через вертящуюся дверь. «Со мной он», — просто сообщает Никодимов вахтеру, ведя Ключарева вперед.

* * *

МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ. Так они сказали. Кругом стеллажи книг. Девица за пишущей машинкой. В углу постукивающий телекс, автоматически принимающий сообщения извне. И два человека за письменным столом. Оба — седеющие мужчины. Когда Никодимов и Ключарев входят, оба журналиста встают с вертящихся кресел. Представляются.

А Никодимов называет, кого он привел (пригласил):

— Ключарев.

— Да, да, — оба благосклонно кивают. Заинтересованы.

Говорят — рады, мы вам очень рады, и помните, пожалуйста, помните: любая информация нам интересна. Мы ведь в одной стране, но, спеленатые жизнью, мы от той половины оторваны. Так получилось. Мы ведь страдаем. Та жизнь — это тоже наша жизнь, поймите нас правильно... Ключарев понимает. (Он кивает в знак честного согласия и понимания их.)

Он понимает. (И немного досадует: вдруг они предложат деньги. Но им хватает такта. Они же знают, что там, на темнеющих улицах города, деньги мало что значат.) Когда Ключарев только вошел, он был для них, несомненно, лишь деловым моментом — делом. Но вот теперь их лица не могут скрыть растерянности. Они не знают, о чем спросить. Они вдруг (в голосе боль) спрашивают, нет ли на улицах, не валяются ли убитые, не видел ли Ключарев.

— Не видел, — отвечает он.

Разговор иссяк. Ключарев, кивнув им, уходит. Один из них идет за Ключаревым вслед, вдруг торопится и говорит на прощанье, что сам он жил в Мневниках, а первые годы почти в центре, на Таганке, — обе родные улицы и посейчас стоят перед глазами.

Когда Ключарев и довольный визитом Никодимов выходят, сознание Ключарева (до этой минуты совершенно ясное) начинает путаться. Глаза его не умеют найти опору. Вертящаяся на выходе дверь, которую они миновали,

все еще вертится и вертится, — дверь становится огромной и теперь вертится медленно, плавно. «Виктор!..» — слышит он вскрик Никодимова, но какой-то далекий вскрик. Он едва не падает. Ухватившийся за косяк дома, он стоит и прощается с Никодимовым. «До свидания, Виктор». — «Будь здоров».

Но едва Ключарев сворачивает за угол, как ему снова плохо, и только тут он осознает, что головокружение и что так остро болит рана в боку. «Надо бы в медпункт», — говорит он самому себе. Аптеки здесь на каждом углу. Где-то близко должен быть пункт первой помощи.

Фонари освещения сделаны под старину — и вовсе не гнутые столбы с головой кобры. Фонарики пригнаны, словно бы прилеплены к стене, провисая старомодными коробочками прекрасных пушкинских времен. Из них льется не давящий на глаз, но достаточно яркий свет (так что лица яркие, надписи яркие, можно читать!). Приятно идти. Коридоры, сверкая, раздаются вширь — уже улица. Стены домов вдоль улицы всюду с легким рисунком, этакая непрерывающаяся фреска, прыгающая со стены на стену. Конечно, есть иногда мальчишечьи надписи. Подростки всюду одинаковы и с удовольствием пробуют себя на границе мата и речи. Но творчество их аккуратно стирается, зарисовывается вновь: борьба за пространство... На этом рассуждении Ключарева (отчасти бредовом, но опирающемся на виденную реальность) медицинская сестра делает ему укол.

Врач и сестра занимаются Ключаревым, он лежит, и в глазах его мягкое освещение потолка. Да, освещение здесь — чудо. Радостное (другого слова и не подберешь) отсвечивание стен, красивые светлые календари, и даже их белые медицинские халаты собирают в себя (помимо обязательной чистоты) частицы этого рассеянного теплого света. Ключарев знает, что он в маленьком пункте, где первая помощь. Но и здесь нет пугающей стерильности. И топчан как тахта: лежи себе. И когда Ключарев выйдет, ну через

полчаса или сколько там займет времени, свет не переменится — свет словно пройдет с Ключаревым вместе, превращаясь в мягкую подсветку коридоров, в неушербные фонари улицы, а в том погребке-ресторане, где остались Северьяныч и Таня Еремеева, освещение сомкнется над столиками в желтоватый, добрый свет уюта, который будет вполне гармонировать с теплыми кремовыми скатертями...

Тем временем врач говорит:

— Рана запеклась. Но, разумеется, потом открылась. И был шок от боли. Однако крови вы потеряли немного, так что госпитализация ненадолго...

Они осматривают его уважительно, как осматривают, скажем, известного спортсмена. Вероятно, таков стиль. И конечно, преувеличивают. Но Ключарев уже почувствовал некоторую искусственность их заботы. Говорит спокойно, но им понятно — что вы, доктор, какая госпитализация. Мне надо идти.

Сестра закончила обламывать очередные ампулы.

Врач в завершение постукивает пальцем еще по одной, по красненькой ампуле. Называет препарат и назначает:

— Три укола в область плеча. Там связка неладна. Застарелое что-то. (Что-то нес тяжелое?..)

Ключарев вспоминает о не сделанных еще своих покупках и — в связи с этим — вновь думает об умелом здесь освещении: удивительны их светильники возле магазинов, яркие, но не настолько, чтобы притушить прыгающую неоновую надпись. Кроме того, светильники прожекторного типа направлены откуда-то извне, как удар шпаги, на тот или иной товар, так что товары ты отлично видишь, но опять же товар не отсвечивает, а поглощает свет. (За счет поглощения становится емче, выпуклее.)

Вероятно, после шока это как бред, навязчивая мысль о светильниках. (Первое, что Ключарев увидел, когда открыл глаза, это медсестра и в ее руках ампулы — ампулы отбрасывали свет светильников и горели, вспыхивая, как звездочки.)

Сестра делает укол за уколом, в то время как врач,

сидя на стуле напротив Ключарева, рассуждает — это удача, что вы упали неподалеку. Разве вы не упали?.. А вы теряли раньше сознание? Нет?.. Значит, болевой шок. Но в общем, чепуха. Не стану вас больше пугать... И вот тут, не меняя интонации разговора, он как бы само собой разумеющееся спрашивает — *ну, как там сейчас наверху?* Ключарев отвечает: «Так же, как и раньше». — «Конечно, конечно», — говорит доктор. (Принимать насилие за испытание.) И говорит Ключареву — ну-ка встаньте. Ключарев встает. Ключарев видит себя в отсвете стеклянного шкафа, где лежат их стерильные салфетки и бинты. Видит себя сбоку: обработанная рана, как всегда, кажется страшнее, чем на самом деле. Ну и вид. Но чувствует он себя хорошо. Топают показательно ногами. Машет руками. Плечо чуть побаливает. «Нет, нет... Это у вас что-то со связкой. Старое ваше», — говорит доктор.

Ключарев одевается. Благодарит. Забирает свою рубашку, свою лыжную шапочку с помпоном (знак интеллигента), а также свитер со спинки стула. Бинт на груди сидит плотно, ничуть не мешает. Доктор рассказывает, как важна повязка и как умело сестра Ганя обрабатывает раны, она еще до прихода врача сделала все существенное, такая умненькая. Уходя, скажите и ей доброе слово.

Ключарев выходит из медпункта, ощущая на теле все четыре наклейки, где йодистый пластырь, но к ним, говорят, скоро привыкаешь. Зато сам бинт при движении не чувствуется.

Теперь бы стопку водки.

СТОПКА ВОДКИ. Он вошел туда, где люди выпивали стоя; если люди стоят — значит, будет быстро. Он замечает автомат, ага, полтинник!.. стаканчик уже вставлен. Ждет. И даже в маленьком этом питейном помещении светильники мягки и замечательно запрятаны. Свет и свет, а откуда — неясно. Ключарев бросает полтинник в щель автомата, сосредоточивая взгляд на своей монете, чтобы не промахнуться, и... только теперь замечает све-

тильник! На серебристой грани полтинника отраженно мелькнула лампа — вот она где! С улыбкой угадавшего Ключарев перегибается чуть через разменный прилавок, заглядывает — да, вот и лампа. Так хорошо они ее разместили. Так хитро. Лишь полтинник, как его третий глаз, заметил лампу, — все правильно, глаз не любит, чтобы свет давил на сетчатку. Возможно, и свет не любит давить на глаза. Взаимность. Ключарев в два глотка выпивает водку и выходит, уже слыша живительную влагу и быстрое пробуждение тела.

ЛОПАТА. Оторванные пуговицы на рубашке не смущают Ключарева, сверху свитер. И вообще, он идет в хорошем настроении. Если о внешности, он больше боится за брючный ремень, от спусков через узкий лаз и от протискиваний по лазу вверх ремень постоянно перетирался. Ключарев попросту боится, что брюки однажды упадут, — может, ему и ремень купить, пока он тут? На углу Ключарев видит добротный ресторан, люди там едят и пьют неспешно. Чинно сидят. Умеют. Ага, за рестораном пошли наконец мелкие магазинчики и киоски — то, что ему нужно. Газетный открыт. С конфетами и напитками — тоже. Магазинчиков полно, и все они открыты, но Ключарев тут покупать не спешит; ремень его пока держится, так что Ключарев сворачивает еще раз налево и выходит к складским помещениям. Склады — в то же время и магазины, правда, покупателей здесь почти нет, люди идут мимо. И то сказать, зачем им так вдруг инструменты?

А инструменты здесь можно приобрести (или просто взять на время за малую мзду) самые разные, любые. Можно даже маленький тракторишко вывести своим ходом — но куда Ключарев с ним денется? (Нет уж, нужна лопата.) Склад одноэтажен, вытянут, пять складских дверей; возле первой двери Ключарев замечает женщину со связкой ключей — хозяйка. Стиль всех складов в мире одинаков: хочу — выдам, хочу — не выдам. Апостол Петр у

врат рая. (Дамочка в годах.) Конечно, даст Ключареву лопату, если хорошо просить, но, конечно, ей лень.

Подняв связку на уровень глаз, она бренчит ключами.

— Нет, мой дружок. Уже вечер...

— Но какой замечательный вечер, Ляля! — атакует Ключарев, вспомнив ее имя.

Но, оказывается, вспомнил он плохо и она не Ляля. Нет уж, только атака, и Ключарев, спешно возликовав, объясняет ей, что все-таки она Ляля и что нет никакой тут ошибки, ибо Ляля — имя всякой ласковой женщины, всякой доброй женщины, которая способна быть ласковой и способна понять человека (и выдать ему лопату, не беря за это большой платы).

— Вот как?.. неужели? — Она кокетничает. Облизывает губы, охорашиваясь, и поправляет свой фиолетовый форменный халатик. (Его длиннословие значит мало, но зато много значит ее внутреннее состояние.) Так и есть. Вот она уже говорит, глядя Ключареву прямо в глаза: — А я сегодня выпила как следует. Коньяк. Потом вино...

И смотрит; ля-ля-ля-ля — напевает голосом слабенько, но не фальшиво.

— Лопата нужна.

— Дам, дам тебе лопату. Ля-ля-ля...

Надо бы поладить и ублажить. Несколько смутившийся Ключарев краем глаза прикидывает возможности — стара, но там и тут жирок. Еще женственна. Пожалуй, он справится. И уже решившись, он смело подмигивает — ух ты какая!

Она как раз выносит лопату. И ломик. К тому ж она, кажется, хочет, чтобы Ключарев добивался ее расположения. (Иначе ей сахар не сладок.)

— И кирку, — просит он.

Щуря глаза и через каждую минуту хмыкая: «Ишь ты!.. Неужели и кирки нет, и как вы, нищие, там живете?» — она выносит и кирку. Запирает дверь. И только мелькнул, оставаясь в глазах Ключарева, такой красивый и такой строгий изнутри склад. Завернутые в пластик ряды инстру-

ментов. Чистота. Ряды и пирамиды. Тысячи банок краски. Но она уже запирает свою дверь, дорожит местом работы. Обнимая, Ключарев ведет ее вдоль других дверей и поглядывает — ну, где тут у тебя тихая комнатка и какие-нибудь мешки? но только не с углем, а?.. — именно такой разговор ей нравится, он угадал, и в ответ она с удовольствием смеется: ишь, наглый. И вдруг делает попытку освободиться: крепко ли ее держат? Рванувшаяся на миг и сразу обмякшая, далее она уже ступает с ним шаг в шаг, и тело слышит тело. Они заходят в самом конце складского помещения в последнюю дверь. И точно — мешки. Ключарев быстро и довольно грубо сделал свое дело, разрядка; но она и тем оказывается очень довольна. «Жаль, ты спешишь...» — немного сетует. И после паузы вновь: «Ты меня так и не узнал», — мол, как женщина она могла бы проявиться побольше, раскрыть себя в любви, не с первого же раза. Сказала, что любит пообщаться с мужчинами и любит играть в карты, в последнее время в покер. Да, научилась. Их всех на складе научил один усатый толстяк. «Ты меня так и не узнал», — повторяет она. Она хозяйка, и Ключарев не спорит. «Дело, Ляля, поправимое, жизнь еще долгая», — заверяет ее Ключарев, торопиться, мол, нам незачем. Но тут же, вопреки своим словам, встает и самыми энергичными движениями приводит себя и свой внешний вид в порядок.

— Я полежу, — говорит она. Или это он, Ключарев, тихо спрашивает: ты полежишь? — и она в ответ лишь томно ему кивает.

В своем чистом фиолетовом халате она продолжает лежать на мешках, мешки упруги; апостольская лень. Лежит и слушает в тишине себя, свое расслабившееся холеное тело. Она уже и не смотрит на Ключарева. Не нужен. Глаза в потолок. (В то время как Ключарев стоит в дверях, озабоченный тем, как унести все, сгруппировав вместе лопату, ломик, кирку.) Ее жирок приятно ощутим под рукой и отнюдь не растрясен, и если в те минуты она вскрикивала, то не от страсти, а лишь когда Ключарев нечаянно де-

лал ее мякоти больно, проминая своими руками до косточек, — но-но, не делай так больно, шади мой жирок.

Ключарев уходит — до свиданья, Ляля.

— А дверь прикрой. — Она продолжает лежать, смотреть в потолок и на старый, расползшийся гобелен, изображающий средневековую битву — мешанина рыцарских тел и коней. В минуту близости Ключарев вполоборота вдруг углядел там рыцаря, трубящего в рог, но потом потерял. Нагруженный инструментом, он бросает на ткань быстрый взгляд, опуская глаза вплоть до мешков с красивыми печатями и огромными буквами на боковинах мешков: КУЗЬМИН И ЛЮМБКЕ. NO SMOKING. КУЗЬМИН И ЛЮМБКЕ. Рыцари, монахи. Такой старый этот гобелен. Лошади скачущие. Лошади упавшие, с задранными копытами. Но трубящего в рог Ключарев не видит.

И всюду — люди, люди. Осторожно ползут по улице сверкающие машины. Навстречу Ключареву молодая пара; смеющаяся, слегка навеселе женщина и пьяненький парень, оба красивые, оба с мороженым в руках, так что Ключареву с его инструментом, который он тяжело держит (а как еще? Не через плечо же лопату с ломом?), приходится приостановиться, ибо они, улыбаясь и мало что соображая, вот так парой и движутся прямо на него. Следом надвигается некая немолодая группа встретившихся друзей: этапность жизни. Идут густо. С ними нанятое цыганское трио, скрипка, гитара и аккордеон, — цыган со скрипкой выскакивает на несколько шагов вперед...

Можно бы и послушать, но Ключарев поторапливается. В погребок-ресторан он входит в боковую дверь, чтобы пройти сразу в задние комнаты. Мимо столиков Ключарев, не задерживаясь, быстро идет по черно-белому в клетку шахматному полу и уже на ходу поднимает глаза кверху — там лаз. На белом потолке видна рваная дыра, все более сужающаяся и темнеющая. (Северьяныч, Таня Еремеева и с ними присоединившийся за это время старенький Иван Николаевич сидят за своим столиком, но Ключарева не видят. Счастливые их лица. Ключарев не станет ни прощать-

ся, ни откланиваться — нет времени. В следующий раз он посидит с ними подольше.)

Ключарев уже в самом углу. Подталкивая, он двигает приспособленную и довольно легкую лестницу, по которой он поднимается к лазу. Лестница напоминает трап самолета, так же подкатывается на колесиках, так же и крута, но только, когда поднимешься, вместо самолетного люка (из которого обычно нам машут, сняв шляпу, улетающие президенты), — вместо люка черная рваная земляная дыра.

ДЫРА СТАЛА УЖЕ. Ключарев протискивается до самой горловины, вползая и цепко держась. В узком месте он может уже расслабиться, удерживаясь за счет трения о землю. Зависнув, он подымает лопату в правой руке, то есть над головой, — движение кистью, и он выбрасывает лопату наружу и даже улавливает слухом, как она там упала, несильно скрежетнув. Затем он спускается вновь на самую верхнюю перекладину лестницы, берет лом, к счастью нетяжелый, и, протиснувшись до горловины и зависнув, повторяет с ломом все то же самое, но с большими предосторожностями (раскачав в руке, сильно выталкивает его и тут же после броска прикрывает рукой темя: при плохом броске лом мог бы убить, падая вновь вниз). Когда раскачивал лом, задевал края, и щебень, песок с шорохом сыпались на макушку. Но кирку, конечно, выбросить не удастся, будет цеплять землю. И рука устала.

Привязанная к животу кирка мешает Ключареву, но главная трудность в самой горловине: лаз сузился. Или это сказывается близость к реке, где обычное подмывание из года в год (и из века в век) крутого берега ведет к опережающему подмыв смещению грунта. Или же подземная, и соответственно земная, нестабильность вызвана тектоническими переменами?.. Переживание, не потерявшее остроту. Он, Ключарев, знает лишь то, что с землей все время (и даже каждый час) что-то происходит. Земля — дышит; нас сотрясают процессы, природы которых мы не понимаем; уже ясно, что в тишине не отсидеться, хотя, разумеется,

есть научные объяснения, гипотезы, но природа остается природой — тайной. Дыра сужается, вот и все; стискивается, сползается краями — вот и вся простота земного дела. А иногда лаз становится шире. (Тоже бывает. В этом и простота.)

Придавив, кирка продолжает и дальше деформировать тело протискивающегося Ключарева; привязанная у живота, она продирается вместе с ним, остриями забойных концов скребя, чертя борозды по кремнистым округлым стенам лаза. Они приспособляются друг относительно друга — кирка и его живот, и все же Ключарева славливает до такой степени, что он думает об отступлении, об обратном пути (можно же вылезти, а затем вытянуть кирку на веревке — веревки, правда, нет, мелькает в сознании склад, на миг старая Ляля с ее жирком, — в конце концов он обойдется без кирки. Дыхание пресекается, Ключарев начинает хватать воздух открытым ртом, сыроватый воздух с песком). Плечи Ключарева обдираются, сужаясь и беря на себя весь перегруз дергающегося движения, которое затем переходит в движение нацеленно вползающее, — так движется червь, так движутся и люди, если они не притворяются. Больно?.. Конечно, больно. Его правая рука все время впереди, как у пловца, плывущего на боку, но левая — у живота, где Ключарев сторожащими движениями смягчает вдруг упершуюся в ребра кирку. Вот когда больно. Ключарев кривится, лицо его, глаза забиты темным песком. Левая рука ищет углы кирки, в то время как телом Ключарев делает новое усилие протискивания. Плохо, потому что кирка отстала. Вновь левая шарит, ощупывает, пробует подтянуть кирку на уровень, — через боль, покряхтывая, Ключарев вздергивает (тянуть не получилось) кирку повыше и еще повыше и выводит ее даже с некоторым запасом выше мякоти живота; обрывок бинта, которым кирка привязывалась к поясу, давно сбился и, вероятно, смялся в комок. Сантиметр за сантиметром кирка продвигается по Ключареву, ударные острия теперь на уровне груди, на уровне его сосков, но шире. Теперь она еще боль-

ше мешает Ключареву, но теперь он не боится ее потерять. Плечи удается свернуть для протискивания, однако острия давят, упираются в предплечья, — но надо же лезть, Ключарев начинает дергаться, он едва не рвет правое предплечье своей же киркой. Взывает к разуму: спокойнее. Ведь уже в горловине, в самой горловине, — и чем дальше, тем легче. Ключарев заставляет себя дышать ритмичнее; заодно он улавливает первые запахи свежего воздуха, воздуха уже *оттуда*. Неуправляемые судорожные дерганья наконец прекращены. Спокойнее. Теперь Ключарев выносит плечо, правильнее сказать, выпирает свое правое плечо вверх и в обвод острия кирки, делает это настолько, насколько возможно, и только тут в ход идет его левое плечо, повторяя тактику переползающих препятствие червей, которую знает в себе всякий, если опять же он не притворяется. Сколько-то пути (десять сантиметров?.. пятнадцать?) Ключарев продвигается, обдирая кожу, но зато его плечи расходятся и сходятся вновь без той острой боли, и вот таким именно образом (правое выше, левое оттянуто вниз, затем выравнивание), повторяя маневр многократно, Ключарев продвигается уже до уровня, где в лицо ему дышит черная земля: почва еще не перед глазами, но уже дышит эта темная, тонкая прослойка, которой кормится все живое. Становится свободнее. Голова может стряхнуть с макушки песок. Еще немного. Безо всякой мысли, однако же это получается вполне осознанно, Ключарев отрывает вдруг кирку от тела и выбрасывает ее, почти выкладывая в броске ее рукой наружу, ибо край рядом. Край земли, если идти изнутри. Когда он вскидывал голову, стряхивая песок и землю с макушки, он видел светлое небо. Но это обычный обман, когда смотришь на небо из дыры. Еще одно усилие рук — и Ключарев вылезает. Вокруг тот же вечер. Смеркается.

От слабости его шатает. Он повалился на землю, на зеленую траву. Рядом лопата, рядом лом и далее всего выброшенная последним усилием кирка. Он отдышится. Немного. Спазм смирения. Если смотреть вперед, ему видны их

пятиэтажки еще хрущевского производства — дома в сумерках вполне различимы, — там в сумерках и его дом, чуть выдвинутый. Если же смотреть налево, свинцово светлеет река.

МЫСЛЬ, В КОТОРУЮ ОН НЕ СЛИШКОМ-ТО ВЕРИТ, — это мысль о пещере. (Которая достаточно близко от пятиэтажек, от своего дома.) Ключарев выбирает место. Отступая, он на несколько шагов спускается вниз. Овраг сходит к реке, это удобно. Овраг — это своеобразный разрез, и копать здесь легче, ибо принцип всякой пещеры прост и состоит в том, что копаешь не вглубь, а вбок. Вгонять лопату удобнее, также и отвал прост, так как земля отбрасывается или ссыпается сама собой вниз, не торчит кротовой кучей и не мозолит глаза чужому человеку. Да, немного на склоне. Но не слишком вниз. Когда ударят ручьи, чтобы не заливало.

На миг Ключарев осматривается: запоминает место. Бурьян. Две стелющиеся корявые березки, а по склону над ними довольно рослая черемуха. И для совсем цепкой памяти — крапива, уже суховатая на выходе из оврага.

Обозначив глазом тропку, видную только ему, Ключарев приминает бурьян. Здесь. Лопата, лом пока в стороне, зато кирка сразу и хорошо идет в дело, не зря же лез с ней через всю дыру и едва не вогнал себе под ключицу, когда прижало. Копают. Мысль, в которую Ключарев не слишком-то верит, — мысль-минимум: если не удастся ни с кем объединиться, Ключарев сможет отрыть пещеру для себя и своей семьи на тот случай, если в домах жить станет невозможно. Копают. Сбрасывает свитер, но останавливаться не хочет, дабы не прошел первый запал. Теперь (и все еще не останавливаясь) за лопату — отбитая земля теперь летит вниз комьями и россыпью, после чего Ключарев выравнивает пространство, выбитое по первому разу грубой киркой. Старательно стесывая лопатой углы, он замечает, что результат пока лишь напоминает собой нору и, пожалуй, дыру, в которую Ключарев лез и из которой только

что так болезненно и трудно выбирался, — да, он невольно копирует. Что поделать, не столько интуитивное, сколько подинтуитивное, *земляное* мышление, которое вбирает чужой опыт, даже не доложив своему собственному сознанию, — вот что его ведет. Колея веков. Ползучие движения, как и ободранность (оглаженность) плеч и коленей, усвоены лишь на дальнем стыке с опытом тысячелетий; тех тысячелетий, когда не было еще опыта чужого или опыта своего и был лишь один опыт — сиюминутный. Ключарев устал. Бинт, стягивающий грудь, и зализы пластыря вновь раздражают кожу. Когда протискивался в лаз, бинта не слышал, но после того как помахал киркой, тело изошло потом. Ладно. До пояса он уже может в свою пещеру войти. Он слышит вдруг звуки. Вот! Внизу слабо булькает ручей, значит, к реке где-то совсем близко спадает чистая водица, родившаяся здесь же, в овраге. Удобно. Не бегать к реке. (Возможно, что у самой реки будет небезопасно, как и в пятиэтажках. Как и на всяком заметном месте.)

Ключарев припрятывает инструмент в кустах. Придет попозже и покопает, еще не ночь.

Надо позвонить Чурсину. (Надо пытаться.) И конечно, Оле Павловой.

Но как позвонить на вымершей улице?.. В телефонной будке трубки попросту нет, ее оторвали и выбросили. Торчит огрызок провода, более ничего. Ключарев идет дальше. Надо пытаться. В следующей вдоль по улице будке телефона-автомата телефонная трубка также оторвана, но она хотя бы видна: трубка валяется под ногами, раздавленная несколькими ударами сапога. Не хватало только столбика пыли. Расплющенная телефонная трубка впечатляет и заставляет поработать воображение (заставляет представить себе гигантское ухо).

Ни души. Одинокий прохожий возник, но и он, увидев другого человека, шмыгает куда-то за угол дома и там ждет. (Ждет, пока Ключарев пройдет.) В окнах домов темно. В некоторых квартирах, несомненно, живут, но они там забаррикадировались, а чтобы их не выдал свет в ок-

нах, сделали самые плотные шторы. Шторы — наши запо-ры. Нас нет. Нас никого нет. Нас *совсем* нет.

Ключарев тем же шагом проходит запертый магазин, проходит разбитую витрину. (Но успевает оглянуться: чело-век из-за дома выскочил.)

— Послушайте! — торопливо кричит Ключарев.

Тот быстро уходит.

— Послушайте же! Я не собираюсь вас догонять! — кричит Ключарев громче.

Голос Ключарева на пустой улице неожиданно звучен и гремит (для самого Ключарева неожиданно тоже), и чело-век тем более припускает бегом, сильно вжав голову в пле-чи, словно Ключарев собирается после окрика взять его на мушку прицела.

Спросить некого. Ключарев один посреди улицы — на-конец впереди (дальнозоркость сорокасемилетнего книго-чeya) он высматривает телефон-автомат с трубкой, исправ-но висящей на своем месте; он подходит туда, он спешит!.. Но телефон, разумеется, также оказывается неисправным. В ухо сыплются непрерывные частые гудки, по этому те-лефону уже высказали людям все свои досады, дав вечный отбой.

Сквозь гудки Ключарев, еще не оторвав трубки от уха, умудряется услышать некий скрип: поскрипывание двери. Он оглядывается. Позади телефонной будки виден подъезд дома с распахнутой дверью до предела, и, значит, скрипит не эта зафиксированная жестко дверь, а какая-то дверь внутри. Он идет в подъезд. Так и есть. Одна из квартир на первом этаже открыта, и легкий сквозняк гоняет дверь туда-сюда. Кажется, еще не ограбили. Голос?.. Нет, это включенный телевизор. Диктор, как обычно, сообщает о фактах, которые подтверждают, что обстановка мало-пома-лу нормализуется.

Вещи на местах. Пустая квартира. Водяные знаки от-сутствия. Ключарев ходит по комнатам, на всякий случай не включая свет. Вот и телефон.

И чудо — отменные редкие гудки. Можно звонить.

Оля Павлова заплакала и подтвердила, что Павлов умер. Умер на улице от инфаркта, подробностей пока никаких. Оля всхлипывает, давится слезами. Но может быть, случайная с кем-то стычка? драка?.. Нет. Она не знает.

— Что Чурсины?

— Ничего... — Оля Павлова говорит, что звонит Чурсиным беспрерывно — гудки длинные, телефон работает, но к телефону никто не подходит.

Оля плачет. Она рассказывает, что тело Павлова не знали куда деть, так что и сегодня тело по-прежнему лежит в 3-м мединституте, и ей страшно — ей тягостно и страшно думать, что студенты станут вдруг делать на нем, мертвом, свой тренаж, опыты, как на всяком невестребованном покойнике. «Какой тренаж! Какие студенты!..» — кричит Ключарев, пытаюсь ее успокоить. С ума сошла! Кому сейчас нужен труп?! Выражение чудовишно по отношению к мертвому Павлову, но Ключарев не успевает себя поправить. Он спешит. Он спешит рассеять ее тревогу — суть в том, что Оля Павлова беременна. На пятом или на шестом месяце. И надо сбить ее волнение хотя бы нажимом и уверенным криком.

Кричит Ключарев на нее (и для нее) — сам, однако, он не так уверен. Вечером и ночью город отключается, но ведь с утра занятия в институте, возможно, будут.

— Не плачь. Не плачь, Оля... — Ключарев говорит, что придет, что поможет похоронить. Он обещает, он клянется, что придет. — Не плачь.

Сразу же после Оли Павловой он звонит Чурсиным, но трубку не берут. Ключарев помнит, что у Чурсиных есть старенькая дача, и номер телефона помнит. Он звонит и туда, но впустую.

Смерть всегда некстати. (Хотя, по сути, в жизни человека нет ничего более естественного. Всего лишь конец жизни.) Но боже мой, до чего Ключареву не хочется сейчас, в это безвременье ехать куда-то и хоронить беднягу Павлова, не хочется хлопотать, добиваться, много гово-

речь, тем более в присутствии плачущей Оли Павловой. Ничегошеньки не умеющей сделать, еще и беременной. Второстепенность смерти, он думает об этом. Конечно, Ключарев поедет. Конечно, долг по отношению к умершему проснется и даст Ключареву хорошего пинка под зад, погонит его, заставит, но та минута еще не подошла, а в эту минуту он, Ключарев, не готов, даже растерян, настолько это сейчас некстати, невпопад.

Думает: кому бы еще позвонить? (Если уж под рукой телефон, который не отключен. Но в памяти телефонных номеров больше нет.)

Ключарев оставляет квартиру. Дверь он маскировочно прикрывает, зажав меж дверью и металлической полоской замка плотно свернутый обрывок газеты. (Дверь открыта, но никому, кроме Ключарева, это не заметно. Ведь он придет еще звонить. Жизнь не кончилась.)

Но вдруг осеняет — дверь была специально оставлена открытой *для других, для всех*, и ведь он сам потому только и позвонил, что дверь была открыта и к тому же скрипела. Разумеется, Ключарев тоже оставляет дверь открытой. (Пусть скрипит.) Он только запомнит номер дома и подъезд.

2

У СЕБЯ ДОМА. Когда Ключарев приходит домой, жена кормит сына — их сын огромный парень, четырнадцати лет, переболевший в детстве и теперь в своем развитии медленно наверстывающий упущенное. Он плохо делает движения руками, особенно мелкие (не умеет застегнуть пуговицу), плохо говорит (каша во рту) — в надежде, что сознание его восстановится, не отказано, надежда есть, но как медленно в таких случаях ползет время! Пока что он — громадный, с кроткими глазами ребенок лет пяти, он на целую голову выше Ключарева, значительно более мощный в торе и крепкий. Жену Ключарева, то

есть свою мать, он превосходит объемом и весом раза в четыре.

— Давай, давай! — Ключарев, едва войдя, поддерживает голосом их важное занятие.

— Даем, — откликается жена; она и сын вместе держат одну громадную ложку. Сын несет ложку в рот самостоятельно, но какого-то малого усилия ему все же недостает, и вот тут-то рука матери, подхватывая ложку в конце спадающей траектории, добавляет необходимую долю усилия, после чего ложка с картофельным пюре причаливает к вяло жуящим губам.

— На-на-нела несть, — произносит он. (Надоело есть.)

Но мать ведет его руку вновь, и он вновь покорно черпает и покорно ест, как это и всегда делают отстающие в развитии дети.

Ключареву она говорит:

— Надо нам все-таки связаться с Чурсиным. И с Павловыми...

— Надо.

— Что ж это мы все так потерялись! — Она продолжает кормить.

Ее боязнь, что Ключаревы останутся в одиночестве, облегчит ему вскоре уход. (Он это отмечает.) Но он не спешит. Бытовая подкладка.

Он не рассказывает жене про смерть Павлова и про необходимость похорон, зато он охотно рассказывает, что нашел место недалеко от дома и от реки и уже начал рыть убежище. Они обговаривали это уже прежде, но теперь жена спрашивает с новой силой, она должна быть убеждена — разве в доме оставаться страшнее? почему?.. Ключарев объясняет: все зависит от обстоятельств, представь себе, что воды нет, света нет, канализации, разумеется, тоже нет — дом уже не дом. А если к тому же в половине квартир никто не живет и там спят пришлые, курят и сводят счеты, то часам к четверем ночи замечательная их пятиэтажка непременно вспыхнет и будет гореть довольно долго, потому что пожарная машина (если она даже приедет)

не найдет, где накачать воды. Что касается пещеры, то там чудесно, он уже выкопал ее по пояс. Выкопает глубже, нарубит веток, выставит изнутри — можно и какое-то покрытие придумать. И ведь они переселятся туда с теплыми вещами...

Ключарев бодро болтает: воздействует на ее интонацию своей. Сам тем временем зашел в ванную комнату, снял рубашку, — смочив йодом вату, он как бы с той же неиссякаемой бодростью шлепает ватой по царапинам и краям своей раны, чтобы не воспалилась. Жена закончила кормление. Она ставит на электроплитку чайник. Затем она подходит к Ключареву сзади и другим комком ваты — шлеп-шлеп-шлеп — обрабатывает ему спину, где самому рукой не достать. Она оттягивает бинт, смачивает там, под бинтом. Она словно штемпелюет большое письмо.

— Дыра, как я вижу по ссадинам, еще сузилась — что только делается с этой дырой?!

— Спроси лучше: что делается с землей?.. Стискивается земля, а не дыра.

Жена не желает вступать в спор. Обрабатывает ему спину. И говорит, призадрав одну из его штанин:

— Смотри, что с ногами!..

Но ноги у Ключарева достаточно грубокожи, пореза там нет, а воспаляющиеся ссадины он в расчет не берет.

Ключарев все еще бодр, взятый тон не дает проговориться про Павлова — да, да, он сейчас же отправится и к Павловым, и к Чурсиным. Да, да, друзья есть друзья, общение важно. Но надо поторопиться. Скоро станет темнеть. Вечер, согласно кивает жена.

Они моют сына. Когда раздели, становится особенно заметно, какой сын большой. Огромной белой горой он стоит в ванне и тихонько всхлипывает — боится воды. Вода бежит и бежит с журчаньем. (Хорошо, что она есть.) После тяжелого и осторожного перемещения сына в ванну Ключарев присаживается на край ванны и некоторое время натужно дышит... Жена, взяв мочалку, моет сыну руки.

«Правую... А теперь левую. Ну какие мы молодцы!» — теперь они начинают уговаривать, чтобы мальчик присел, не пугайся, я же держу тебя за руку; вода со дна ванны словно бы взлетает кверху, вмиг заполняя объем по самые края — столь много занято его мощным телом. Ему уже не зябко, ему приятно. Его глаза наполняются благодарностью. Он добрый мальчик. Отставание от сверстников не сказалось на его внутреннем мире, а даже просветлило его; но вот эти-то благодарные глаза, взгляд их Ключарев не умеет выдерживать. Мой мальчик, думает он. Он отвернул лицо, а сын той рукой, которой держался, теперь гладит спину отца. Возможно, сын знает, что его голос хрипл и невнятен, и только поэтому он не произносит: «Папа...» — но, касаясь, его ладонь скажет в эту минуту именно это слово и никакое другое. Вполне внятно.

— Теперь ты, — говорит Ключареву жена.

Она выходит. Ключарев моет его пах, половые органы, — он у нас сильный мужчина, несмотря на свои четырнадцать лет, и это вовсе не от гормональных препаратов, которыми его начали кормить лишь год назад. (Растительность повышенная — да, от препаратов.) Добротню намазав мочалку, Ключарев моет, трет его пядь за пядь, стареющий хлопотун, он любит сына, — мальчик нежно играет резиновым львом, который в воде не тонет, пуская и пуская пузыри. Но вот, булькнув в финале, лев все же тонет. Тогда Дениска берет уточку, от его перемещения в ванне вода едва не выходит из берегов, — сын опасливо и лукаво косится на Ключарева, но не из-за колыхнувшейся от неловкого движения воды, а из-за того, что когда-то Ключарев объяснил ему, что уточки — девчачьи игрушки, в то время как его игрушки — лев, слон, лодка.

— Голову сегодня не моем? — кричит Ключарев жене в пространство квартиры.

— Нет...

Смывает мыло с его могучей спины, спускает мыльную воду, затем душем еще раз чистой струей по чистому телу — теперь вставай, мой мальчик. Помогает сыну под-

няться, тот боится, потому что скользко. «Ну-ну!» — говорит Ключарев, внушая ему голосом уверенность, а грудью и плечом принимая всю тяжесть на себя. Дениска наваливается огромным весом, но молодец, пока Ключарев кричит, успевает вынести правую опорную ногу из ванны на пол — вот. Первый шаг трудный.

ПО ПУСТЫННОЙ УЛИЦЕ — К АВТОБУСУ № 28, что делать, если весь остальной транспорт не работает и если в их районе ходит единственный автобус. И то спасибо. Маршрут автобуса извилист, искривлен, однако же можно выбраться в другие кварталы города, а дальше, если повезет, пересечь.

Ни души. Ключарев на остановке. Обычно возле остановки люди чертыхались на валявшийся тут собачий кал. Мол, безобразие, не убирают. Теперь асфальтовый пяточок на удивление чист. Поскольку из еды остались консервы да крупы, собачники вывезли своих собак и, как говорят, отпустили всех за городом: мол, живите как сможете. Другие, конечно, уехали в деревню, в какую-нибудь самую далекую, темную. Уехали, если, конечно, у них есть машина и если, конечно, они достали бензин. Бензина нет. Тшета усилий. Машины мертво стоят у домов. Настолько мертво, что хозяева даже не приглядывают за ними из-за плотно пришторенных окон.

Подошел автобус — пустой. Кроме Ключарева, в автобусе единственный пассажир, старушка, она рассказывает Ключареву все время какой-то вздор — вероятно, от страха. (Хотя Ключарев, войдя через заднюю дверь, сел от нее достаточно далеко, за пять сидений.)

Два дня назад, рассказывает старушка, в автобус вошла группа людей и снимала с женщин хорошую обувь. И с мужчин тоже. И все безропотно отдавали, а те обувь заберут и на следующей остановке выходят. Хотя бы тапочки предлагали людям вместо их обуви, как в музеях, острит старушка и оглядывается на Ключарева, чтобы он сказал что-то в ответ, желательно тоже остроумное.

Отважная такая старушка.

— А вот я свои ботиночки не отдала бы, — смеется она негромко.

На остановке автобус замедляет ход, но, не остановившись, вдруг загудел, зарычал, прибавил — и мчит мимо. Ключарев видит в окно троих мужчин, размахивавших руками и показавшихся водителю агрессивными. Водитель решил не рисковать. Автобус мчит по пустым улицам.

Сходит наконец отважная старушка. Ключарев один — от водителя он узнал, что по пути следования они пересекут линии двух курсирующих автобусов (только двух), и теперь он соображает, какой из этих двух лучше, чтобы ему выбраться за город к даче Чурсиных. Автобус летит как пуля. Улицы сплошь из домов с темными печатями окон. Ни огонька.

Ключарев вспоминает глаза своего мальчика. Они так кротки и добры; если к тому же в них вдруг появляется на миг осознание нынешней ситуации (как он ее чувствует? каким тайным знанием?) и вместе с тем осознание своей личной беды, он спрашивает: «Нана, нанему ня наной?» (Папа, почему я такой?) А Ключарев теряется, не может выдержать его взгляда. Мой мальчик. Ему не пролезть ни в какой лаз. Но что будет с сыном, если Ключарев тем или иным случайным образом погибнет? Был же Павлов Сергей Леонидович — и нет больше Павлова Сергея Леонидовича. Глаза моего мальчика — прекрасные глаза. Они никогда не выразят лишнего, житейского. Они полны знанием, которое люди знают, но которое выразить они не могут. (Знанием, как печален и как открыт человек.) Не выдерживая его взгляда, Ключарев обычно отворачивается, но его мальчик успеваает заметить. Заметить и понять. Он чуток. Он кладет Ключареву руку на плечо или на спину и, слыша неслышные тихие сотрясения отца, говорит: «Не нана. Не нана...» (Не надо.)

Там, где дачи, Ключарев появляется после того, как еще дважды пересеживается с автобуса на автобус. Движение возможно лишь галсами, зигзагами маршрутов, спаси-

бо, что они есть, — и когда колесный путь кончается, Ключарев, оглядев местность, идет пешком там, где уже пахнет хвоей, сосной. Там, где дачи.

Сначала вдоль мощных заборов, глухих, как стена, — это убежище, пожалуй, надежно, никто и никогда не знает, живешь ты здесь или нет, уехал или таишься. Забор высок, величав, внушает уважение. Но величественное кончается скоро. Уже пошли с обеих сторон дачки пообыкновеннее, с малой землей, со штакетником, просвечивающим далеко насквозь и жалко защищенным сиренью. В одной из плохоньких и явно брошенных дач виден подыхающий пес. Некормленный и забытый, он лежит у своей будки не в силах подняться. Жалость к животному (она еще есть! — удивляется Ключарев) толкает Ключарева войти в калитку, чтобы отвязать его с цепи, но оказалось, подыхавший пес не привязан. Просто он там, где всегда. И если другие голодающие собаки разбежались, этого что-то удерживает, любовь или долг. Глядит на Ключарева спокойным взглядом животного, уже знающего смерть. Поискав в кармане, Ключарев отламывает половину сухаря, кладет близко.

У Чурсиных дачка также из плохоньких, из серых, и Ключарев не уверен, нашел бы он ее сейчас в подступающей темноте, если бы не один бедненький пейзаж, который вдруг встает перед его глазами. Обыкновенная опушка. Изгиб, поворот дороги. Сосна у поворота. Это и есть опушка Чурсина, поворот дороги, который он не раз показывал Ключареву и говорил, что вот — часть его жизни. Он, Чурсин, может смотреть на этот поворот дороги бесконечно. Он приходит сюда и в дождь. Ключарев не знает, что за тени или какие такие души минувших веков будоражат тут память его друга. Он не знает, что это дает Чурсину, но ему, Ключареву, это тотчас дает сориентироваться в дачной географии. Как план-карта. Через три минуты Ключарев уже возле их дачи. Собаки у них нет. Ключарев гремит их негромким звонком, затем входит, сначала, разумеется, подсунув руку и сбросив шеколду калитки.

Пусто на даче, но запустения нет. Ключарев отмечает, что нет березовых чурбачков, на которых они любили посиживать в былые времена. Но также он замечает, что вьюн вдоль террасы недавно полит водой, земля влажная, — это поливала, конечно, Галка, жена Чурсина. Или их красивые дочери, совершенные красавицы пятнадцати и семнадцати лет, — Галка боится за них невысказанно, вся трясется, и, вероятно, Ключарев очень скоро это особенно хорошо почувствует (Галка не захочет Чурсина с ним отпустить).

Отыскав ключ под половицей, он входит. Пусто. Тихо. Но на столе лист бумаги, где выведено крупно: «ПОМНИШЬ ЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ...» — слова обрываются многоточием, и Ключарев мигом напрягает память и (какой точный ход!) сразу же вспоминает, как именно прошлым летом Чурсин водил его к своему соседу по даче, водил как бы с визитом вежливости. Бывший детдомовец Чурсин любил подшучивать над своим старичком-соседом, который был совсем уж древних лет, тем не менее побаивался атомной войны — нашел чего побаиваться! — и соорудил бункер, подталкивая себя страхом (а также пользуясь своими былыми связями). В прошлом почетный строитель, старичок сделал бункер просто и остроумно. Огромную цистерну он зарыл в землю, рядом с ней зарыл другую цистерну, в одной вода, в другой — воздух: живи, дыши в обеспеченном тебе объеме. Из соседней цистерны проведена, разумеется, трубка с краном: пей; в воду брошен серебряный оклад с иконы — святая вода желудка не испортит. Тогда они мило посмеивались; старичок тоже.

Теперь же, вдруг воодушевившись чужой, всплывшей на поверхность идеей, Ключарев быстро проходит на соседнюю дачу. Он идет напрямую — через огород с кустами малины, как ходили прежде и ходят, вероятно, сейчас сами Чурсины. По пути съедает, выхватив из листвы, несколько ягод.

Отыскивает вход. Стучит. Вход в бункер в густом разросшемся малиннике, еще более мощном, чем у ограды. Спуск в несколько ступеней в яму, где из земли выступает

голый темный бок цистерны, как бок присыпанного землей динозавра. «Привет!» — говорит Чурсин, открывая скрипящий люк. Ключарев протискивается, дверца люка вырезана прямым куском из тела самой цистерны, после чего посажена на грубовато приваренные штырьки. Зато прочно. Внутри цистерны на маленьком крепком столике горят две свечи. Третью свечу держит в руках одна из дочерей.

— Входи, входи!.. Мы как раз сидим и от скуки рассматриваем старичково богатство.

Объясняют: старичок помер месяца три назад, похоронен. И надо же быть столь недогадливыми: целых два месяца Чурсины сидели в своей хлипкой даче, запираясь на все засовы, задвигая трухлявую входную дверь комодом (да, да, милый, каждую ночь, жена велит, что поделаешь!), пока вдруг не догадались. Ну ясно! Что может быть лучше!.. И вот уже неделю (нет, две, две!) как Чурсины живут днем на даче, а как только сумерки, посмотрят программу «Время» и напрямик через малинник — сюда.

— Но я звонил вам на дачу.

— Мы не берем трубку. В городе разве работает телефон?..

— У меня отключили, а у Павловых работал еще два или три дня.

Свечное слабое освещение дает увидеть вокруг высокие каре киселя в порошке. Пирамиды сгущенного молока. Пакеты риса и сахара.

— Вот тебе и старичок! Мученик идеи! Ах, если бы еще керогаз! или примус!.. не жизнь, а рай! — говорят Чурсины радостно, даже восторженно, и, конечно же, они не только показывают свалившиеся на них запасы, но и готовы поделиться — да, да, приходите прямо сюда. Да, да. Если что, будем сидеть здесь вместе, держать осаду!

Ключарев сомневается — Дениска вряд ли сюда пролезет.

— Мы его протиснем, разом возьмем за ноги, за руки — и полный вперед!

Чурсины хорошие люди, особенно когда они в энтузи-

азме, — более того, они из тех чудесных людей, кто готов поделиться, даже когда сам настигнут бедой. Однако Ключарев знает, что в этой замечательной цистерне для слишком многих станет нечем дышать. Что касается Дениски, один раз его, возможно, и протолкнут, ободрав ему кожу, а в другой и в третий раз? а как Дениска втиснется, если ему придется на время остаться одному? А если все побегут, куда побежит он?.. Мой мальчик. Он сядет в том ма-линнике и никуда более не двинется. Будет сидеть рассмат-ривать листики.

Галка Чурсина спрашивает Ключарева о его жене, они подруги; ты, Ключарев, запрети ей выходить на ули-цу — это опасно, да и есть ли хоть что-то сейчас в магази-нах?.. Чурсин в эту самую минуту с энтузиазмом рисует Ключареву закрытое ведро, он придумал, как его сделать. Надо иметь одно-два закрытых ведра. Ну, типа лейки, только с отрезанным носом. Опять забота: лейку достать, примус достать. Все трое (включая Ключарева) возбужде-ны, говорят чуть не разом; красивая дочка молча их слуша-ет. Вторая красавица дочь и вовсе стоит поодаль, все так же со свечой в руках — как мадонна. Рядом с ней освещенные колеблемым светом ряды банок сгущенного моло-ка.

Ключарев говорит — да, заботы; но для нас есть еще одна забота — надо хоронить Павлова.

После этого они молча сидят долгую печальную мину-ту. Павлов их друг.

Мало-помалу разговор сам собой катится к уже предви-денной Ключаревым ссоре. Это понятно: Галка не хочет отпускать мужа, не хочет отпускать своего Чурсина, такого энергичного и находчивого интеллигента с детдомовским прошлым. Ей без него страшно. (Ей и двум подрастающим дочерям без него не жить.) А ведь Павлов умер и его уже не спасти.

— Я уверена, что Павлова похоронят. Оле непременно сообщат, где он похоронен, — ничего случайного в таких делах не бывает. Люди везде люди...

Оля беременна. Оля сейчас одна — вот довод Ключарева.

Но зачем? тем более зачем ей сейчас появляться на темных улицах?

— Но Галя! Возможно, Павлова надо забирать. Он валяется в морге какой-то приинститутской больницы. Кому он нужен, подобранный на улице?

— Значит, его похоронят, если уж подобрали! Как раз в этих учреждениях люди работают во все времена и при всяких переменах.

Ссора. Только дочь молчит, смотрит на свечи, горящие на маленьком столике; подперла щеку рукой. Вторая дочь со свечой все еще в глубине комнаты-цистерны.

Чурсин нервно объясняет жене — керогаз, мол, нужен, термос нужен, их надо достать, а чтобы достать, Чурсину все равно надо уйти с дачи и поехать в город.

— Мы с тобой и трех часов здесь не проживем, если не обеспечим себя керогазом или примусом загодя! — кричит он жене.

И... подмигивает Ключареву.

Ключарев понял, он прощается. Он извиняется, что принес в их дом столько шуму, и просит Галку его простить — такое сейчас время. До свидания. Он передаст привет жене и Денису. Спасибо.

Он уходит, а Чурсин его нагоняет (он ведь должен Ключарева проводить!). Едва они вышли за малинник, Чурсин бранит себя: он увлекся спором и забыл, что с женщинами не спорят, а немножко их обманывают и отвлекают. Да, да, обманывают чуть и чуть отвлекают.

Кстати сказать, разумные лидеры именно так поступают с беспокойным народом. (Этим камешком Чурсин бросает в верха: в отличие от Ключарева, он не верит в лидеров, в их помощников и высших чиновников, в весь этот пульсирующий рой, слепо кружащий над нами.) Не столько обмануть, сколько отвлечь, вот как надо, — через полчаса Чурсин еще раз поговорит с женой и убедит. И непременно ее убедит. Уверен? Абсолютно. Так что са-

мое большее через час-два я освобожусь — и встречаемся мы с тобой прямо у Оли Павловой.

Они идут мимо дач; за весь долгий путь ни души. Люди затаились. Чурсин показывает дачу некоего Веретенина-Воронина, ограбленную уже трижды, — унесли посуду, унесли даже одеяла. Хозяева давно куда-то слиняли.

— Считается, что первыми начнут грабить тех, кто на дачах. Таково мнение народа, — уважительно сообщает Чурсин. — Вот там металлические засовы. А там пудовый замок, кто как может!.. Но вот если пройти по тому проулку, ты увидишь заборы, обтянутые колючей проволокой. Ей-ей. Страх — двигатель регресса. Однажды среди ночи я слышал, как опробовали старый пулемет. Не шучу! Да ей-богу! Я тоже сначала подумал, что «калашников» бреет, однако прислушался, не-еет — подстукивает самый настоящий пулемет. Разгадка проста: среди наших дач есть дача музейного работника, из музея гражданской войны, разумеется, он и принес. Украл, разумеется. Почему бы и нет, если наш истопник в котельной — мужик рукастый и умелый и починить «максим» ему никакого труда и никаких расходов. Если же «максим» починить, штука надежнейшая. У тебя нет знакомых в музеях?

Шутит, но и не шутит, — таков Чурсин. Энергично объясняет, размахивая рукой. Вот так же приободряет Чурсин свою пугливую жену и своих молчаливых красавиц дочерей. Старается добыть керогаз. Прибивает доски к забору. Хлопочет с незащищенной своей дачей, хлопочет с бункером. (Как и спохватившийся Ключарев со своей пещерой.)

Они прощаются, после чего Ключарев идет по дороге, выводящей на автобусный маршрут. А Чурсин сворачивает на левую просеку. Чурсин говорит, что этим путем ему возвращаться ближе.

Но Ключарев догадывается, почему выбрана левая просека. Таким образом Чурсин пройдет мимо той опушки. И мимо того поворота дороги, где сосна. И постойт там минуту. Обретение пространства.

* * *

АВТОМАТЫ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ, они самые. Но сначала Ключарев на пустынной улице у витрины магазина видит пугливого вора. Боязнь вора — это как раз естественно, но надвигающаяся ночь несет, вероятно, некий общий страх, и Ключарев сознает, что в этом чувстве он с вором един, совпадает. Витрина темна (гладь ее как гладь темной воды), и стоящий там вор словно прилип. Вор не виден. Он, кажется, пытался взрезать витрину и проникнуть в магазин, — Ключарев вдруг видит, как тот стоит на коленках, прикладывая к стеклу линейку, и камешком, вероятно эрзац-алмазом, пытается отрезать угол стекла.

Он похож на старательного ученика со своей линейкой. Тихий скрежет. Ключарев догадывается, что это вор, только когда оказывается в шаге от него и когда тот, схватив свою линейку, срывается с места и скрывается за углом. Страх ночного вора?.. Ключарев слышит удаляющиеся шаги, словно вор бежит на тонких-тонких ножках — такие вот ломкие звуки, — и с внезапной ясностью Ключарев понимает, совместившись, что и этот вор, и он, оба они боятся толпы. Этим переболеть. Опережающим слухом (опережающим знанием) Ключарев слышит не существующий пока топот тысяч ног на улице, *шрах—шрах—шрах—шрах!*..

Темнеет. На улице ни единой машины, ни автобуса и, конечно, безлюдье — Ключарев пересекает гладь улицы напрямик. Никаких правил перехода, он идет, чтобы сразу и круче свернуть в переулок, и вот тут, на повороте, натывается на автоматы с газированной водой. Ключарев больно ударился о край одного из них. (Единственный горящий фонарь стоит далековато, у подземного перехода.) Ушибся. Узнал. Волна узнанной (но не выпитой) газировки ударяет ему в небо. Слюна обжигает небо, горло, душу. Глаза слезятся. Забытое удовольствие торопит Ключарева найти в карманах монетку. Нашел. Бросает в щель. Не работает. Другой автомат. Не работает. Но Ключарев все упорствует, бросает. Нет. Нет... но вот зашипел, смотри-ка, сра-

батывает. И поскольку никаких, конечно, стаканов, Ключарев торопливо подставляет ладони ковшом, набирает пузырящейся долгожданной жидкости, пьет, припав. И когда вода кончается (так скоро!), мокрыми ладонями оттирает лицо.

Когда улица пуста до самого горизонта, человека, тем более нескольких, замечаешь мгновенно: на другой стороне Строительной улицы, не на тротуаре, а несколько в глубине меж двух зданий, Ключарев видит мужчин, которые насилюют женщину, поставив ее на колени. Двое держат, справа и слева. Третий стоит прямо перед ней и, расстегнув брюки, сует ей в лицо, в рот. Все молча, все как в немом фильме, с некоторой даже медлительностью, и все совершенно понятно в этой притихшей полутьме.

Героического желания метнуться к ним через улицу в Ключареве не возникает, нет также желания, вступившись за нее, получить ножом под ребро, ибо в известном смысле это их час, это *их время* — такова полутьма. Однако срабатывает инстинкт (или это осознанное чувство?) не дать хотя бы ее убить. Ключарев пересекает улицу и, надвигаясь на них, кричит: «Эй! Твари!..» — голос Ключарева угрожающе, но идет Ключарев к ним, конечно, медленно. Да, спугнуть. И в этом смысле опыт с тем магазинным вором — свежий опыт. «Эй! твар-ри!..» — второго его рыкающего крика хватает, ибо тут они туда-сюда оглядываются, бросают ее и скрываются, бегут двое, потом и последний. Ключарев подошел. Она уже поднялась с колен, идет, она молодая, Ключарев идет с ней рядом и выговаривает ей с укором, нельзя же, мол, в такой час выходить на улицу, разве она не знает. Стареющий человек в шапочке с помпоном; правда, шапочку он потерял. «Да ничто, — говорит она хриловато. — Ничто».

Молодая. Им по пути — по этой пустынной улице. Прокашлявшись, она рассказывает Ключареву своим простоватым, неожиданно певучим голосом: «Садист. Никак кончить не мог. Это он нарочно. Хотел, чтобы я захлебну-

лась. — И тут она добавляет, как бы не желая на людей наговаривать лишнего: — А те двое ничего. Нормальные».

Она жалуется ему, как ужасно без кино, без развлечений. Да уж не золотой век, соглашается Ключарев. Там, где Строительная улица пересекается с улицей Жебрунёва, где стоят без пользы и без смысла мигающие, меняющие цвета светофоры, там Ключареву поворачивать. Оба приостановились, прежде чем разойтись. «Если по-человечески, если нормально, то я слотну... Хочешь?» — спрашивает она. Ключарев отвечает, что он торопится, и ощупывает голову, где же его шапочка с помпоном.

— Я тоже тороплюсь. Автобуса нет, пешком прошла уже три километра, если не четыре.

Держится она неплохо. Молодая. Прежде чем расстаться, говорит Ключареву, что вообще-то она улицы не боится. «Но боюсь, что люди вдруг набегут. Набегут и затопчут. Прямо вижу, как тыщи и тыщи бегут по улицам...» — она тоже боится толпы.

ЗИГЗАГИ АВТОБУСОВ. Но в том и незаметность, что лишние километры расстояния неощутимы и не в тягость, если ты сидишь внутри автобуса и если в пути автобус зажег все огни, в салоне светло. Еще не ночь, еще вполне видно. Но возможно, что водитель при огнях чувствует себя смелее.

В автобусе Ключарев один.

Зато в следующем автобусе, в который Ключарев пересаживается, в салоне, кроме него, робкая семейная пара. — Ключарев слышит, как они шепчутся и как она вдруг произносит слово: «Милиция...» — показывая мужу за окно и голосом внушая ему (или себе) чуточку спокойствия. Ключарев тоже видит — на пустой улице стоят двое постовых. Оба при дубинках. Оба при пистолетах в кобуре, которая по правилам этих дней висит не на боку, а прямо на животе, под рукой. Один, конечно, с рацией.

Зигзаги автобусов таковы, что ехать к Оле Павловой неизвестным путем Ключарев не решается (зигзаги могут вы-

нести и выбросить совсем на другую окраину города), и потому знакомым уже маршрутом он сначала возвращается в район, где его дом. А уж дальше он двинется на ощупь, от печки.

Когда Ключарев идет вдоль реки, в том месте, где он начал копать пещеру, его настораживают чужие звуки. Он было прошагал мимо, но ведь сам выбирал столь запрятанное место. Слышать Ключарев ничего не слышит (там замерли раньше), но он словно бы отмечает за двумя корявыми березами мелькнувшую вспышку. Именно там. Беспокойство за пещеру (и за инструмент) тотчас толкает его вперед и в бой. «Кто там?» — спрашивает Ключарев грозно, стоя поверху. Отвага человека в шапочке с помпончиком. Голос его нацелен в овраг, на спуск, и вот оттуда слышится вздох и такой знакомый Ключареву голос: «Виктор? Ты?.. Боже мой, как я напугалась», — ее голос.

ЖЕНА. Пока Ключарев спускается к черемухе и к корявым березкам, вновь вспыхивает фонарик; их домашний обслуживающий фонарик; укрепив его на ветке куста при призрачном свете (батарейка уже еле дышит), жена Ключарева занималась тем, что в одиночку продолжала работу мужа. Копала.

«Денис спит», — говорит она, оправдываясь, и, чтобы Ключарев ее не бранил, уверяет его, что она вышла из дому на пять минут и что сейчас (сейчас же! клянусь тебе!) собирается вернуться домой. Нервы на пределе. Чтобы не обругать ее сгоряча, Ключарев заставляет себя заняться осмотром пещеры-самоделки. Смотрит. Пещера углубилась, жена стоит в ней уже по самые плечи. Копает она здесь не менее получаса. «Углублять не следует, — говорит он, все еще стараясь не вспылить (ему страшен ее приход сюда в одиночку, животный страх, хватающий за кишки), — копай теперь вширь. Чтобы был объем».

«Как?» — она не понимает. «Для объема надо копать в сторону». — «В какую?» — «В какую хочешь. Это все равно. Но не вглубь», — дает немного еще ей покопать, отби-

рает лопату. Осматривает теперь изнутри. Пасть пещеры расширять более не стоит. Пещера должна быть как кувшин. Вход узкий — а дальше уже только вширь. Сначала киркой Ключарев работает как забойщик, отворачивая ком за комом. Земля довольно суха, осыпается с хорошим сухим шорохом. Жене ни слова. Он бьет киркой, пока отбитой, осыпавшейся земли не становится ему по колено, так что Ключарев не в состоянии смещать собственный центр тяжести, и при каждом следующем ударе тело его заносит. Он едва не падает. Стоп. Высвободил ноги. Набитую киркой землю он руками, точнее сказать, ладонями, распятив их, как бы бульдозером, всей горой сдвигает к зеву пещеры, земля пахнет корнями, жуками, иногда попадающийся кремень царапнет руку. Вылез.

Стараясь на скосе ступать осторожно — ага, уже луна, — он перенацеливает луч фонарика себе под ноги, укрепив его на той же качающейся ветке куста. Лопатой Ключарев сбрасывает землю в обрыв, не заботясь о тишине и отчетливо слыша, как комья влетают, вонзаются шумно в кусты (его исходящая озленность) и, распадаясь, летят с шорохом дальше. Жена все это время ощущает свою вину.

— Не сердись, — произносит она наконец.

Он молчит.

— Не сердись... Я пойду. Как бы Денис не проснулся...

Молчит.

Она виновато начинает карабкаться наверх, падает, пискнув как птица, и кое-как ухватывается за ветки. Вздвигается. Надо бы и еще помолчать — чем суровее Ключарев будет сейчас, тем глубже в нее вживется чувство вины за этот случай, и тем вернее, что больше она сюда без Ключарева в темный час не придет. Ведь безумие!.. Но Ключарева не хватает. Конечно, если уж ты роешь пещеру, то в отношениях ты должен сам стать отчасти пещерным и деспотичным, ибо иначе ни тебе, ни твоей мягкосердечной семье не уцелеть и не выжить. (Но видно, Ключарева еще недостает на это. Он еще только на полпути.) Ключарев

спешит к жене, помогая ей выбраться из оврага. Наверху он говорит ей: «Извини. Одну минуту», — спускается опять вниз, скоро припрятывает инструмент, забирает фонарик. Он нагоняет ее. Отдает ей фонарик. Даже суетно не сумел отругать, помпончик на шапочке. Впрочем, наверху светлее, чем в овраге, и они оба радуются тому, как хорошо и далеко видно, вплоть до их пятиэтажек. Еще не ночь! Ключарев рассказывает жене, что был у Чурсиных, передает привет от Галки, рассказывает также про умершего их старичка-соседа (помнишь его?!) и про оставшийся от него и занятый теперь ими бункер.

— Теперь я поеду к Павловым, — размышляет вслух Ключарев. — А уж от них вернусь домой.

— Но уже темнеет.

Она произносит слова с тем легким укором, с легчайшим, который посторонний человек не ощутил бы никак, но Ключарев, конечно, слышит и доволен, ибо ее упрек уже вводит их обоих в обычные отношения друг к другу, — в отношения, когда он виноват, а она права. «Слава богу», — думает Ключарев. Ожила.

Она продолжает говорить: воду не отключили, но горячей воды больше нет, мы Дениса вовремя вымыли. Пшено кончилось. Телефон?.. Нет, не работает.

Ключарев не провожает ее, но он, конечно, видит, как она подымается к пятиэтажкам.

Ключарев идет вдоль реки. Не выпуская жену из поля зрения, он садится, чтобы снять ботинки и высыпать из них набившуюся землю (иначе ему не дойти даже до автобуса). Сняв носки, вытряхивает из них песок. Сидит с босыми ногами. Он вдруг видит, что сел он рядом с лазом. Он едва не вскрикивает: лаз совсем сузился! Земля стянулась, кусты, что у самой дыры, торчат теперь с наклоном градусов в тридцать, почти полегли вдоль земли, так сильно сдвинуло их подземным смещением относительно их корней. Сдвиг не сказался на дереве черемухи, но по кустам и даже по пучкам травы все видно, как по стрелкам приборов.

Ключарев не собирался туда сейчас, но мысль, что он отрезан от тех людей навсегда, толкает его к дыре.

Ногами вниз (как обычно) лезть безопаснее, но так теперь далеко не пролезешь; ноги слепы. Ключарев нервничает, решает рискнуть: он вползает головой вниз. Прилив крови неприятен. (И опасен.) Но зато Ключарев может ощупывать землю впереди себя рукой, может втискивать и изгибать отсыревшее тело, используя на все сто процентов опыт ползущих, генетическую память всякого гнущегося позвоночного столба. Притираясь щекой и выискивая рукой, так Ключарев и ползет — на ощупь. Вот оно. Как стиснулась горловина лаза! Нет, не пролезть... Вероятно, Ключарев сможет лишь немного втиснуть туда голову, так как смещение пласта привело в этом узком месте уже не к изогнутости, а к излому лаза, и не может же Ключарев и точно ползти как червь; у человека тело прямое. Но голову он втискивает. Через шум крови в висках и в ушах он различает теперь слабый гул погребка, звуки застолья и мало-помалу голоса. Но уже ясно, что если он продвинется еще немного, то, скорее всего, погибнет, потому что не сумеет выбраться назад. Стоп. Не шевелись. Но его заложенных ушей уже достигают слова, слова волнуют, дают высокий настрой духа: *высокие слова*. Затем Ключарев расслышит пение сдвинувшихся за столом, *милого голоса звуки любимые*, перебор гитары, и спор о духовности и чей-то неожиданно живой, хотя и отрезвляюще терпкий, густой басок: «Да, да, Виталик... всем еще по сто грамм! Не поленись, милый!» — отчего Ключарева не только не коробит, но обдает теплом, любовью и стремительным человеческим желанием быть с ними, быть там. Ну-ну, успокаивает он себя, мол, не прислушивайся слишком и не огорчайся, не надо.

Дыра сомкнулась, лаз стиснулся до невозможности, и Ключарев старается не думать о том, как огромна его потеря. Не застолье и даже не мыслящих людей в том застолье теряет он, но саму мысль — ход мысли. Разумеется, никто из говоривших там не знает и не может сейчас ничего знать до конца, но все они (и Ключарев с ними) пытаются, и их

общая попытка — их спасение. Хотя бы попытка! Нет-нет. Нечего об этом и думать. Иначе погибнешь. Который век перебирают высокие слова. Который век рождают их или хотя бы припоминают уже прежде рожденные, отчего и да-ется почувствовать всякому (и полюбить по нашей слабости). Что же еще, если не тот укол высоких слов, напоминает, что он и она (и ты с ними) не просто ползушие или вползающие существа? Что он и она (и ты тоже) не умрут, — что же еще?.. Высокое небо потолков над столиками, где сидят и говорят. Нет, нет, Ключарев не станет об этом думать. Высокие слова, без которых ему не жить. (И без которых не жить его жене. И без которых не жить Денису, ибо даже не понимающий слов человек понимает, что слова есть; и живет пониманием. И Чурсиным не прожить. И той девке, что хотела сглотнуть там, возле бессмысленного и мерно мигающего светофора. Мы — это слова. Даже если только проходим синюшной тенью мимо друг друга, мы успеваем их передать один другому — тем и живем.)

Стараясь не думать и гоня мысли прочь, Ключарев уже выкарабкивается обратно, когда вдруг испытывает то, чего не испытывал никогда в жизни: ощущение стискивающейся земли. В области живота перехватывает его как петель, и Ключарев понимает, что еще один малейший сдвиг — и он погибнет. Так просто, думает он. *Вот оно как.* Но испуг подхлестнул.левой рукой, которую он все время держит вдоль тела именно на случай заднего хода (напоминая и тут пловца, плывущего на боку, плывущего в земле), — этой самой левой рукой он судорожно хватается за выступы земли. Изо всех сил пружиня животом, прессом, он одновременно выталкивает свои ороговевшие ноги назад, вверх по лазу. Он дергается, он бьется, выталкивая себя пульсирующими движениями кверху. Ноги уже в воздухе. Ноги над землей. Последнее пружинящее усилие вверх, и ноги его падают своим весом, тело Ключарева вытаскивает самое себя и (в последнюю очередь) голову. Ключарев сидит и плюется землей. Протирает глаза, полные песку. И дышит, дышит.

Все вместе длилось, вероятно, совсем недолго. Во вся-

ком случае, прочистив глаза, Ключарев видит свою жену, которая продолжает подыматься по сизо-серой асфальтовой тропе. Она уже подошла к пятиэтажкам. Возможно, меж домами темно, и потому жена включает там фонарик, — Ключарев видит скошенный эллипс светового пятна у ее ног на темной дороге.

Жена уже возле второй пятиэтажки. (Он полез бы туда, прополз, протиснулся, ободрав щеку и окровавив ухо, а земля сдвинулась бы не до того, как он полез, а после, и Ключарев остался бы там отрезанный и отделенный от темнеющей этой улицы, где идет сейчас жена, и где Денис, такой огромный и добрый, и где мертвый Павлов, и где на темных улицах не купить ни гвоздя, ни батарейки.)

Ключарев наклоняется и кричит в сомкнувшийся лаз: «Эй!.. Э-эй!.. Э-эй!» — это уже ярость, уже бессмыслие, но и яростный его крик не доходит. Ни звука в ответ. (Вот и вся от него информация — несколько камешков да песок, ссыпавшийся, когда Ключарев пытался туда протиснуться. Официант подмел, даже не ругнувшись.) Жена Ключарева уже возле дома. Световое пятно ее фонарика погасло; вероятно, вблизи дома она экономит последнее дыхание батарейки. Но возможно, батарейка сама сомлегла, иссякла. Сколько Ключарев видел, жена шла не оглянувшись: обдумывала. Больше она одна не выйдет на улицу. Не уйдет из квартиры. (Денис, если он проснулся и если никого рядом нет, — плачет; простая душа, он открывает на улицу окно и зовет плачущим голосом: «Мама! Мама!..» — подарок для любителей наживы и поживы. Пустая, вымершая улица. И плач ребенка — чего же проще!)

3

ДВЕРЬ ИНЖЕНЕРА ПАВЛОВА. Вот она. Ключарев знал про дверь еще от Павлова, когда тот был жив. В одну из своих тихих минут, на самом острие страха, Павлов придумал эту дверь — так просто и так гениально (но

проще ли той пещеры, гениальнее ли?..). Ключарев замечает вязь металлических полосок, и на них, как точки, пропускающие отверстия — своеобразные поры двери, которые выделяют из себя маленькие дозы смерти. Маленькие, но достаточные. (Так должны думать люди толпы. Дырочки — для них.) Дверь через свои металлические поры дышит смертью, ибо сзади, за дверью, находится небольшая, но опять же достаточная рентгеновская «пушка». О чем и сообщает крупная над дверью надпись: мол, никаких тайн, мужики, и никаких иллюзий. ЗА ДВЕРЬЮ «ПУШКА», ДВЕ СЕКУНДЫ ВОЗЛЕ ДВЕРИ — 2 000 РЕНТГЕН, ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ — 40 000 РЕНТГЕН. И никаких иных слов инженер Павлов более не оставил, полагая, что надпись и без пояснений прочтется понятно и свежо теми людьми, кто вздумает выламывать дверь (сколь бы ни были они профессиональны и быстры и храбры от выпитого).

Кнопку звонка Ключарев нажал, секунды идут — так что сейчас Оля Павлова уже подошла, посмотрела в глазок и думает: убить Ключарева рычажком-выключателем или, узнав его, просто открыть ему дверь?.. Она открывает дверь, вся заплаканная, с красным от слез носом. «Проходи. Как ты долго!..» — и точно, Чурсин уже здесь, Чурсин сидит за столом, раскинув перед собой карту города, и жирным карандашом помечает маршруты автобусов, что еще ходят.

Оля торопит сразу же — только давайте не медлить, не медлить, смотрите, как быстро темнеет!.. Но сама же подает им по чашке чаю. Она в фартуке. Живот стоит горой — шесть, но, может, и семь-восемь месяцев?

За чаем спор: Чурсин, добравшийся сюда своим путем, уверяет, что 42-й автобус ходит укороченно и до 291-го автобуса не добратся. Он предлагает пройти два квартала в сторону, до кинотеатра, но зато сразу сесть на 295-й, и тот почти прямехонько повезет их к мединституту. Ключарев возражает, кинотеатр давно пустует, и, стало быть, автобус тем более такого растянутого маршрута, как

295-й, может спрямить путь и не проезжать мимо кинотеатра — что мы будем тогда там делать?..

— И все же он там проезжает, — уверен Чурсин.

— Ну, смотри.

Чурсин уверен. Чурсин в старой кепке, надвинутой на лоб. Кепку он надевает, когда готов вступить в борьбу без правил. (В борьбе за выживание кепка взывает к его запасным внутренним силам, к былому детдомовству. У него действительно меняется облик, стиль поведения, даже речь.)

Оля Павлова переделалась; они выходят. Оля собрала сумку — она кладет в нее белые простыни. «Могут пригодиться», — говорит она негромко (видно, повторяя чужого опыта умудренную фразу) и громко всхлипывает. То есть простыни понадобятся, чтобы *там* его завернуть, или зачем еще?.. Чтобы отвлечь ее мысли от белых простыней, Ключарев задает вопрос: — Оля, а где же агрегат? «Пушка» где?.. (Разумеется, он понимал, что никакой «пушки» нет. Но хотя бы ярко вспыхивающее устройство. Чтоб за дверью через дырочки что-то струилось.)

— Павлов сделать не успел.

— Но я не вижу и начала.

Они стоят минуту у дверей, прежде чем выйти (тут никакого даже намека на устройство). Искрой укалывает Ключарева мысль, что Павлов ничего и не делал. Насмешливый ум. Веселый и лукавый. Иногда впадал в пафос: мол, никогда и никакой лаз его не заманит надолго, и, как бы ни сложилось, Павлов останется на этих улицах, когда начнет темнеть. И остался.

АВТОБУС 295-Й, он подходит, и в салоне его уже плещется свет — еще не ночь, но, конечно, автобус уже едет с огнями. В автобусе десяток милиционеров, их везут, чтобы расставить по точкам. На каждой третьей остановке сколько-то милиционеров выходит. Обычно двое. Парой. По одному их уж давно нигде не расставляют — слишком легкая добыча.

Оля Павлова рассказывает про мужа. Позвонили не ей, а позвонили на АТС, энергопитание которой кончалось: станцию уже консервировали. Блоки отключались с минуты на минуту, и лишь с контрольного аппарата Оле Павловой перезвонили, прокричали в трубку, что ее Павлов упал прямо на улице. Инфаркт. Его подобрала люди мединститута, у них есть морг, все это ей прокричали наспех, глотая слово за словом, и за то им спасибо, великое спасибо... Оля плачет: ведь мединститутские люди поднимают на улице бездомных для чего? — да только чтобы потрошить...

— Ну-ну! — обрывают ее Ключарев и Чурсин. Успокаивают: — Прекрати плакать...

Мотор натужно гудит; автобус идет на подъем — значит, они уже за 1-м микрорайоном.

На остановке входит в автобус крепкий, хладнокровного типа мужичок. Он в новеньком ватнике, в коротких сапогах (так и думается, что за сапогом у него нож. Таких и боится милиция, охота за милицейскими пистолетами идет каждый вечер). Сильный мужчина лет тридцати пяти. С ленцой выискивающие жертву светлые серые глаза. Сидит гоняет желваки. Скрываемая улыбка. Он выходит на одной из остановок, сходит в полутьму, как к себе домой. Его время.

Остановки не объявляются, водитель молчит.

Чтобы ориентироваться и прочесть название остановки на табличках, Ключарев смотрит в окно не отрываясь. Еще можно прочесть. В полутьме мелькают опустевшие детские площадки, давно без детей. Пустые качели, успокаивающее присутствие. Тянутся длинные-длинные витрины магазинов с мелькнувшей крупной надписью: «ТОВАРОВ НЕТ. ПРОСЬБА НЕ БИТЬ ОКНА», — но окна, конечно, разбиты. Зияют дыры от камней с далеко расходящимися трещинами. Один полукирпич так и застрял в стекле (первое пробито, во втором застрял), исчерпав свою полетную силу, засел, торчит в стекле, и двухметровые трещины расходятся от него, как лучи от солнца.

Они трое только и остались в автобусе.

Автобус внезапно тормозит на одной из остановок, так что они дергаются головами вперед, а Оля Павлова при этом опасно хватается за живот.

Автобус стал. Двери открылись. Конец пути — это понятно и без слов, однако маршрут автобуса кончается не на этой остановке, и потому, уже сойдя, все трое подходят к кабине водителя попытать удачи. «Нам дальше ехать», — напирает Чурсин, но водитель только мотает головой — нет, не еду. Нет, он дальше не едет. Чурсин не отстаёт:

— Но ведь она беременная! Не видишь?..

— Ясно, что беременная! — кричит водитель с вдруг вспыхнувшей злобой на интеллигентов, которые были и есть виноваты. — Ясно и ежу, что беременная! Если б не живот, вы бы с ней давно в свои дыры улезли! Попрытались бы!

Социальная ярость, как всегда, груба, но ведь она только и претендует на грубую, приблизительную точность попадания. Вероятно, он прислушивался к их разговорам, и поскольку не матюкались, не говорили о примусах и жратве, то было ясно, что они и довели страну до ручки. Погубили! (Если не продали.)

Но водителя тоже можно было понять (Ключарев немедленно это отмечает, спешит простить), ибо как раз за той небольшой площадью, которую водитель автобуса не решился переехать, начинались темные, глухие и заведомо опасные улицы, с малым числом домов и недостроенными корпусами мединститута.

— Ну, и езжай, мать твою!.. — кричит Чурсин, еще пять минут назад так надеявшийся на свою кепку. (Считал, что она его опрощает и чуть ли не делает из него работягу.)

Стоят.

Автобус медленно разворачивается. На какую-то минуту кабина водителя, вычерчивающая круг, оказывается против них. Водитель, притормозив, кричит, что он на те глухие улицы уже съездил и с него хватит! — вчера ездил! — там в темноте его тотчас окружили мужики и забрали бензин. Прямо с бензобаком. К тому же отобрали

ужин, который дала ему с собой жена. Отобрали последние две сигареты. Забрали поясной ремень. А какая-то сука велел снять ему ботинки, но увидев, что ботинки плохонькие, просто нассал в них, — такой вот умный, мать его!..

Водитель все это выкрикивает под рычание своего разворачивающегося автобуса, под выстрелы выхлопной трубы.

— Езжай, езжай, вонючка! Жаль, тебе на башку не нассали! — кричит Чурсин ему прямо в лицо, не прощая и не снисходя. Социальная ярость, если уж она выходит на поверхность, делает всех взаимно проще и взаимно злее.

Оба продолжают орать друг на друга под рев мотора, наконец автобус трогается в обратный путь.

Перекресток пуст.

Довольно долго идут в тишине. Оля Павлова держится за руку Чурсина, уж очень здесь пусто и тихо. Сумку несет Ключарев.

В совершеннейшей тишине откуда-то издали, но именно с той стороны, куда они идут, возникает в воздухе шероховато плывущий звук. Этот звук ни с чем не сравним (хотя и принято сравнивать его со звуком набегающих волн, но схожести мало; натяжка на образ). Звук особый. Звуки ударные и звуки вращая, сливающиеся в единый скрежет и шорох, вполне узнаваемый всяким человеческим ухом издалека: толпа.

Шарканье тысяч ног с каждой минутой приближается; но все еще кажется происходящим где-то поодаль, тем неожиданнее это тысяченое шарканье и гул вдруг материализуются в большую группу людей. «Боже мой!» — вскрикивает Оля Павлова. Людской поток возник сразу. Люди идут, торопятся, но и поспешая они движутся тесно, плечо к плечу. Поток пока невелик, но что за ним дальше?

Ключарев, Чурсин и Оля остановились, смотрят — людской поток возник из-за дома, притом огибает дом так плотно, что угол и стены, вероятно, уже вытерты плечами

до кирпича. Почему по закону стопорящегося движения толпа желала поворачивать тут, а не там? — неизвестно. Вырвавшиеся, выскочившие из пробки люди отделяются от общей круговерти и — с относительной свободой — тут же устремляются почти бегом (спешка, подбадривающие крики! топот ног по асфальту!). Через головы бегущих виден теперь еще один людской поток. За ним — третий.

— Потоки мы пересечем, но после столкнемся сразу со всей толпой. Они будут давить все подряд! Не выбераться нам, — говорит Ключарев.

Чурсин отшвыривает окурок, сплевывает.

— Но иначе мы вообще не пройдем.

— А если дворами?

Спорить времени нет — надо на что-то решаться. Оба смотрят на Олю Павлову, словно это она может решить или хотя бы дать им знак на решение. Но Оля, конечно, ни слова не произносит, глаза ее в растерянности остекленели.

Они идут в обход. Дома глухи. Дворы тоже — пусты детские качели, пусты натянутые веревки для белья. Пусты скамейки для старушек, что у подъезда. И откуда-то выскакивают, проносятся мимо две собаки. «Пошли! Пошли!» — кричит Чурсин, а Оля Павлова в страхе жметесь к Ключареву. Остановились. Сложив руки рупором, Чурсин взывает к окнам домов: «Э-эй!» — после чего тянется долгая-долгая минута. В одном из темных окон возникает лепешка лица, слышится совет через форточку:

— Не пройдет тут. Возьмите еще левее. И идите до самой стены!

Дома с мертвыми глазницами окон тянутся без конца, бесконечны пустые дворы, но как только в междомье Чурсин, Ключарев и Оля оказываются на сквозняке, сразу же слышно то же тысяченое шарканье по асфальту и смутный гул (все же не рев) толпы. Стихающий на миг топот обманчив. Чтобы опередить этот надвигающийся гул, они еще больше огибают дворы, но появляется линия прилепившихся друг к другу гаражей, она опасна, она может на-

прочь отрезать, и тогда как идти?.. Дворы... Детские площадки. Песочница, брошенные детские совки. А гаражи все тянутся (один гараж со взломанной дверью, машины, конечно, нет). Вдруг объявляется пьяный мужичок. Маленький, худой, он идет за ними и поет: «Тто-ттто-вариши. Нни... нне... бросайте меня...»

Ключарев и Чурсин не говорят ни да ни нет.

Пьяный тащится сзади, бормочет о потерянном лотерейном билете, о том, что только что его сбил автобус и даже, кажется, переехал, так что теперь «все внутренности стали вытянуты».

— Не ной, — строго бросает ему Чурсин.

Подошли к каменному высокому забору, за ним должна быть площадь, которую надо успеть пройти прежде толпы. У забора пьяндыга начинает ныть с особой силой, цепляется, мешает, лезет к ним, боится, что его здесь навсегда бросят. Времени нет. До такой степени он осточертевает своим нытьем, что Чурсин и Ключарев подсаживают первым его и помогают перевалиться по ту сторону, взгромоздив его на забор, как куль.

Но главное — Оля. Ключарев отыскал доску, приставил к забору: доска коротковата, угол подъема велик, Оля подымается по доске, опираясь на руки Чурсина, сам Чурсин остается на земле. Руки Чурсина не достают и слабеют, доска тяжелеет с каждым ее шагом, но к этой минуте Ключарев уже сидит на каменном заборе верхом и тянет руки к ней сверху, ну... ну, еще немного. Дотягивается и перехватывает Олю, помогает ей сесть на кромку забора. Ключарев мокр, он обливается потом, помогая Оле медленно спуститься, удерживая ее за обе руки. «Только не плюхаться. Не падать. Терпи. Опущу тебя почти до земли», — повторяет Ключарев, еще немного — и его пресс лопнет от натуги. Но уже Чурсин перелез забор, спрыгнул и принимает весь живой вес Оли и ее живота на руки.

— Скорее! — поторапливает Ключарев.

С высоты забора, прежде чем спрыгнуть, Ключарев видит дальше, чем видят они: впереди лежит площадь — ог-

ромная толпа заливаает ее, но верх площади еще чист, пуст, надо успеть.

Топот тысяч и тысяч ног заполняет, забивает уши, — все трое вместе устремились к незанятому пространству, необходимо достичь хотя бы середины площади (чтобы их выталкивало, но уже на ту сторону). На них набегают. Столкновения нет, так как первые люди бегут довольно редко, меж ними прогалы, и насколько Ключарев, Чурсин и Оля стараются уклониться, настолько и бегущие стараются с ними не сталкиваться, не сшибаться. Эти прогалы, пустоты толпы дают возможность сохранять свое движение и тогда, когда уже начались неминуемые толчки тел о тело. «Не могу!» — говорит Оля Павлова. И, оступившись, вдруг садится, обхватив руками живот и тяжело дыша. «С ума сошла!» — кричит Чурсин, хватывая ее за руку.

Она вопит:

— Не могу-уу!

Ключарев и Чурсин, наклонившись над ней, тянут за руки, просят, уговаривают ее хотя бы подняться. Их обегают, на них насакаивают, сшибают с ног. Толпа густеет, их начинает сминать, тащить. — Оля Павлова все же кое-как поднялась, непрерывные удары локтей, подталкивание, пихание. Лицо в лицо жаркое дыхание людей. Затмило. Вокруг головы, плечи, пиджаки. Ключарев и оберегаемая Оля стоят обнявшись. Оба уже срослись. Слиплись в одно, но продвижению это не помогает.

— Чурсин! Чурсин! — зовет Ключарев.

Но того уже оторвало от них: не видно. Рев и гул вокруг. Толпа густа, но еще густеет, сдавливает. «Не дергайся. Держись за меня. Держись за меня», — уговаривает Ключарев Олю, чуть что и подталкивая ее в возникающий впереди небольшой прогал (думает — достигли середины? или нет?). Оля дышит ему в лицо, в шею. Она молодец. Кажется, они все-таки на той стороне, и Ключарев решает больше не пробиваться, отчасти подчиниться толпе. Сразу становится легче. Их сдавливает, стискивает, определенно

несет вперед и в сторону, вынося по какой-то почти ошутимо плавной кривой. Держащиеся вместе, они делают шажок-два в прогал, потом снова подчиняются потоку, и, подхватывая их как щепу, толпа несет, как несет река. Через головы и кепки Ключарев уже видит ту сторону площади: дома на той стороне помалу приближаются, словно Ключарева с Олей и впрямь выбрасывает медленным течением на отмель берега.

Лица толпы жестки, угрюмы. Монолита нет — внутри себя толпа разная, и все же это толпа, с ее непредсказуемой готовностью, с ее повышенной внушаемостью. Лица вдруг белы от гнева, от злобы, задеревеневшие кулаки наготове и тычки кулаком свирепы, прямо в глаз. Люди теснимы, и они же — теснят. Стычки поминутны, но все их стычки отступают перед их главным: перед некоей их общей усредненностью, которой не перед кем держать ответ, кроме как перед самой собой, прежде чем растоптать всякого, кто не плечом к плечу. К счастью, движение Ключарева и Оли растворено в движении толпы, неприметно: в сущности, скрыто. Их несет толпа. Они ее частица. Олю знобит. Зубы ее лихорадочно стучат от пережитого страха. «На всю жизнь. На всю жизнь...» — повторяет Оля Павлова, мол, запомнила и не забудет.

В какую-то минуту, вытянув шею, Ключарев видит Чурсина: тот не может выбраться из коловорота, образовавшегося у фонарного столба. Пытаясь вырваться, Чурсин делает отчаянные усилия, но едва он, работая локтями, отбивается в сторону, как его тут же волочет с общей массой назад. Волочет с такой силой, что он вынужден вновь хвататься за фонарный столб. «Чурси-иин!» — кричит Ключарев, но тот не слышит. Еще миг Ключарев видит его лицо, мокрое от усилий, от мышечной работы, его кепку, а затем Ключарева и Олю сносит дальше, Чурсина отрывает от фонаря, и лицо его с надвинутой кепкой исчезает, унесенное толпой.

Они уже определились, Оля Павлова и Ключарев, — вся толща толпы позади, их нет-нет и подталкивает, но

уже несильными пульсирующими толчками. Можно сказать, что они шагают рядом.

Они на той стороне, возле одного из домов. Ждут. Ноги у Ключарева мокры под брюками, будто бы нижняя половина его тела была в бане, более жаркой, чем голова и грудь. Он уже сориентировался. Показывает Оле пальцем на корпуса мединститута: «Вот там...» — а мимо них все идет толпа. Толпа напирает. Ключарев и Оля жмутся в спасительный проулочек, а толпа, густея, давит вперед. «А-ааа. Уу-ууу...» — катится окрест многоголосое, многоногое и ничем не сдерживаемое, если не считать застывших справа и слева каменных тел зданий. Появляется, слава богу, Чурсин. Он без кепки, растерянное лицо человека, которому помогло чудо, а не бывшее его детдомовство. А толпа все катит за валом вал.

Они вновь идут вместе, все трое — идут проулочком по печальной своей необходимости, все прибавляя шагу и все более (после рева толпы) погружаясь в ту самую тишину, что так их пугала.

Улицы вновь пусты. Небо темнеет. Сумерки.

Они отыскивают нужный им корпус (отсюда позвонили на АТС, а те перезвонили Оле), — пускают их здесь только до перегородки, за которой сидит человек с оружием, как бы вахтер. Они долго объясняют через перегородку, кто они и зачем пришли. «Семеныч!..» — человек кричит некоего Семеныча, зычно кричит в пустоту здания, и появляется невысокий мужичонка в ватнике, с огромными ржавыми ключами на стальном кольце. «А-а. Здравствуйте», — довольно просто (и довольно человечно) говорит Семеныч и машет им рукой: пошли, мол, после чего они без помех идут за ним к моргу. К маленькому домику на отшибе.

С самого начала их похода Ключарев понимал, что никуда они этим вечером тело Павлова, конечно, не повезут (на чем? и куда?..) и что надо похоронить здесь же. И потому, ища подходы и контакт, Ключарев говорит о том о сем с Семенычем, говорит простецки и душевно, а Семеныч тоже простецки нет-нет и выпаливает вместо ответа:

«Ха-ха!» — шагают они рядом. Сзади идущую Олю Павлову захлестнули слезы, слышится короткий ее всхлип, рыдание. Но с ней Чурсин, обнимает ее за плечо, успокаивает.

Меднолицый, брэнча связкой ключей, Семеныч выносит Оле бумагу, где она расписывается. Но внутрь они ее, конечно, не пускают. Входит внутрь Чурсин, за ним Ключарев — Семеныч включил свет, показывает, — быстро заворачивают они своего насмешливого Павлова, лежащего на переднем столе, в одну из простынь. Павлов во льду, весь ледяной; в брюках, в рубашке, в пиджаке, и галстук, как и при жизни, насмешливо отброшен в сторону. Завернув в первую, они кладут его на вторую простыню и, крепко держа за углы, Чурсин спереди, Ключарев сзади, — выносят. Оля стоит, обхватив лицо руками.

Далее все быстро. Семеныч еще раз спрашивает, нет ли у них машины (машину, если она и есть, в сумерки паркуют тихо, стоит себе меж других машин, словно бы также безбензинная и брошенная). Но машины и точно нет. Тогда Семеныч говорит про разрушенную церквуху на задниках второго институтского корпуса. Там есть ряд старых могил. Третьего дня он, Семеныч, самолично похоронил там одного парнишку, затоптанного толпой.

Конечно, старую церквуху могут снести, построят следом дом, и Оля окажется без могилы мужа. Но ничего лучшего нет. Поэтому Ключарев молчит (ни слова Оле), молчит и Чурсин. Семеныч вызывается их проводить. Извлек откуда-то старые больничные носилки, чтобы легче нести. Сменяя то одного из них, то другого, он помогает нести в очередь. Он замечателен, этот Семеныч, последний профессионал, честно выполняющий свое дело. Ключарев несет сзади, а Семеныч впереди, невысокого роста, в старом ватнике, с седой головой.

Церковь порушена, еще и осквернена остаточным хламом, был склад, но больше и под склад не захотели использовать, — при появлении людей вороны дружно взлетают, одна из них, взлетевшая, покачивается на высоком штыре, что вместо креста. Семеныч, отыскав в кустах ло-

пату, говорит, что копать будет он, ведь он это сделает лучше. Но и они, сменяя его, копают. Яма быстро углубляется; сначала зев ямы похож на лаз, на дыру, затем на какое-то время яма делается емкой и обещает стать пешерой, но затем мертвенная форма прямых углов овладевает земляным пространством, и яма становится тем, чем и хочет сейчас быть: могилой. Пещера их Павлова, он ее получил, земля ему пухом. Оля припала к холодному телу; целовала, высвободив, голову. Это конец. Они опускают его без гроба, в простыне. Засыпали. И стоят рядом, отдельно от него, когда уже над ним их скорый холм.

Семеныч, тряся ключами, провожает их и все говорит Оле, что «для приметы» он посадит тут «отменный шиповник», пересадит к могиле уже живой, большой куст, — Семеныч, расставаясь, делается слишком говорлив, из него продолжает исходить доброта, которой, как ему кажется, он не успел вполне окружить их при недолгом общем деле.

Проводив Олю, они еще какое-то время стоят у подъезда ее дома — сама Оля, Чурсин и Ключарев. Мужчины говорят друг другу, что надо держаться вместе. Чурсин уверяет, что бункер его старичка-соседа прекрасно вместит всех и что при опасности пусть каждый немедленно приходит к нему, а Ключарев в свою очередь сообщает, что роет пещеру, место отличное и хорошо спрятанное, рядом ручей, вода прозрачна... Так они зовут друг друга, но исподволь проступает уже знакомое ощущение расставания. Потому что вместе — опаснее. Хотя они искренни и говорят, да, да, да, держаться вместе, быть вместе, искать вместе, с каждой минутой проступает, что хорошие слова — лишь надежда, и что еще минута, и они разойдутся. Смолкли. По причинам, не зависящим от их движений души, Чурсин надеется на бункер, Ключарев на пещеру, а Оля Павлова на свою пугающую дверь с объявленной за ней «пушкой». Грустное чувство. Кажется парадоксом, тем не менее природа призывает их сейчас не объединиться, чтобы вы-

жить, а напротив — быть порознь, затаиться в своих шелях, сделаться меньше и незаметнее, ибо именно у расплывшихся, у ставших как пылинки более шансов выжить и уцелеть.

Оля Павлова стоит отрешенная. (Она еще там, у могилы.)

Ее спрашивают:

— Как твои роды? Сестра придет?..

Оля кивает — да, сестра обещала, старшая сестра придет ко времени и поможет. Это важно. Жена Ключарева и жена Чурсина, конечно, тоже помогут. Но как общаться? Как узнать, если ни телефона, ни почты?.. Время от времени хотя бы перекинуться словцом, ну, скажем, там, где автобус № 28 делает круг. Этот круг (более или менее!) недалек от всех них. Да, да, если что-то рушится или что-то случается особо важное, то у автобуса № 28...

ТЕМНЕЕТ БЫСТРО, но еще не ночь. Возможно, темнота кажется большей чем есть из-за того, что, когда Ключарев идет совершенно пустой улицей, среди тысячи темных окон два окна вдруг вспыхивают и словно выстреливают в глаза Ключареву (случайно в чьей-то квартире зажгли и тут же, спохватившись, погасили). Невольно вобравший в себя вспышку, как это бывает в полутьме, он на время слепнет. Идет как в ночи.

До такой степени глаза еще не видят, что Ключарев натывается на человека. Ключарев тут же отшатывается в сторону, но и человек отбегает: он тоже не видел Ключарева, потому что, присев, как раз рылся в карманах кого-то, лежащего сейчас на асфальте, вероятно, мертвецки пьяного. Человек отбежал. Но видя, что Ключарев прошел мимо, человек тотчас возвращается к своей жертве.

— Иди, иди! — кричит он, осмелев, хриплым голосом вслед Ключареву.

Садится на лежащего и выворачивает ему один за другим пиджачные карманы. Покончив с пиджаком, лезет в брюки. Отбрасывает из добычи что-то в сторону, что-то

счастливо прячет себе. Пьяный не подает признаков жизни. Возможно, мертвый.

Ключарев один, больше никаких встреч. Сумерки. Пустынная улица и негромкий звук его собственных шагов.

4

ЛАЗ НЕМНОГО РАСШИРИЛСЯ. Это видно. Каждый раз, уже свесив в дыру ноги, готовый спускаться Ключарев, сидя на краю, выбрасывает предварительно все из карманов, чтобы не пораниться при протискивании: авторучку, ключи от квартиры, кошелек; Ключарев перекладывает добро в небольшой мешочек-пакет, привязывает его к ноге, за лодыжку, так что пакет висит на ноге и неощутимо опускается сам собой в лаз прежде Ключарева все ниже и ниже. Но все острые камни в пакет не спрячешь, не застрахуешься. При дерганьях тела (а они обязательны) Ключарев уже не втискивается, а ввинчивается, сначала коленями и задом, а затем плечами делая круговые движения, при этом шумно дыша, а то и вскрикивая, если вдруг больно. Кремень, камешек (всего-то с орех) отрывается от грунта, попадает меж узкой горловиной и ребрами Ключарева — и вот уже нестерпимая боль. Теперь главное не задержаться и не сбить дыхание, иначе в страхе начинаешь инстинктивно выкарабкиваться наверх, как утопающий, и весь труд зря: отдышался — спускайся снова. Поджатой левой рукой Ключарев пытается кремень ухватить. Нельзя упустить минуту: камешек, прорвав кожу, может на чуть войти в рану, тогда хоть погибай. Руки шарят. Ключарев в то же время выдыхает из легких весь воздух насколько может, с тем чтобы на миг освободившийся камень собственным весом сполз пониже. Камень либо сам упадет вниз (так в этот раз и случается), либо поджатая левая рука Ключарева сумеет стронувшийся камень выискать и прихватить в пальцы. Вот сколь важно дыхание. Весь сжимаясь, Ключарев еще раз выдыхает из легких, — и камень летит

вниз. Больше того, за камнем следом, со все еще поджатыми легкими, и сам Ключарев рывком ввинчивается вниз чуть ли не на полметра. В боку боль, камень успел продрать бинт и поранить кожу, зато и Ключарев уже преодолел узкое место горловины.

Теперь Ключарев старается быть толще, упирается локтями, так как лаз широк и ноги не чувствуют земли — ноги висят. Еще усилие, и протиснувшийся Ключарев уже весь зависает в воздухе. Он висит над свободным пространством, нашаривая ногами верхнюю перекладину лестницы-трапа. Ни правая, ни левая нога ничего не находят (Ключареву бы хоть чуть опустить голову, чтобы видеть). В потолке, к счастью, из самой дыры торчит кусок арматуры, Ключарев, заскользив, хватывается за него руками. Теперь он висит надежнее. И видит. Внизу — застолье, шум и гам, как всегда. Лестницу-трап с несущим ее столбом передвинули в сторону, так как для посетителей понадобилось поставить несколько дополнительных столиков.

— Эй! — окликает Ключарев. (Но не слишком громко; ему кажется неловко и не слишком-то интеллигентно прерывать занятых едой и беседой людей.) Так и есть. Они поставили столики, пьют, спорят, а лестницу-трап попросту сдвинули, забыли. Два новых столика. Они почти под висящим Ключаревым. — Эй! Э-эээй!

Можно разбиться. На миг высвободив одну руку, Ключарев наскреб пальцами сколько-то камешков вместе с землей и бросил вниз, метя не на стол, конечно, но в крайнего из сидящих мужчин. Мимо. Еще раз — теперь Ключарев выбрал камешки, землю отсеял меж пальцев и пригоршней камней запускает в крупного мужика с поднятой в руке стопкой водки. Попал. Тот недоуменно глядит направо-налево, наконец подымает глаза.

— Ого! — вскрикивает он. — Смотрите!..

Затем его дама, затем и другие люди за столиками галдят и указывают друг другу на Ключарева, прилипшего к потолку. Мужчина отставил воду и кусок рыбы на вилке, встал, к нему подбежал официант в помощь — вдвоем они

подкатывают столб с лестницей-трапом. Столб не дается, тяжел, так что еще два интеллигентных бородача бросаются помочь. Пьяненькие, щедрые, улыбающиеся Ключареву в его высях, они оттолкнули официанта: мол, занимайся своим прямым делом, слабак, — и дружно, мощно катят столб, подкатали, с разгона едва не ударив Ключарева верхней ступенькой стремянки по ногам. Подошвы обрели опору. Ключарев спускается, на каждой перекладине слыша мелкую дрожь ног. Диафрагма после долгого висячего напряжения никак не успокоится, дергается. В придачу одолела икота. Но уже обступили, хлопают его по плечам и ведут за тот, или за тот, или даже за третий столик — к нам! к нам! — и, чтобы сбить его малоэстетичную икоту, Ключареву наливают нарзану и пепси, но кто-то кричит, что это ошибка, коньяк, коньяк вернее всего! Ключарев еще не различает их лиц.

— Ты же голоден! поешь!.. сегодня отличная вырезка, поешь! — говорят ему со всех сторон, суют тарелку, стопку, и Ключарев пьет и жует, приходя помалу в себя.

Возобновляется их разговор (о Достоевском, о нежелании счастья, основанного на несчастье других, хотя бы и малом, — известный зачин), и уже через две минуты душа Ключарева прикипает к их высоким словам. Они говорят. Сферы духа привычно смыкаются над столиком, и Ключарев онемевший (мертвый?) на тех пустынных улицах, где активен лишь вор, сидящий верхом на жертве и роющийся в ее карманах, — онемевший Ключарев слышит присутствие Слова. Как рыба, вновь попавшая в воду, он оживает: за этим и спускался.

Замечательно освещение; Ключарев с удовольствием вглядывается в лица. В полутьме улиц он привык довольствоваться слабым пятнышком лица, смазанным очерком скул и потому сейчас почти невольно вбирает богатство всякого человеческого лица, все равно — мужского, женского.

Высокие слова отступили. Общение не может быть вы-

соким беспрерывно; так же как нельзя всю ночь смотреть на звезды. Душа расправилась, затрепетала, вздохнула — и того довольно. Механизм всякого разговора таков, что за кратким всплеском духа идет простой треп, бытовщина и ирония над ней, жуется долгая жвачка обмена информацией, и только вдалеке маячит вновь всплеск духа, быть может, мощный или, быть может, минутный, краткий, как разряд, но ради него, минутного, и длится подчас подготавливающее нас человеческое общение.

Вера в то, что мы *вместе* (и там, на темных улицах, и здесь, за столиком), и вера в то, что это *вместе* уже изначально заложено в нашей сущности, — что это? почему это?.. Говорит Георгий Н., молодой, в нем пляшет нетерпение; Ключарев его знает мало. Георгий Н. переводит общее внимание на Ключарева; спрашивает:

— Но электричество есть?.. Не ходите же вы там в полной тьме?

Что ему ответить? как выразить стометровое отстояние одинокого фонаря на дальнем подземном переходе пустой улицы?.. Отвечая, Ключарев машинально теребит рубашку и, как оказывается, отрывает ее, прихваченную запекшейся кровью, — движение за движением, по сантиметру Ключарев отдирает рубашку от тела (это не больно, и это с пользой, потому что не дает рубашке присохнуть к ранкам). Георгий Н. вдруг заходится кашлем (тоже своя боль), и когда кашель стих и Георгий отнял платок ото рта, Ключарев успевает заметить в платке сгустки крови. Кровь не телом, а горлом. Много света, но маловато кислорода. Георгий Н. наскоро бросил платок в большой солидный портфель, спрятал, вынув на подмену другой. И как ни в чем не бывало сидит, оглаживая платком свои молодые усы.

— Надо бы еще выпить. Сергей, закажи официанту еще по сто.

— А закуски?

— И закуски тоже.

И снова включается в их разговор:

— Позволь, Сергей, тебе возразить...

Незнакомый Ключареву мужчина с красным шейным платком начинает новый безупречный накат слов — впрочем, без страсти. Дух оставил говорящих на время; но говорящие поддерживают хотя бы уровень своих слов. (Дабы духу было куда вернуться, — угли, которые раздует, быть может, ветер.)

— ...И если беда, то беда эта — общая. Давайте взглянем хоть однажды на слово «общая» с дурной, с отрицательной его стороны. Что нас пугает? Нас теперь то и пугает, что мы общи и повязаны общностью — стрясись голод, уличные беспорядки, погромы и убийства прямо на улице, толпа обезумеет вся целиком. *Это* — охватит всех нас, вот общность. Мы не верим ни в милицию, ни в войска, ни даже в танки на улицах, потому что милиция, войска, танки сами точь-в-точь такие, как мы. Они непременно запоздают. Они стопроцентно запоздают, потому что они и толпа — одно общее...

Ему (несколько ворчливо) возражает пожилой мужчина. Говорит, что мрачность — тоже наша нынешняя общая черта, не поддадимся же ей.

Женщина (она до этого молчала) вдруг сворачивает в историю:

— Но связана ли с нынешней общностью русская крестьянская община? Я имею в виду — коллективистское мышление общины?

Хочется приопустить разговор в глубь веков, в старинные заводы и дубравы отшумевших и не столь болезненных обобщений. Отход в древность поддерживает огонь в углях. Мысль перестраивается, нет-нет и вспархивая из залежей истории с прихваченным оттуда квантом старой энергии. Дух так и оплодотворяется более всего — хаосом различных мнений.

Ключарев встает. Он отдышался, «глотнул», теперь он может продолжать жить — может вспомнить конкретные мелкие заботы: чай, батарейки купить, керогаз, что там еще?.. Поскольку он уходит, они хотят выпить за его здо-

ровье. (И если он уже встал, они подымутся и выпьют стоя.)

Молодой Георгий Н., не давая остыть теме, торопится сказать:

— Мы, как пчелы, повязаны ройностью. И как пчелы, мы погибнем все сразу, если погибнем. Где бы мы при этом ни находились (вверху или внизу — все равно!). Еще минуту. Я рад, что мы пьем стоя. Мы словно в полете. Как гибнет рой, вы знаете — пчелы все разом взлетают, взмывают, последний воздушный дриблинг, полет, а потом все разом они валятся на землю, на траву лапками кверху, и — отвернитесь! — некрасивое последнее содроганье...

ПОКУПКИ. Поразительно это обилие света! Светильники теряют подчас уличную симметрию и обрушиваются на его зрение гроздьями, огненным водопадом, игрой огня, — еще немного, и Ключарев почувствует, как в воздухе пахнет хвоей, разлапистой елкой, детством.

Магазины, расцветенные в час распродажи. (Зазыванье ведь тоже игра из детства.) Магазины набиты товаром. Что хотите. И как хотите. Ломятся от добра. Продавцы, правда, надменны и слишком сыты. Когда покупателей немного (а покупателей почти нет), продавец должен быть по европейским, скажем, образцам покладистым, если не любезным, — но ведь тут, кажется, не Европа и даже не эмиграция. Продавец помогает Ключареву выбрать малоемкий керогаз, но едва Ключарев заплатил, швыряет ему для упаковки (завернешь сам! руки не обломятся!) пакет с яркой надписью его лавчонки. Пакет не долетает до Ключарева. Продавец уже отвернулся, уткнувшись в газету.

Ключареву нужна ткань, обычная грубая серятина для выстилки той пещеры, что он копает на спуске к реке. В соседней лавке продавец много любезнее — зазывает, приглашает войти. Его магазинчик сверкает изнутри еще более, чем снаружи. Неоновые стрелы рекламы многоцветны и упираются каждая в свою ткань: ткани великолепны,

ярки и привлекательны, но Ключареву нужно совсем иное. «А мы вам скатаем ткань в рулон. Удобно нести, как удилище. Как смотанную удочку!» — шутливо предлагает продавец, взгляд его цепок, умен. Быть может, он видит через свитер Ключарева рельеф бинта, обтянувшего его ободранное туловище (и ведь «удобно нести» как раз и означает — вытянуть в лаз, вытолкнуть в дыру, удобство узости). Ключарев (он и не делает из покупок секрета) объясняет, что цвет нужен серый; если не темный, то, во всяком случае, сдержанный цвет, чтобы не привлекать внимания ни издали, ни даже если всунуть внутрь пещеры любопытную голову. Если же краски, то пусть дождь, и пожухшие до черноты листья, и мокрый грязный снег будут вашим краскам в тон.

— Нет, — мотает головой продавец.

И повторяет, понимая Ключарева, но не умея ему помочь:

— Нет.

И кричит уходящему Ключареву уже вслед — вы нигде не найдете, разве что бросовое на складах!?. И ведь нетрудно вытоптать! вы и не заметите, как вытопчете ткань после первого же дождя!

Кто-то трогает Ключарева за плечо. Извините. На одну лишь минуту... Это продавец из лавки, но не тот, с умным взглядом, а первый, хамоватый, у которого Ключарев купил маленький керогаз и батарейки. Вероятно, все эти десять минут ключаревский керогаз («Самый маленький. И желательно узкой формы...») медленно доплывал до его ленивого сознания — и доплыл.

— Послушайте, — продавец понижает голос до шепота. — Послушайте. Вы будете выбираться наверх?

Ключарев кивнул.

— У меня просьба. Не откажите... Позвоните по этому телефону. — Он дает (дарит) Ключареву еще одну батарейку для фонарика, на корпусе ее четко написаны семь телефонных цифр. — Скажите им: привет от Валентина Андрее-

вича. Валентин Андреевич — это я. Да, только привет. Я больше ничего не прошу. Только три этих слова. Мол, жив и здоров...

Сытого хамства на его лице уже вовсе нет — просящий интеллигентный человек, Ключарев, конечно, не может отказать, Ключарев смущен (только что плохо о нем подумал). Но ведь на темнеющих наших улицах почти все телефоны без энергоснабжения. Он попытается. Нет, обязательно попытается... нет, это ничего не будет ему стоить.

Складское помещение. Ряд запертых дверей. Но одна дверь приоткрыта, — Ключарев заглянул, тетка Ляля, жирненький стареющий бабец (и когда только он отделается от жаргона молодости) в фиолетовом чистом халате все еще лежит с той самой поры на положенных один на другой упругих мешках. Ключарев вошел — озабоченно говорит про ткань. Полулежа Ляля кивает: мол, понятно. «Вот опять понадобилась!..» — смеется не подымаясь.

Ключарев, поважнев, объясняет — ткань, мол, нужна прорезиненная, но теплая.

— Есть такая. Третья складская дверь.

Говорит она лениво, едва подняв голову. Полулежит. Глаза ее увлажнены, удовлетворены; быть может, дремала, но скорее всего просто-напросто не отошла с той сладкой минуты. Мадам. Смотрит на Ключарева разморенными глазами, прикидывая, поспать с ним сейчас или не поспать, пропустить один раз мимо.

Ключи рядом, и одной рукой она вяло ими поигрывает (музыка! они чуть позвенькивают!). Ключи лежат на клетчатом мешке, словно бы тоже разморенные музыкой, и она перебирает их пальцами, приводя их негромкий звон в полное согласие с притихшей душой. «Подойди ближе. Ближе. Прошу тебя...» Он подошел. Она улыбается. Той же рукой, не подымаясь, тянется к его брюкам, что как раз на ее высоте. Запустив руку внутрь, с той же ленцой, глядя ему глаза в глаза, она перебирает там пальцами, как только что перебирала связку ключей. Ключарев молчит,

она перебирает. Но, видно решив, что напрягаться ей сейчас не по настроению или просто лень, ограничивается лишь малым удовольствием его возбуждения: на уровне то ли ласки, то ли игры. Затем сворачивается клубочком и закутывается в немодный складской плед. «Возьми ключи», — говорит. Закутанная в плед, поджавшая ноги, лежит, провожая взглядом Ключарева, отправляющегося вдоль запертых дверей.

Вышедшие из моды ткани (водоотталкивающие и к тому же теплые, с ворсом). Цвета те самые — от серого до землистого. За третьей дверью склада Ключарев тщательно роется, выбирая. А выбрав, скатывает отмеренный материал в рулоны, стараясь сделать скатку ровной, без морщин.

Уносит два куска тканины, свернутые в узкие рулоны. Две пики. (Две смотанные удочки.)

Холеная старенькая тетка спит, и Ключарев (неожиданно) испытывает человеческое сочувствие к ее годам, к возрасту. Все мы стареем. Он кладет ключи подле нее. «Я не сплю, — она, кажется, оправдывается; она спит и пытается выразить чувство, не открывая сонных глаз. — Я не сплю. Я томная...»

На открытой эстраде поэт; в руках микрофон, слова несколько гулки. Здесь меньше света, но больше блеска. Кроме того, два прожектора держат читающего стихи в перекрестье (когда поэты сменяют друг друга, прожекторные лучи тотчас разделяются, один луч провожает уже выступившего, второй луч выхватывает из толпы и в овале света ведет к микрофону того, кто будет выступать со стихами следом). Люди вокруг замерли: слушают. Ключарев не стал пробираться ближе; со своими рулонами, прижав их к груди, он стоит поодаль, но он тоже замер. Слово имеет над ним власть. Стихи при непосредственном впечатлении улавливаются приблизительно, но талант нет-нет и сверкнет, и тайна, как озеро поутру, исходит белым туманом поверх воды произносимых строк. Ключарев пьянеет.

Поэт, по его мнению, очень вырос. Под стать и облик. Жесты руки умеренны, артистичность несомненна, и даже некоторая громкость дыхания, плата за микрофон, не в счет.

Неподалеку целая россыпь киосков, где предлагают купить стихотворные книжечки. Пестуют вкус. Ключарев видит девушку-продавца, — держа раскрытый томик в руке, она следит за стихотворной строкой глазами и одновременно слышит стих в авторском исполнении (нирвана?).

Видит Ключарев и поэта, которому предстоит сменить выступающего. Тот весь волнение. Щеки в румянце, не может с собой справиться... Волна рукоплесканий, шум и ликующие возгласы завершили отзвучавший только что стих. Через головы потянулись записки (вопросы). У микрофона поэт принимает их одну за другой, белые записки вспархивают, бьются в перекрещивающихся лучах, как белые бабочки.

Видит Ключарев и смерть; прямо тут же, в двух шагах. Слушая стихи, человек закашлялся и согнулся, — казалось, он сейчас распрямитя, но он все сгибался, сгибался... и падает, откинув голову. Молодой. Говорят, смерть здесь легка. Некоторые оглянулись. Но в общей увлеченности мало кто заметил. К упавшему, впрочем, тут же подходят люди в белых халатах и, удостоверившись, что умер, — уносят. Быстро.

Когда человек ли, животное ли умирает внезапно, они расслабляют не только трудягу сердце, но и все свои мышцы, в том числе мочевого пузыря. Отчего и выскакивает аленькая невольная детская струйка, последнее избавление от напряжения, от обязанности жить. Простительное это пятнышко так и осталось на асфальте. Недалеко от Ключарева. И почти перед самым киоском с девушкой-продавцом, державшей в руках стихотворный томик. Но, вероятно, известно, что не впитается, потому что появляются еще двое, поскоблили, потеряли, присыпают песком. Самую малость проступает теперь на асфальте темный овал, с ладонь величиной, словно бы детский. Все, что осталось.

* * *

ЗАБЛУДИЛСЯ. Ключарев довольно точно свернул на улицу с ярко освещенными продуктовыми магазинами (он все время держал в голове, что забыл про чай, что нужен запас чая), но обратный путь следовало бы найти короче. Продуктовых магазинов сотни, но как пройти их поскорее, чтобы вернуться к тому винному погребку, где лаз? Именно поиск короткого пути приводит к путанице: приводит к тому, что одна (вроде бы такая знакомая, залитая светом) улица сменяется другой (еще, казалось бы, более знакомой!), великолепно освещенной улицей, тем не менее, выйдя на площадь, Ключарев понимает, что здесь он впервые. Чай он купил, но надо же отсюда выбраться.

Понимая, что сбился с пути, Ключарев пытается угадать верное направление. Надо прибавить шагу. Свернутые рулоны ткани он кладет удобства ради на плечо (воин с двумя пиками) и — вперед.

Он вспоминает, как совсем недавно заблудился там, на близких от дома темных улицах (тут его сбilo с пути обилие света и рекламы — там отсутствие света и тьма). Он всего-то и хотел на той темной улице добыть свечку. Без свечей не жизнь, и Ключарев готов был даже украсть, в том новом смысле слова «красть», которое уже появилось и прижилось, а именно: взять среди разворованного и уже бессмысленно валяющегося добра. В огромной магазинной витрине был пролом, оба стекла почти полностью высажены. Но все же оглянувшись туда-сюда, как и положено вору-новичку, Ключарев вошел в магазин (не влез, а именно вошел — так велик был пролом в стеклах). Прошагал вдоль пустого продуктового отдела и вышел к разграбленному, но не дочиста, отделу «Мелочи», — там были банки пудры, были какие-то тусклые тюбики, в полутьме прочитать их названия Ключарев не смог, была даже зубная паста, но ни мыла, ни единой, увы, свечки. Именно в поисках свечей он забрел тогда на товарные подъездные пути, вспомнив слухи о якобы неразгруженных вагонах. Меж вагонов он вдруг и

заблудился. Понимал, что тылы вокзала и что, стало быть, совсем недалеко от дома, но выйти никак не мог. Вагоны, вагоны, вагоны...

Он увидел тогда несколько вагонов, полных уголовниками, которых не успели выслать из города. Увидел жалкую охрану — по два солдата на каждые два вагона. Солдаты были совсем юные, топтались в полутьме. Даже не прикрикнули на Ключарева, подошедшего слишком близко, — только смотрели и, кажется, ждали, не скажет ли он им чего. Но что мог он сказать?.. Проходя мимо, Ключарев слышал глухую возню в зарешеченных вагонах. Там топали. Там бухали. Громкий слышался мат. Где-то, как ему показалось, медленно поскрипывала отдираемая вагонная доска. Безусловно, солдатики были обречены, и, может быть, впервые в жизни сочувствие Ключарева пало не на запертых, а на тех, кто их охранял. Солдатики натянуто улыбались. Они подбадривали друг друга шуточками, ежились в вечернем воздухе. Когда Ключарев огибал последний вагон, один из молодых солдат, не выдержав, спросил:

— Вы не знаете случайно, скоро ли смена?

Нет, Ключарев не знал.

Обойдя состав, он увидел еще одну темную массу вагонов, кажется пустых. Пришлось обойти их и медленно выворачивать к станции; ни огонька!.. Так плутал Ключарев тогда в темноте. Там давила на глаза темнота меж вагонов, здесь давит яркость зазывающих неоновых ламп.

Впрочем, Ключарев уже ориентируется. Улица сверкает, а провисающая нитка фонарей — как перспектива пути. Идет навстречу веселый люд, ага, рекламный шит, Ключарев его уже узнает. Ключарев переходит на ту сторону (а память еще удерживает недавнее прошлое, так что одновременно Ключарев выбирается сейчас из толчеи застывших темных вагонов на станции. Ага! Видны маленькие точки семафоров, и, подныривая под вагон, Ключарев выбирается на ту сторону состава). Ключарев идет сейчас

словно бы сразу в двух пространствах, но ведь один народ, одна земля, что ж удивительного, если оба пространства совпадают и географией, — ведь Ключарев идет и там и тут. И если он заблудился, сбился с пути, то он заблудился и там и тут. Уличное сострадание к самому себе. Ключарев идет меж газетными и книжными киосками, огни рекламы так бьют в глаза, что он вновь переходит на ту сторону улицы, где двери зазывающе открыты, а люди жуют и пьют, и дразнящий запах жареного кофе нельзя спутать ни с чем на свете. (Совпадение пространств. Одновременно Ключарев нагибается и подныривает под очередной темный вагон, потому что обходить на рельсовой путанице еще один длинный пустой состав нет сил. Огоньки. Большая темная масса. Вот и пыхтенье — это паровоз, вероятно маневровый, и вот наконец стоит живой человек, железнодорожник с тусклым фонарем. Мазнул Ключарева лучом по лицу — мол, кто такой?)

— Состав обойдешь, а там все время прямо. И выйдешь с путей к вокзалу, — объясняет железнодорожник заблудившемуся Ключареву.)

Совпадение пространств. Так что неудивительно, что на углу под яркой рекламой стоит некий человек с газетой, к которому тоже можно обратиться с вопросом. Одет человек солидно, отвечает спокойно:

— Улицу пересечете, а там все время прямо. И выйдете от магазинов к вашему ресторану.

Он объясняет заблудившемуся Ключареву. Сложив на миг газету, указывает ему рукой направление: там.

Путь теперь недолог, и Ключарев решается выпить пива. Он покупает и, встав на углу (и даже немного привалившись к стене, чтобы отдохнули ноги), пьет пиво из горлышка, запрокидывая бутылку. Забытое чудесное удовольствие. Но тут же Ключарев сам себе отчасти удовольствие портит. «Некрасиво! Войди в кафе», — говорит он себе и корит себя пивной пробкой, которую он отшвырнул не глядя чуть ли не под ноги идущим. Спыхватывается. Виноват. Он ведь одновременно шел среди темных вагонов.

Часть из них была зарешечена. Несся глухой мат. Ключарев был здесь на освещенной улице, но он был там возле старого дощатого вагона, в плавающих запахах смазки и старых колес. В вагонах могли быть не только уголовники, могли быть и несправедливо осужденные — сложное чувство. И вот жест Ключарева, когда он отбросил пивную пробку на пахнущие прошлыми десятилетиями шпалы. С чувством вины, застигнутый среди яркой, залитой огнями улицы, он видит свою пивную пробку на сиреневом асфальте, свою руку, запрокинувшую кверху бутылку, которая булькает пивом прямо в рот. Что это он? Как же это он так?..

Ключарев приходит в себя (вполне определяется в пространстве) и, успевший сделать три-четыре глотка, идет допивать пиво в кафе; бутылку он уверенно держит в руке; бутылка, изнемогая, исходит крупными пузырями.

Свернутую в рулоны ткань Ключарев тоже не забывает; берет с собой.

КАФЕ-КЛУБ, вот что это за кафе — туда идут и идут люди, и Ключарева тоже тянет туда (отчасти все еще эстетика старых вагонов, мол, где больше людей, там и попроще). Но оказывается, в кафе происходит социологический опрос (здесь опросы что ни шаг), и опрос бог весть о чем, о вере людей в будущее. Вот только в какое будущее? В ближайшее?

На его, ключаревский, вкус в этом кафе слишком много говорят о политике, но Ключарев уже вошел, и потому он скромно подсаживается за столик со своей бутылкой пива. Заказывает к пиву горячих колбасок с пюре; денег немного, но должно уже подкрепить силы.

За ближайшим столиком разговор. Уже, конечно, давний. Быть может, следует сейчас любить толпу, чтобы понять ее интересы, а быть может, с интересами толпы вовсе считаться не следует (она сама не знает своих желаний!) и тогда толпу нужно попросту обмануть, — но обмануть для ее же блага?!

— Быть может, нужен новый кумир, — рассуждают они, близко придвинувшиеся лицом к лицу, но говорящие достаточно громко. — Человек, но не кичащийся умом, нравящийся толпе, желательно добрый.

— Но был же! Был! — перебивают криками. — Однако в наши дни надо, чтобы человек этот нравился. Чтобы новый, совсем новый имидж. Не имидж отца родного, а, скажем, имидж великого ученого, который придумает в экономике нечто (вместе с нами!) и нас спасет?.. А не стодится ли имидж простого практичного мужичка, который поймет и простит наши слабости? А что — мы бы его подняли на щит. Мы бы придали и ума его недомолвкам. Мы бы раздули. Вознесли! Но как угадать, насколько он по нраву простой толпе? Простой и усредненной толпе?..

Подбирая приблизительный типаж, они прогоняют перед глазами быстро сменяющуюся картотеку знаменитостей прошлого. Любимы не только политики. Никон, победивший раскол, называется первым. Старик Леонардо. Улыбающийся Александр Пушкин. Жуков с его громадным подбородком. Чаплин с тростью, но в сильно стоптанных башмаках, под бедность. Кто сейчас, в наши дни, окажется люб ее величеству Толпе? Но если образ не в чистом виде, если гибрид — то в каких пропорциях и кого с кем?.. (Ключарев прислушивается. Заказывает еще пиво. Лампы мягкого внутреннего освещения кафе играют на вздувшейся пенной шапке.)

Бородатый мужчина ищет альтернативу более общую: быть может, нужен сейчас не кумир, а напротив — некто, кого люди бы откровенно не любили и, не любя, они бы день за днем на нелюбимой физиономии отыгрывались? Человек, в сущности, недоволен собой. Всегдашнее, если не вечное недовольство собой. А воплощается оно в недовольстве *своим* правительством, *своими* пустыми магазинными полками, страхом идти по темнеющей *своей* улице... Но что же мы придумаем, что мы можем придумать, если по-

среди ярких витрин и полных прилавков человек останется навязчиво недоволен?!

— Но-но! — перебивает тот, что напротив бородача. — Человек все же должен найти себе нишу. Он конкретен, и не раздувайте человека. Либо — да. Либо — нет. Либо он найдет себе нишу в виде любви к какому-то образу или сверхобразу. (И тут же запрячется в эту любовь как в нишу.) Либо все к чертям. И не делайте, не делайте из человека загадку, не делайте из него великана, прошу вас!

Разговор взметывается, все они говорят теперь разом — как?! Значит, все дело в обмане толпы образом?.. Как?! Стало быть, друг ты наш умный, вся и проблема в том лишь, чтобы толпу и народ обмануть? Облапошить их, да? Убаюкать любовью к кому-то?..

Они слишком разгорячились. Кричат. Ключарев не доверяет разговору политиков — людей, спешащих прожить и умереть. С гонкой. С деформирующей психику напряженностью честолюбцев. (Для них и беседа — самоутверждение. Для них и поминки — зарабатывание очка.) Но он не бросит в них камень. И он готов им поверить, пусть только они постараются ради людей. Ведь всякий труд стоит благодарности. Ведь тоже божья искра. Среди витиеватых политических распрей тоже наступает миг, когда говорящие упираются в стену бессилия. Они как бы замирают. Они перестают драться, и в их безмолвии проступает неслышное звучание высоких слов. (Через минуту опять кинутся друг на друга, но ведь минута та — время; недолгое время неосознанного братства.)

Они слишком кричат. (Но ведь он в кафе-клубе, что поделать.)

Страсти накалены и в соседнем небольшом зале, в глубине кафе, — это туда все время идут люди и, побывав там минуту-две, выходят: это и есть тот самый зал *отношения к будущему*, где происходит опрос. Опрос до чрезвычайности прост. Если ты веришь в будущее своих полутемных улиц, ты берешь в учетном оконце билет и уносишь с собой. Если не веришь — билет возвращаешь. (Это очень зримо.

Возвращенный билет бросают прямо на пол.) Люди в кафе нет-нет и поглядывают, как растет холм возвращенных билетов. Холм уже высок. Но снова подходит человек, мужчина или женщина, и к брошенным листам добавляет свой. Возвращает *билет в будущее*.

В зале несколько человек комиссии по учету, но от их нейтральности уже нет и следа, — вероятно, поэтому страсти там так накалились. Они убеждают входящих людей верить, объясняют, настаивают, чуть ли не всовывая билеты им в карман, но те бросают свои билеты вновь: слишком, мол, много крови, слишком много тех слезинок уже пролито и потому не верим, не желаем будущего на крови и слезах. Не хотим.

Один из комиссии, отбросив уже всякий нейтралитет, превращается на глазах в оратора. Он долго молчал. Худой, со впалыми щеками (и кажется, неизлечимо больной — Ключарев всех готов жалеть), он страстно кричит уходящим:

— Опомнитесь!.. Будущее — это будущее! Ведь вы всю свою жизнь ели и пили на чьих-то слезах и на чьей-то крови. Да вы читать-писать научились на чьей-то крови!.. Да каким бы ни было будущее, вы уже сейчас спите, едите, пьете на тыщах тыщ слезинок младенцев, вы уже запятнаны, вы помечены!.. берите же свои билеты, смиритесь! оправдайте хотя бы то, что вы уже получили в школах, в вузах, это уже ваше, ваше, — я не устану повторять, *ваше* будущее! — как бы вы теперь от него ни отпирались и как бы, уходя, ни бежали...

Он кричит. Он страстно кричит. Но они бросают и бросают свои листки, возвращают свои билеты. Холм уже в человеческий рост.

Торопливость тут же дает себя знать: за Ключаревым из кафе выскакивает бородач, нагоняет и — посреди шумной улицы — передает Ключареву забытые им рулоны. «Бежал за вами по улице, как стражник с пикой!» — смеется он, а спохватившийся Ключарев благодарит.

5

Дыра в потолке рваная, большая, но сузился ли лаз, не понять, пока не попробуешь протиснуться. Лестница-трап на своем месте, но есть новшество — под дырой натянут квадратный кусок парусины, своеобразная сетка-уловитель, чтобы осыпающаяся сверху земля и камни не падали на столики, где пьют и беседуют люди. Ключареву сетка никак не мешает. Когда с покупками Ключарев заберется на самую вершину трапа, он сразу окажется выше этой сетки.

Готовясь к подъему, следует расположить свой нехитрый багаж в очередь. Рулоны свернутой ткани. Пластиковая сумка с чаем. Керагаз. Свечи. Что еще?.. За столиком, что совсем рядом с копошащимся Ключаревым, тем временем идет разговор. Там две молодые пары и старик, и разговор их становится настолько интересен, что внимание Ключарева привлечено, ему не хочется уходить так сразу, так дорог ему вдруг теплый уют общения, интеллигентность, высота слов, возникающих как бы из ничего. (Кажется, разговор и слова только тут и набирают высоту и духовность, когда тебе пора уходить.) Ключарев думает уже с усилием: ага, если сначала протащить в лаз рулоны, то как же керагаз?.. Да, да, — говорят они за столиком меж собой, — понятно! Но как задействовать ресурсы личности, растворенные в толпе? Сейчас в ходу состояние индивидуума на уровне ощущений. Почти зоология. Но, — спорит и воодушевляется одна из молодых женщин за столиком, — но в человеке есть нечто и помимо зоологии, вот только как дать этому *нечто* ход?.. как?

Они говорят. (Ключарев тоже не знает ответа. Он тоже не слишком-то верит в свою мысль о пещере. Но если речь о совместимости, Ключарев, конечно, откроет на время себе пещеру. Ключарев может отрыть еще одну пещеру для своего друга. Он может отрыть для соседа. Но он не может расширить лопатой дыру лаза: тут предел... Мысль его понижается: Ключарев делает себе заметку, мол, в следую-

ший раз для работы внутри пещеры надо бы купить лопату с коротким черенком.) Они говорят: можно ли считать, что человек — существо, пересоздающее жизнь? Меняет ли человек жизнь и себя?.. или это существо, которое дергается туда-сюда в своих поисках потому только, что не вполне нашло свою биологическую нишу? огромный биологический отряд, который ищет нишу? разумеется, ищет на ошибках и в своих пределах, — это ли и есть люди? Туда нам нельзя. И туда нам тоже нельзя. И стало быть, в этих «нельзя» определяются наши границы. Черепахи уже нашли свою нишу. И обезьяны нашли. А мы только ищем. О, как мы сразу тогда успокоимся. Как станем всем довольны! когда найдем...

Они говорят искренно и с болью за человеческий (такой скромный) итог. Высокие их слова неточны и звучат не убеждая, но с надеждой, что даже приблизительность искренних слов раскроет душу (лаз в нашей душе), и исторгнутая оттуда боль скажет слова новизны. Слова не выкрикнутся, просто назовутся сами собой, и люди, быть может, притихнут от догадки: вот оно!.. (И станет добра толпа? и добра и совсем неопасна станет многотысячная толпа, умиротворенная своим возвращением из кино или из бескорыстного большого застолья, когда ночь полна звезд; и чей-то голос в толпе поет?)

Они говорят. А Ключарев переносит на самый верх лестницы-трапа рулоны ткани, чай, керогаз... Ему близки, ему дороги их слова. Но человек конечен. Человек смертен. И как всегда, когда пора уходить, человеку кажется, что разговор достиг наконец своего белого пика...

Они говорят.

Ключарев сколько-то уже протиснулся в лаз. Вытянутой рукой, не с первой, но с третьей попытки, он вытаскивает, выбрасывает вверх свои рулоны свернутой ткани. Примерно так, как крепится боевой флажок к казацкой пике, то есть у самого острия, Ключарев прикрепил к одному рулону мешок с чаем и свечками, к другому — завернутый в пакет керогаз. Навязанный дополнительный груз

задевает края, осыпая землю и камни. Пришлось протиснуться почти до горловины, держа рулон в вытянутой правой руке, затем только метать, — и все же, как ни тяжело, он выбрасывает один рулон с третьей, другой — с четвертой попытки. Теперь Ключарев взбирается сам, глотая земляную пыль, которая, не оседая, стоит в дыре после стольких бросков; глаза полны песка. Ввинтившись в горловину, Ключарев, как всегда, испытывает при движении боль. На этот раз изгиб лаза дает его голове протискиваться только под углом, щека обдирается в кровь, кожу словно снимают заживо. Узкое место. Как и всегда, Ключарев переживает тут минуту ступора: некую окончательность своего застревания, отвратительное омертвление. Он затычка. Тело уже не болит, не гудит ссадинами, так плотно и точно оно повторило изгибы дыры в этом узком месте. Ключарев уже настолько вполз и сдвинувшаяся земля настолько плотно облепила его тело, что он уже не он, он — часть земли, плотно, если не идеально, подобранная телесная пломба. Именно в этом месте в какой-то будущий раз ему уже не сдвинуться: Ключарев кончится тут и, мертвый, все еще будет оставаться пломбой, затычкой. Он будет разлагаться, все уменьшаясь, но и земля будет сходиться, забывая просветы пылью, песком, да и просто стискиваясь (земля это умеет); так что и после смерти Ключарев, можно надеяться, останется на посту, и кости его с прежним упорством будут осваивать лаз, пока не стиснет настолько, что земля станет для них обычной могилой. Но-но, подбадривает себя Ключарев.

Если не дергаться, ужас застревания помалу проходит. Мякоть мышц каким-то образом перераспределяет свои скрытые нагрузки; безусловно, не только опыт человека, но опять же и червя (от и до — все наше) приводит к медленно-гениальному процессу перетекания тела. Сама собой чувствуется возможность шевельнуть рукой, затем немного сместить плечо, а затем, повернув удобнее, оторвать от приставшей земли кровоточащую щеку. Вот так. Вот так. Голова втискивается. Голова миновала горловину, те-

перь боль принимают на себя плечи. Боль тупа и обширна. В запас есть еще одна мысль, которой Ключарев подбадривает себя в горловине, повторяя, что земля как женщина, как молодая, может быть, женщина, а он как мужчина, совершающий свое вечное мужское дело. (Земля, быть может, потому только и не сомкнулась, не стиснулась окончательно, что Ключарев, протискиваясь, каждый раз тут наново корячится.) Он продвигается, подбадривая себя тем, что боль взаимна, что дыре тоже больно, когда он дергается и обдирает плечи и щеки в кровь. Ей тоже больно. Ей каждый раз больно. Заклиная себя словом, Ключарев последним трудным поворотным движением высвобождает колени из узкого места горловины. Вот! Ободранная щека облипла песком, саднит, голова кружится, но голова уже вне лаза, голова над землей. Вот трава. Ключарев дышит прибрежным воздухом.

Выбравшись, какое-то время он сидит совсем расслабленный, пустой, без единой мысли. Иногда вдруг негромко постанывает, покряхтывает, приходя в себя.

Конечно, стемнело еще. Но видно. Сумерки как сумерки. Во всяком случае, Ключарев различает ниже по реке брошенные лодки. Лодки стоят у самого берега, привязанные. Замерли на воде. Людей там давно нет. Река тускло светла.

Переводя мимолетно взгляд выше, Ключарев словно ударяется глазами среди зелени пейзажа о черное рваное пятно: разрушенная его пещера... Так и есть! Подойдя ближе, он видит, что пещеру обнаружили и обвалили, быть может, просто назло копавшему. Рядом на траве две пустые бутылки из-под водки, следы ног на рыхлой земле. Пытались даже развести костер, погреться на чужих развалинах.

Грустная минута. «Но ничего», — думает Ключарев. Грустно. Но ничего. Он в эту свою идею не слишком верил.

На черемухе висит убитая ворона. Убили и повесили над развалом. Мол, знай, как рыть себе свое.

Но Ключарев только сглотнул ком. Ключарев и тут найдет положительный момент. Что ж, думает он, от зоологии и ненависти перешли к конкретным знакам, которые можно понять. Это уже знак. Это уже начало диалога. (За знаками и жестами придут слова — разве нет?)

Он ищет свой инструмент. Нет ничего. Разумеется, забрали. Он роется руками в траве — пусто. (Но быть может, инструмент им понадобился. Быть может, инструмент им был нужнее. Ему не хочется думать, что лопату, лом и кирку они попросту бросили вниз, на дно оврага.)

Он чувствует усталость. Он устал, но не ропшет; он такой.

Ключарев идет домой — сначала по земляной, затем по асфальтовой тропе он медленно подымается в гору. Конечно же, несет с собой свой груз, рулоны ткани, керогаз, свечи.

Поравнялся с первой из пятиэтажек. Здесь магазин, в темных витринах которого Ключарев видит слабое в сумерках свое отражение. Стекла витрин заклеены полосками бумаги крест-накрест: предупреждая, что в магазине ничего нет, не бейте понапрасну стекла.

На улице ни души. В окнах пятиэтажек всюду зашторено и темно. Вот там и его окна.

Ключарев приостанавливается, чтобы несколько иначе перегруппировать свою ношу. Руки устали, затекли. Он сел прямо на землю и перекладывает керогаз в тот же пластиковый мешок, где чай, где свечи. Перераспределяет, увязывает, и усталость вдруг наваливается на него и с усталостью вместе — краткий сон. Такое бывает.

Сны эти, как правило, нехороши и всегда на одну тему — земля стиснулась, сомкнулась, лаза нет, и он остался, навсегда отрезанный, на темных улицах. (Самый мучительный сон, когда земля стискивается в момент пролезания — Ключарев застревает в дыре, задыхается и гибнет. Если спит дома, он мечется, хрипит и бьется, дергаясь головой, пока жена не разбудит: «Да прекрати же! Прекрати!..») Сегодняшний сон не столь мучителен, как сон

застревания, но страшен. Лаза нет. Оставшаяся дыра ничтожна. Склонившись над ней, всунув туда, насколько это возможно, голову, Ключарев кричит им. Он кричит им первое, что приходит ему на ум, — о том, что нет свечей и батареек, о том, что на улице быстро темнеет, о порушенной пещере и повешенной дохлой вороне. (Логике не нужно. Им сгодится любая информация: их ЭВМ расшифрует.)

Как и во всяком сне, Ключареву приходится кричать им слишком громко. Кричит. Потом прикладывает ухо. И оттуда по узкой норе через стиснувшуюся толщю земли доносится:

— Говори еще! Говори!..

То есть продолжай давать нам информацию любую, всякую, какую угодно, — давай! И вновь Ключарев кричит им в узкую нору о пустынных улицах и о многотысячной топчущей толпе, о домах, в которых тысячи темных окон.

И снова ухо к дыре. И опять оттуда еле доносится:

— Говори! Говори!

Он кричит, что подступающая темнота отменяет человеческую личность. Что на улицах пугливы даже насильники и воры. Кричит о Денисе. Кричит о карманном запасе хлеба. О голоде. Кричит о темных шторах, даже если есть свет... Мысли его путаются. (Но ведь важно, что это говорится отсюда.) Пусть потрудятся их компьютеры-расшифровщики, вычленяя не только смысл его слов, но и ужас сна, исповедальную неготовность. Он сознает, что сон, но пусть они разложат его состояние на психомоменты, на блуждание мысли, на чистую информатику и на прочие кирпичики. Должны же они понять закодированные то спазмом, то невнятицей языка слова, которые искажены уже самим криком в дыру (с отбрасывающей вспять звуки акустикой), — они должны расшифровать и понять, кто же, если не они.

Теперь их ответ. Теперь Ключарев спускает им вниз тонкую веревку, нет, не веревка в прямом смысле, но специальная прочная леса, — она выдержит, скользнет, не застрянет, и, удерживая в руках свободный конец, Ключарев

чувствует, как они там уже прикрепляют, цепляют что-то. Да, их ответ и их совет. Да, помощь. (Я тебе — ты мне, единственная возможность прямого обмена мыслью.) Ключарев выбирает, вытягивает лесу. Ага. Появляется длинный предмет, палка. В подступающих сумерках Ключарев не сразу различает палку. Тем более не понимает ее смысл. Мозг слабеет после долгого затяжного крика. Но за палкой появляется еще одна палка, теперь Ключарев видит и ощупывает на каждой палке загнутый конец, которым они прицеплены к лесе. Почему-то Ключарев (ведь это сон) ожидал вытянуть скрученный в трубку текст или микропленку с текстом (вроде бы в бамбуке, в котором вынесли паломники от китайцев коконы, секрет шелка) — но нет текстов, ни слова в ответ. Он был бы рад, на худой конец, если бы они прислали в помощь свечи, узкие и длинные, метровые свечи, неужели же его информация о подступающей темноте была непонятна (искажена его криком?). Ключарев излишне интеллигентен, и, безусловно, он был бы несколько задет, царапнуло бы, но он бы смирился. Ибо не до шепетильности, когда вокруг голод), если бы вместо ответа душе он вытягивал бы сейчас за лесу тонкие связки сосисок; ведь их так удобно тянуть. Но нет. Вновь вытягивается палка с загнутым концом. И еще одна палка. И еще. Но должно же быть что-то в ответ, и Ключарев с определенной, хоть и не великой надеждой ждет. Ключарев тянет и тянет длинную, бесконечную лесу, и палки выползают одна за другой из стиснувшейся дыры, и, как ни слаб уставший его мозг, Ключарев все же понимает: *палки для слепых*. Когда наступит полная тьма, идти и идти, обстукивая палкой тротуары. Весь ответ.

Ключарев все тянет и тянет, уже сотни, тысячи палок для слепых вытягивает он — и наконец просыпается. Ужасный сон. И несправедливый, с точки зрения Ключарева, в своем недоверии к разуму.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК В СУМЕРКАХ. (Так мало и так много.) Он и разбудил Ключарева, этот прохожий. Ключ-

чарев проснулся возле той же пятиэтажки, где он привалился к углу дома и уснул, когда удобнее укладывал свои свечи и чай. Он и спал-то минуты четыре-пять.

И голос:

— Что это вы уснули? — Простой голос. — Не следует спать на улице...

Ключарев, отчасти еще сонный, смотрит. Стоит мужчина. Средних лет, с довольно длинными волосами, свободно падающими почти до плеч. Да, прохожий. Увидел, что Ключарев спит, и разбудил.

— Вставайте, — повторяет он так же утвердительно, со спокойной и терпеливой улыбкой. — Не следует спать на улице.

И протягивает руку. Ключарев встал бы и сам, так что этот человек только чуть ему помогает. Рука теплая, прикосновение, которое остается с Ключаревым и после.

Ключарев встает.

— Да, — говорит он, потягиваясь. — Как стемнело.

— Но еще не ночь, — говорит тот человек, опять же с мягкой улыбкой, которую Ключарев не столько видит, сколько угадывает в полутьме.

Собрав свое добро, Ключарев идет к дому, от которого он уже совсем близко. Оглядывается. Человек еще стоит на том же месте, и только по мере того, как Ключарев уходит, его фигура мало-помалу растворяется (и все же не растворяется до конца) в сумерках.

СТОЛ, ПОКРЫТЫЙ СУКНОМ
И С ГРАФИНОМ
ПОСЕРЕДИНЕ

Повесть

Он — простоват. Из всех сидящих за столом он замечается первым и сразу: возможно, потому, что все это время он тебя ждал. («Ага. Вот ты...» — выстреливают его глаза, как только тыходишь.) Он худой, он невысокого роста; пролетарий (самое большее, техник), постоянно чувствующий себя обманутым в жизни, обделенным. Грубо разбуженное социальное нутро (когда-то, ходом истории) в таких, как он, все еще ярится, пылает, и потому я мысленно называю его **СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫМ**. В быту он добр, носит фамилию Аникеев, обычен, немножко угрюм. Его толстая жена каждый год уезжает на далекий курорт и немедленно находит себе там мужичка точь-в-точь такого, как он, и даже непонятно, зачем это ей (разве что для сохранения привычек). Он догадывается, но мало-помалу принимает как данность жизни. Грозит, что убьет, впадает в гнев, но потом сам же себя уверяет, что ему почудилось и что он просто взревновал. Главное же — так мало благ! У всех в жизни что-то есть, схватили, хапнули, поимели. Даже торгаши, такие же темные, как он, а вот ведь процветают. Тем более ухватили свое интеллигенты. А почему? А ведь должно быть так, чтобы люди у нас имели поровну. Или нет? — и, спрашивая, он поскрипывает зубами.

Простоватый и пьяноватый, он улыбается (на лице неуверенно плавающее добродушие). Нет, он не пьян, он и грамма не взял в рот сегодня. Но вчера или позавчера он выпил крепко. Так что время от времени поверх его улыбки (или как бы изнутри улыбки) возникает мутный позав-

черашний взор, агрессивное чувство, схожее с вдруг обретенной злобой, потому что пил он вчера и позавчера, но врага-то, в сущности, найти может только сегодня, сейчас... Нет, нет, он порядки знает и потому не ошерится на тебя, не взъярится криком: он сдержан. Он ничем пока не даст знать о своем открытии, обнаружении, он лишь гоняет медленно желваки и, вбивая в тебя встречающий взгляд, произносит в мыслях, пока никому не слышно:

— С-сука!..

Он в дешевеньком, но неплохом свитере, у горла воротничок чистой рубашки. Он ведь пришел не просто так — ведь дело, притом разбираться надо, выяснять, и *чтоб честно...* и он косит глазом туда, где рядом с ним, чуть левее, если смотреть с его точки зрения (и чуть правее — с твоей), сидит мужчина, который обычно задает вопросы.

ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, сидит почти в центре стола, и он тоже один из замечаемых сразу. Задавая вопросы, он как бы дергает тебя несильно из стороны в сторону, уйти не дает и наводит на твои следы других, он **НАВОДЯЩИЙ** (когда тебя спрашивают, ты ведь еще не знаешь, в какую сторону побежишь, — по кругу бегут преследуемые животные, но как и куда в растерянности бегут люди?) — он не добирается вопросами до глубины, это не его дело, это дело общее, но он ведет гон. Вдруг возникающие его вопросы (стремительные, мелкие) создают как ощущение преследования, так и ощущение того, что ты от преследователей прячешься. «А почему вы сами не могли позвонить нам хотя бы вечером и сообщить, что больны? что, кстати, вы делаете вечерами — телевизор? футбол? или друзья?..» И ответа тут нет, потому что и вопроса как такового нет, но ведь ты молчишь и не успеваешь. Не сбили, но ты сам неизвестно отчего поплыл, поплыл, поплыл, и твоя по-человечески понятная растерянность дает простор новым вопросам, и вот оно, пространство его охоты. «И вы никому решительно не можете позвонить вечером и поговорить по душам? Так всегда и живете?» —

спрашивает он с улыбкой недоверия, и снова вкрадчивый вопрос без ответа (и снова наплывает, мол, что же за человек такой, если за всю жизнь не нашел дружка-товарища, чтобы поговорить вечером по душам?). Не успев вновь ответить, отмечаешь свой неприятный душевный сбой. И сидящие за столом твой сбой отмечают. И только он, задавший вопрос и наведший на первый след, ничего как бы не видит и продолжает — теперь он уже забегает, слегка скользя, совсем с другой стороны: «Ну а женщину как человека вы хотя бы цените? уважаете, вероятно?» — и снова: мол, каков тип? и как это он свою жизнь, такую долгую, жил?! — повисает в воздухе без ответа, чтобы когда-то и чем-то аукнуться (утраченная отзывчивость не может не аукнуться).

ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, — интеллигент. Он темноволос, гладкие черные волосы и строгая, хорошая линия головы, подчеркнутая поворотом шеи. Его руки — на столе, длинные красивые пальцы переплетены без нервности или, пожалуй, с некоторой вялой нервностью, ничуть не высвечивая темперамент. Речь скоро. Вопросы. Нет, он не настаивает на улыбке. Но улыбается. Вероятно, среднеоплачиваемый инженер в НИИ, вероятно, иногда сам проверяет итоговые расчеты, склонив голову, с все той же хорошей линией, подчеркнутой в повороте шеи. Молчалив. Зато здесь, за судным столом, он оживлен и напорист, стараясь не для себя, а для людей, для общества. «Что ты за человек?» — вопрос без ответа, и все же вопрос заданный и не снятый: та дверца, в которую первым толкнется всегда он.

Рядом с ним — СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ, мужчина как бы всегда моложе средних лет, неуловимо моложавый возраст. Он сидит в точном центре стола — напротив тебя. Графин *на столе* разделяет вас, и кажется, что СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ должен выглянуть из-за графина справа или слева, чтобы увидеть тебя, задавая вопрос. Он так и делает. (Но спрашивает редко.) Большую часть вре-

мени он пишет, ставит на листке значки, отметочки, авторучка в руках. Если чей-то вопрос оказался для тебя (и для него) внезапен, он, ожидая ответа, смотрит на тебя не сбоку, а поверх графина. Графин невысок.

Стаканы на столе расставлены вдоль и объединяют сидящих и всю картину в целое — иногда над стаканами нависают бутылки с минеральной водой, но графин не отменяется: графин все равно будет стоять и как бы цементировать людей и предметы вокруг. Наличие геометрического центра придает столу единство, а словам и вопросам сидящих силу спроса. Именно атрибутика, как ни проста, делает спрашивающих — спрашивающими, заставляя тебя их признать и испытывать волнение. И перед приходом сюда себя настраивать: храбриться, скажем, или глотать валерьянку (спиртное нельзя).

Все взаимосвязано — они могут своими расспросами вызнать, что полгода назад ты вновь уволился с работы (ну и что?), могут узнать, что твой сын вот уже в третий раз женился и разводился (ну и что?), могут припомнить, что ты сам добывал для своего нелепого сына фиктивные больничные листы, устраивал прописку на жилплощадь, прописку, а потом и перепрописку (ну и что?..). Оттого и опасность, что не суд, а, так сказать, спрос по всем пунктам и именно с целью зацепить за что-либо и тебя ухватить, а уж ухватив, они сумеют припереть к стене. (И смолкнешь. И покаянно свесишь голову. И почувствуешь вину уже за то, что живешь: за то, что ешь и пьешь и опорожняешься в туалете.) Есть личное: и у каждого найдутся обиды на жизнь и грешки вслед этим обидам. Есть еще и сложные шероховатости души и просто мелочовка отношений; есть скользкие места внутреннего роста и есть бытовые козявки (всякого рода); наконец, и бельишко, в детстве, когда ты писал и какал в штаны, — вот именно: у каждого имеются эти порванные рубашонки, закаканные штанцы, шелуха, сор, козявки и запятые быта, все они (как ни удивительно) взаимосвязаны, и все как бы разом приходят в движение под перекрестным прицелом сравнительно бе-

зобидных вопросов. И, словно придавленный этой взаимосвязью и торопливой сплетенностью жизни, ты тоже тороплив, когда отвечаешь. На один-другой-третий-пятый-десятый вопрос. И ведь всегда со страстью, с придыханием и с нарастающим желанием давать ответ на каждый из них все точнее и убедительнее. (И даже правдивее, чем колеблемая правдивость самих фактов, которые вдруг выныривают из твоей жизни, из твоего житейского замусоренного бытия только для того, чтобы попасть в твое же, оправдывающее их сознание... кажется невыносимым! однако же ты с удивительной терпимостью выносишь, и отвечаешь, отвечаешь, отвечаешь.)

Конечно, бывает, чтоходишь к ним смел, держишь голову высоко, а огрызаешься и кстати, и весело. Но красивая твоя представительность, увы, ненадолго, и с каждой минутой их расспросов боевой дух уходит, вытекая, как теплый воздух из воздушного шарика, в котором дырка. (Не от их наскоков, а сама по себе дырка, сама отыскалась, и сам по себе улетучивается через нее твой теплый воздух. Ты проколот изнутри. И твое лицо способно лишь прикрыть, но не скрыть.) Так что им только и надо растянуть свой какой-никакой суд подольше, чтобы минута за минутой и чтобы слово за словом. Ты пустеешь, легчаешь, и вот уже съезжившаяся тряпица воздушного шарика, пустенькая, стыдливая, ничего кроме. Более того: тебя подтачивает теперь дополнительный стыд за ту отвагу (за наглость), с которой ты сюда вошел, — взрослые ведь люди, собрались вместе, сидят, тратят время, а ты к ним пришел и, едва поздоровавшись, валяешь ваньку.

«Его спрашивают, а он сидит нога на ногу...» Или чуть иначе: «С ним говорят, а он карандашик в руках вертит. Карандашиком не наигрался дома!» — их голоса вдруг с разных сторон (ты им уже ясен). Они не смели такое сказать, когда я боевито вошел, зато теперь голоса их отовсюду, так что я не успеваю ни про себя, ни про карандашик в пальцах, и только перевожу глаза с одного лица на дру-

гое, и наконец крик: «Вста-ааать!» — или: «Вста-ааань, когда с тобой говорят!» — крикнет кто-нибудь из них, забывшись. И ведь встанешь. Не успев понять, встанешь, никуда не денешься. (Как код этот крик и голос.) Встав, возможно, ты тут же и опомнишься и ответишь резко, хлестко и даже, возможно, ты сам на них закричишь, срываясь в гневный крик, как в истерику, возможно, но... Но ведь ты уже встал. В том-то и дело, что ты уже встал. Ты уже стоишь, и твой нервный крик, прыгающие губы — это ты.

— Но бывает же, что вы сидите с приятелями и болтаете за полночь. Водочка, конечно. Шутите с ними, смееетесь?

(Спрашивающему хотелось, чтобы я жил полнокровной жизнью.)

— Сейчас редко, — ответил я.

— У вас хорошая квартира, и ведь, наверное, вам иногда хочется созвать друзей-приятелей. Расскажите. Нам это интересно. Здесь все хотят узнать вас получше...

Он улыбался. И все они улыбались. Хотели знать, как, каким образом я живу (если живу) такой вот своей полнокровной жизнью. Они считают это первым наваром своего спроса — ни за что (то есть задарма) узнать, как крутится, как суетится обычный человек: мысленно пожить с ним рядом.

— У вас такой голос, что похоже — вы поете. В кругу друзей — да?

— Я не пою.

Они разочарованы:

— Ну-ну. Вы наверняка поете. И наверняка в большом кругу друзей и родни.

Я покачал головой — нет.

И потянулась пустая пауза. (И вот тут без причины я потерял лицо.) Я спросил, уже тускнея:

— Это что — плохо?

Они закивали — ну да, в общем-то плохо, что вы так

живете. Это плохо. (А чувство вины уже стало захватывать меня.) И, помню, подумал: чего я дергаюсь, ведь они правы, а я виноват, это же заранее известно: *я виноват, даже если бы в кругу родни я каждый вечер пел хором...*

Если говорить строго, заранее известна только половина, то есть только то, что *они правы*. (Это не значит так сразу, что я виноват.) Всякий человек — человек живой, что и заставляет опасаться, что жизненные промахи, начиная с задранных в детстве штанишек и кончая каплями пота на моем лбу в ту минуту, когда спрашивают (а почему вы, собственно, испугались?), — что промахи эти каким-то образом выглянут, засветятся, хотя никак с их вопросами не связаны. (Но ведь все связано, мы знаем.) *Виноват* не в смысле признания вины, а в смысле ее самоощущения.

— ...Все люди заняты, — сказал мне (по телефону, вечером) недовольный голос. — Не вы один. В конце концов, это нужно вам, а не нам — вам нужна характеристика, справка о зарплате, а также справка, почему и как вы уволились. Я уж не говорю, что лет через пять все эти бумаги вам будут просто необходимы для пенсии. (Еще бы!.. Это они особенно знают.) Потому мы и ждем вас.

— Я понимаю...

— Посидим вместе. Поговорим. Надо разобраться.

— Хорошо, хорошо. Я приду.

Сказал — и понял, не надо мне было соглашаться! (Как-нибудь бы уладилось.) С моими нервами и перебойным сердцем нельзя мне сидеть перед тем столом, нельзя, чтобы меня спрашивали — я же себя знаю. (Давление уже сейчас под двести, а вся ночь впереди.)

«Хорошо, хорошо — приду!» — и еще ведь швырнул трубку, мол, знай наших, мол, плевать хотел. Какой молодец!.. А между тем, сколько себя помню, ничего иного от этих сидений перед столом не получал — только унижение. Только ощущение раздавленности (в этом, разумеется, сам и виноват).

Не хочу. Не пойду, — говорю я себе, хотя, конечно

же, пойду, если не с первого их приглашения, так с третьего, с пятого. Мне от них никуда не деться. (Штука в том, что эти люди за столом уже как свои — часть моей жизни, они отлично меня знают, как и я их. Они омолаживаются, сменяя свой состав год от года, а я один и тот же, так что наши долгие отношения могут кончиться только моим физическим отсутствием, смертью — а чем еще?)

— Успокойся, — говорит жена.

— Угу.

— Будешь ужинать?.. Есть каша овсяная. Да, опять. Да, кашу лучше с утра, но молоко старое, надо было использовать.

Садимся ужинать. Зовем дочь. Мне не хочется признаться (совестно); что мои нервы и мой испуг — в связи с завтрашним вызовом, и вот я что-то придумываю, плету насчет усложнившейся работы.

— Ну, и ладно. Ну, и успокойся... — повторяет жена.

Но разговор все переходит на завтрашний вызов, и я нехотя рассказываю, что завтра мне будет несладко — вздорные и копающиеся в моем нутре люди! Возможно, отделаюсь от них, но в душу наплюют. «Стерпи», — говорит жена. Мы ужинаем. (Соберется комиссия: просто поговорить и выяснить. Вот именно... выяснить, хороший ли ты человек. И заодно, хороший ли ты семьянин, хороший ли жилец в своем подъезде... что еще за *комиссия*?! — думаешь. Предполагаешь то и другое и пятое-десятое. А затем приходишь к ним и видишь, что ты эту *комиссию* (словцо идиотов) знаешь с незапамятных времен, с самого нежного и юного возраста. Да, да, сменяя друг друга, они всю твою жизнь только и выясняют, хороший ли ты человек. И все еще не выяснили!..)

— Перестань ворчать, — просит дочь.

Молчу. И они молчат. Мы мерно погружаем наши ложки в тарелки с кашей.

Скрывая волнение, я, видимо, его усугубил. Такое бывает. Следовало выпить побольше валерьянки (предва-

рять надо, предварять! — говорил возившийся со мной в свое время врач), — следовало выпить валерьянки и расслабиться, а я сказал домашним, что утомлен и скорей, скорей! — хочу лечь спать. День был нелегкий, так что домашние поддержали, и мы легли спать в одиннадцать (без чего-то одиннадцать). А в двенадцать случился приступ: глотание запоздалых лекарств, двукратное измерение давления и ссора: вызывать или не вызывать «скорую помощь»?.. «Это опасно. Ты не представляешь себе, насколько это опасно!» — кричала дочь и даже грозила пальцем. Я тоже кричал. Жену трясло, она бегала от телефона ко мне и обратно, от меня к телефону — она, кажется, хотела звонить сыну (он живет отдельно). А сердце продолжало болеть: давило, потом вдруг предательски ослабевало. В глазах поплыли лица жены и дочери, за ними плыли стены и далекое окно со шторами. «Не дать бы дуба», — подумал я; смерть предстала не пугающе, а в такой прозаической простоте, что я перестал спорить. При-тих.

Я просто лежал. Прикрыл глаза. И негромко сказал своим:

— Ложитесь... Давайте спать.

И простота голоса их убедила. Они легли. И через какое-то время уснули. Сначала дочь. Потом жена.

Я лежал в прострации; теперь мне особенно не хотелось признаться себе (не говоря уж о родных), отчего вся эта боль в сердце, и общая озабоченность, и суета ночи.

Я даже подремал. Когда перевалило за час ночи, слыша вновь подступающее волнение и через два на третий экстрасистолу в сердце, я поднялся. Я посидел на своем диванчике, свесив босые ноги. (Предварить приступ?..)

Сунув ноги в тапки, я вышел в наш небольшой коридор и прошагал неслышно на кухню. Темно. Тихо. За окном (я глянул) тоже темь — спящие дома, крыши и пустые темные балконы. *Надо бы сварить валерьянку...* До сознания (вдруг) доходит, что жизнь как жизнь и что таких вызовов на завтрашний разговор было сто, двести, если не

больше. Тянулся через годы долгий мелкий спрос; мелкий, но, в точности как и сегодня, вгонявший тебя в волнение, в непокой и в раздрызг. Вдруг понимаешь главное — повод (для спрашивающих) был неважен. И всегда был он им неважен. Им важно было совсем иное. Поняв это, ты садишься на стул (на кухне, среди ночи) и, смирясь уже и не ругая себя, не кляня, подпираешь голову рукой и ноешь от подкравшейся внутренней боли.

— Н-нны-ы. Н-нны-ыы... — несколько раз.

А ночь идет.

Когда я брожу по ночному коридору, от комнаты до кухни и затем обратно (иногда на кухне я сяду на стул, посижу), мне кажется, что, совпадая с шагами, мое сердце делается защищенное. В ритме шагов — ритм покоя.

Я не хочу еще одних ее (жены) ночных хлопот, не хочу ее тревоги. Я тихо брожу, кутаясь в какой-то старый плащ (не ношу халатов, у меня нет халата) — кутаясь, потому что мне зябко. Страха как такового нет, но это как взаимное соглашение: страх точно так же не глядит мне в лицо, как я не гляжу в его. (Зато он накатывает изнутри, выходя на поверхность где-то у середины моего позвоночника. А я воспринимаю как зябкость.) Я хожу: я честно стараюсь занять ночное время. Я подготавливаю таблетку на случай подскока давления; нитроглицерин, конечно, тоже. Не спеша завариваю на кухне валерьяновый корень (капель в продаже нет, в аптеках в эти дни ничего нет). Я, в общем, сам по себе; мне без сочувствия проще. Если жена встанет, она увидит со сна бродящее, в шлепанцах на босу ногу и в плаще, некое существо — постаревшее, согнутое бессонницей и тревожными мыслями, сменяющими одна другую. Существо, похожее на больное животное, вдруг блеснет из темноты коридора на нее глазами (и только тут она узнает, признает меня). Конечно, она станет жалеть и успокаивать (я этого не хочу, это меня еще больше сгибает), но прежде, чем успокаивать и жалеть, будет

этот краткий ночной миг удивления, это недоумение, когда она вдруг увидела идущее по коридору со стороны кухни сникшее тело, в старом плаще, перекосившемся на плечах (плащ давно без пуговиц), и поняла, что это существо — ее муж.

Помню совсем уж мелкий (и почти забывшийся) случай. Год назад, когда очереди были огромны, в одной из них случилась драка. Я стоял слишком близко от кричащих и затем сцепившихся друг с другом людей: уже пошли в ход кулаки, хватанье за грудки. Милиция подросла, как всегда, вовремя, но, как всегда, не с той стороны — они замели сразу человек десять, меня в том числе (как водится, брали всех подряд). Потом отделение милиции, руки за спину — разберемся! разберемся! «Отпустим, отпустим, вот только документы ваши посмотрим, как это нет с собой документов?!» — но сами решать милиционеры почему-то не стали: попросту и с лентой они отфутболили весь улов в сторону общественности: «Всех — в комнату с таким-то номером! (Кажется, номер 27.) Всех, мать вашу, в двадцать седьмую!..»

И когда под шум и разноголосые крики я вошел в комнату номер такую-то, то увидел дубовый стол и сидящих людей — и сразу же — знакомый мне тип немиллицейского мужичка, довольно простого, как бы из работяг, как бы **СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНОГО**, с лицом, еще не перекошенным злобой (но готовым перекошиться); оглядывая меня, он приговаривал пока спокойно:

— А-а. Входи... — как старому знакомому.

За ним я увидел и других, там сидящих. Они уже успели собраться. (С делом управились за полчаса, и не помню, называли ли они себя — комиссия.)

Один из них, разумеется, был **СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ**.

— Садитесь, — сказал он.

Возможно, память подводит, возможно, что милиционеры сами запротоколировали и только потом сказали, что

им недосуг заниматься драками в очереди и всяким вздором. Мол, дело, скорее всего, ограничится штрафом, но... поговорить надо. (И тут же направили в другое здание — в комнату с дубовым столом и сидящими там гражданскими людьми.)

Так что уже на другой улице и в другом помещении я увидел этот здоровенный дубовый стол, где сразу же бросилось в глаза лицо знакомого мне **СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНОГО**, и он — он тоже меня как бы узнал — сказал:

— А-а. Входи...

И я вошел. И увидел остальных. Это были те же самые люди.

2

СТАРИК сидит в самом торце стола — с правой стороны. Крупноголовый, седой, он значителен, и, конечно, он добр, и потому-то положительные чувства (и часть надежд) в моих расчетах связаны прежде всего с ним — **СТАРИК** все знает. (Он вникает в суть; он не сводит счёты и не мельтешит.) Он будет спрашивать, не мелочась в словах и не роясь в поступках: ему не надо ни давить, ни сбивать тебя с толку, набирая очки на твоей растерянности, — он хочет истины: он **СТАРИК**.

И когда тебя спрашивают, и дергают, и тычут, не давая успеть оправдаться, ты помнишь (все время помнишь) — **СТАРИК** среди них, он-то видит, как спешат они с осуждением, как не дают слова сказать и как нарабатывают себе удовольствие, с легкостью искажая твою вину (есть вина, но она не столь вульгарна!), — он видит и знает; он мудр. Время от времени ты ведешь глазами в его сторону, мол, он здесь, он присутствует, хотя и молчит. (Молчащий умный **СТАРИК** — это тебя задевает. Это больно, и это обидно. Но надежда есть.) Соседствуя с ним, сидит **СЕДАЯ В ОЧКАХ**, пожилая седая женщина с несколько восточным лицом, и на ее слова и ее поддержку

у меня также определенные надежды. (Я пожил; я понимаю людей.)

Далее (сдвигаясь к центру) мои ожидания сильно слабеют — там обычно сидит КРАСИВАЯ женщина, раздраженная уже тем, что тратит на копанье в чьих-то судьбах свое время (свое золотое время; уходящее время). Она капризна, и надежд моих здесь нет. Еще далее, про двух сидящих там сравнительно молодых мужчин и вовсе говорить нечего. И надеяться нет смысла: волки.

Я пришел в тот день на свое бывшее место работы (уволился оттуда со сложностями) — я еще только собирался прийти, я позвонил и уже по телефону (по их ответам) почувствовал, как страстно они там оживились: ведь они теперь будут решать, *от них я завишу!*. В назначенный день я увидел длинный-длинный дубовый стол, и все они там сидят, знакомые мне по прежней работе и незнакомые (но все равно знакомые) люди — я вглядывался в стершиеся за десять лет лица, в морщины, в лысины (можно ли вглядываться в лысину? — можно), я видел раздавленные тела, седины, и здесь же был человек, незнакомый и молодой, который даже привстал в предвкушении, потирая руки. «Ну, начнем судилище?» — бросил он, улыбаясь, с красивым и, пожалуй, породистым оскалом. (Отличный, конечно, парень. Крепкий. Свой.) Я тогда впервые услышал это пренебрежительно-домашнее словцо «судилище» и тут же увидел его зубы — молодые, белые, полный рот. Волк, подумал я почти с восхищением.

Рядом с ним сидел тоже молодой — такой же. (Их двое.) А уже за ними, в центре стола, всегдашний СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ. Судилище — это прежде всего стол, за которым человек десять—двенадцать, и все они с одной стороны стола (двое в самых торцах, сидят, замыкая фланги). А другая сторона стола свободна — она *твоя*. И один-единственный стул посередине, на котором с этой, свободной стороны сидишь ты. Так что их вопросы или вдруг окрики налетают довольно широким фронтом. И ты только поворачиваешь голову — налево или направо.

Именно МОЛОДОЙ ВОЛК в один из прошлых спросов подловил меня на моем брате, болеющем душевной болезнью. В ровном течении всякой жизни (моей тоже) обязательно есть несколько *бьяк*, как их называл один работник собеса, или *запятых* — как их называю я. Эти-то запятые и бьяки вызывают, как правило, особенно пристальный интерес при всяком расспрашивании, а зацепив за не приметный краешек такой бьяки, за остренький кончик запятой, умеющие люди, вслед за ней, выволакивают мало-помалу и всю твою душу, вываживая ее, как вываживают рыбу из глубокой воды. (Они не спеша будут подтаскивать на совсем небольшом крючке, но на прочной леске. Они будут подтягивать все ближе. А ты будешь метаться, чтобы душа сорвалась и сошла с крючка, уйдя в темные глубины — там ее жизнь.) ВОЛК сразу углядел больного брата:

— Вот вы ездили за границу два года назад и ничего о брате не написали.

Я ответил: такого вопроса в анкете не было.

— Но ведь был вопрос — где ваши родственники работают? А вы скрыли. И с умом скрыли. Написали какую-то приблизительную чушь про завод...

— Он работал на заводе.

— Вы прекрасно знали, что на заводе он лишь прикреплен и притом временно. Он нетрудоспособен — зачем вы это скрыли?

Тут я запнулся. Конечно, следовало на той бумаге писать правду (но ведь брат и *правда* первое время работал), я мог бы это вполне приемлемо им объяснить, не скрывая. Но там были менявшиеся от времени и уже забытые подробности... я запнулся. Случилась пауза — и они тотчас подсекли и начали подтаскивать рыбу ближе.

— Что у него за болезнь?

— М-м, — я опять (и уже по инерции) запнулся. — Я точно не знаю.

— Вы не интересуетесь жизнью брата? Это родной ваш брат?

— Да.

— Вы его не навещаете, не ездите в гости? Вам ведь не все равно, что с ним и как с ним?

Пауза. (Не дают ответить. Прессуют одно к одному.)

— Неужели вы не знаете, как диагностируется его болезнь?

Пауза.

Я хотел ответить, что, конечно, я знаю, но знаю приблизительно, я же не медик, и невнятная терминология нетипичного шизофренического заболевания для меня сложна. Но я уже не успел. Краска бросилась мне в лицо. Я мялся, мямлил. *Даже не знает, чем болен его родной брат*, вот что висело в воздухе, вот где они подцепили, вода теперь на крючке мою заматавшуюся душу.

— А какие у вас отношения с родителями? Родители старенькие?.. Они живы?

Полезли внутрь. (Я отвечал им, уже сбитый с толку.)

— Когда вы к ним ездили в последний раз?

Ответил.

— А точнее?.. Вы не помните числа, когда вы ездили к матери?

И сбоку, с правой половины стола, ЖЕНЩИНА, ЧТО С ОБЫЧНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ, спрашивает с чуть слышным надрывом:

— Сколько лет вашей маме?

Растерянность была такова, что даже тут я запнулся. Сбился. Сказал, конечно, какого мама года рождения, но зачем-то после этого начал считать годы вслух.

В таких случаях, если уж отвечать, надо просто и быстро сказать: с такого-то года, — и тут же умолкнуть. (Мамины годы вовсе не их дело. Зачем им они?) Но расставляющая все по местам мысль приходит, увы, позже. Впрочем, она приходит и загодя (зачастую ночью) — это и есть *ночные* наши заготовки, продуманные до мельчайших оттенков ночные ответы, которые уже по-иному устраивают и организуют диалог, готовя тебя к завтрашнему вопросу. (Мой брат — всего лишь бяка. И вот уже включается вся твоя психика, чтобы заранее возвести защиту и как бы

стенной окружить сложные моменты твоей жизни.) *Вид шизофрении* — вот весь ответ, вот как следовало. (Пошли, мол, вы...) — и ни слова им, ни звука больше. И чтоб резко. И чтоб в выражении лица та злая распахнувшаяся открытость, когда уже и самый изощренный не станет слишком допытываться, когда заболел твой брат и чем конкретно. В злом лаконизме первого твоего ответа исключение последующих подробных расспросов. *Моя мама стара, и не надо вам о ней.*

Ночные мысли не только осторожны (предусмотрительны к завтрашним вопросам), но и проникновенны: в том смысле, что проникают подчас туда, куда ходу нет, — в их подкорку. Подкорковый слой начинается с *ночного узнавания* того, как бы они, мои судьи и допрашиватели, повели себя, если бы высшие силы вдруг раскрепостили их, открыв их желаниям возможности напрямую. («Снять покровы» — это когда все позволено. Делай, что тебе хочется, и прямо сейчас же. Никто и никогда не узнает.)

СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫЙ в этом плане наименее интересен: для него здесь только навар. (Нечто конкретное, что, пользуясь случаем, можно поиметь с меня, бедного.) Не алчный, он вполне удовлетворится, если я принесу ему копченой рыбки или вяленого леща. Так что, если раскрепостить, он, пожалуй, прямо сейчас поспешит ко мне домой, чтобы бегать там из дальней комнаты на кухню и обратно (у меня два холодильника, как и у многих в эти тяжелые времена, когда надо запастись продукты, не надеясь на магазин) — бегать, хлопать дверцами моих холодильников, двигать там банки и искать леща. Нравственный навар для него уже в том, что я выказал слабину, предложив рыбу и дружбу.

Другое дело **СТАРИК**; даже в ночных и по-особому чутких мыслях я не могу предположить, чего ему хочется — ему нужен трагизм. Ему нужно, чтобы я понял, что жизнь нелегка. (Мотив старости.) Ему нужно, чтобы меня не просто задержали вопросами и унизили, но чтобы еще и

засекли, пытали, растягивали на примитивной дыбе где-нибудь в подвале, а он бы *после этого* меня, может быть, оправдал и пожалел. (Никакого преувеличения. Речь ведь о скрытой движущей пружине его психики: о тайном и сокровенном желании, которого он и сам, скорее всего, за собой не знает. Но чуткая ночь знает все. Или почти все.) Он слишком стар и мудр, и ему жалость не в жалость, если меня не засекли в кровь, не поломали мне кости в подвале и не вытянули жилы на высокой дыбе. Он бы снял с дыбы. Он бы сам снял меня с дыбы и носил на руках, сильный, жалостливый старик — он бы носил на руках, чуть покачиваясь при шаге, и чуть слышно бы пел песню, как старая нянька. Он бы жалел.

Конечно, стол связан с подвалом. Это одно из естественных свойств стола, такое же, как крепость его дубовых ножек или его длина (ведь он должен быть довольно длинным, чтобы все они уселись по одну сторону). Связь стола и подвала субстанциональна, вечна и уходит в самую глубину времени. Скажем, во времена Византии. (И Рима, конечно, тоже, тут у меня нет иллюзий.) Как бы интеллигентно или артистично (вразброс) ни были поставлены на нем бутылки с нарзаном, стол всегда держался подвалом, подпирался им, и это одно из свойств и одновременно таинств стола. И следует счесть лишь случайностью, если их связь вдруг обнажается напрямую, как при Малюте или, скажем, в подвалах 37-го года, — в слишком, я бы сказал, хвастливой и откровенной (очевидной) форме.

Оттого-то, уходя с самого простенького обсуждения-судилища (все равно какого, пустячного!), ты невольно веселеешь и приободряешься духом. А заодно (где-то в подсознании) чувствуешь, что ты не миновал, а всего лишь на этот раз проскочил. И что непременно будет следующий раз. И что некий главный *стол с сукном и графином и с людьми по одну сторону* еще впереди. (Этот стол еще только готовится.) Вполне возможно, что для тебя опять

обойдется. И все же не слишком-то веселись, выскочив сейчас из воды сухим.

Бывший многоразовый зек дядя Володя говорил (неясно по какому поводу) — будучи сильно пьян, внедрял всякому проходящему мимо:

— Радуетесь?.. Погоди. Мы еще намочим в штаны.

Была в его голосе убежденность в неумолимости некоего (для всех нас) предстоящего вопроса. Но бывший зек скоро скисал, переставал пророчествовать. Сидя на дворовой скамейке и свесив голову, он говорил теперь о своих многочисленных женщинах (они его забыли, уже забыли!), — на улице тихо; только слышен его сбивающийся смех, бормотанье:

— Ха-ха-ха-ха-ха... Сисястая... Луизка... Раком... Вьетнамский ковер...

И так отстраненно (нестрашно) наплывает из прошлого подвал, куда тебя привели — доставили так или иначе под некие сырые (может быть, и не сырые, а теплые) своды, где будут бить. Подвал оказался большой и широкой комнатой, но с низким потолком — огромная низкая комната, где ты застаешь бытовиков-палачей несколько врасплох. Один из них встал и с неудовольствием смотрит на входящую охрану и на тебя, приведенного для побоев, — в руках его кружка с чаем, металлическая кружка былых лет (он грызет кусок сахара, не рафинадный рассыпчатый параллеленипед, а именно кусок, кусок тех же былых лет). Он пьет сейчас чай *вприкуску* — он из тех, кто бьет ремненным кнутом, кто засекает до полусмерти, рослый, с умным взглядом и красиво очерченным высоким лбом. (Он пьет чай, держа кружку, и смотрит на тебя.) Второй палач рядом — коренастый, простодушно-дебильного вида — тот, кто бьет кулаком, увесистым своим железным кулаком. Зол. Бьет не только по необходимости и не только, когда велят. (Оба они без малейшей подсказки напоминают двоих, что сидят — или сидели — или будут сидеть — за дубовым столом рядом: того, КТО С ВОПРОСАМИ, и простягу С СОЦИАЛЬНОЙ ЯРОСТЬЮ. Это

они же.) Подвал — тот же *стол* с некоторой трансформацией, понижающей образ в сторону бытовщины... И тогда третий, что из глубины подвала движется навстречу, — кто он? Навстречу тебе (и тем, кто тебя приволок) из глубины подвала сделал несколько шагов заспанный молодой палач; он только встал с постели. Тут у них кровати, сон; подсобка, чайники, чай, — вид потертой, обжитой общаги, и только правая передняя часть подвала, где, вероятно, бьют и засекают, где много крови и соплей, выложена плиткой, так как вытирать с плитняка много удобнее, чем с обыкновенного пола. МОЛОДОЙ встал с постели, идет с нацеленным и, несомненно, волчьим любопытством, со смешком: «Гы-гы-гы-гы...» — предвкушает попавшую в руки жертву. Он гол по пояс. На плече витиевато гнется жирно выколота роза, пониже предплечья еще одна татуировка: могильный крест над холмиком и подпись (прочсть невозможно, бугор мышцы движется, смешая и смазывая строки в пятно). Четвертый... этот и вовсе сидит на постели и что-то зашивает, кажется рубашку. Опрятность и игла в руках наводят на мысль, что за дубовым столом, сам себя трансформируя, палач сделался бы женщиной, быть может, со следами красоты, и, как всякая КРАСИВАЯ женщина, он бы (она бы) раздражался на пустую трату времени: мол, сколько же можно человека допрашивать?..

Других пока не видно. Они в глубине комнаты. (Ты видишь лишь часть подвала у самого входа, через который тебя привели.)

Подвал как *продолжение* стола и стол как апофеоз подвала; в этой паре дневная мысль увидит не столько сопряжение времен (былого и нынешнего), сколько сопряжение вечно дополняющих образов: стол с красным сукном и сверкающим графином как Дон Кихот, с его достоинством и красотой старости, подвал — соответственно — Санчо, не стыдящийся своего бытового вида; почесывающий пузо, скорее всего, татуированное и грязное.

Помнят ли люди, сидящие за столом, свою незримую связь с подвалами? — вопрос почти риторический, и трудно ответить *да*, но трудно наверняка ответить и *нет*. Не столь уж и важно. Зато вместо них (вместо сидящих) помнит сам стол. *Стол помнит*, вот открытие, которое я делаю этой ночью, вышагивая по коридору взад-вперед и помалу успокаиваясь.

Старый стол стоит себе среди ночи и все помнит (он и сейчас стоит где-то). Вспомнив, стол хочет в ночной тишине пообщаться с подвалом (полюбопытствовать, как там и что) — он начинает двигаться через скрипучие двери. Косячком, торцом стол протискивается и проталкивается наконец в ночной подвал. Как бы входит в него. Он хочет на миг совпасть, совместиться — такое вот движение образа в образ.

СТАРИК. (Он ведь тоже может помнить.) Я доволен, что почти угадал старика: долгое время его мудрость, ум, гигантский опыт и его бесконечные годы (как туманы) — скрывали его от меня. Но теперь, кажется, я знаю, что сделает или чего не сделает принципиальный русский старик в свободном проявлении воли. Вовсе не мудрость, а своеобразная глубинная жалость — пружина СТАРИКА. Подвал обнажил его суть. Движения древней души стали осязатее. В спросе за столом ему не нужны подробности, не нужно и лукавое многословье: без долгих разговоров он отдал бы меня в подвал к мастерам заплечного дела, зачем тянуть, оттягивать? — и когда засекут, замучат, вот тогда он возьмет на руки, как ребенка, и будет жалеть. Он будет сострадать. Замучат, унижат, а он возьмет на руки и станет говорить: «Ты много перенес, сынок. Было необходимо, сынок. Я не мог поступить иначе...»

Он будет искренне меня жалеть. Он увидит, что конец, что смерть уже рядом, и станет думать о скорбности всякого жизненного пути. Да, он молчал. Он молчал все время, пока меня расспрашивали за столом и пока мучали в подвале. Он все видел, все понимал и молчал. «Но те-

перь могу сказать тебе, что любил тебя как своего сына. И как сына отдал тебя в руки этим скотам. Так надо. Так надо...» — И, держа на руках тело, он будет ходить взад-вперед до самого утра. Мудрый и жалостливый старик.

(Он ходит взад-вперед, и я слышу его шаги, поступь старых и тяжело натруженных ног.) И сам хожу — ночь вокруг, какая долгая ночь.

Спит жена. Спит дочь. Спит весь дом...

Хуже всего, если захватывает дыхание: в легкие с каждым недостаточным вдохом поступает все меньше воздуха. Задышка. На лице, на лбу липкая испарина страха. (Опять сердце...) Мысль лихорадочно ищет — как? что?.. какое из уже много раз опробованных принять лекарство? или, может быть, напротив — не принимать ничего, лечь, закрыть глаза?.. Сажусь перед столом, ящик выдвинут, и я быстро перебираю знакомые коробочки, бутылочки с таблетками, конвалюты, лекарства, лекарства, лекарства — я (с учащенным дыханием) прочитываю их названия, повторяя одними губами, шепотом. Откладываю, беру новые — все это быстрыми, мелкими движениями пальцев. Я ищу. Подспудно же тем самым отвлекаю себя от страха. Перебираю, читаю названия: в сущности, работа аптекаря. И как всякая работа, успокаивает.

Еще когда укладывались спать и расходились по комнатам, дочь заметила мое скрываемое волнение. Скрыть от дочери труднее, чем от жены. (Потому что я все еще забываю, что она взрослая.) Сказала:

— Не настраивай себя. (То есть не настраивай себя на ночь плохими мыслями.)

— Что? О чем ты? — я сделал вид, что не понимаю.

Тогда дочь сказала жестче:

— Ты хочешь, как Прокофьич, умереть среди ночи? (Это о нашем соседе.)

— Вовсе нет.

Она продолжала:

— То-то завтра ОНИ порадуются: и спрашивать с тебя теперь ничего не надо. И наказание свое товарищ уже получил. (Это если умру ночью.)

Я засмеялся. Она с юморком. Но про себя подумал — нет, нет, она молода, она *пока еще* их не понимает. Им вовсе не хочется меня наказывать, им хочется — вот именно! — спрашивать с меня, спрашивать как бы бесконечно, спрашивать сегодня, завтра, всегда. Выяснять подробности. Копаться в душе. И каждый раз напоминать (не мне; и не самим себе; а тому столу, за которым они сидят, его деревянным крепким ножкам) — напоминать о непрерывающемся отчете всякой человеческой жизни. И не для наказания, а исключительно для предметности урока им нужна конкретная чья-то жизнь. (В завтрашнем случае моя.) Место расспросов — узкое место. И если ты его проскочил, им ведь наказывать тебя уже не хочется, пусть его живет, понял и ладно. Они не хотят твоего наказания, тем более они не хотят твоей смерти — они хотят твоей жизни, теплой, живой, с баяками, с заблуждениями, с ошибками и непременно с признанием вины.

Жена спит. Когда-то мы спали вместе и наша постель была заметно узка. Потом постель стала широкой, и мы все еще спали вместе, и если кто-то из нас вставал среди ночи или рано утром, другой тотчас чувствовал отсутствие. (Начинало вдруг сбоку тянуть холодком. Чего-то не хватало.) Теперь мы спим отдельно, и даже в отдельных комнатах. И мне вполне хватает моего диванчика: мне всего достает. К этому надо быть готовым. *В конце* ты опять один. Как *в начале*.

Слышу ее дыхание за дверью комнаты, где она спит. Прохожу, стараясь быть тихим...

В том, что ночью столь сильно разыгрываются нервы перед всяким вызовом и разговором (нелепый тотальный страх), мне никак не хочется признаться жене. Вероятно, я скрыл (от себя и от нее) момент, когда этот набегающий страх пришел ко мне впервые. Я не признался -- и

теперь каждый раз мне приходится скрывать слабинку. Я все еще держусь мужчиной, петушком. (И как теперь быть?.. а никак! вот так и выхаживать свой одинокий страх ночью.) Но очень может быть, что она знает и просто шадит мое самолюбие. Сама она всю жизнь боялась таких общественных разбирательств и судилищ куда больше меня, но не скрывала. И — привыкла. Но страх, как ни прячь, оказался итогом и моей жизни. (Мой личный итог.)

О чем бы ни спрашивали, они сумеют перейти к тому, как твои дела на работе. (Пробный камень. А уж после они чутко находят огибающую справа торную тропку. Умеют.)

Объясняю: так совпало — таково сейчас состояние дел. Они говорят — *а как же ранимость?* а как же ваша человеческая ранимость и совесть. И прежде всего вы должны были дать знать, что работа в отделе идет к развалу...

Я вспыхиваю:

— Оставьте в покое мою работу! Хватит!.. вы же не понимаете в ней!

Они могли бы тут же поставить меня на место — мол, среди них есть и квалифицированный инженер, есть и научный работник. (Могли бы придавить степенями и званиями.) Но они поступают умнее — давят меня долгой паузой; молчат. И мой нервный выкрик проявляется в подчеркнутой ими тишине как вздор.

А затем полноватый, солидный мужчина, которого я для себя (для простоты) называю БЫВШИМ ПАРТИЙЦЕМ, говорит:

— И все-таки вопрос: почему вы не дали знать о развале работы заранее?

— Кому?

— Что ж тут думать — кому?.. Разумеется, любому человеку из высшего эшелона.

— Я так запросто с ними не болтаю. (Нервничаю.)

— У вас же есть телефон.

— Я так запросто не звоню начальству по телефону.

— Вы все делаете из начальства пугало. А ведь такие же, по сути, сотрудники, как и вы!.. к чему эта тень на плетень?

И опять я вспыхиваю:

— Да не звоню я по начальству!

— Пусть так. Но вы могли прийти на прием. Вы могли, наконец, просто столкнуться с человеком в коридоре — мол, так и так обстоят дела. Мол, в двух словах.

— Когда работа целого отдела давным-давно идет под откос, когда катятся в тартарары, — в таких случаях не говорят в двух словах.

— Ах, даже под откос! в тартарары?!.. Значит, вы вполне представляли себе масштабы отставания?

— Но...

— Не виляйте. Отвечайте.

— Но я хотел...

— Не виляйте же: представляли вы себе масштабы отставания? или нет?.. Да или нет?

И в упор:

— Да или нет?

То, что я скажу «да», вероятно, уже видно на моем лице — «да» уже проступило и проявилось, как на фотобумаге (хотя я еще держусь). В согласованно перекрестном вопросе непременно отыщется среди них кто-то (для данной минуты) *всезнающий*, чьи слова с вдохновением загоняют тебя в угол. И не потому вовсе, что тебе нечего ответить, а потому что они многолики, а где разнообразие, там и широта. Ты и ОНИ — это разная широта. Если наскок не удался, их многократное нападение прокручивается снова и снова, с другой и с третьей стороны, хоть пять раз, хоть десять, без ограничений, а вот если они приперли тебя, все уже как бы кончено — занавес задергивается. Никаких повторов. Теперь только отвечать с обрядной жалкостью «да» и свесить голову.

— Да, — говорю я.

БЫВШИЙ ПАРТИЕЦ вальяжен.

— Совсем и не спорит, — говорит он. (Обо мне.)

И обращаясь ко всем:

— Ума не приложу, как он выкручивался в молодости! Я имею в виду, когда он был горяч, когда каждая деваха уверяла, что теперь он обязан на ней жениться. (Шутка.)
Смеются.

ПАРТИЕЦ не обязательно был членом партии. Он сидит с левой стороны стола, в торце, — объемный мужчина, так что ему там хорошо, свободно; ноги вытянуты. Локти, если утомился, он выложит на стол, на задевая соседей. Иногда — от чувства превосходства (я раньше принимал это за чувство относительной свободы) — он негромко насвистывает мелодию, что, в общем, не идет к его образу и облику. Но иногда. Редко.

Раньше он мог прикрикнуть, грозя райкомом («Вами займется райком!») или даже вмешательством в твое дело людей из госбезопасности. Разумеется, он только прикрикивал, брал на испуг. (Крик его приоткрывал: при властном вскрике распахивался просторный, полноватый пиджак, а галстук сбивался в сторону. Он знал, что в гневе его галстук сбивается, ему это нравилось (он поправлял не сразу). Но увидев в этом порыве его глаза, напрягшиеся и как бы выкатившиеся вперед из рамки уверенного лица, ты понимал, что у этого сытого человека свои (и куда большие, чем у тебя) проблемы с точки зрения борьбы за выживание. Светло-серый костюм. Наметившийся животик. И болезненная суэта, чудовишный напряг в достаточно жестокой жизни партийно-аппаратных джунглей.) Прикрикнув, он принимал прежний вид — сыто-холеный и спокойный. Больное сердце запрятывалось в складки жира, в покой. Он замолкал.

Уже в брежневское время (в конце эры) он начал терять влияние — другие люди умели, сидя за столом, и спросить лучше, и точнее, чем он, определить вину. Но он продолжал сидящих за столом считать фигурками. (Которыми он двигает в ходе судилища.) «Гм-м. Гм-м. Все правильно», — говорит он сам себе в легком самообмане

(хотя отнюдь не он, а как раз другие жесткие люди тебя расспрашивают, уже припирая к стене). Мол, дело ведут. Мол, неплохо. Молодцы... Если же вдруг случается недожим, он вступает сам. На миг вновь мелькает в его лице что-то искаженное, глубоко запрятанное. Он произносит:

— Друзья! — он любит так обращаться. Нет, не перебирая в подлинном смысле произнесенного слова, а именно что бегло и просто — друзья!.. мол, что это за неожиданная заминка в нашей столь отлаженной машине? (Махине доверительного разговора.)

— Давайте-ка спросим, друзья, его откровенно. Мы же не судьи — мы хотим *помочь*... Мы хотим, — и он, помедлив, придавив взглядом, обращается теперь к тебе, — мы хотим узнать *ход ваших мыслей*, возможно, это важнее, чем ваши поступки.

Держит паузу. И затем добавляет с нажимом и властно:

— Рассказывайте!

И удивительно, что ты поддаешься его властной магии: ты вдруг впадаешь в доверие к этому открытому лицу с авторитарной улыбкой (и с несомненно завышенным чувством собственного достоинства). Слова твои как раз такие, какие он ждет — искренние слова в их простой, непричудливой последовательности. Как и чем он их в тебе (из тебя) вызвал — трудно сказать. Но вызвал. Сумел. В нужную минуту он поруководил, направил, и теперь вновь расспросы движутся в русле своим ходом.

Он *призванный*, он делится мудростью вопроса не от себя: от лица людей. Ему даже несколько лень их всех (за столом) слушать. Если мысленно обнажить суть этого человека, дать ему в *эту минуту* себя проявить полностью, то у него возникнет, пожалуй, лишь одно прямое желание: парить, как птица, в полусне над общим разговором (иногда сверху корректируя спрос). Главное в этом тихом номенклатурном полете — немного дремать; забыться. Другое его прямое желание — встать из-за стола и, подойдя ко мне, дать мне ногой в живот, в пах, чтобы я со-

гнулся и в течение десяти минут корчился, не в силах набрать воздуху в грудь. Вот как, мой друг, с тобой надо! — для начала только так. А уж затем, пожалуй, и впрямь он может оторваться ввысь, как отрывается крупная птица от воробьев, и, распластав крылья, парить высоко в воздухе над продолжающимся на земле спросом и разговором.

Спокойный и неущербный человек в светло-сером костюме, он, чуть щуря глаза, слушает, как тебя расспрашивают. (Как они все кричат! наскაკивают... спорят... перебивают!) — он не торопится. Не торопится, потому что ценит свое мнение и не хочет, чтобы его (как всякого) одернули каким-нибудь вздорным криком. В брежневские времена его уже стали перебивать, если он говорил много. И потому он не спешит сказать: он выступает, когда все по той или иной причине смолкают. Редкая, но его минута. Он не выносит возражений: не хочет делиться иллюзией полной власти.

Он боится неуважения, даже самого малого, — вот его нынешняя слабинка. Как перенести, если он скажет свое слово, а его не услышат. (И в общем шуме даже не заметят, что он что-то сказал.)

3

Сразу за двумя энергичными парнями на правой стороне стола сидит женщина, которую можно означить, назвав КРАСИВОЙ. Говоря точнее, она ПОЧТИ КРАСИВА: интересная, статная и среди сидящих за столом в этом смысле вне конкуренции (одна такая). Ее не интересуют ни мои прегрешения, ни я сам. Ей, в общем, привычно, что кого-то терзают, будут терзать и завтра и послезавтра, и пусть! Уж так случилось, что этот человек превратился в некую мишень, на которой собравшиеся оттачивают свой ум и пытлиую злобу. (Мужчины бывают так вдохновенны в нападках на ближнего.)

Она капризна, раздражена. (Она тут сидит, а сын как

раз пришел из школы. Муж... что за еду он там разогрел?) Ей сегодня томительно: мужчины скучны, вялы, терзают этого ссутулившегося и тянут из него душу, — сам он тоже противный, гнали бы его отсюда скорее!.. Не совсем впопад (истинная женщина) она вдруг бросает: «Как можно такому человеку верить? Как можно тратить на него столько слов! Вы сами себя не слышите!» — (неясно, кем она недовольна — ими? или мной?) «Вы хотите что-то предложить, Наташа?» — спрашивает СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ. «Нет!» — отрезает она и, чуть нагнув голову, вертит кольцо на пальце, плевать ей — как хотите!

Но тут же она с недовольством подымает глаза на ТОГО, КТО ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ (разговорился дорогой товарищ, теперь его не унять!.. а время идет). МОЛОДОЙ ВОЛК, который сидит рядом, шепчет что-то ей на ухо, но она отмахивается и не слушает: ей не до него. (Ухаживания и шепотки ей осточертели.)

Но ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, конечно, спрашивает. Он не потерял нить.

— Вы сказали, что очередь не состоит из людей.

— Я?.. (Я сказал только то, что сам я никого в очереди не ударил.)

— Вы сказали, что в очереди за продуктами уже не люди, а толпа. И если кого-то избили, то виноватых нет...

— Разве я это говорил? (Он меня втягивает. Он куда-то меня подталкивает.)

— Но послушайте. Мы все для чего-то сидим здесь и внимательно вас слушаем. Конечно, у нас нет магнитофона, но ведь у нас есть уши...

МОЛОДОЙ ВОЛК, который ближе к центру:

— Дядя думает, что в очередях бывает только он — а мы в очередях каждый день не стоим!

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА, продолжая оставаться недовольной:

— Дядя вообще не думает.

ПАРТИЕЦ:

— Друзья. Человек не может раскрыться, не захотев

этого сам... А искренность его нужна не только нам, но и ему самому.

ПАРТИЕЦ говорит умно и правильно и неосторожным словом не испортит дела (его имидж и без того пошипан временем; утрачивать нельзя дальше) — проверенными словами он наводит мост, и удивительно, как из ничего сплетается его (его и их общая) паутина. Сначала оплетается ум; затем начинает ныть душа (с первым ощущением вины). И ведь обычные люди (и подчас грубые), но как они научились умению навалить на тебя вину. Возможно, связь расспросов и чувства вины в природе спрашиваемого человека. И чем решительнее был отменен, дискредитирован, оплеван и превращен в ничто суд небесный, тем сильнее проявляется и повсюду набирает себе силу суд земной. (Суд земной не просто разрушает суд небесный — он отбирает немереную его силу в свою пользу.)

Оттого и привлекают человека к ответу *по всей его жизни*. И предъявляют ему счет, хотя люди такие же, как он. «Спрашивайте с меня то, в чем я провинился! Спрашивайте с меня за мой проступок (как правило, ничтожный)! Но не за мою жизнь!» — хочется человеку закричать, завопить, вскочив со стула и вздымая руки как раз и именно к небесам. (И иногда человек кричит, нервы.)

— Сядь! — тут же кричат и приструнивают его. (Молодой кричит, из волков.)

— А ну, прекратите истерику! — кричат еще. (Женщина кричит. С ОБЫЧНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ, похожая на пожилую учительницу.)

И человек садится, спохватившись (ведь и точно, истерика), — человек чувствует, что да, да, да, *виноват*. А они правы: к проступку или поступку (разве это не так?) ведет человека вся его жизнь; они и судят *жизнь*... Они ведь в эти минуты выше быта, людей, людишек. У них, разумеется, тоже грехи, они тоже люди и людишки, но не сейчас, не в судные минуты, когда им доверено и дано; когда они сопричастны Высшему Суду (и как-никак ему сподоблены). И потому так сложно их тяжелое

единомыслие. Модель подмены небесного суда земным является довольно скоро, едва вошел СТАРИК, который садится в торце стола справа и все-все-все понимает и мудро слушает (жаль, молчит!) — и сами собой садятся с правой же стороны и рядом друг с другом крепкие молодые люди, похожие энергией и хваткой на волчат, которые только ждут мига, чтобы грозно (и в улыбке показав белые зубы) прикрикнуть:

— Сядь! Сядь!.. Чего вскочил?!

Или напротив — сообразно ситуации:

— Встань! Как сидишь?!

В самом паршивом суде (в самом простецком районном нарсуде, с запахами, с неметеным полом и замасленными, оставшимися от скорой еды бумагами под скамьями) ты все-таки дышишь полегче: ты оплачиваешь свой жизненный прокол, сидя на скамье подсудимых, статьей «номер такой-то» или «такой-то», подпункт «а» или «б». Но в случае разбирательства за столом судилища ни статей, ни пунктов нет, и потому прегрешение тебе придется оплачивать всем ходом своей жизни. Больше нечем. Как человек своего времени, я уже не переменюсь. И, как большинство из нас, так и останусь с образом Судилища внутри себя — с образом страшным и по-своему грандиозным, способным вмешаться во все закоулки твоего бытия и твоего духа. Но в области духа они все-таки не представляли собой Небеса. (Ты понимал. И утаивал кой-какие крохи.)

Взрывается СОЦ-ЯР, этот прост и уже сразу тебе тычет:

— Думал, ты один живешь — ты один в центре Вселенной, а?

Простой работяга, он начинает с центра Вселенной:

— ...Ты живешь в самой теплой серединке, а народ вокруг тебя трудится — так? Хлеб-масло ешь? Отвечай, я ведь спрашиваю прямо — хлеб-масло ешь?

— Ем, — отвечаю я.

И он тоже ест. Но ведь он с меня спрашивает, а не я с него. Поэтому хлеб-масло против меня. Если бы спрашивал я, я бы в азарте спросил тоже его корил хлебом-маслом. (И он тоже был бы виновен.)

Ярость его неумемна, он размахивает рукой. Сквозь плохие, частью потерянные и выбитые зубы летят блестящие слюны:

— Если все люди будут рассуждать, как ты, — хлеб-масло при мне, а остальное меня не касается, что будет?!

Он повторяет с нажимом:

— Что будет?.. Молчишь? Но тогда я тебе скажу, что будет, — жизнь замрет, вот что будет! свет в квартирах погаснет, и воды не будет! ты это *пойми*: троллейбусы станут! поезда станут!

И ты вполне его *понимаешь* про поезда: и ведь точно — станут. И свет погаснет. И воды в кранах не будет... Тебе удивительно: грубый мужичишка, затертые слова — а вот ведь достают тебя. Правота слов подталкивает битую душу еще на волос к чувству вины. Он прав. (Они правы.)

МОЛОДОЙ ВОЛК, как всегда, несколько прямолинеен:

— ... там ваша подпись. Вы тоже на том листке свою фамилию поставили — вы ведь помните свою фамилию?

ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, изощрен и в слове суховат:

— Не каждый шаг является целью. Но, разумеется, это не значит, что цели у вас не было.

(Давят.)

ПАРТИЕЦ:

— А тот, за кого вы радели, перешел на другую сторону. Переметнулся — и вас еще и полил грязью!

И если ты отвечаешь приблизительно (а как тут можно еще?), ПАРТИЕЦ весь подхватывается — так подхватывается профессионал среди дилетантов:

— Не расслышал, повторите!.. Повторите. Но не меняйте слов, как вы обычно делаете, — я требую, чтобы он повторил слово в слово!

(Давят. Давят уже с нажимом. Чтобы сорвался.)

* * *

На левой половине стола сидят СОЦ-ЯР, ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, и еще ПАРТИЕЦ (в торце стола) — вся агрессивная троица. Гляжу прямо перед собой, и потому лица их (боковым зрением) — как в молоке, в тумане.

И чуть что — народ. Чуть что — они о народе. Они знают мое слабое место (легко находят в российском человеке уязвимую нежную пяточку. Она на виду). Вина твоя не только возникает сразу: вина обрушивается. Огромная, завешанная веками вина. И мучительно ищется ответ. (И никогда вопрос — почему, собственно, они?)

...Почему твой брат был в лечебнице? (Вопросы уже хорох; мелочи.)? Почему ты переписывал своего сына дважды, нет, даже трижды? Почему сто лет назад, будучи пьяным, ударил ногой на повороте машину «Москвич», помял ей бок, был зван в суд (есть протокол) и как-то ведь сумел отвертеться — почему?

Среди них СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ — всегда более-менее спокойный СЕКРЕТАРЬ-ПРОТОКОЛИСТ, и первую реплику ты обычно слышишь от него, едваходишь: «Проходите. Садитесь...» — Ты почему-то сразу вперяешь в него взгляд, первый тебе кажется главным (промашка почти всякого входящего). Следует повторить (как только вошел) твое имя вслух, уточнить инициалы и запротоколировать. Тебя еще нет, хотя ты вошел. Ты идешь к середине стола, и *они*, может быть, смотрят, приотстрив взгляд, от скуки на твою обувь и на твои шаги, если на шаги можно смотреть. (Можно с интересом смотреть на движение ног — движение всегда что-то подскажет.) «Проходите. Садитесь...» И когда ты совсем приблизился, он повторяет вторую часть сказанного уже отдельно: «Садитесь». И графин от него неподалеку. (Два первых предметных образа: лицо СЕКРЕТАРСТВУЮЩЕГО и графин, оба в середине стола. Графин с водой. Лицо с приятностью.) СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ никогда не лохмат, не массивен. Он худошав. Всегда причесан, аккуратен, говорит не басом, но и не пищит — средняя, понятная всем речь.

Его претензии невелики: вставить свое слово, когда обсуждение перевалило пик. Но его желание превосходит желания других своей честной устремленностью, и по этой причине он никогда не зол по отношению к тебе. Вставить свое словцо, чтобы оно прозвучало, — вот и все. Чтобы было ясно, что он не только очиняет карандаши и доликает в графин свежей воды. В руках авторучка. Он делает беглые записи, пометки. И белая бумага лежит перед ним. И всегда белая сорочка в вырезе пиджака. (Белый — его цвет.)

«Проходите. Садитесь...» — Однажды он услышал во сне этот четкий (красивый и строгий) голос и — как знак свыше — записал его на пластинку памяти. Записал навсегда. Он не копировал, он его создал. Лет пять-шесть назад товарищ по работе сказал ему, что его шутки отдают самогоном и свежими коровьими лепешками. С тех пор он не шутит. (Душе тесно.) В компании родичей, нагрывавших из-под Тюмени, он напивается, шумит, хохочет, но вместе с отбывшими родичами кончаются три дня праздников, начинаются будни.

Выясняли вину нашего сослуживца Н. (почти притча), который все ссорился, придираясь к людям, работавшим с ним вместе. Вина Н. была ясна. Но заодно всплыло другое: оправдываясь, Н. рассказал о гибели жены, погибла два года назад, — рассказал об одиночестве, которое и толкает его к ссорам (возможно, он ждал сочувствия). Однако выяснилось, что жену он тиранил, и кое-кто из сидевших за столом знал о неладах в их семье.

Следом выяснилось, что с женой он не ладил, так как частенько позволял себе командировки, и во время этих поездок жил со случайными женщинами. И ведь не отвертеться. Одну из них, совсем молоденькую, он, как говорили в старину, совратил (растерявшийся Н. даже имя ее сам им назвал, вспомнил!). Он бросил ее, уехал, и молодую женщину это так потрясло, что она заболела (нетя-

желой, но долгой душевной болезнью). И тут же, в параллельном и пристрастном расспрашивании, выяснилось, что и частые эти командировки он устраивал себе не всегда по необходимости и, конечно, за счет предприятия. И так далее и так далее. И все продолжала выплескиваться его несомненная и как бы единая вина (правда, рассредоточенная по всей долгой жизни, как это и бывает у человека).

Судьи (то бишь сослуживцы) уже понимали, что влезли не в свое и что им надо было остановиться еще там, где Н. придирался к товарищам по работе — им надо было остановиться на *своем деле*. Но, перекопав, как канаву, почти всю его жизнь, они не могли теперь эту канаву просто так зарыть: впали в положение Бога, который увидел грехи наши... Они продолжали расспрашивать — вина продолжала разрастаться, и Н. сам ужаснулся всему тому, что он натворил (но ведь это за всю жизнь, так и бывает!) — на покрытый сукном старый дубовый стол огромным комом выволоклась наконец *вина*. (Последний суд состоялся.) Потрясенный Н. попал в больницу, вскоре же умер; он как-то вдруг угас. Злые языки, правда, говорили, что он умер, *опившись валерьянкой* — отравился какими-то успокоительными препаратами.

Работавшие с Н. (почти все мы) как-то разом в те дни почувствовали, что Н. был честный, порядочный человек, добрый и даже верный (хотя это и не отменяет всего того, что мы так пристрастно насобирали в долгой канаве вдоль его жизни) — во всяком случае мы чувствовали, что мы не лучше.

ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, интеллигент, он как бы главный. На ровной ноте вежливости, которая многого стоит, он вытягивает из тебя личное (не обязательно болезненное).

— Что? что? что? — вдруг вскрикнули настороженно двое из них или даже трое — голоса их слились. Почуяли неосторожное мое слово, тут же взяв новый четкий след на снегу.

Я еще не понял, что такое сорвалось с языка, некий выхлоп, случайный выброс слов, протуберанцы недовольства, — зато они уловили чутко.

— Что? что? что?.. Да, да! не прячьтесь! — вот они ваши слова, мы уловили *протуберанцы вашего недовольства*.

Они и дальше будут копать канаву, рыть яму за ямой на месте каждой неровности твоей души, ямы и малые ямки, каверны, пещеры, заглядывать туда и вскрикивать — как темно!.. Сами копают пещеры и сами удивляются, что там нет света.

Ты отвечаешь им, запинаясь, однако еще не путаясь, но в одну из обыкновенных минут вдруг смолкаешь, как в ступоре, словно бы тебе крикнули: «Вста-аать!» — и хотя этого не крикнули, ты встаешь, ты медленно встаешь со стула, а затем (осознав, что минута как минута и никто ведь встать не велел) медленно же садишься в полнейшей тишине. Но стул подламывается. И проваливается пол. И ты уже в том самом подвале, где громадный мужик идет к тебе навстречу. Висящие кнуты, ремни. Всякие там ножи и шипцы, что так ужасают, — но прежде мелких предметов ты видишь этого здоровяка, крупного и с неотталкивающим лицом, идущего навстречу. Идет принимать. На руке, на внешней половине бицепса выколота та роза, с вьющимся стеблем, а на плече могильный крест. Здоровенный, полуголый, с хамским блеском серых глаз. Огромный мужик, животное, любящее, как он сам говорит, *потешиться* — из тех, кому все равно, что перед ним в эту минуту: овечий зад, женский зад, мужской зад, лишь бы жертва взвизгивала, вскрикивала от боли (нет, не от униженности — такого чувства он не понимает, не знает его; именно от боли, чтоб криком кричал — это ему понятно).

Ты можешь и не знать о времени *подвалов* или о *времени белых халатов*, но в том-то и дело, что и не зная — ты знаешь. (Метафизическое давление коллективного ума как

раз и питается обязательностью нашего раскрытия.) И удивительно, что мы не раскрываемся до конца.

То есть мы раскрываемся, мы искренни в своем раскрытии, но *что-то*, как правило, маленькое, укороченное, неважное, мы все же оставляем себе. Какие-то травинки уцелевают, в то время как выдираются с корнями дубы, заросли кустов и толшь травы. Какие-то две-три травинки... И в смуте души человек почему-то их утаивает.

Быть может, они вызывают меня, чтобы помаленечку начать увольнять с работы. (Идет сокращение.) Ведь они никогда прямо не скажут: так, мол, и так, хотим сократить. Они будут вызывать, обсуждать, копаться в твоих делах нынешних и прошлых. Им необходимо нравственно тебя осудить, прежде чем дать ногой под зад. (Момент истины.) И когда сейчас, среди ночи я подготовился к сотне вопросов, главный их вопрос я забыл: *по какому поводу они меня вызывают?* — но этот-то вопрос и не важен. В нем нет содержания. В любом случае будет один и тот же стол с сидящими вокруг людьми. И копаться эти люди будут в одной и той же жизни. В моей.

Не способные сказать прямо, лукавые, они станут меня расспрашивать, и тень парткома былых времен, ничуть их не пугая, будет висеть над старым столом, покрытым сукном. Есть тени, которые не пугают. Старый стол различает знакомые интонации спроса. (Потому и вызывают не сообщить, а поговорить.) Я, разумеется, совок. Но ведь и они совки. Они не способны выгнать просто так — они должны будут убедить меня, что я никуда не годен, что я говно, что плохо жил жизнь и что обществу я с некоторых пор и отвратителен, и не нужен. Сколько бы я ни готовился вот так среди ночи, они все равно застанут меня чем-то врасплох. Но и я вдруг вспыхну. Как только в середине разговора определится, к чему они клонят (а это не раньше, чем середина спроса, они ведь должны захотеть вытянуть мне жилы), я начну дергаться, сопротивляться,

огрызаться, а они, удесятерив усилия, будут еще более давить, гнать, травить бегущего. *И виноватого.*

Ночь. Кухня. Я варю (по необходимости) старинный дедовский сбор из того, что накопал и насобирал летом. Валерьяновый корень. Мяту перечную. Речной трилистник. Что делать, если в аптеках нет, а мое сердце, если его не осаживать ближе к ночи, имеет слабость, как пугливая бабочка, вдруг затрепыхаться, забив крыльями. (Вижу человеческое сердце как красную бабочку. Сидит со сложенными крыльями. Крылья дышат в неполный такт: поднимаются и опадают.) Я отсыпаю две ложки сбора. Ставлю эмалированную кастрюльку в большую миску с кипящей водой (делаю «водяную баню»). Захочешь жить — всему научишься. Ночь долгая.

Свалявшиеся волосы, больной вид. Медленной ночной поступью прохожу мимо зеркала. Хотел бы подмигнуть своему отражению, но не вижу собственных глаз — запали под брови и веки; усталость...

Запах с кухни. Пора. По часам вижу: убавить под миской газ, иначе вода со сбором выпарится со дна.

Возможно, я уже знаю их, сидящих там за столом, до такой черты, до какой они сами себя не знают, но знание это не дает мне, увы, силы от них отодвинуться. Они слишком близко. (И, конечно, запоздалое недоумение, как так случилось в жизни, что, спеленутый с ними, я уже не живу без них, не мыслю себя без них.)

Они — это и есть я.

Хожу по коридору. Если жена вдруг проснется от шарканья моих шагов, скажу, что я только-только встал. Мол, в туалет. Могу даже решиться и сказать, что бессонница. Но тогда на меня навалится ее сочувствие, которое я бы охотно принял, если бы мог, к тому же решиться рассказать, какие жалкие страхи меня одолевают. Возможно, жена знает. Возможно, понимает, что *без сочувствия*

мне легче. (В каждой семье есть свое. В нашей — мои скрываемые ночные страхи.)

Я бывал спрашиваем ими уже десятки раз и даже, пожалуй, сотни раз, и ведь выжил — ну так одним разом больше! Но в том и суть, что человек придавлен не ожиданием предстоящего ему 148-го раза, а остаточностью давившего пресса 147-ми предыдущих, — это ясно. Сколько раз за таким же точно столом я их перехитривал, уходил от них, сбивал со следа, дурил, обманывал, да и просто оказывался умнее их и многожды пронизательнее. Иногда я таился, иногда вел себя вызывающе, иногда компромисничал, иногда, решившись, давал малый или большой бой, а они ничего такого особенного не делали: они только и делали, что оставались самими собой. Они не меняли лица и не хитрили и потому победили меня. (Оказалось, что они — часть моего сознания, что и стало их победой.) Однажды оказалось, что они со мной, они во мне, и уже не отодвинуть их типовые лица, их вопросы. (Я так долго старался их понять. Ночью, такой же вот ночью готовя себя к спросу, я огромным душевным напряжением все же проник в их суть, понял их, и в ту же самую секунду они угадали меня — вошли в меня. Взаимность.) Конечно, уже не отодвинуться. Времени нет. (Жизнь прожил.) Мне, в общем, жаль, что я думаю о них и только о них. Жаль, что в напряжении бессонной ночи я варю темно-фиолетовый валерьяновый корень и хожу взад-вперед по ночной квартире, вместо того чтобы спать. (Мне жаль мое «я», которое от застольного общения с ними стало словно бы пластмассовым, и если его хоть чуть подержать у их огня, оно тут же мягчеет и скукоживается, покрываясь с теплого бока кривизной морщин.)

Человеку, впрочем, так или иначе суждено пережить Суд. И каждому дается либо грандиозный микельанджеловский Суд и спрос за грехи в конце жизни, либо — сотня-две маленьких судилищ в течение жизни, за столом, по-

крытым сукном, возле графина с водой. Так что, может быть, это *наш* вариант? И тогда я думаю: может быть, за свои 147 или 148 раз я уже очистился?.. может быть, тому, кого уже со школьной скамьи спрашивали с пристрастием, как и зачем живет он, сам и народ и вечно виноватый перед народом, — может быть, ему, бедняге, в конце жизни будет за это грандиозная скидка, и ему скажут: никакого Страшного Суда, проходите, проходите!.. Нет, нет, оправдывать вам ничего не надо. Вы уже все рассказали и на все вопросы ответили — проходите. Вперед, совок, тебе уже ничего не предстоит. Вперед, милый. И не страшно, что впереди такая темень и мрак — это всего лишь ночь.

(В своем экзистенциальном выборе мое «я» хотело бы прожить жизнь размашисто, дерзко и, пожалуй, нечестно с точки зрения общей морали: заниматься, к примеру, кражами и быть талантливым ночным вором, влюбленным в погасшие на время ночи городские квартиры первого и второго этажей, — возможно, я выбрал бы такую (хотя бы такую!) жизнь взамен нынешней. Нет. Не сумел и не дали. Даже этого не позволили, обрушив на меня еще с детства чувство вины.)

И странная вдруг картинка (это ж надо такое представить!) — драка у них за столом. Да, да, меж собой у НИХ потасовка. Трое дерутся против четверых, а еще двое выясняют who is who сами по себе — брань, крик, зуботычины, и даже стул, брошенный в кого-то, полетел через дубовый стол, не задев, впрочем, графина и бутылок с нарзаном.

Такая вот нафантазированная картинка. А я как раз к ним пришел. Мне бы обрадоваться и уйти, а я стою как потерявшись. Я ведь пришел открыться, готов к вопросам, готов оправдываться. С собранным комом жизни внутри себя. Стою. А им не надо. И не знаю, как быть и куда мне деться, когда у них драка. Я стою в ожидании. Топчусь, топчусь. Я ведь не могу уже без суда. Я уже не могу быть один на один со своей душой. Она уже не моя. Возьмите ее. Пожалуйста, возьмите.

4

Если ты их за столом упорядочиваешь, сидящие там (в твоём воображении) ведут неприятный ночной спрос. Но если ты их не упорядочиваешь, хаос страха хватается тебя прямым за сердце. Ночь есть ночь. (Ночные мысли нехороши, но если их не упорядочивать, они совсем плохи.) И порядок в мыслях — это отчасти порядок в том, как эти люди будут завтра сидеть за столом. Завтра обойдется. А послезавтра не обойдется. (Однажды твоя бабочка вдруг забудет крыльями — и взлетит.) Но ведь что-то меня мучит конкретное — что?

Припоминаю. Вот оно что: та, СЕДАЯ В ОЧКАХ, сердобольная, что в правом углу стола, похожая на полурусскую, вполонину с армянской либо еврейской *долей*, завтра, кажется, не придет. Вслух сказали. (По телефону. Кто-то сказал кому-то, а я слышал, проходя мимо.) Стало быть, для меня один голос потерян. Хотя и она может выступить против. (Бывает.) А все же знать, что она, с печальными глазами за стеклами очков, сидит там, на правой половине стола — знать неплохо. Сидит вся седая, прокуренная. В сильных очках. (Жаль!)

Для врачей-психиатров *времен белых халатов* было ясно, что сидящий перед ними человек не диверсант и не враг, а также не убийца партийных лидеров (взрывы, выстрелы и вообще «враги» остались в прошлом — в 37-ом). Так что вопрос упирался всего лишь в нежелание «быть с народом вместе», а не желать этого (за отсутствием врагов) мог только человек больной. Что им и предстояло определить. И квалифицировать: *больной человек*. Они искренне в это верили.

Такой человек мог быть поправимо больным; ему назначалось лечение в психиатрической клинике. (Надо было помочь не некоему Иванову А. В., а надо было *помочь человеку*, как бы потенциальному и как бы содержащемуся сейчас внутри Иванова А. В.) Профессионально-медицин-

ский спрос вели разные люди. У них были разные судьбы, и их разное пригласили за этот стол. Но, как и всегда, рядом с СЕКРЕТАРСТВУЮЩИМ сидел интеллигент, с высоким, красивым лбом, то есть тот врач, КТО С ВОПРОСАМИ, был СТАРИК (старичок от общест­венности), был СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫЙ (врач из низов, никак не могущий сделать карьеру), была врач, КРАСИВАЯ женщина, — словом, все они были люди как люди, только в белых халатах. (В известном смысле они были народ, и у сидящего перед ними человека была возможность почувствовать вину и раскрыть свое «я».)

Авторучка СЕКРЕТАРСТВУЮЩЕГО работала как никогда. *Время белых халатов* — его время: единственное время, когда записи значащи и когда слова ведущих спрос он записывал аккуратно и со строгой точностью. Иногда (сквозняк, весна) СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ прикноп­ливал на столе свои белые листы (кнопок в продаже не было) вышедшими из употребления иглами от шприцов, и старый стол (под скатертью) сохранил болевые точки, каждый раз по четыре. Они уж давно не болели, разумеется, но все-таки чернели на поверхности, хотя и затянутые пылью времен. Старый стол также сохранил (под скатертью) небольшие черные прожиги — следы выкуренных папирос. Скатерку, конечно, сменили (сукно сменили уже много раз), но прожженности стол помнил старым своим телом. Через дрему десятилетий он помнил и голоса.

Голоса «обыкновенных» были негромки. Хотя это были не единицы, а тысячи, а то и десятки тысяч из разных городов — в основном юнцы. Время попросту выбросило в жизнь целую генерацию, которая «хотя бы на волос», а все же отличалась от предшествующих. (Предусмотрено биологией.) Возможно, они и на волос не отличались, но всего лишь вступили в период возрастных сомнений и смущения духа, какой в юности бывает у всякого, и, пройди они, проскочи этот период, через год-полтора из каждого из них получился бы самый обычный совок, честный и посвоему верящий в известные идеалы, но... но год-полтора

им не дали. Юнец высунулся — его успели заметить, поймать на слове и, упирающегося, привести за стол, покрытый сукном.

Строго говоря, *белые халаты* приглашались судить юнцов не сразу: сначала решал трудовой или же студенческий коллектив (стол, с сидящими вокруг людьми), затем общественный суд (еще один стол с сукном и графином посередине) и, наконец, круг врачей и психиатров вместе с представителем общественности (третий и уже последний стол) — впрочем, можно было считать, что это один и тот же стол, но только удлиненный в три раза по случаю.

И вот что юнцов ждало: разрушенная после лечения психика; затем «тихость»; затем, как правило, быстрая, ничем не приметная смерть.

С той же стороны, где сидела КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА-ВРАЧ, сидела и ЖЕНЩИНА С ОБЫКНОВЕННОЙ ВНЕШНОСТЬЮ, похожая лицом на школьную учительницу, так что если потрогать старый стол, отнятая на этом месте от стола ладонь все еще передаст (через новое сукно) сохранный запах школьных парт и тонких ученических тетрадей. В школах тогда уже обходились без чернилниц (вовсю пользовались авторучками). А в клиниках все еще применялся для лечения препарат, в простоте называемый почему-то «Аленкой» (иногда «Ежевикой», за густой, темно-красный цвет). Патентованное соединение инсулина и старинных препаратов (веронал плюс уретан). «Аленка» была популярна в психиатрических больницах. Препарат сразу же усваивался и — главное — столь же быстро вызывал у больного непроходящую сонливость, подавленность, правда, подчас и исчезновение интеллекта. (А заодно и — необъяснимую ненависть к птицам. Все больные рассказывали про птиц.)

Вызываемые по очереди молодые мужчины и женщины (студенты или сотрудники университета) парировали реплики собравшихся на консилиум врачей; дерзили. Острые на язык, они посмеивались. Они даже в меру издевались

над своими медицинскими судьями, мол, разве мы похожи на психов, и, мол, если мы — психи, то кто тогда не псих?.. ОН был приметен копной светлых волос. ОНА, вызванная следом (они вплоть до лечения держались вместе), отличалась правильными чертами лица, небольшой темной родинкой на щеке. Оба прожили недолго.

ОНА была тоненькая. Смесь подкорковых ядов в процессе лечения очень скоро привела ее к тихости: исчез смех, лицо стало задумчивым. Тишина обступила. Ей, правда, слышалось падение дождевых капель на крышу, тиканье маятника. А затем — как и у всех — накатывали вспышки гнева при виде голубей, бросающихся на хлебные крошки. Непереносимое отвращение ко всяким птицам, но особенная ненависть к крупным — к воронам, голубям — она топала на них ногами, кричала: «Кышш! Кышшш!..» — и как только спугнутая птица взлетала, возникала девичья слабость, дурнота, обильные капли пота на лбу. ОНА скоро умерла. Обычная в таких случаях серия припадков обошла ее стороной, наступило истощение и — неприметная смерть. ОН умирал дольше. Мощный интеллект все еще сопротивлялся и месяц, и два: он даже продолжал решать какие-то задачи, доказывать теоремы; он спал, ел, он даже шутил, — да, да, как и впервые представ перед судным столом, он довольно долго острил, уже и психика «потекла», уже и ум его «сел», как садится аккумулятор, а шутки выскакивали, выпрыгивали изо рта — и до самой смерти не возникло в нем желания молчать. (Из известных признаков — только ненависть к пернатым.)

Судьи-врачи, судьи-психиатры сами подвержены обратному действию судилища. Открываемое ими, оголяемое чужое «я» укрыто природой-охранительницей (по отношению к ним) очень токсичным психологическим полем. Врачи признавались, что сам спрос человека, попавшего им в руки «полностью и до конца» (их судный стол), оказывал воздействие на их собственную психику. Иногда это их подавляло. Иногда приводило в неосознанное игровое

возбуждение. И если врач не стопроцентно устойчив, процесс расспросов провоцирует его психику и подталкивает его самого к едва намеченным границам патологии. Обладание не хочет знать ограничений. Спрос — уже *потребление* человека человеком. А возможность проникнуть в душу и там выискивать сродни обладанию.

Один из врачей, а именно ТОТ, КТО ЗАДАВАЛ ВОПРОСЫ, был настоящий ученый, всю свою жизнь размышлявший о сухой плазме, об инсулине, о препарате ДтДн в ампулах. И конечно же, по-человечески сочувствуя ЕЙ, он сожалел о наступившем вдруг сумеречном состоянии ее души. ОНА была ему симпатична. Когда после долгого отпирательства и нежелания объяснить свои студенческие выходы, она наконец потеплела сердцем и сказала: «Я расскажу. Я все расскажу...» — и лишь запнулась на миг на пороге откровенности, врач облегченно вздохнул. (И неожиданно, как он после признался, испытал к ней чувственное желание.)

Молодое красивое тело находилось в подсобной, «холодной» комнате накануне перевоза в морг, а он, как записано в последующем протоколе, «остался наедине и не мог оторваться от ее лица, родинки на щеке». (После тоски, после сумерек в психике и приступов ненависти к голубям, к воробьям, к их гнусному чириканью, больная умерла. Умерла и лежала — вот она. Она лежала в холодной, подмораживаемой комнате, одна. А врач?..) А врач только-только вошел туда и с грустью смотрел. Он (тут следует отметить точно) и сам еще не знал, что это доставляет ему удовольствие, «...пока этой же ночью он не оказался один на один с трупом молодой девушки. Желание его оказалось настолько велико, а обстоятельства настолько благоприятны, что он не устоял. Обнажив член, он прикоснулся им к бедру мертвого тела, испытыв при этом огромное возбуждение. Окончательно потеряв над собой контроль, он обхватил тело и приник губами к ее интимным местам. Как утверждает подследственный (теперь спрос был с него), возбуждение достигло в этот момент

такой силы, что у него произошло извержение семени. Затем пришли угрызения совести и страх, что его могут застать ночные медсестры или уборщицы... Под утро он опять вернулся. Первым делом он сосал у нее груди, затем погружал губы в интимные места». Вероятно, окоченелость ее тела, подмороженность трупа не дали ему возможности полного обладания (заодно же не дали впоследствии применить к нему статью кодекса в куда более суровой полноте). Разбросанные там и здесь в протоколе его признания однозначно говорили о том, что именно процесс судебного вопроса его возбудил. Врач-психиатр, он и раньше испытывал по отношению к опрашиваемым женщинам известное возбуждение (томился, мучился, но природу мук, как он уверяет, не понимал). Выяснения и тщательная проверка его ночных дежурств подтвердила все такие случаи, а также постепенность нарастания его чувств. Возбуждали ли его мужчины, когда он вел пристрастный разбор их дел?.. Нет. Его мучило нечто во время расспроса женщин, но он не мог это нечто понять, пока не осудил однажды на лечение молодую женщину и она не умерла вскоре от препарата «Аленка».

Секс, я думаю, не однажды был связан с судилищем ритуально — связь уходит в глубину веков, в нравы племен. (Меня колотит, когда думаю об этом; в двух шагах от спросного стола — бездна.)

5

Расспрашивая, человека уже и раздевают, вплоть до самой наготы, и то уже есть секс, уже постель, и каждая следующая сброшенная тряпка злит и распалает как их, сидящих за столом, так и нас, спрашиваемых (мы — в женской роли). Но ведь удовлетворения нет. Они разложили, раздели тебя своими вопросами, и, передавая от одного к другому, коллективно поймали твою душу, но все как бы впустую, без выброса семени. Неполнота облада-

ния очевидна, и графин в середине стола играет лишь роль торчащего камня, ритуального фаллоса (бессмысленно стоящий графин, из которого никто и никогда не пьет). И как только жертва уходит от их спроса за дверь, ощущение этой неполноты наваливается на судей. Он ушел. Ушел, и судилище тотчас стало безвкусным — они даже оглядываются друг на друга: чего мы тут сидим? зачем? что за насмешка?!

Геосексология — пора бы ввести такое слово. Грубая географическая схема такова. В Латинской Америке — секс и кровь. В Америке — секс и доллары. В России — секс и спрос. В Европе — секс и?.. ну?.. — ну, конечно же! Ну разумеется, в Европе *секс и семья*, как я мог это забыть? (Ночь. Ирония слабеет. Иронии бы тоже надо спать.)

Так что осознанно или неосознанно, но после коллективного тотального досмотра твоей души их неостановимо тянет теперь к самому что ни на есть бытовому сексу. Что бы и как бы они там ни объясняли, их тянет, влечет, они должны торопиться к соитию, и самый серенький грех в эти последующие часы их устроит. (А заодно и лазейка, так как все еще длится возможность несколько часов отсутствовать, не объясняя своей жене или своему мужу.)

Но есть и высокое оправдание. Зачать новую душу, оплодотворить хаос (у них вполне претензии Бога). Примерив на себя роль Бога, они ведь тем самым взяли на себя и непрерывность всей проблематики Творца. Именно так: завершая Судом чью-то жизнь, они бы должны начать, точнее сказать, зачать жизнь следующую. Начинать же и зачинать они умеют отнюдь не из хаоса и не из глины. И потому-то сразу после всякого судилища каждый из них бегом бежит к постели, к совокуплению — как мужчина, так и женщина, — в них срабатывает крохотный ген взаимосвязи смерти и жизни. (Они обязаны. Они должны выполнить заложенную онтологическую программу: зачать

чью-то новую жизнь после того, как чью-то прежнюю жизнь закончил.)

Сразу за СЕКРЕТАРСТВУЮЩИМ, за гладеньким и чистеньким секретарем-протоколистом, сидят с правой стороны два МОЛОДЫХ ВОЛКА. Один из них волк НЕОПАСНЫЙ. (То есть он *здесь* неопасный. Вообще-то он рвет зубами все, что придется: место по службе, женщину, девицу, скорые деньги, выпивку, — торопящийся и всегда алчный.) Но здесь он скучает. Плевать ему на них. Он, конечно, поддерживает спрос, но иногда, именно из наплевательства и из известного бесстрашия, он способен тебя (жертву, сидящую за столом посередине) вдруг поддержать, оправдать, а то и клацнуть зубами, огрызнувшись в сторону ТОГО, КТО С ВОПРОСАМИ, или в сторону ПАРТИЙЦА — мол, нечего меня учить и одергивать, сам знаю.

Опыт, впрочем, для него интересен: ему не хочется упустить, как именно затравили тебя. В такую минуту (а прежде он скучал) его глазки с сонной лентой открываются: мол, нет, не проспали тот волнующий предмомент, когда доламывали, и когда человек наконец сломался. (Косвенно полученная радость хищника. Вот она. Мысленно он прикидывает, как у него на работе вот так же завалят в свой час и пригрызут непосредственного начальника, если тот зазевается, старый барбос! еще увидим его жалким!..)

— Что виляешь, что ползаешь, — вдруг возмущается он, если жертва (если ты, задерганный вопросами), уже *готовая*, уже с переломанным позвоночником, все-таки находит в себе силы тянуть время: оправдывается и уползает куда-то в сторону от расправы. (И главных слез, тех, что искренние, с сукровичной водой, — этих слез все никак нет.)

Он — из *растущих*. (Из набирающих у себя на работе очки.) Из тех, кто хотя бы немного в славе: он движется по некоей лестнице, растет и (наедине с собой) уже пес-

тует свое тщеславие. Он остается, по сути, тем же молодым волком, но уже не хватает, загрызвая, все подряд.

Ему мила сцена, когда его упрашивают: стоят возле него и говорят, заглядывая в глаза. И когда войдет, он сядет за судилишным столом близко к графину с водой, но не потому, конечно, что жажда, а потому, что уже есть подказанная и привычная близость к центру. Но он еще туда не вошел. Он идет, и с ним рядом пытается идти некий жалкий тип, вероятно, приятель того, кого сейчас будут сурово за столом спрашивать (дружок сегодняшней жертвы), — идет бок о бок, ища возможность замолвить словечко. И тут, разумеется, следует быть решительным:

— Нет, нет. Ничего вам не обещаю...

Но тот продолжает, лепечет свое:

— Избави бог, я и не прошу, чтобы обещали — я знаю, вы человек беспристрастный. Я только хочу сказать... Я всего лишь... я думаю, что возможно...

— Нет. Не обещаю.

При этом, однако, молодой, растущий ВОЛК ИЗ НЕОПАСНЫХ не уходит от просителя резко в сторону и даже не отворачивает головы. Он дает этому просителю — пусть полупросителю — идти рядом. И еще одному полупросителю, который уже справа пристраивается на ходу, тоже дает сказать и идти рядом. (Хотя и ему не обещает.) Он не против, чтобы тот, что слева, да и другой, что забегает сейчас справа, шли и шли вот так рядом и заглядывали в глаза, и что-то говорили, просили всю его долгую (он так надеется) жизнь.

— Нет. Не обещаю.

Глазами других людей (отраженно) он отлично видит и себя, и эту нашу с вами припляску на ходу вокруг него. Он уже повернул от лифтов по коридору, он идет ровно, а мы все спешим, принаравливаясь к его шагу, — спешим и говорим, как нам кажется, важное.

Другой МОЛОДОЙ ВОЛК более весел, из него прет энергия, он остроумен. (Витальные ключи, быющие из са-

мой глубины натуры, выносят на его лицо замечательную яркую улыбку. Так и чувствуешь токи жизни.) Таких любят, точнее сказать, такие всем нравятся. И особенно улыбка. Приятно смотреть. Хотя, разумеется, именно он на судилище тебе хамит, тычет тебе с первых же слов или вдруг кричит: «Как сидишь? Что это ты развалился?! — он одергивает, не вникая в тонкости. И он же загоняет в угол прямыми и, если ты это допустишь, унижающими тебя вопросами.

МОЛОДОЙ ВОЛК ИЗ ОПАСНЫХ тем и опасен, что хочет прихватить во всяком месте (в частности, здесь, за столом судилища). Использование ситуации в своих целях, то есть свой навар, он не обдумывает и секунды, потому что хватательный навык укоренился и, как инстинкт, лежит уже в самой его сути. (*Добыча.* То есть ты — добыча, все твое — добыча, и вся твоя жизнь — его добыча.) Если ты загнан и падаешь, что-нибудь твое следует пригрызть. Неплохо бы женушку, если не так стара, если толста и добродушна (самый лучший тип!). Можно и дочку твою, лет восемнадцати, совсем неплохо. Но с этими восемнадцатилетними обычно вляпываешься, бросаешь, потом их жалеешь — нет уж, к чертям, проще и лучше жену!..

И когда за день-два до судилища твоя жена появляется и хочет с кем-то из влиятельных поговорить (в волнении она спрашивает, как и что, ее помаленьку пробивает дрожь), молодой **ВОЛК** тут как тут: он даже не почувствует подделанность своей лжи, потому что как раз сейчас проступает его суть: его естество. Да, малам, могу помочь, да, это в наших силах, постараемся разобраться. Когда люди ко мне с душой — я тоже с душой. И... глаза свои быстрые вперед. Глаза — в глаза. Нет, нет, деньги его не интересуют. (Интересуют, но сейчас можно начать с другого: с более волнующего.) Нет, нет, какие там деньги! Вы — женщина, вот вы сами и догадайтесь... и после запинки сразу, уже без пауз, по-волчьи:

— Хотите, приду к вам на чай?.. Я думаю, лучше днем, когда тихо и спокойно?

И с улыбкой:

— Если выпивка тоже будет, она *нам с вами* не помешает, верно?

Конечно, в свою пору ты тоже поучаствовал и побывал в числе тех, кто судит. (Каждый побывал, каждый сидел рядом.) Наше сознание полууправляемо; и если за судным столом тебе пришел черед сказать слово и возник некий психологический сбой, ты запинаешься лишь на миг, а потом просто и как бы охотно говоришь, попадая в пришедшую тебе на помощь ауру спросных слов (хотя бы и тебе чуждых).

Двигаясь из юности в зрелые года, ты не мог миновать и не быть в этой паре молодых волков. Было скучновато, но зато было расположение к тебе женщины, сидящей рядом (сначала она сидела поодаль, но ты к ней пересел через одно-два судилища); ее вполне можно было счесть КРАСИВОЙ. Твои молодые волчьи повадки подогревались, к тому же ее более старшим возрастом, и соответственно ее чувственным опытом, и плюс ее мужем. (Верно: ты отошел вскоре от судебного застолья. Но ведь отошел случайно. И это уже после, перетряхивая всю коробку, жизнь сделала тебя более ранимым. И все более сочувствующим тем, кто подсуден.) Лысый многоженец... ах, как он умно извивался, оправдывался, как издали стал вдруг нацеливать теплый голос на ответное человеческое сочувствие, на сострадание (которого он хотел от нас), а я спросил: «Вы собираетесь нам рассказывать о *всех своих женщинах?*» — он улыбнулся, ответив: «Мне придется», — однако я продолжил: «Не о всех. Пожалуйста», — и после этого скромного ненажимного попадания весь боевой воздух из него вдруг вышел. Он обмяк. (Он сразу на наших глазах обмяк, а ведь как держался!) — попав в *человека* раз, я тотчас почувствовал гон, привкус погони. В его оправданиях открылся пробел (и незащищенность) с другого фланга — и я ткнул туда: «Правда ли, что вы много говорите про Андрея Ивановича и его жену?... с чего? был

ли повод?..» И тут он совсем пал духом, голос его скрипнул, и селезенка жалобно екнула (звук екающей селезенки был мне тогда незнаком). Андрей Иванович — шеф, большой начальник, и постыдно, что я этим ударил. Но ведь я не собирался так очевидно засвечивать, нет, нет, я просто шел по следу, ломил, гнал, а шеф, толстяк-начальник, был козырем, и в азарте я козырнул, как в игре.

Проверять и исправлять чужую жизнь, лепить ее, созидать — да, да, созидать всякую чужую жизнь, корректируя ее!.. Честный дядя хотел, чтобы все вокруг были честными. Ведь если ты видишь возможность исправить чью-то жизнь, кажется вполне естественным, если ты вмешиваешься. Люди обязаны вмешиваться. (Но если вмешиваются в твою жизнь — это ужасно. Вот и мудрость. И уже с демократической одержимостью.)

В тот же день попался хитрован-сибиряк, окал, акал, никак не могли за столом к нему подступиться. Я был, видно, в тот день в ударе: заметил его уязвимое место, но пока молчал. (В гоне я не был ВОЛКОМ в охотку, страсти не было. Но я тоже входил в раж.) Ну никак не могли судившие сделать его виноватым (*главное* во всяком спросе) — время тянулось мучительно, спрашивали без толку, хотелось курить. В желудке уже подсасывало, и исключительно от томительности минут я вдруг его сомнительную слабинку приоткрыл — ткнул, и он прокололся. Солгать сразу он не сумел. «Погодите, погодите!..» — он хотел выкрутиться, солгать отступая, но ему уже не дали. В отысканную брешь ринулся злобный СОЦ-ЯР, а за ним все сразу, и снова, и уже вдохновенно задавали ему вопрос за вопросом, — уже терзали. Хитрован шмыгал носом, он не окал, не акал, говорил обычным растерянным московским говорком. (Вся алчность гона только тут и пришла. Отчетливо помню: я подумал, что проступок его — в общем пустяковина, житейский сор, муть: и что же его наказывать за сор и муть, когда хочется наказать *за жизнь как таковую.*)

И был еще в тот день — следом — один человек, жен-

щина; исходно жалкая, жалковатая, она плакала. Впрочем, почти каждая женщина плакала (и в этом крылась хитрость, которую мы все, конечно, знали). Давали воды. Приводили в чувство. В графине вода какое-то время чуть колыхалась, приковывая взгляд. Когда слезы просыхали и женщина могла отвечать, ее спрашивали — и только теперь спрос делал ее виновной, слезы становились неподдельными и истерика настоящей.

И в тот же самый вечер (не отдавая, конечно, себе отчета в неосознанной потребности зачинать новую жизнь) ты шел с судилища с ПОЧТИ КРАСИВОЙ женщиной, провожал ее, и, пьяные общением, вы оба шумно обговаривали, кто из вас как сегодня выступил и кого как затравили — да, да, это, конечно, называлось «обсудили» и «разобрали». Вы шли к метро, ты держал ее под руку, уже зная (помня) сказанное ею про уехавшего куда-то мужа, — ты даже не спрашивал, можно ли проводить, ты просто шел с ней (и за нею), ты уже давил, уже нависал всей молодостью и крепостью волка. И через полчаса, где-то там, в престижном и красивом доме, на восьмом этаже, где-то там, в дальней (на всякий случай) комнате, на тахте у свисающего со стены бухарского ковра она слабо попискивала в твоих руках: стонать, вскрикивать еще не вошло в те годы в моду, только мягкое попискивание: мол, чувствую, мол, сопереживаю, вся с тобой и твоя.

Не подверженных судилишному сексу среди них, я думаю, трое. Во-первых, СТАРИК.

Во-вторых, та грубая баба, что всегда молчком сидит в самом левом углу стола (но не в торце, там ПАРТИЕЦ). Грубоголосую эту женщину я называю (для памяти) ПРОДАВЩИЦЕЙ ИЗ УГЛОВОГО ГАСТРОНОМА, хотя, может быть, она из торгова, или с овощной базы, или из сети ларьков. Крепкая здоровьем, сверх крепости еще и подзросшая жирком, она час за часом сидит за столом судилища с непроницаемым лицом: сидит лишь бы числиться, что работала в общественной комиссии. Когда в гастроно-

ме или на базе она проворуется, сидение здесь ей зачтется. (Общественный человек, не надо ее трогать. Тень на сидящих с ней рядом, на красное сукно меж ними и на графин.) Только для этого она и сидит. Почти не говорит. Не улыбается. Не сердится. Иногда скажет: «Ага», — и как только предлагается осуждение или наказание, не спеша, но твердо подымает руку: она «за».

Также вне секса СЕДАЯ В ОЧКАХ. Уже с первых минут она мне (как и всякому, с кого спрос) сочувствует: ощущения жертвы ей слишком хорошо знакомы по ее собственной жизни, возможно, по жизни ее сына или дочери. Она не может не понимать сути судилища и знает, что это такое, когда все — «за». Но в параллель она знает, что *все знают* за ней априорную жалостность и эту заранее возникающую в ней готовность прощать: склонность снисходительствовать, попускать, не примечать и тем самым не топтать жертву слишком (она знает, что все знают, и потому держит чувства в узде).

Ее речь деловита (она боится упрека в витиеватости) и всегда как бы дотошна: «Скажите, пожалуйста, как располагались по времени ваши поступки. Или все обвалилось разом, как снежный ком?..» — она и здесь дает тебе не приметный шанс, дает варианты, хотя и строгим голосом. А когда из человека выдавливают покаяние, когда он готов встать на колени и, взыв, молить, она тоже готова встать рядом с ним и молить. Но эмоций не будет. Она вдруг снимает очки, вроде бы протереть стекла платком. И тебя уже не видит. Ты для нее в белом смутном пятне — как в белесом смутном тумане. (Как на английском побережье. А когда ты далеко в Англии, тебе не так больно.)

— Виталий, доложите нам, — говорит она, сняв очки и не дав себе заплакать. (Виталий — чистенький, в белой сорочке секретарь-протоколист, он же СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ. Он, конечно, доложит, если ему так сказали. Он обязан. Он не спросит — зачем. Тем самым, пока он переберет листы и с одного из листов зачитает, для жертвы передышка.) Голос ее даже требователен: правда, она тре-

бует с прилизанного и чистенького СЕКРЕТАРЬКА, а не с жертвы, то есть не с тебя. Но при всем том голос строг — она *строго и требовательно участвует*, и никто из сидящих здесь судей не сможет этого отрицать, никто не бросит ей вполголоса известного своей глубиной упрека: «Вечно вы своих поддерживаете!» — справедливого упрека, ибо ты тоже для нее *свой* по сопереживанию: по родству всех, кто оказался жертвой.

Когда дело закончено и все уже расходятся, у СЕДОЙ В ОЧКАХ женщины возникает тоска, оттого что она помочь не смогла. (У большинства судей, как известно, возникает желание постели. Они идут зачинать.) Она в этом смысле идет поминать. Она ведь не дала своему чувству выйти наружу, когда тебя клевали и долбали (она трусовата, она это знает), — зато теперь чувство поднялось и долго гложет ее.

Простоватый, или СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫЙ, вроде бы тоже во время спроса не подвержен сексу. (Его страсти бушуют в другой сфере. Его торф горит в другом слое.) Однако с запозданием судилишная сексуальность в нем все же пробуждается. Она в нем созревает медленно. (Я никак не вгляжусь: его возраст переменчив — в соответствии с этим СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫЙ может выглядеть по-разному. Но скорее всего, его зовут Петр Иванович, он жилист, скуласт. Волосы жестки и налезли на низкий лоб. Кепка. Не сомневаюсь, что он чует людей издалека.)

В числе других он набросился в очереди за маслом на пробиравшегося в обход мужчину с интеллигентной внешностью — сначала, когда все кричали, он даже его защищал, оправдывал. Но в одну секунду что-то в его психике переменялось, и вот он уже тянулся к хлипкому горлу, а остальные били — раз! раз!.. хилый интеллигент упал. Подскочила свистящая милиция, а народ тут же расступился, разбежался. И только он, Петр Иванович, остался стоять. Уже и интеллигент вскочил с земли и трусцой, даже не озираясь, шмыгнул в толпу (так оно надежнее).

А Петр Иванович стоял — происшедшее было настолько *его делом*, настолько делом и смыслом жизни, всплеском души, что убегать означало бы отказаться от самого себя. Нетрусливый и по-своему отважный, он ждал, чтобы к нему подошла милиция. Он тяжело дышал, и он не оправдывался.

(Хотя, в общем, он даже не ударил: он только тянулся к горлу.)

Он хочет, чтобы за судным столом выявилась твоя бесполезность (никчемность, жалость), которая рано или поздно все равно приведет тебя к известной грани, за ней уже нет святого. Он хочет, чтобы это выяснилось (и чтобы как рентгеном высветилось через спрос), после чего наконец — в поле. Рыть траншею. Работать!.. (Нет, не до полусмерти, зачем уж так, мы не китайцы — можно и на фабричку, на самую обыкновенную фабричку, без новшеств, пусть вкалывает. И пусть поест пищу работаг, не всегда горячую и всегда паршивую. От которой у него, к примеру, уже много лет как скукожился желудок и нажилась язва. Пусть-ка его там пожует, не отчаиваясь, эту пищу да поразмышляет. Пусть подышит заодно желтым, иногда даже красным с желтью дымом, что валит из трубы сутки напролет.) Но лучше все-таки траншея, тут равной замены нет — траншея, и чтобы длинная, чтобы до горизонта, лопата да кирка, и только чувствуешь, как напряжены мышцы и как с каждым взмахом жизнь уходит за дальние холмы. (За судным столом СОЦ-ЯР всегда пристрастен. Не скрывает этого. И если кто-то попытается тебе помочь поблажкой, то и на себя навлечет его неукротимую ярость.)

После судилища он не знает, чем себя занять. После долгого сидения за столом не хочется ехать транспортом — часть пути он идет пешком. Он идет домой, и как-то само собой он делает добрые дела. Помог старухе перейти дорогу. Какому-то работаге помог донести до метро здоровенный ящик. Кому-то торопливому уступил дорогу. Тяжело

жить, но выдюжим, а? В сущности, неплохие мы люди, думает он. Прост, но ведь мил наш город. Надо работать...

Он идет по родному городу — глаза туманятся, счастье бытия пьянит. И только тут на подходе, в двух шагах от дома его достает подспудная суть судилища. Он, конечно, не связывает одно с другим: он только чувствует, что вдруг переполнен желанием. Человек простой, он тут же и решает, что какое-то время, видно, не занимался он приятным семейным делом, и спешит — быстрее, быстрее домой, и уже с порога, едва помыв руки, заваливает жену на двуспальную тахту. «С ума сошел! Даже не выпили помаленьку», — побряхтывая, сердится она. «Хренота. Только командировочные твои любят перед этим выпить. Для храбрости!.. Мужуку, если он в силе, ни к чему!» — смеется он. (Он хорошо выпьет после.)

Снять с себя чувство вины. (А значит, искать и найти виноватых!) В моих отношениях с судилищем какая-то моя часть так и рвется, в обход слов, выйти из меня прямо на сукно их стола, наплакать там огромную лужу. Лужа, пожалуй, станет подтекать под графин, и ТОТ, С ВОПРОСАМИ, сидящий близко, будет косо посматривать, нет ли на стенке графина трещины. (СЕКРЕТАРЬ-ПРОТОКОЛИСТ посматривать не будет, знает, что трещин нет.) Может быть, этой луже слез дать выйти из меня еще ночью, сейчас, загодя?.. Вот ведь какая мысль: дать выйти моей вине заранее. (Может быть, в этом и замысел бессонницы!) Чтобы днем, поутру, когда меня призовут, быть уже готовым к разговору без затей и подспудностей — пришел, увидел, поговорил!

Топчусь на кухне. Газ я зажег, синее пламечко газа ровно держится над плитой, не поставит ли вновь чайник?.. Конечно, чай не нужен. Конечно, нужен бы сон.

На кухонном столе крошки — значит, после валерьянки я пил чай с этими черствыми пряниками?.. Уже не помню. Так же и с таблетками (не считал! не помню!). Голова бо-

лит, едва только касаюсь головой подушки. В лежачем положении давление на голову увеличивается — закон природы. Боль становится очень живой, вскрикивающей и взвизгивающей, однако принять таблетку, то есть следующую таблетку, я не решаюсь. Предыдущая могла еще не вполне сработать. (Не понижать давление слишком.)

На кухонном столе крошки, вот они, но разве реален этот ночной стол? этот кухонный стол с мелкой крошкой от ссохшихся пряников?

Реален *тот* стол. Он не умозрачен, не идея фикс: он живет. Как живет реальная ночная гора (как двуглавая гора Эльбрус — с правой и левой половинами), которую ты сейчас не видишь, но которая, конечно же, находится на Северном Кавказе — стоит на своем месте. Стоит и покрыта на вершинах снегом.

(Не разбудить ли жену? как томительно!)

Чувство вины теперь уже глубже, чем я: оно на большей глубине, чем я, и чем родство с женой, и чем все мои родные. Оно внедрено, вбито в меня, и, когда я заглядываю в него (в это чувство вины), мне там слишком темно: темные круги.

Страх — сам по себе чего-то стоит. (Уйдет страх, а с ним и жизнь, страх всего лишь форма жизни, стержень жизни. И не надо о страхе плохо...)

Мне нехорошо. (Страх толкает к общению.) Но будить жену или будить дочь — это опять беготня из комнаты в комнату, таблетки, ночные хлопоты. (Долгая возня, как с больным. Я не хочу лежать и чтоб возле меня стояли, спрашивали, успокаивали. Мне станет совсем плохо. И ком в горле.)

Я мог бы сейчас пойти в комнату жены и лечь там на краю постели, не касаясь ее (постель широка), но слыша ее живое присутствие — мне бы этого хватило. Мне бы хватило и посидеть на стуле, слыша ее дыхание. Но ведь едва я открою дверь, она проснется и начнет беспокоиться. Если б спала!..

Когда я был мальчишкой, как-то среди ночи (и в некоем смутном волнении) мне захотелось побыть, пообщаться с мамой, а она спала. Войти и будить ее я не решился. Дверь была прикрыта. И вот, поколебавшись минуту, я лег прямо у ее двери и только просунул пальцы под дверь в ее комнату. Мои пальцы были там, где она, и мне этого хватило. Едва пальцы и пол-ладони оказались в ее комнате, сердце стало биться ровнее, я мягко задышал. (Сладость сна ударила в несильный детский ум и затопила его.) Я так и уснул. Проснулся я рано-рано утром от сильно подувшего в ту ночь ветра со снегом (в ту ночь выпал снег далекого тысяча девятьсот сорок какого-то года...).

Жалкий, я ищу виноватых.

— Вы сказали, что долго мыкались с кооперативной квартирой, чтобы отселить сына. И вдруг в течение трех месяцев вы ее получили?.. Каким образом?

Спрашивает ТОТ С ВОПРОСАМИ. Высоколобий, с залысынами.

— Как вы получили эту квартиру? Ведь я бывал на всех комиссиях исполкома — и стало быть, вы получили в обход исполкома?.. как?

Я молчу. Я дал взятку, вот как. Точно такому же человеку-чиновнику, как он. Тоже с залысынами и тоже бегло спрашивал. (Удивительно, что именно он спросил. Или — не удивительно?.. *Ты спросил.*)

— Может быть, вы дали взятку? (Он давит. А я уже не в силах отказать себе в небольшом удовольствии.)

— Да. Может быть.

— Как?! Как? — раздалось со всех сторон, вот уже на какой след напали.

И сразу в крик:

— Да вы отдаете себе отчет в словах?! Мы поднимем бумаги того года и присовокупим к вам дело о взятке!..

Я, конечно, испугался. (За удовольствия платят.)

— Нет... Не помню... Да я...

— *Не помню! Не помню!* — передразнивает МОЛОДОЙ

ВОЛК ИЗ ОПАСНЫХ. — Он не помнит! У нас у всех дел по горло, однако же мы *помним*, что пришли вас слушать! Кто вы такой?! Вы думаете, у нас много свободного времени?

— Ничего я не думаю... — говорю я машинально.

КРАСИВАЯ женщина чеканит негромко, но всем слышно.

— А надо бы.

Ей лишь бы сказать. Остриг. Но не виню. Ведь и мне лишь бы оправдаться.

Потребление факта или фактов для них, в сущности, малоинтересно. Им интересно потребление души, и пока человек не раскрылся и не выпотрошил себя, им нехорошо. Их раздражает сокрытие. (Им не нужно твое припрятываемое, но ты его им отдай.)

6

Однако принадлежность им твоей души и принадлежность твоего тела находятся (как ровен ход времени...) в обратно пропорциональной зависимости. Попросту говоря, чем меньше принадлежит им тела, тем больше хочется забрать твоей судимой души.

Скажем, виноватый солдат былых времен — ни во что не ставя тело (и ни на чуть не отдавая душу), он сам кричал: «Расстреляйте, братцы. Расстреляйте меня!.. Стрельните гниду!» — и ползал, вопил, умолял. И кто-то (тоже не лезя в его душу слишком) соглашался: «Расстреляйте его! Стрельните гниду!» — и, построив ряд, выставляли ружья, и ничто в этой картинке не напоминало стол с графином, разве что бедолага попросит в последний раз напиток, а кто откажет?..

Во времена подвалов уже расспрашивали. И поскольку претендовали на часть души, постольку же приходилось отпускать часть тела. Потому и не могли теперь просто так, без слов и расспросов ставить к стенке — потому и объа-

вился *подвал*, где можно спросить и где, заодно, с плиток удобно вытирать все жидкое, кровь разбитого носа или твои обычные сопли. Могло случиться, что человек уписывался от ожидания пыток, от беглого взгляда на набор инструментов. Человек как бы и тут ловчил, пытался отдать свою жидкость как часть своего тела, вместо души — пытался отделаться малым и легким. (Это облегчало спрос. А плитки пола быстро-быстро замочит какая-нибудь старуха или свой же брат-подсудный, который поначалу думает, что его только за этим и привели — вымыть полы, замазать вонь.)

Уже важно было повозиться с виновным, порыться в душе: человек упорствовал. Приходилось исследовать его разговоры, его нетвердые или колеблющиеся поступки. Он и сам сначала удивлялся, а потом и ужасался своим колебаниям и мало-помалу признавал — да, было; да, враг. В помощь размышлениям и была боль. (Боль не давала человеку обманывать самого себя.) Один из родственников Бухарина, преследовавшийся уже после знаменитого процесса, рассказывает: «...В известных всем подвальных пытках тех лет меня поразил присутствовавший там бытовой, обыденный ритм жизни. Кровати тех, в чьи руки ты попадал, стояли там же. Некоторые были опрятно застелены. Кто-то из них сидел и шил иглой, когда тебя уже били. Он только изредка поднимал голову на твой крик и продолжал штопку. Казалось, что тут разместились примитивная мастерская. Правда, жертва кричала, зубы, рот и нос почти сразу были в крови... Заметил я там КРАСИВОГО молодого человека. Он опаздывал на какое-то свое свидание. Он поглядел на себя в зеркало, поправил кепочку и заторопился. «Я пойду. Мне надо. Я потом *наверстаю...*» — на ходу объяснил он своим сотоварищам, в то время как те продолжали избивание...»

Во времена белых халатов судившим доставалось твоего тела еще меньше. Тело им почти не принадлежало: разве что перед инъекцией можно было растереть ваткой твою

вену, можно было позвать-кликнуть медбрата, чтобы тот, заламывая тебе руки, связал тебя, — вот, собственно, и все.

Но уж зато душа, ум почти полностью были в их власти и в их возможностях. Не зря же свое вмешательство в кору больших полушарий они объясняли твоей *душевной* болезнью, — вмешательство, в результате которого ты вообще мало на что реагировал. (Если не считать вдруг объявившейся нелюбви к птицам, вспархивающим с подоконника. Но и это проходило. Инакомыслящий превращался в тихое животное, отчасти в ребенка; ел, пил и спрашивал о фильмах, которые изредка им показывали: «Это про войну?» — как спрашивают малоразвитые дети.)

Старый стол, покрытый сукном, как-то особенно ощущал прикосновение графина, его прохладное донышко. (Влажные круги пропитывали сукно до гладкой поверхности стола, постепенно высыхая.)

Эволюция завершилась тем, что спрашивающие уже никак не могут претендовать на тело (даже и в виде уколов, даже и в виде подкормки мозга). Но душа — вся их. (Потому-то они так...) Спрос, который предстоит мне завтра, — это люди, которые будут рыться в моей душе, *только и всего*.

Руки, ноги, мое тело для них неприкосновенны: ни вогнать пулю, ни забить кнутом, ни даже провести курс «Аленки» — ничего нет у них, и что же тогда им остается, кроме как копаться в моей душе. Так что пусть их. Пусть.

Раскрыть, раздернуть, открыть твое «я» до дна, до чистого листа, до подноготной, до распада личности...

Я знал человека, женщину, которая при мысли о завтрашних расспросах (о предстоящем ей обычном нашем судилище, все равно по какому поводу) сворачивалась телом в клубок, в утробное колечко, и тонко-тонко выла. После этого ей делалось легче. И она даже садилась за телефон поговорить, поболтать с кем-то из приятелей, расслабляя и дальше свою ранимую душу. (Но не с родными, не с

домашними. Домашним она говорила: «Вы меня не жалейте: вы мне дайте повить».)

Я знаю, что я тоже меняюсь как человек — спрос меняет мое «я», хотя, слава богу, не так уж сильно (не так, чтобы выть). Я знаю людей, которые от предстоящего завтра разговора меняются даже в лице, даже в цвете глаз. Их не узнать. У них меняется речь, походка, выражение складок рта, темперамент. Неудивительно, что в такие минуты они подчас задешево меняют друзей. И что предадут и обманывают людей, которых, несомненно, любят. Неудивительно — ведь это уже не они.

Ночью, в тяготах бессонницы, я подхожу к темному окну: я даже не знаю, чего я жду? чего хочу?.. Я уже убедил себя, что *они за столом* — лишь форма жизни, я убедил себя, что завтрашний спрос пустячен. (Но ведь я еще не вполне снял с себя вину.)

Если, переволновавшись, я умру такой вот нелепой ночью в ожидании завтрашнего разговора, я знаю, в чем буду просить прощения у Бога (если я успею просить и если он о вине меня спросит). Да, как все. Да, сначала приучали и приучили. Но даже когда мой ум перерос их выучку, я так и не сумел (вместе с моим умом) выпрыгнуть из образов и структур этой жизни. Так и жил. Во всяком случае, из одного мифа я не выбрался и на полшага. В сущности, я буду просить прощения (и виниться) только в том, что принял суд земной за суд небесный.

Хочется среди ночи пойти в наш скромный районный исполком (где завтра меня будут спрашивать), пройти туда среди ночи, дав инвалиду-вахтеру полбутылки водки, — пройти и посмотреть стол, когда он без сидящих вокруг людей. Потрогать его ладонью.

— Ну?.. Чего ты от меня хочешь?..

Ночь. Не могу уснуть.

Ища, на кого переложить ответственность и ответ (вину), мой мозг среди ночи честно трудится и пашет, располагая, расставляя столы по времени — так меня учи-

ли и школили, — я пробиваю время *назад*, то есть вглубь, где вырисовывается стол-судилище лагерных времен, с его серенькой официальностью, а затем (еще глубже) знаменитые тройки и ревтрибуналы, когда за столом всего трое или четверо сидящих. (И когда слова их совсем кратки. Ты молчишь. Молчишь, потому что ты уже не ты («сдать оружие»), потому что надежды мало: надежды почти никакой. Нависая, давят своды избы. Изба казенная. Печь. Дрова жарко потрескивают. Задающий вопросы нет-нет и поглядывает в сторону пламени. Сидят. Нет графина. Есть зато чайник, старинный темный чайник с длинным лебединым носиком, из которого подливают себе плавной струей в граненые стаканы, никаких чашек. Глодают из стакана, обжигая горло, и вот входит КРАСИВАЯ или почти красивая женщина в кожанке; под кожанкой кофта, ей тепло, она говорит:

— Жарко... Как вы натопили сильно!)

Мысль пробирается еще более вглубь: мысль нащупывает фигуры в темноте далеких времен, а *там* возникает наконец имя одного из революционеров: Нечаев. Он самый. (Можно бы и еще отступить по времени, но мысль задерживается. Мысль хватает, как хватают первого, кто похож на причину твоих бед.) Я виню его. «Пятерка» так прообразно похожа на все наши суды и судилища. «Пятерка» Нечаева — особое и тонкое место нашей истории, когда передоверили совесть коллективу, и отмщение — группе людей. (Именно Нечаев со товарищи оценили жизнь Иванова и, убив его, от нашего общего имени сказали: «Аз воздам».)

Нечаева заточили до конца его дней в Петропавловскую крепость. (В одиночку: в одиночную тюремную камеру.) И нет сомнения, понимал ли он, какую новую *историю* он начал, в первый раз убив человека коллективно и под коллективную ответственность — понимал. (Не каялся.)

А в наши дни уже только то, что твое «я» не открывалось и не выпотрашивалось, как вывернутый карман, было

ясным знаком, что ты замкнулся и не хочешь открыться коллективу, народу. Знак равенства, кстати сказать, устанавливали сами. (Я громыхаю словами, которые есть теперь во всех газетах. Хочу, чтобы стало легче.)

Ну, хорошо, хорошо, пусть вся моя жизнь — *постнечаевщина*.

Подумать только: что с чем и кто с кем, оказывается, меж собой повязаны!.. Я, посреди бессонной ночи, с синими от заваривания валерьянки пальцами, уже отсчитавший себе капли (две ложки) и вынудивший впрок очередную таблетку клофелина, — я, напуганный и взвинченный нелепым завтрашним вызовом, — с одной стороны. И супермен Нечаев — с другой. Но ведь именно оттуда **МЫ** и пришли, передоверяющие совесть и душу группе. (Партия всегда права, сказал в свою трагическую минуту умный человек, Бухарин.) Они всегда правы. Освободился?.. Не смехи. Не смехи самого себя. Завтра утром тебе предстоит идти и объясняться с обычными людьми, которые всего лишь иногда будут говорить «мы», и это короткое «мы» приводит тебя в ужас, в страх — разве нет? Завтра ты будешь оправдываться и объяснять, хотя ты уже наобъяснялся за долгую свою жизнь (неужели мало?). Сердце бухает. Перебои. Экстрасистола на втором ударе (опасная, я знаю). И испарина на лбу. Прислушиваясь к ударам, я отмечаю толчки сердца, как падающие капли. (Зависшая на волоске жизнь.) Не вытекла ли вся вода? — вот вопрос. Капнет спаренная капля раз, тук-тук. Капнет другой раз. А потом вдруг стоп — капля призадержалась, зависла, а стука больше нет. Капля висит. Но она не падает. Воды нет.

Что чувствовал Нечаев, проведя десять лет в одиночной камере? — мой ему привет через столетие. От моей ночи — к его ночи. От моего *стола* — вашему *столу*, господин Нечаев. На излете идеи (идея кончилась) миллионы жалких, и я в их числе, все еще трепещут от постнечаевщины наших скромных судилищ: мы все еще слышим в своих генах исторический, скорый суд вашей боевой «пя-

терки». Ничуть не виню. Винить — это сложность и... большая работа. (Я просто хочу на вас все свалить.) Гомо сапиенс, скромный пигмей истории, перед тем как завтра пойти на обыкновенное очередное судилище, ничего не хочет, кроме покоя. И хотя бы чуть-чуть поспать. Не винить, а только поспать... Я ведь и заранее знал, что не стану винить. Через толщъ времени меня тянет просто и по-человечески поинтересоваться и, может быть, так же простецки сказать ему что-то на «ты». Как, мол, тебе спалось, старина Нечаев, в одиночной тюремной камере? Ходил ли ты взад-вперед? И как ты обходился без валерьянки? Слушал ли пульс, случались ли перебои сердца?

Так удобно свалить на него, на них ответственность. (Я и свалю.) На ночь глядя мне нужен виноватый. Мать их так! — злоблюсь я на большевиков всех времен, хотя мне только и надо от них, чтобы на них лежал ответ за мои ночные страхи: и тогда я посплю. (Чуть-чуть поспать.) Я догадываюсь, что Нечаев и другие революционеры тоже не первоответчики, хотя они и довели дело до весьма высокой кондиции, — но кто же тогда?.. — но тогда я ищу и взыскую с нашей древней общины (больше не с кого; хотя бы *это* не трогать). Но что если суть вопроса и ответа залегает еще глубже, чем община, уходя в темную первородную плазму человеческих отношений...

Во всяком случае я не помню себя *до* этого. Я, вероятно, не жил вне чувства вины. Очнувшийся, я все равно не помню себя до проделанного надо мной опыта, как не помнит человек слишком раннее детство. В моем преддестве, в самой его глубине колышется, как вода, хаотическая бездна, смутная и темная (в нее уже не заглянуть, не увидеть). Оттуда, как из колодца, доходят до моего сегодняшнего сознания зыбкие смещения светотеней, темные блики и заодно глухой звук (как бы звук похрустыванья под чьими-то тихими шагами). Там все уже не для меня, не для моего ума и даже не для моего подсознания, и все

же — это мое. Это «я». Это и есть «я» — и тихие звуки оттуда, как похрустывающие камешки моей невнятной вины. Все, что я о себе знаю.

Вблизи реки Урал образовался залив, подковообразный и довольно вытянутый (но не старица, просто залив) — все это в детстве.

Там мы однажды нашли стол (взрослые дяди привезли его на грузовике для выездной гулянки — привезли, да и оставили). Стол валялся и помаленьку мокнул под дождями и вороньим пометом, пока мы, мальчишки, перевернув, не спустили его на воду как необычный четырехмачтовый корабль. Мы подгребали руками, и, забавное корыто, он плыл по заливу. Мы нашли также свалывшуюся скатерку (все с той же гулянки), из нее, конечно, сделали парус, а из ее обрывка, на одну из ножек впереди, — флаг, конечно же красный!.. Под красным флагом и под восторженные наши крики парусник-корыто двигался по заливу.

В непогоду и дождь уральские волны накатывали с реки на песчаную перегородку, так что глянцевая вода залива почти соединялась с рекой. (Промокшие, мы сидели в шалаше, а корабль-корыто плавал и кружил по заливу сам собой, и Вовик Рыжков опасно сказал: «А не унесет его в реку?» — «Так это ж хорошо!» — закричали мы.) То есть воды не хватало самую чуть, чтобы мы смогли вытолкать перевернутый стол и пуститься по течению Урала. Парусник понесся бы вдаль, и все наши сны тогда были о том, как после ливня воды прибыло и нас выбросило в большое плавание.

7

ЖЕНЩИНА С ОБЫКНОВЕННОЙ ВНЕШНОСТЬЮ чем-то неуловимым похожа на учительницу средней школы. Единственный человек из судей, она иногда сидит с

твоей стороны стола. Вероятно, опаздывает. Вероятно, из-за школьных или своих бытовых дел она частенько пропускает судилища, потому и место у нее как бы неопределенное. (Ей как бы недодали.) Говорит она с аффектацией, всегда со страдальческими и одновременно благородными нотами в голосе; взывает:

— Но где же справедливость! — повышает она поставленный учительский голос. — Требуя от него, не обязаны ли мы требовать справедливости и от самих себя...

Внутренняя осторожность (знание, что ей, сидящей с краю, могут не простить долгие рассуждения) не позволяет ей сослаться на философскую сторону всякого (в том числе твоего) жизненного зигзага, но уж чувственную изнанку она выскажет. Факты несколько в тени — на острие ножа справедливость чувства.

И разумеется, ей особенно хочется, чтобы ее выступление оценил униженный, то есть тот, с кого спрашивают, то есть именно ты, — оценил чуткость и особую (женскую) справедливость ее слов. Чтобы после суда или после ее страстной речи (в перерыве) ты подошел к ней (или она сама подойдет) — и сказал: ваши слова были проникновенны, вы более других поняли мою боль.

В своих миражах (мираж — игра ее честной души) ей хочется, чтобы судилище длилось как можно дольше и чтобы после каждого ее выступления ты подходил к ней с чувством благодарности и сопричастности. Неважно, если ты, допустим, стар или некрасив — в миражах все поправимо. Ей хочется, чтобы вы сблизились. (Ей хочется, чтобы и посреди судилища были подлинные человеческие чувства, была страсть. В жизни так мало отпущено.)

Многочисленное человеческое общение с тобой в перерывах не мешает ей в конце разбирательства требовать сурового тебе наказания. Такой вот в ней перепад. Со страстью вникая в твое психосостояние, в твою жизнь, она давит на них (чтобы и они, рассеявшиеся за столом, тебя и твою жизнь понимали), но всего лишь одним часом позже, раз-

вернувшись на сто восемьдесят, она уже требует тебе наказания, уступая в суровости разве что СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНОМУ и ПАРТИЙЦУ. Тут она особенно напоминает и лицом, и лексикой школьную учительницу, уже немолодую. Она горячо выступает в твою защиту, и одновременно она отвергает тебя (полагая, что этот перепад и даст почувствовать глубину ее выступления). Ее слова пронзительны и подчас глубоки.

Она никогда не признается, но, в сущности, если отбросить условности, ей хочется, чтобы она и судимый ею мужчина сблизилась. (Чтобы после разразившейся драмы и известных колебаний она оставила мужа, а ты жену, и чтобы вы как бы нашли друг друга духовно и физически.) Спасенный или осужденный в процессе судилища (это не так важно), ты был бы теперь с ней. Вы жили бы в ее квартире, пока, в конце концов, она не разочаровалась и не поняла бы свою ошибку. (Она бы поняла. Она бы, конечно, поняла.) Она заботилась бы о тебе, заваривала тебе поутру чай, а потом сказала бы:

— Какой ты оказался все-таки мразью!

И отвернулась бы.

Это важно, что после она опять отвернулась. (Это смыкается со справедливостью жизни.)

Во время выступления она нет-нет и соскальзывает на жалость — на жалость к человеку вообще (на гуманизм). Но следом вновь требует справедливости, взывая к наказанию. Так и раскачивает себя, меж двух чувств — и раскачивает при этом твою лодку, — то искренне жалея, то искренне требуя кары.

Возможно, характер ее не столь крут (не круто ли я взял), и потому даже в мечтательных миражах дело не дойдет, пожалуй, до драмы и до расставания с мужем. Ей просто захочется (в миражах) пригласить тебя к себе домой и по-доброму, по-человечески обогреть тебя, судимого. От избытка доброты дойти и до близости и только после, вдруг осознав, сказать:

— Милый. (Не яростно, а снисходительно, с мягким укором — *милый*.) Какой ты оказался мразью.

И пусть на другой день стол и сидящие за столом сами с тобой разберутся. Она как они. Снисхождение теперь лишь потачка.

Отношение к этой ЖЕНЩИНЕ С ОБЫКНОВЕННОЙ ВНЕШНОСТЬЮ, похожей на учительницу, с моей стороны необычно (и очень сложно); мне бы не сметь даже чуть его прояснить, настолько она, как человек, мне зрима и настолько я боюсь касаться ее души, подавленный чувством моей несомненной к ней любви. Бог простит и меня.

И еще с одним человеком у меня необычные отношения (отчасти как с самим собой). Сложись обстоятельства жизни иначе, я мог бы стать точь-в-точь как он. (В этом и сложность оставшегося сходства, и суть разницы.)

Но где он сидит?..

Если двигаться мысленно справа налево — в торце стола СТАРИК. Затем потянулась вся правая сторона: СЕДАЯ В ОЧКАХ — затем КРАСИВАЯ женщина — МОЛОДОЙ ВОЛК ИЗ ОПАСНЫХ — ВОЛК НЕОПАСНЫЙ и — СЕКРЕТАРЬ-ПРОТОКОЛИСТ (это уже середина, я вижу секретарька как бы через графин, за силуэтом графина). Двинулись налево, — там первый ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, затем — СОЦ-ЯР... стоп! стоп!.. вот в чем дело: не означенный человек (с которым у меня сложные отношения) появился за столом совсем недавно. Судья из числа новых. И садится он, где придется. Оттого-то я и не вспомнил сразу его место. (И нечего было устраивать считалку.) Неозначенный может сидеть где угодно. За исключением разве что места в торце стола справа, где скалой сидит СТАРИК, который приходит (бессонница?) первым, и место его уже не займешь.

Означить его можно так: ЧЕСТНЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ (но групповой). Без НО здесь, увы, не обойтись. В от-

дельных случаях его можно определить более прямо: ВЕРНУВШИЙСЯ К ЖИЗНИ, или еще проще: ВЕРНУВШИЙСЯ (если при брежневщине он находился в ссылке или в опале).

Он — воинственен. Он из тех, кто не сомневается, что человек, если за ним не присматривать, очень скоро сползает в реакционное болото. Он редко доверяет. Пока он жил, думал, многие пили и развратничали и еще успевали сделать себе имя и карьеру. Еще и богатели! Так что у него счет к нынешним людям, и потому, слушая судимого, он впивается слухом в каждую его оговорку. (Оговорки не бывают случайны.) Вступает он затем медленным тягучим голосом:

— А почему вы (он никогда не тычет; не упрощает) считали, что вы достойны лучшего? Вы, который посмеивался и хихикал, в то время как в обществе... Вы, кто демонстративно отворачивался... Вы, кто...

Перечень его обвинений растет. Конечно, его честность порукой тому, что, когда он разберется, он сам же начнет со страстью тебя защищать. Но обратный ход общему разговору бывает дать трудно. И вот при голосовании, в то время как все «за» твоё осуждение, он оказывается «против» (и зачастую остается с неуютным «особым мнением» и в полном одиночестве).

Его стол, за которым время от времени он будет тебя судить, как правило, растянут по всему пространству города, многокилометровый мысленный стол. При таких расстояниях приходится иметь дело с техникой, то бишь с телефоном: это и есть знаменитый *телефонный* стол. За этим столом он особенно известен своей прямоотой и честностью.

Он смутно догадывается, что в нем самом (отчасти) сидит перелицованный большевик. Он ведь воинственен не потому, что он честен и прям. Он честен и прям, потому что воинственен. Первопричина доставляет ему осознанную душевную муку: он догадывается, он знает про упорный яд, скопившийся внутри него, и словно бы обводит всех нас неверящими глазами: «Уж если я такой, каковы же все вы, подонки?..»

Своей спрессованной энергией ему удается задавать тон среди самой достойной части интеллигенции, и вот уже лучшие люди, умные и порядочные, обсуждают тебя и твою жизнь, сидя за этим столом, протянувшимся (из дома в дом) по всему городу, через огромные массивы жилых районов. Телефонные края длинного стола незримы и безграничны, но стол есть стол, у стола есть свой торец справа, а там точно так же сидит свой СТАРИК, высокоинтеллигентный, а дальше СЕДАЯ В ОЧКАХ, а за ней ПОЧТИ КРАСИВАЯ — и — парой, но, возможно, и большим числом — МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ (опустим слово ВОЛКИ).

— ...Не выступил он (то есть ты) на собрании и даже не явился. Н.Н. считает, что он оробел. Попросту струсил, — говорит МОЛОДОЙ интеллигент.

СТАРИК молчит. СТАРИК, как известно, не спешит осудить.

— Осторожничает он (то есть ты) и хитрит, — продолжает в трубку телефона МОЛОДОЙ интеллигентный (опустим ВОЛК).

— Н. Н. так считает? Вы уверены?

— Н. Н. мне звонил.

— Вчера звонил?

— Сегодня. Н. Н. видит людей насквозь.

(Н. Н., конечно, и есть тот самый ВЕРНУВШИЙСЯ или, говоря иначе, честный, но групповой.)

СТАРИК, подумав, произносит:

— Бывает, что причина серьезна... Он (то есть ты) сказался больным.

— Вот именно — сказался!

СТАРИК молчит.

— А если завтра тебя (молодой и старику тычет, нормально!) вот так же прижмут к ногтю. Мы ведь не станем раздумывать и говорить, что больны. Мы бросимся на защиту — мы сразу готовы защищать, разве нет?!

Они в пылу тоже зачастую говорят «мы». Они не говорят «народ», не говорят и от лица народа, но когда тебя

обвиняют от «мы», а ты сидишь в полном одиночестве по эту сторону стола — тоже больно. (Тоже тянет под сердцем. И тоже ощущаешь свою вину, свою несомненную вину и какую-то вечную несчастную проклятость.)

— ...Необходимо сформировать общественное мнение. Скорое и быстро реагирующее общественное мнение, Н. Н. так и сказал.

— Однако же нельзя пятнать имя. Нельзя так сразу трогать человеческую репутацию. Нельзя задевать честь... — СЕДАЯ В ОЧКАХ, она и тут защищает, тянет время в пользу судимого.

Три человека, конечно, не говорят одновременно в три телефонные трубки, но, простоты ради соединив три или даже пять, или десять телефонных общений, можно услышать все тот же общий разговор за столом. (Телефонная интимность отлично оттенит паузы и умолчания многоголового застолья.)

— Дорогая Анна Михайловна! Бог с вами!.. Н.Н. сказал, что все эти слова — «репутация», «честь» — сейчас неуместны. Мы живем в постлагерный период. Мы, по сути, все еще в лагере.

— Я — нет.

— Уж будто бы!.. Не упрямитесь. Нужно сейчас же перезвонить Острогорскому. И лучше всего, Анна Михайловна, если позвоните ему вы.

(Давит.) Незримое согласовывание судей — особое качество *телефонного* стола. В поздний час люди сидят по теплым квартирам, не видя друг друга. Стол, протянутый через весь город, имеет дополнительно то свойство, что созван в эти вечерние часы так, что ты о нем не знаешь: созван (или собран) за твоей спиной. Тебя нет. Но через какое-то время ты сам, призвав всю свою чуткость и приложив усилия, вдруг озаботишься, чтобы этот неявный суд сделался явным. Ты сам этого захочешь. Ты сам (никто тебя вызывать не станет) должен созвать их всех за стол, — найти повод! — сам уставить стол бутылками с нарзаном, а то и с водочкой, сам покрыть скатеркой; возможно,

даже сам продумать, кто из них и где сядет, не доверяя до конца их интимности (и лишь в конце разговора, шутки ради, заменить бутылки графином, чтобы все было по-настоящему). Ты сам должен будешь сесть за столом у них всех на виду и чтоб в глазах было достаточно покаяния. И чтоб с первых же их слов свесить головушку набок — мол, виноват; судите.

И еще после, некий период времени, ты будешь жить с чувством вины. И словно бы отчасти запачканный (все еще отмываясь), ты теперь будешь без промедления подписывать все их протесты и письма, и выступать, и делать заявления, не размышляя о сути слишком долго (чтобы не обнаружилось, не приведи господь, даже секундного твоего колебания или замешательства). Таково свойство стола с графином посередине. Или таково твое личное свойство *подпадать* под разбор за столом. Или таково вообще свойство людей, впадающих в грех судилища. (Кто знает?..)

— Тут нет никакого нажима. Ты свободен. И если ты не согласен нас поддержать, ты в наших глазах останешься самим собой и наше доброе мнение о тебе не изменится... — говорят они, лучшие. Они не только говорят, они так думают; они искренни. (Но ведь они еще не за столом.)

Суд обыкновенный (грабеж ли, драка ли) — тебя приводят, скоренько взглядываются в кодекс и, подобрав поточнее статью, дают срок. Бац! — статья есть, срок определен.

И зачем им твоя долгая жизнь, если нарушение очевидно, а наказание сейчас подыщут. Ага. Гражданин К.? Понятно. 152-я прим. Бац!.. Суд в этом смысле похож на старого почтаря, который знай только шлепает и шлепает штемпелем по конвертам с письмами. На нехитрое это место старого почтаря посадили, уже другой работы ему не доверяя, вот он и шлепает. Иногда попадает. Иногда промахивается (не тот срок, не та статья!). И снова, и снова лупит он по отправляемым конвертам. (Как по судьбам.) Бац!.. Бац!.. Бац!..

Конкретное наказание *отпускает* тебя сразу. Как-то пьяненький (так и записано в протоколе) я шел улицей; машина на повороте, тесня меня, круто повернула, я же сгоряча круто пнул ее ногой в бок. Конечно, вмятина. Конечно, на ближайшем углу шофер выскочил к милиционеру. Конечно, взяли — отвели тут же в отделение и до выяснения продержали всю ночь до утра, объявив, впрочем уже загодя, каков будет штраф. Денежный штраф был явно завышен, чрезмерен. Я мог бы возмутиться. Но нет, вовсе нет! я чуть ли не радость испытал, сидя в вонючей КПЗ (сидел там взаперти, в духоте и все думал, что же это мне на душе так хорошо?!). А потому и хорошо, что за свою вину я уже знал наказание. Я знал. Я тем самым вину избыл, тем самым уже *не был виноват...*

Именно поэтому не спешат подыскать тебе наказание, им главное спрос. А наказать тебя — это тебя отпустить, это значит — ушел, улизнул, спрятался: скрылся. (Я уже думал *об этом*. Суд занимается конкретным проступком, в то время как судилище жирует по всей твоей жизни.) В суде ты сидишь на скамье или где-то сбоку на стуле, отделенный от судей. Ты сам по себе. Но если твой стул они придвинут ближе и ты пересядешь с ними как бы за тот же стол рядом, ты становишься человеком *вместе с ними*: шаг сближения превращает тебя из гражданина К. (так он звался в начале века) в близкого им человека, как бы в родственника, в изгоя среди родни, а уж перед родней хочешь или не хочешь — распахни душу. «Ты наш. Ты же весь наш. Мы все вместе», — говорят они, и с этой минуты ты можешь быть уверен, что тебе нет прощения.

Известно, что люди верующие не отдают себя, свою душу навыворот (чем приводили раньше, да и приводят сейчас судей в ужасное раздражение) — дело тут не в особенном их упорстве или героизме. Самым *естественным образом* верующие считали и суд, и всякое судилище — судом земным, и ответы давали в соответствии с его незначительностью.

А на многое не отвечали (*в этом я дам ответ только Богу*).

Не раз и не два, возвращаясь с судилища, человек хвастает перед женой или приятелями — я, мол, их перехитрил! обманул!.. я, мол, стал притворяться дураком! — он рассказывает, как он обманул и как именно перехитрил, и вокруг с удовольствием смеются: «Ха-ха-ха-ха!..»

Обманул-то он обманул, но судилище длится. Сто двадцать пять раз обманул их, но на сто двадцать шестой они его достали. Судилище не спешит, в этом его сила. «Как это так — помер? Отчего помер?» — «От волнений. Он умер вечером. А ему еще только утром идти в комиссию...» — охотно вам объясняют соседи. Так что кто кого обманул, скажет время. Структура живет долго. Структура спрашивающих. И то, что каждый из судей сам (и притом много раз в течение жизни!) попадает под точно такой же спрос, ничего в наборе судей не меняет — образ и облик спрашиваемых незыблем.

Перед тем как войти, пять человек сидят на заметном расстоянии друг от друга. Молчат. Никто ни о чем не спросит. Каждый зажат в своей жизни. (В ожидании спроса. Нехорошие минуты.)

А те, кто за дверьми, сидят за длинным столом. Дело как дело. (Изнанка человеческого унижения.) Но если почему-либо им не удастся покопаться в твоей жизни, запустив туда руки по локоть, они сворачивают свой спрос. Это удивительно! Они вдруг отпускают тебя с миром. Мол, да. Мол, такое бывает. (Живи.)

Одного старикана уже было довели до истерики, но тут он полез в нос и вытянул длинную зеленую соплю. И был отпущен. (Он невыносимо долго выбирал ее из носа, чуть ли не наматывая на руку.) Другой инвалид, когда команда, сидящая за столом, взялась за него слишком ретиво, стал от волнения издавать неприличные звуки. Звуки не были громки, но все же неприличны, сомнения тут быть

не могло. И вновь сидящие за столом очень быстро старика отпустили. Это называлось: *обсуждение пошло по неправильному пути*. А для обоих стариков краткость вопроса стала спасением. (Бог, это известно, хранит простые души.) Стариков как раз изгоняли с насиженного места — их выселяли куда-то за город, «поближе к природе». Их было пятеро. Глубокие старики, они оказались из числа тех, у кого на старости лет документы все еще были не совсем в порядке (прописка, право на жилплощадь). Их, разумеется, выселили. Но прежде, чем выселить, их должны были, конечно, расспросить по всей жизни — не были ли в плену? почему в таком-то году ушли с работы? почему так неуживчивы с соседями?.. И так далее и так далее, что сводилось к простому и известному: *виноваты*.

Как сообщалось, из пяти стариков Октябрьского района двое после расспросов так поднапугались, что умерли, не прожив и недели. Третий умер накануне вопроса, переволновавшись. Но двое остались живы — те самые, разумеется, кого не слишком долго расспрашивали: тот, кто издавал звуки, и тот, кто наматывал на кулак никак не прерывающуюся соплю.

Не в антиэстетике суть. А в том, что, если человек не подключал свою душу к вопросу, спрашивать его не хотелось. Столь умелые и настырные, они вдруг словно бы теряли свое умение.

Помню пьяноватого человека (нет-нет, да икая, он сидел на стуле и смотрел в какую-то точку на противоположной стене). Его уже дважды выкликнули: «Запеканов?.. Кто здесь Запеканов?» — а он все сидел, смотрел в точку. Только при третьем вызове он от нее отвлекся и прошел в кабинет, где заседали и спрашивали. (И ведь как сошло хорошо! Пьяница вел себя бесстрашно.) Он знал, что ни унюхать запах водки, ни попрекнуть красными глазами его сегодня не могли: водки он не пил. Он просто съел два тюбика мази от чесотки.

Спрашивающие из огромного своего опыта знали и уже привыкли, что пьяница (по какому бы поводу он ни был

зван) приходит на обсуждение трезвым (впервые за долгое время). И потому он особенно придавлен, несчастен, соглашается со всем на свете, даже плачет. А Запеканов в тот день был скорее отважен и уж никак не робок. (Он несколько странно острил после двух своих тюбиков. Но ведь никто и не ждал от него большого интеллекта.)

— Я половину из вас видел в гробу, — так он острил в ответ через каждые два вопроса на третий. Бессмысленность обсуждения была очевидна. И когда кто-то из сидящих за столом, преисполненный иронии, спросил: «Не в белых ли тапочках?» — Запеканов отвечал, продолжая:

— Нет. На босу ногу.

Они не копаются в душе, если человек явно от них отличается. Если он лилипут, или поражающий видом альбинос, или отмечен очевидным калечеством, тут они иссякают сразу: спрос вдруг кончается, и лилипуты, альбиносы и калеки уходят, по сути, нераспрошенными.

Заики. Немножко дебилы. Чтобы ускользнуть от вопроса, неплохо перед каждой своей ответной репликой немного помычать. (Но раздумчивое «м-да» не спасет, потому что слишком обыкновенно.) Хорошо получается, если тянуть и гласные, и согласные как можно дольше, с растяжкой: «Ммм-мыыы. Я вот м-мммы думаю...» — но и тут все еще не отвечать на их вопрос, а начать разок-другой снова: «Ммм-мыыы. Я думаю, ммм-мыыы. Я думаю, ммы-ыы...» — с растяжкой и со вкусом ко всякому звуку. (И не скромничать. Мыкать. Тут ведь срабатывает не гуманность сидящих за столом судей, а их недостаточные (все-таки!) претензии на роль, всеспрашивающего Бога — претензии претензиями, а все же они трусоваты. Знают, что до Бога им далеко. И потому, суеверно боясь накликать беду на свои головы, они отпускают несчастных с миром, оставляют *убогих* — у *Бога*: ему их и оставляют, мол, это не наши.)

Всех остальных они считают своими. Зато уж все остальное в их руках.

Ночь.

Когда-нибудь, совсем старый, я приду на последнее в своей жизни судилище: сяду перед последним своим столом. (Где, может быть, как раз и будет обсуждаться мое право заказать гроб: возможно, с гробами будут большие сложности, нет досок, нет гвоздей; недавно по радио, по программе «Маяк», передали, что какого-то мужика хоронили в детском гробу — бывает!) И пойдет своим ходом последнее со мной разбирательство. Я пришел. Они сидят. (Дать ли мне гроб и как скоро. Заранее дать или пусть жена колотится в очередях. Жена ведь в очереди постоять сможет, и дети смогут — у него дети взрослые! — обязательно скажет кто-нибудь за столом.) И поскольку не альбинос, разбирательство будет разбирательством долгим и серьезным. Так что я еще с вечера будут волноваться. И спать буду плохо. И сбивать давление, и пить валерьянку. А утром приду.

Они будут сидеть в таком же несложном рассредоточении вокруг стола и графина. Те же люди. Ничуть не постаревшие, они будут переговариваться, когда я войду, и чистенький СЕКРЕТАРЕК-ПРОТОКОЛИСТ не колеблясь произнесет: «Проходите. Садитесь...» Левее его будет ЗАДАЮЩИЙ ВОПРОСЫ интеллигент, он уже думает: как? с чего начать?.. Слева от него молчаливая ПРОДАВЩИЦА ИЗ ГАСТРОНОМА, ей все так же еще семь лет до пенсии. (И те же белые пухлые руки.) Не может не попасть в поле зрения и КРАСИВАЯ женщина: у нее те же первые морщинки. И ничуть не пробилось седины в крепких волосах сидящих с ней рядом МОЛОДЫХ ВОЛКОВ.

Разбирательство будет долгим и сложным, однако отчасти мне будет легче. Да, я был таким. Да, был и таким — но ведь конец. Ведь последний раз. Я буду (ничуть не сердясь) пикироваться с моими судьями; и впервые, может быть, не почувствую своей вины. То-то счастье. Как будет — так и будет. Ну и что ж, если выйдет решение гроба не выдавать и если детям моим (они у него уже

взрослые!) придется насчет досок самим похлопотать и побегать. Ничего. Пусть. Я уже побегал в своей жизни; похлопотал. Их черед.

8

Тот, который ЧЕСТНЫЙ, НО ГРУППОВОЙ, не любит расспрашивать и мучить. Потоптать, но не сильно. До первых слез, до жалкости только довести, до раздавленности первой — а там пшел вон!..

(Моя мысль ищет. Ночь.) А тощий маленький мужичок, который СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫЙ — что он? какой он? — его-то злость ведь тоже от обид (не от ночных, как у меня, обид, а, скорее всего, от скопившихся дневных обид и отделенностей). Почему бы нам с ним не сойтись? Моя вечная боязнь судилища соотнесется с его вечной социальной обидой?.. Но он непредсказуем. Я вступил с таким мужичком в разговор в столовке (тогда еще были столовые с вином в разлив) — он жаловался, и в те шумные обеденные полчаса я вдруг понял его обиды. Поддакивая, я, как мог, смягчал его боль. Мы выпили, я успокаивал; мы прекрасно понимали друг друга, когда он внезапно ударил кулаком мне в лицо. Сидел напротив — и ударил; удар пришелся по глазам, и сколько-то времени я ничего не видел. И только слышал, как он ругался: «Сволочи!.. Кругом сволочи... Кругом одни сволочи!»

МОЛОДОЙ ВОЛК ИЗ ОПАСНЫХ — я вижу (ночным зрением), из какой травинки вырос и как качается этот стройный стебель. Как он жмет тебе руку — дай лапу!.. жмет, и улыбка распахивает его до самой души; он щедр: он даст тебе денег, жилье, ночлег и, если ты спросишь, даже выпить.

Судилище его томит. (Он иногда ерзает.) После судилища он...

* * *

Но в том и суть, что неделимы они, как неделим сам стол. Они — только тогда и ОНИ, когда *они вместе*. Каждый из них порознь так же обычен, как и я, так же обременен заботами и жизнью и — более того! — так же, как и я, время от времени ждет вызова на разговор за столом, покрытым сукном и с графином посередине. Куда его, как и меня (и может быть, в эти же самые дни), тоже вызвали.

Завтра, когда будут спрашивать меня, он будет «они»; а послезавтра или, может быть, завтра же, но только попозже вечером, когда на другое судилище и по другому поводу позовут его — он будет «я».

Неделимость стола (неотделимость отдельного спрашивающего от всех остальных) я, разумеется, знаю с давних времен, и тогда почему? — почему мысль о личном контакте с кем-то из них не обходит меня стороной? (Что поделать, ночная мысль. В ней нет логики.) Нет уж, ты полюби не одного из нас, а нас всех и *вместе взятых* — говорят они. И среди ночи, под обвалом бессонницы я готов любить их всех — мне кажется, это достижимо. (Это трудно понять.)

Смесь любви к ним и страха перед ними меня угнетает (если бы я мог кого-то из них возненавидеть, я бы просто-напросто себя зауважал). Я ведь люблю их заранее — задолго до того, как они начнут меня топтать, мне хамить и мучать меня грубой тяготинной вопросов. Я их люблю, потому что иначе я бы не выжил. Мне пришлось любить, потому что, только любя, я мог спорить с ними, эластично дискутировать, вспыхивать от несогласия и выискивать проблески их доброты.

Общаться с ними мысленно (любя их), перед тем как лечь спать, для меня важно, даже обязательно. Потому что иначе утром я не проснусь самим собой. Такова моя жизнь. Я не могу не быть «я». Я ведь уже не могу перемениться. (Если в ночь себя разъярить, я все равно не проснусь воином. В лучшем случае я проснусь истерично кри-

чащим и уже поутру кусающим всех подряд, опрокидывающим вдруг и стол, так, чтобы на полу запрыгали бутылки с нарзаном — графин не упадет, его успеет подхватить СЕКРЕТАРЬ, это ясно.)

Как-то я даже попробовал вступить загодя в личный контакт и даже, помню, смело решил, что приду вечером на чай без звонка. К кому?.. К одному из них. Это был ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, интеллигент; он, кажется, и точно был с высоким лбом, с залысынами. Фамилия — Островерхов (Или Остролистов?..) Прийти накануне комиссии к нему домой, без звонка, мне показалось тогда моим открытием: показалось, что это будет естественно и очень по-русски. Да, шел мимо. Вдруг надумалось зайти к вам. На одну минуту. Ведь я волнуюсь, это можно понять, скажу ему я... и тут — пауза. Сама собой пауза. (Я ведь смолк.) И как бы выхватывая (перехватывая) из паузы мое усугубляющееся молчание, теперь заговорит он. «Ну что вы! что вы, ей-богу... Что же волноваться! Обычное разбирательство. Вот уж не думал!.. — так он заговорит. — Да вы проходите, проходите. Мы вот тут ужинаем... Но чай еще не пили». Он не только из доброты так скажет, но еще и от растерянности и неожиданности (я даже и на растерянность его сколько-то рассчитывал).

Удивительно, но я угадал! Из прихожей я увидел, что как раз на кухне сидели две женщины, вся его семья, я заметил их чайные чашки (еще пустые), и гудение поспевающего на газовой плите чайника тоже как бы для меня висело звуком в воздухе. Остроградов — вот была его фамилия. Остроградов!.. И, обретя фамилию (вместо ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ), он сразу стал человечнее. Он не сказал мне в прихожей: «Так чего же вы, собственно, хотите?» — ничего грубого или, положим, отталкивающего не было в его вопросах (да и вопросов не было), но вот растерянность была гораздо большей, чем я предположил. Он, кажется, не знал, как быть: он после первых же слов онемел. Мы стояли в прихожей и оба молчали. От этой

предвиденной мной паузы (но уже слишком долгой) естественность моего прихода в дом стала куда-то пропадать; таять; и наши встречные мысли вдруг заметались от всяческих опасных предположений. Не принес ли он деньги в конверте, не дай бог?! откуда он узнал адрес? — думал он. Не думает ли он, что я принес ему денег? напуган тем, как я узнал его адрес?.. — думал я.

Молчали. «Проходил мимо и зашел. Вот так. А сейчас я пойду домой», — сказал я наконец. (Повторил уже сказанное на пороге. Теперь я перетаптывался в прихожей.) Я повторялся, отчаянно пытаюсь растерянной мимикой выжать из своего лица хоть что-то человечески определенное и ему понятное. Он в свою очередь тоже пытался: черты его лица метались. «Домой?» — ухватился он за мое последнее слово. Тем самым, как это бывает, он попал хоть на какой-то смысл. Впрочем, сам он этого еще не понял, и по лицу его продолжали бегать мимические светотени, никак человеческим умом не читаемые. Но теперь уже я ухватился за слово. «Да, да, домой. И стало быть — до свиданья», — сказал я почему-то с некоторой торжественностью. И ушел. По спине, помню, ползли холодненькие мурашки, а он шел сзади и вслед мне жаловался: «У нас лифт плохо работает. Ужасно плохо работает. Такой безобразный лифт. И ведь никак не могут починить!» — говорил он, в то время как лифт поднялся без малейших помех, и я в него вошел. Я уехал. Он, конечно, вернулся домой, пошел на кухню — к женщинам и к их чашкам чаю. И там (я предполагаю), прежде чем объяснить им, какое-то время молча приходил в себя под их недоумевающими взглядами.

Когда они вместе — вся их суть и сила в *стол*. Мысль у меня уже прежде мелькнула. Мысль почти ребяческая: побыть за этим столом, когда там никого нет. (Пойти посреди ночи?) Посидеть за их столом: спокойно и свободно посидеть там одному. Подготовиться психологически (и как бы лишить стол его метафизической силы) — это уже

кое-что; верное очко в мою пользу. Да: побыть с ним за-просто. Да: один на один... А уж ОНИ пусть придут после меня и после меня сядут.

Им будет неизвестно, что я тут уже был. И что я видел стол просто как стол. И что сидел за ним (и мысленно всех уже рассадил по местам). Стол ночью открыт, я буду видеть пятна от сигарет, трещины, облупившийся лак — старый стол.

Переживание было новым в моих однообразных ночных волнениях (я прокрутил мысль в действии: вот я пришел...) Ночь. (Ни ночь, ни утро.) Дом в четыре этажа, офис; у подъезда вахтер, то бишь ночной сторож. Но он вряд ли станет помехой. «Я вчера в комнате заседаний оставил кое-какие бумаги. Мы заседали вчера допоздна... Важные мне бумаги» (или лучше традиционное: забыл зонтик?) — вид у меня достаточно солидный, в руке портфель, а в портфеле в резерве бутылочка водки. «Что, до утра нельзя подождать?» — «Можно. Но боюсь, не смахнула бы уборщица. Она убирает с утра». — «Знаю, что с утра», — он ворчит. А я сую водку.

— Возьми, отец. За беспокойство... — Водку в нашем гастрономе продают в мерзкой посуде из-под фанты, вид отвратительный. (Из «фантовой» бутылки мы дома переливаем водку в старый дедовский графин, он с трещиной и с удивительной мелодией от нечаянного прикосновения — такая вот звуковая переключка с тем тупым графином с водой, что посередине стола. Но это уж так: эмоция.) Бутылки из-под фанты, не перестав раздражать своим видом, все же выявили со временем неожиданный новый смысл: их удобно дарить, совать как взятку, даже ронять (не бьются). К тому же выгодно — 0,33 вместо 0,5. (Берушему как раз столько и нужно, чтоб выпить в одиночку. Да и пить удобнее. Сторожа, во всяком случае, охотно берут бутылочку, не бутылку.)

Итак, я сую ему 0,33 и прохожу внутрь. Час ранний; вахтер поднимется со мной на этаж, отопрет комнату заседаний, но, конечно, не войдет — мол, иши. И вот я

там. Вот — стол. Мне ведь много не надо. Три-четыре тихие минуты. Я придвину себе стул; сяду. Остальные стулья я воображу. (И судей воображу, если захочу, но я не захочу.) Мне главное положить на стол ладони, ощутить его; две минуты, пусть одна, но в тишине и чтобы с глаза на глаз.

Вряд ли я тем самым разрушу метафизику стола. (Но я к ней приближусь.) И, в ожидании вызова, когда я буду сидеть перед дверьми и ждать, стол тоже будет в некотором смысле меня ждать: он ведь меня и мои ладони будет помнить.

Кого-то из людей вызовут и кто-то пойдет прежде меня, отирая пот или напряженно прокашливая голос; я же скажу себе — чего это он так волнуется? там ничего особенного: там *стол*.

Поверхность стола — в трещинах. И возможно, со старыми пятнами от сгоревших высоких свечей давних-давних лет (я представил, что я уже сижу за этим столом — ночью, один). Старый стол будет вполне открыт мне. Я смогу всматриваться в старую фанеровку, как в долгую-долгую жизнь, — я ведь тоже могу сколько-то в его жизнь вникнуть. (Я тоже могу о чем-то спросить.) Я представил, как мягко, бережно трону ладонью поверхность, и на миг она оживет, выйдя из летаргии десятилетий. Мы будем один на один. Старый стол почувствует прикосновение ладони и тихо-тихо ответно дрогнет: ответит теплом в мою ладонь (с едва ощутимым вздохом столетней усталости).

Ночи довольно темны сейчас. (Буду ли я зажигать свет? — вероятно, зажгу.) Но ведь я смогу, если уж я войду в комнату для заседаний, найти стол и в темноте. Быстрыми шагами пройду в темноте к середине — стол ведь всегда в середине — и первое, что я сделаю (еще не вглядываясь), положу ладони, передавая его старым трещинам свое тепло.

* * *

Только однажды я видел **СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНОГО** в его доброте — был промельк, картинка бытия; стояли густые уже сумерки; вечер. (А я шел по берегу реки. Я заблудился.) Лес большой, заросли перекрывали путь. И тут ОН откуда-то выскочил, в руке — керосиновый фонарь старого образца. Он быстро на меня глянул и озабоченно заговорил: «Аникеев я. Аникеев... Идемте. Я провожу вас. Я Аникеев», — речь его была проста, не зла. Я почувствовал, что, по сути, он добр (и жаль, что в наших с ним отношениях не случилось таких вот опрошенных обстоятельств, как здесь у реки). Он поднял фонарь: «Пойдемте...» — он не назвался еще раз Аникеевым, считая, что я запомнил. И точно. Возникшее имя было важно. (Это уточнение — это проваливань **ЧЕЛОВЕКА СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНОГО** в обычную жизнь **ЧЕЛОВЕКА ПРОСТО** вызвало во мне сильнейшее чувство доверия.) Он поднял фонарь, и в кустах мы нашли вход в туннель под реку. Мы шли. Красноватые отблески фонаря бежали впереди нас по стенам туннеля. И под ногами тоже — пятнами света по мокрой земле.

9

ТОТ, КТО С ВОПРОСАМИ, похож на высокооплачиваемого инженера (он и есть инженер, умный, работающий где-то в рассекреченном п/я). Высок ростом. Речист. Но если надо решать, он непременно оглядывается на всех них; и странно видеть его в растерянности, умного, высококолобого, и с такими красивыми кистями рук. Черета вопросов, с которыми он на тебя насаждает, маскирует его (замолкни он, перестань задавать вопросы, убавь он страсти, и все тотчас увидят, что он просто **КОЛЕБЛЮЩИЙСЯ ИНТЕЛЛИГЕНТ**). Вопросы и есть русло, которое он не покинет, боясь своего «я» и своей зыбкой воды на быстрых перекатах. Молодец. Знает себя.

Он с подавленным честолюбием (давно уж не волк). Его лучшие годы позади. Он знает это (но еще держится). Иногда он непонятен: вдруг спрашивает так озабоченно и вкрадчиво, словно боится, что подо мной проломится лед.

...она носит свитера, свитер отлично облегает ее грудь, по нынешней моде чуть отвисшую и все же выступающую сильно вперед. КРАСИВАЯ женщина, но верную оценку можно дать ей, только извлеки ее из-за стола и поместив в строгую рамку обстоятельств. (Хотя вне стола она тут же многое утратит. Стол с графином, люди, процесс разбирательства — это и есть ее рамка.)

Ночь... сидя на кухне или бродя в коридоре, сонный и больной переживанием, ты вызываешь в памяти ее лицо, правильные черты и вдруг (неожиданно для себя) говоришь ей в ночной тишине:

— Да я же люблю, люблю тебя. Как ты этого не понимаешь?! — Сказал как выдохнул: и так несомненна серьезность слов, и подлинное возмущение бьется в твоём голосе. Хотя все это, разумеется, ночной бред.

СТАРИК мудр, но встревожен напором некончающихся перемен. Ему кажется, что его мудрость не поспевает за ходом жизни. Он даже пуглив. Когда он у себя дома, он впадает в минутное отчаяние (и звонит СЕКРЕТАРЮ-ПРОТОКОЛИСТУ — мол, развеи мои страхи. Он не говорит впрямую «развеи страхи», но он спрашивает: «Какие завтра дела?» — или: «Что там с Затравиным и его затянувшимся делом?.. Что там Ключарев?» — всплывают разные мелкие уточнения, и он спрашивает еще и еще).

Сев за судный стол со всеми вместе, он погружен в себя и в свою долгую (затянувшуюся!) жизнь. А я, под обаянием его молчания, думаю, что он думает обо мне.

Сильная сторона моих отношений со СТАРИКОМ — та, что он тоже ночью не спит, мается бессонницей, и хочешь не хочешь задумается о том, кого ему завтра судить. Точно так же, как та женщина, СЕДАЯ В ОЧ-

КАХ, — он и она, два человека могут подумать обо мне этой ночью. Как все люди, когда они в отчаянии и без сна, я непременно в какую-то минуту застыну у окна (у кухонного, ночного моего окна) и невидящими глазами буду смотреть на мокрую от дождя ночную землю (или на мокрый ночной снег) и вдруг скажу беспричинно, тихо: «Госсподи-ии» — не потому, что я вспомнил Бога, а просто от тишины и безликой немощи. И звук оторвется от слова. Протяжное в звуке «и-иии-и» потянется через пространство, дышащее дождем (или снегом), растаивая в ночном городе до бесследности, до нуля. (И все же оставляя след.)

Оба они на миг замрут. Истаявший звук доплыл. И о чем бы они ни подумали — они уже подумали обо мне.

Я знаю, что женщина, СЕДАЯ В ОЧКАХ, искренне жалеет меня, а она знает, что я понимаю ее состояние — от нашей взаимной жалости друг к другу толку никакого, а все же мы в *отношениях*. Ей важно мое мнение. Ей кажется, что, поскольку я так хорошо ее понимаю, *я без труда* прошу ей, если за столом она вдруг не сможет долго сопротивляться общему осуждающему нажиму и вдруг подпоет им вслед, вдруг их поддержит. (Тут она преувеличивает. Я прошу. Но не без труда.)

...в последние годы осмотрительный, он все еще (если ему дают заключительное слово) умеет сказать.

Расположенность, открытость в лице. Всегда стандартный светло-серый костюм, чуть большего размера, чем нужно. Галстук свободен, открывает белую гладкую шею.

ПАРТИЕЦ женат на молоденькой студенточке (он там и тут выступает с лекциями — почему нет?), понятно, что она молоденькая и тоненькая, розовые губки и много-много усвоенных с его подачи просветленных слов. Она из тех, для кого его авторитет и его располагающий к себе серый костюм не поколеблются никакими перестройками — это на века. Она боготворит его. И губы ее дрожат, когда ей хочется добавить несколько своих слов к тому,

что сказал он. (И понятно, что это ему льстит, как ничто больше в жизни.)

Ночь.

— Почему вы об этом молчали? Не считайте всех людей дураками — мы видим вас насквозь. Вы для нас прозрачный! — Это БЫВШИЙ ПАРТИЕЦ заговорил, провалился (чем ближе пик ночи, тем личностней отношения).

Ты говоришь:

— Но послушайте. Но подождите. Как я мог знать наперед! Войдите в реальное мое положение — я ведь человек: войдите в мою жизнь... (Это для СТАРИКА. Он молчит. Он войдет в мое положение и в мою жизнь. Но ведь не сразу.)

Женщина с ОБЫКНОВЕННОЙ ВНЕШНОСТЬЮ:

— ...только о себе! Он думает, что он в центре земли — он пуп!.. Этот пупизм более отвратителен, чем забывчивость обыкновенного негодяя! Это, простите меня, *наш тип!* — запальчиво выкрикивает она, женщина с таким хорошим обыкновенным лицом и манерами честной учительницы. (Ей все наше ведомо. И наши типы, и наши прототипы. СТАРИК все еще молчит, ах, этот СТАРИК...)

От их вопросов и моих (приноравливающихся) ночных ответов голова моя вновь начинает гореть, давление скачет. Но я уже ввязался в спор. Я им отвечаю, отвечаю, отвечаю, и чем их реплики резче и злее, тем более нервны и злы мои ответы.

А ведь надо бы отвечать загодя и поспокойнее. (Надо бы предусмотреть.) Обидно, если не сейчас, среди ночи, а завтра, уже после вопроса, мелькнет искрой и тут же ярко вспыхнет запоздалый достойный ответ. Ах, как он, найденный слишком поздно, будет жалить сердце, и как же досадно станет за неповоротливый ум и суетный язык — вот ведь как! вот ведь как следовало ей (или ему) ответить! — будет вскрикивать

позже душа, так задешево во время спроса обиженная и уязвленная.

Ночь. Взгляд в ночное окно. (Пустая улица. Темные окна в доме напротив.) Оглядываюсь. Какой-то всполох памяти при взгляде на старый сонный будильник. *Зорю бьют...*

...сидящие люди, войдя в мое сознание, раз от разу укрепляли свои позиции (стол их уже на четырехстах ножках, дубовый, отяжеленный), — они укреплялись там с каждым спросом. Они уже во мне, это несомненно. Они живут. Вероятно, они и есть разрушение личности (всегда сидящие внутри десять—двенадцать человек, готовые с тебя спросить). Мне равно неприятно, что меня разрушают годы, и что высокое давление, и что сердце сдает. И что ноги не так крепки. И что я пью валерьянку, чтобы поладить с нервами. Но если о потерях, мне более всего неприятно, что я не могу и подумать о том, чтобы пропустить завтрашний день спроса и попросту к ним не явиться (не могу же я не прийти к самому себе).

Конечно, здоровый инстинкт возмущается при виде разрушенных людей. (Но я стараюсь себя понимать. Какой есть — такой есть!..) Я уже заметил, что я понимаю людей, разрушенных жизнью. Я их принимаю. И уже заранее готов приобшиться к несчастью — к нищему на улице (их стало так много), к пьянице, сломавшему ногу, к старушкам, которые часами стоят в очередях с одеревеневшими лицами истуканов. Видел позавчера мальчика-дауна, час смотрел и час целый любил его (через него и весь мир). Мои ночные страхи — это я сам. В горькую минуту, когда видишь себя самого среди ночи, с набрякшими (вижу в зеркале) веками, с выпученными от давления глазами, в такую минуту, когда хочется себя жалеть и (хоть сколько-то) уважать, я говорю себе, что мои страхи — это знаки любви. Чем более я люблю растоптанных лю-

дей, тем более замирает мой трепещущий лоскут внутри. Бабочка, которая боится вспорхнуть. (Из опыта я, конечно, знаю, что ничего особенного завтра не произойдет. Как ничего не произошло и в предыдущие многочисленные спросы. Меня хорошо и обстоятельно спрашивают. Что-то уточнят. Чем-то несильно оскорбят. И я тихо уйду.)

Ночь. (Я вдруг решился.)

Надо было или перестать думать об этом, или наконец, пойти. Ведь я все равно не сплю. И я уже вполне справился с волнением. (А почему не пойти? Ночная прогулка успокоит нервы.)

Прежде всего я оделся, потом осторожно повернул в дверях ключ. (Я умею выйти, не хлопнув дверью.) Я взял с собой портфель-дипломат: во все времена портфель производил на вахтеров впечатление, внушая, что пришел к ним человек солидный. В хорошем плаще, в вельветовой кепке. (Интеллигент шляпу не уважает и не носит — вахтеры это отлично чувствуют.) Мне, собственно, не надо притворяться: вот только одеться поостроже, без небрежности. Всё так. В дипломат легла маленькая бутылка. Я глянул на часы: без четверти пять. Полчаса я буду идти пешком. Серый рассвет. Пусть так.

Серый рассвет оказался темнее, чем я предполагал. Но воздух освежил, ноги шли хорошо, мягко, а ведь те же самые, что и час назад, тяжелые, ночные мои ноги. Я не торопился.

Четырехэтажный офис стоял темным кубом. Как я и предполагал, вахтер спал, но спать он предпочел не у входа, а где-то в глубине здания, так что мои постукивания — слабые, потом достаточно сильные — были на первых минутах впустую. Я уже отчаялся (уже и затея моя стала терять смысл), но вдруг меня надоумило пойти к окнам. Вдоль окон первого этажа, вытянув руку и постукивая в каждое настойчивой дробью, — вот так я шел. В одном из окошек вспыхнул свет. Пятно лица прилипло к

оконному стеклу, поизучало меня (каждый из нас смотрел на другого немного как на марсианина), — отпрянув от окна, неразличимое лицо исчезло. Старик-вахтер не спешил, обстоятельно оделся; возможно, зашел по пути в туалет. Наконец он появился и спросил: «Чего?» Портфель внушил ему сколько-то добрых чувств ко мне, так что он заметно приоткрыл дверь и спросил мягче: «Чего вам?» — уже отчасти с доверием и с уважением ко мне (и, конечно, к самому учреждению, которое поручено ему стеречь. В таком учреждении не перекрикиваются через двери).

Как и предполагалось, мой вид, мое объяснение насчет забытой важной бумаги, понятное желание взять ее до прихода уборщицы — все было убедительно. Глазки старика (он сильно зарос и заспался; возможно, мой ровесник) ощупали меня вновь и поверили. Но с водкой я промахнулся. «Не пью», — сказал он, когда я приоткрыл дипломат и уже приоткрытый (с бутылкой внутри) подsunул ему под глаза — мол, как? годится?.. Не закрывая портфель, я ждал. Он хмыкнул и сказал с некоторой легкой натугой: «Если бы *стольник*, это бы лучше» — он прикинул уже по новым ценам, взяв с меня, как водится, все-таки поменьше. Бумажник был со мной; я отсчитал.

Оказалось, увы, что он не останется здесь сидеть и потягивать из горлышка удобной бутылки для детей (с детским пойлом). Он с ключами пойдет со мной наверх. Он сам откроет. Все же он был старше меня. (Как бы человек ни выглядел, его возраст сразу узнаешь, когда он поднимается по лестнице.) Мы одолели два лестничных марша. Затем подошли к небольшому залу для заседаний, где старый вахтер и открыл мне дверь. «Идите. Смотрите... А я пойду вниз», — в старике сработала некая деликатность. И непредусмотренным образом получилось именно так, как я хотел. Я ответил: «Хорошо». — «Там, в тупике коридора некоторые воду не закрывают. Забывают закрыть», — и он прислушался, как бы вникая ухом в пространство второго этажа. Но было тихо. Вода нигде не шумела.

Возможно, это был лишь психологический момент — известное желание пояснить чужому человеку, что мы, мол, не только сторожим, есть и всякие иные сложности в нашей работе (только говорится, что сторожить — это спать). Но, возможно, тут был и неведомый мне житейский иероглиф, подразумевающий, что по какой-то причине я пойду в тот тупиковый конец коридора и зайду, к примеру, в туалет (тогда я, вероятно, не должен был оставить там кран открытым). Все это было не столь уж важно. Он ушел, спустившись по лестнице.

А я вошел. Я вошел в открытую мне дверь — и теперь обходил знакомый мне стол, собираясь за него сесть, как только мои глаза вполне его увидят. За столом стояло несколько стульев (как бы ожидая людей.) Два были отодвинуты, как если бы, покидая место, человек резко встал, толкнув стул назад. Возможно, МОЛОДОЙ ВОЛК, подумал я. Продолжая двигаться, я мысленно их рассаживал. Я тоже сел на один из стульев. Была мысль сесть не как судимый, но и не как судящий, а просто сесть на равных и молчать, продолжая в полутьме видеть их *всех* и угадывать, кто есть кто. Потом я зажег свет (ведь я ищу забытые листы) — и вновь сел. Вполне удовлетворившись видом стола и стульев вокруг, я негромко засмеялся. Я испытал необыкновенный прилив сил: чувства переполнились, ладони мои (как и задумывалось) уже лежали на столе, я как бы нажимал ладонями на сукно и на плоскость стола, пробуя сопротивление старого дерева. В некотором возбуждении я даже слегка ударил кулаком («Ужо тебе!..»), приятно ощутив силу удара; это тоже сошло, ничего не случилось. А затем я протянул руку к графину с водой, не пить, может быть, просто взять его, но не дотянулся — немного, на спичечный коробок не дотянулся. Привстав, я протянул руку еще вперед, и тут (помню; ударило резко, как хлыстом) сильнейший удар в грудь на секунду-две лишил меня сознания. Я лежал, навалившись грудью на сукно стола, и все еще вытягивал вперед, к воде, левую руку.

Сознание не включилось вполне, но, несомненно, я жил. Я слышал свое слабое похрипывание (весь, вместе с хриплым дыханием, вместе со своим телом, вместе с рукой, вытянутой вперед, я находился на середине стола, только ноги, свесившиеся к полу, ощущались где-то далеко). Страх не было. Иных чувств тоже не было: время поплыло, и я не знаю, сколько его прошло.

Старик-вахтер наверх не поднимался, вероятно забыв или же оставив надолго меня одного с моими интересами. Он так и не пришел — он поднялся наверх только вместе с ранней уборщицей, которая тотчас заохала и заохала, как это обычно делают пожилые женщины, без труда определяющие беду и даже степень беды: «Инфаркт! Точно тебе говорю: инфаркт — не трожь, не волокни его ни в коем случае!..» — «Мать его!..» — в сердцах сказал вахтер. «Не бранись». — «Он че? разве слышит?» — «Слышит», — они обходили меня кругом (не спуская с меня глаз, но спокойно, неторопливо), как и я какое-то время назад обходил стол, примериваясь к нему узнавающим взглядом. Все же я мог упасть на пол (они озабоченно обсуждали именно это) — тело могло съехать со стола, грохнуться.

В свою очередь и я наблюдал из неподвижного положения, как среди многих известных мне персонажей, усаженных мною (мысленно) за стол, появились два непредвиденных: НЕПЬЯНИЦА-ВАХТЕР и старая УБОРЩИЦА-КАРДИОЛОГ — они тоже участвовали, во всяком случае они тоже приняли, посоветовавшись, касающееся меня решение и выполнили его: они меня передвинули. (Старик-вахтер осторожно поднимал мои свесившиеся ноги, а старая уборщица с другой стороны стола, прихватив за плечи, подтаскивала меня к середине. Так что в конце осторожной их операции я уже весь лежал на столе, хотя и наискосок, но без опасности упасть.)

Графин был возле левой щеки (близко), значит, я в основном находился на правой стороне стола. Послышались голоса, но это были еще не врачи. Пришли они — те, кого я хорошо знал.

* * *

Искося я видел медленно подошедшего СТАРИКА, и с ним СЕКРЕТАРСТВУЮЩЕГО, и еще БЫВШЕГО ПАРТИЙЦА в светло-сером костюме: они негромко переговаривались. Моя фамилия уже называлась вслух: «Он?.. Почему?» — «Он как раз пришел. Нет, он по списку не первый, но пришел раньше». — «Разве его вызывали сегодня?» — туда-сюда сновала ЖЕНЩИНА, ПОХОЖАЯ НА УЧИТЕЛЬНИЦУ, — она метнулась к дверям, недопустимо, чтобы так долго ехала «скорая помощь». «Да ведь только что вызвали. Вахтер не догадался». — «Старый болван!» — сказал МОЛОДОЙ ВОЛК ИЗ ОПАСНЫХ. Кто-то из них, вероятно, стоял и с другой стороны стола, но моя поза — поза человека, лежащего на животе с вытянутой рукой и повернутой головой набок — не давала их видеть. Заметив, что глаза мои моргают, некоторые из них перешли в ту часть обзора, который был мне доступен. Они смотрели на меня: я чувствовал их взгляд. Я задвигал губами, пытаюсь улыбнуться, с жалким шутливым оправданием — мол, лежу, занял ваше рабочее место. Мол, так получилось, прошу простить, *виноват*.

10

. СОЦ-ЯР напорист. (У него нет выдержки.) Он сыплет словами, словно в нашей речи нет падежей, — он хочет задавить сразу, а там, под завалом слов (когда ты уже хватаешь ртом воздух и еле дышишь) — там можно будет подумать и о диалоге. Он сильно предубежден против интеллигентов

 в ее глазах скорбь, словно это не я — она, СЕДАЯ В ОЧКАХ, провинилась. (Точнее, ее сын — вот кто провинился. А вина на ней.)

Моя дочь . . . жена . . . А если
в приватизированной квартире не прописаны?

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА даже не смотрит на того, кого судят. О чем они говорят?! (Когда все сейчас только и думают о деньгах.) Отвернулась. Но иногда она вдруг добра. «Ну что вы задержали человека?!» — вдруг скажет

СЕКРЕТАРСТВУЮЩИЙ пишет, сидя напротив . . . Меж вами графин с прозрачной водой . . . на чистом листе дугу своей фамилии. (Искаженную кривизной стекла и воды. Через графин.)

Как не помнить. Выходили гурьбой с очередного судилища, и один из них, поправляя шарф, говорил другому — а тот на ходу закуривал: «Да, да. Ты прав. Вопрос пустяковый». — «Какая разница, пустяковый или не пустяковый, клиент-то умер...» — и они прошли дальше, сворачивая к остановке троллейбуса. (Я клиент. И обольщаться не надо. Молодой сказал. И улыбался, показывая хорошие зубы. Волк.)

МОЛОДОЙ ВОЛК ИЗ ОПАСНЫХ обычно говорит, откинувшись на спинку стула. Он даже раскачивается на стуле, рассматривает тебя:

— Вы думаете, что люди вас не понимают?.. Люди по-

нимают. Люди отлично вас понимают!.. Люди отлично вас понимают!..

И указательным пальцем он резко болтает из стороны в сторону — мол, не пройдет! не пройдет у вас играть в прятки, милейший!

ЖЕНЩИНА С ОБЫКНОВЕННОЙ ВНЕШНОСТЬЮ. Никогда не начнет спрос первой. Молчит. Но в глазах ее разгораются алчные огоньки справедливости. (А как быть, если люди эгоистичны? и если даже собственные дети не радуют? кому повем печаль?..)

. Это для них обыкновенно — отнять все (или почти все) у сидящего перед ними. Отнять, а потом вернуть. То обирать, то возвращать. В этом они, конечно, мельтешат и сильно отличаются от Бога, который дает жизнь лишь однажды. А если отбирает — то отбирает

. когда страсти нагнетаются, сидящие за столом срываются в крик. **СОЦИАЛЬНО ЯРОСТНЫЙ** работяга вскакивает с места и тянется через стол — душить за горло: я узнал тебя, гад. Ты понимаешь, сука, что народ сейчас пашет и лес валит!

. россыпь листков перед **СЕКРЕТАРЬКОМ-ПРОТОКОЛИСТОМ**, и по несколько листков перед каждым, карандаши тоже, в россыпь — бери, можешь взять два. Вот.

КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННЫЙ

Рассказ

Солдаты, скорее всего, не знали про то, что *красота спасет мир*, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо — она пугала. Из горной теснины выпрыгнул вдруг ручей. Еще более насторожила обоих открытая поляна, окрашенная солнцем до ослепляющей желтизны. Рубахин шел первым, более опытный. Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о счастливом детстве (которого не было). Особняком стояли над травой гордые южные деревья (он не знал их названий). Но более всего волновала равнинную душу эта высокая трава, дышавшая под несильным ветром.

— Стой-ка, Вов. Не спеши, — предупреждает негромко Рубахин.

Быть на незнакомом открытом месте — все равно что быть на мушке. И прежде чем выйти из густого кустарника, Вовка-стрелок вскидывает свой карабин и с особой медлительностью ведет им слева направо, используя оптический прицел как бинокль. Он затаил дыхание. Он оглядывает столь щедрое солнцем пространство. Он замечает у бугра маленький транзисторный приемник.

— Ага! — восклицает шепотом Вовка-стрелок. (Бугор сух. Приемничек сверкнул на солнце стеклом.)

Короткими перебежками оба солдата в пятнистых гимнастерках добираются до вырытой наполовину (и давно заброшенной) траншеи газопровода — до рыжего, в осенних красках бугра. Они повертели в руках: они уже узнали приемничек. Ефрейтор Боярков, напившись, любил уединиться,

лежа где-нибудь в обнимку с этим стареньким транзистором. Раздвигая высокую траву, они ищут тело. Находят неподалеку. Тело Бояркова привалено двумя камнями. Обрел смерть. (Стреляли в упор — он, похоже, и глаза свои пьяные не успел протереть. Впалые щеки. В части решили, что он в бегах.) Документов никаких. Надо сообщать. Но почему боевики не взяли транзистор? Потому что улика? Нет. А потому, что слишком он старенький и дребезжащий. Не вещь. Необратимость случившегося (смерть — один из ясных случаев необратимости) торопит и против воли подгоняет: делает обоих солдат суетными. Орудая плоскими камнями как лопатами, они энергично и быстро закапывают убитого. Так же наскоро слепив над ним холмик земли (приметный насыпной холм), солдаты идут дальше.

И вновь — на самом выходе из теснины — высокая трава. Ничуть не пожухла. Тихо колышется. И так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими солдатами) птицы. Возможно, в этом смысле красота и спасает мир. Она нет-нет и появляется как знак. Не давая человеку сойти с пути. (Шагая от него неподалеку. С присмотром.) Заставляя насторожиться, красота заставляет помнить.

Но на этот раз открытое солнечное место оказывается знакомым и неопасным. Горы расступаются. Впереди ровный путь, чуть дальше наезженная машинами пыльная развилка, а там и — воинская часть. Солдаты невольно прибавляют шагу.

Подполковник Гуров, однако, не в части, а у себя дома. Надо идти. Не передохнув и минуты, солдаты топают туда, где живет подполковник, всесильный в этом месте, а также во всех примыкающих (красивых и таких солнечных) — местах земли. Живет он с женой в хорошем деревенском доме, с верандой для отдыха, увитой виноградом; при доме есть и хозяйство. Время жаркое — полдень. На открытой веранде подполковник Гуров и его гость Алибеков; разморенные обедом, они дремлют в легких плетеных креслах в ожидании чая. Рубахин докладывает, запинаясь и несколько робея. Гуров сонно смотрит на них обоих, таких пропыленных (при-

шедших к нему незвано и — что тоже не в пользу — совсем незнакомых ему своими лицами); на миг Гуров молодеет: резко повысив голос, он выкрикивает — никакой подмоги кому бы то ни было, какая, к чертям, подмога! — ему даже смешно слушать, чтобы он направил куда-то своих солдат выручать грузовики, которые по собственной дурости *влипли* в ущелье!..

Больше того: он их так не отпустит. Рассерженный, он велит обоим солдатам заняться песком: пусть-ка они честно потрутся — помогут во дворе. Кррругом — аррш! И чтоб разбросали ту гору песка у въезда. И чтоб песок по всем дорожкам! — к дому и к огороду — грязь всюду, мать ее перемать, не пройдешь!.. Жена подполковника, как и все хозяйки на свете, рада дармовым солдатским рукам. Анна Федорвна, с засученными рукавами, в грязных разбитых мужских ботинках, тут же и появляется на огороде с радостными кликами: пусть, пусть еще и с грядками ей помогут!..

Солдаты развозят песок на тачках. Разбрасывают его, сеют лопатами по дорожкам. Жара. А песок сырой, брали, видно, у речки.

Вовка водрузил на кучу песка транзистор убитого ефрейтора, нашел поддерживающую дух ритмичную музыку. (Но негромко. Для своего же блага. Чтоб не помешать Гурову и Алибекову, разговаривающим на веранде. Алибеков, судя по доносящимся тягучим его словам, выторговывает оружие — дело важное.)

Транзистор на песчаном бугре еще раз напоминает Рубахину, какое красивое место выбрал себе Боярков на погребель. Пьяненький дурак, он в лесу спать побоялся, на полянку вышел. Еще и к бугру. Когда боевики набегали, Боярков толкнул свой приемничек в сторону (своего верного друга), чтобы тот сполз с бугра в траву. Боялся, что отнимут, — мол, сам как-нибудь, а его не отдам. Едва ли! Заснул он пьяный, а приемник попросту выпал у него из рук и, съехав на чуть, скатился по склону.

Убили в упор. Молодые. Из тех, что хотят поскорее убить первого, чтобы войти во вкус. Пусть даже сонного.

Приемник стоял теперь на куче песка, а Рубахин видел тот залитый солнцем рыжий бугор, с двумя цепкими кустами на северном склоне. Красота места поразила, и Рубахин — памятью — не отпускает (и все больше вбирает в себя) склон, где уснул Боярков, тот бугор, траву, золотую листву кустов, а с ними еще один опыт выживания, который ничем незаменим. Красота постоянна в своей попытке спасти. Она окликнет человека в его памяти. Она напомнит.

Сначала они разгоняли тачки по вязкой земле, потом догадались: покидали по дорожкам доски. Первым шустро катит тачку Вовка, за ним, нагрузив горой, толкает свою огромную тачку Рубахин. Он разделся до пояса, поблескивая на солнце мощным и мокрым от пота телом.

2

— Даю десять «калашниковых». Даю пять ящиков патронов. Ты слышал, Алибек, — не три, а пять ящиков.

— Слышал.

— Но чтоб к первому числу провиант...

— Я, Петрович, после обеда немного сплю. Ты тоже, как я знаю. Не забыла ли Анна Федоровна наш чай?

— Не забыла. За чай не волнуйся.

— Как не волноваться! — смеется гость. — Чай — это тебе не война, чай остывает.

Гуров и Алибеков помалу возобновляют свой некончающийся разговор. Но вялость слов (как и некоторая ленивость их спора) обманчива — Алибеков прибыл за оружием, а Гурову, его офицерам и солдатам, позарез нужен провиант, прокорм. Обменный фонд, конечно, оружие; иногда бензин.

— Харч чтобы к первому числу. И чтоб без этих дурацких засад в горах. Вино не обязательно. Но хоть сколько-то водки.

— Водки нет.

— Ищи, ищи, Алибек. Я же ишу тебе патроны!

Подполковник зовет жену: как там чай? ах, какой будет сию минуту отменный крепкий чай! — Аня, как же так? ты кричала нам с грядок, что уже заварила!

В ожидании чая оба неспешно, с послеобеденной ленцой закуривают. Дым так же лениво переползает с прохладной веранды на виноград и — пластами — тянется в сторону огорода.

Сделав Рубахину знак: мол, попытаюсь добыть выпивки (раз уж здесь застряли), стрелок отходит шаг за шагом к плетеному забору. (У Вовки всегда хитрые знаки и жесты.) За плетнем молодая женщина с ребенком, и Вовка-стрелок тотчас с ней перемигивается. Вот он перепрыгнул плетень и вступает с ней в разговор. Молодец! А Рубахин знай толкает тачку с песком. Кому что. Вовка из тех бойких солдат, кто не выносит вялотекущей работы. (И всякой другой работы тоже.)

И надо же: поладили! Удивительно, как сразу эта молодуха идет навстречу — словно бы только и ждала солдата, который ласково с ней заговорит. Впрочем, Вовка симпатичный, улыбочивый и где на лишнюю секунду задержится — пустит корешки.

Вовка ее обнимает, она бьет его по рукам. Дело обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает, что надо бы завлечь ее в глубь избы. Он уговаривает, пробует с силой тянуть за руку. Молодуха упирается: «А вот и нету!» — смеется. Но за шагом шаг они смешаются оба в сторону избы, к приоткрытой там из-за жары двери. И вот они там. А малыш, неподалеку от двери, продолжает играть с кошкой.

Рубахин тем временем с тачкой. Где не проехать, он, перебрав с прежних мест, вновь выложил доски в нитку — он осторожно вел по ним колесо, удерживая на весу тяжесть песка.

Подполковник Гуров продолжает неторопливый торг с Алибековым, жена (она вымыла руки, надела красную блузку) подала им чай, каждому свой — два по-восточному изяшных заварных чайника.

— Хорошо заваривает, умеет! — хвалит Алибеков.

Гуров:

— И чего ты упрямисься, Алибек!.. Ты ж, если со стороны глянуть, пленный. Все ж таки не забывай, где ты находишься. Ты у меня сидишь.

— Это почему же — я у тебя?

— Да хоть бы потому, что долины здесь наши.

— Долины ваши — горы наши.

Алибеков смеется:

— Шутишь, Петрович. Какой я пленный... Это ты здесь пленный! — Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: — Он пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат — пленный!

Смеется:

— А я как раз не пленный.

И опять за свое:

— Двенадцать «калашей». И семь ящиков патронов.

Теперь смеется Гуров:

— Двенадцать, ха-ха!.. Что за цифра такая — двенадцать? Откуда ты берешь такие цифры?.. Я понимаю — десять; цифра как цифра, запомнить можно. Значит, стволов — десять!

— Двенадцать.

— Десять...

Алибеков восхищенно вздыхает:

— Вечер какой сегодня будет! Ц-ц!

— До вечера еще далеко.

Они медленно пьют чай. Неторопливый разговор двух давно знающих и уважающих друг друга людей. (Рубахин катит очередную тачку. Накреняет ее. Ссыпает песок. Разбрасывая песок лопатой, ровняет с землей.)

— Знаешь, Петрович, что старики наши говорят? В поселках и аулах у нас умные старики.

— Что ж они говорят?

— А говорят они — поход на Европу пора делать. Пора опять идти туда.

— Хватил, Алибек. Евро-опа!..

— А что? Европа и есть Европа. Старики говорят, не так далеко. Старики недовольны. Старики говорят, куда русские, туда и мы — и чего мы друг в дружку стреляем?

— Вот ты и спроси своих кунаков — чего?! — сердито вскрикивает Гуров.

— О-о-о, обиделся. Чай пьем — душой добреем...

Какое-то время они молчат. Алибеков снова рассуждает, неторопливо подливая из чайника в чашку:

— ... не так уж она далеко. Время от времени ходить в Европу надо. Старики говорят, что сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет.

— Когда еще станет. Жди!

Гуров вздыхает:

— Вечер и правда будет чудный сегодня. Это ты прав.

— А я всегда прав, Петрович. Ладно, десять «калашей», согласен. А патронов — семь ящиков...

— Опять за свое. Откуда ты берешь такие цифры — нет такой цифры семь!

Хозяйка несет (в двух белых кастрюлях) остатки обеда, чтобы скормить пришлым солдатам. Рубахин живо откликается — да! да! Солдат разве откажется!.. «А где второй?» И тут запинаящемуся Рубахину приходится тяжело лгать: мол, ему кажется, у стрелка живот скрутило. Подумав, он добавляет чуть более убедительно: «Мается, бедный». — «Может, зелени наелся? яблок?» — спрашивает сердобольно подполковничиха.

Окрошка вкусна, с яйцом, с кусками колбасы; Рубахин так и склонился над первой кастрюлей. При этом он громко бьет ложкой по краям, гремит. Знак.

Вовка-стрелок слышит (и, конечно, понимает) звук стучащей ложки. Но ему не до еды. Молодая женщина в свою очередь слышит (и тоже понимает) доносящееся со двора истеричное мяуканье и вслед вскрик оцарапанного малыша: «Маа-ам!..» Видно, задергал кошку. Но женщина сейчас вся занята чувством: истосковавшаяся по ласке, с радостью и с жадностью она обнимает стрелка, не желая упустить счастливый случай. Про стрелка и говорить нече-

го — солдат есть солдат. И тут снова детский капризный крик: «Ма-ааам...»

Женщина срывается с постели — высунув голову в дверь, она цыкнула на малыша; и притворяет дверь плотнее. Босо протопав, возвращается к солдату; и словно вся вспыхивает заново. «Ух, жаркая! Ух, ты даешь!» — восхищен Вовка, а она зажимает ему рот: «Тс-сс...»

Шепотом Вовка излагает ей нехитрый солдатский наказ: просит молодую женщину сходить в сельпо и купить там дрянного их портвейна, солдату в форме не продадут, а ей это пустяк...

Он делится с ней и главной заботой: им бы сейчас не бутылку — им бы ящик портвейна.

— Зачем вам?

— В уплату. Дорогу нам заперли.

— А чо ж вы, если портвейн нужен, к подполковнику пришли?

— Дураки, вот и пришли.

Молодая женщина вдруг плачет — рассказывает, что недавно она сбилась с дороги и ее изнасиловали. Вовка-стрелок, удивленный, присвистывает: вот ведь как!.. Посочувствовав, он спрашивает (с любопытством), сколько же их было? — их было четверо, она всхлипывает, утирая глаза уголком простыни. Ему хочется порасспросить. Но ей хочется помолчать. Она утыкается головой, ртом ему в грудь: хочется слов утешения; простое чувство.

Разговаривают: да, бутылку портвейна она, конечно, купит ему, но только если стрелок пойдет с ней к магазину. Она сразу же купленную бутылку ему передаст. Не может она с бутылкой идти домой, после того что с ней случилось, — люди знают, люди что подумают...

Во второй кастрюле тоже много еды: каша и кусок мяса из консервов, — Рубахин все уминает. Он ест не быстро, не жадно. Запивает двумя кружками холодной воды. От воды его немного знобит, он надевает гимнастерку.

— Отдохнем малость, — говорит он самому себе и уходит к плетню.

Он прилег: впадает в дрему. А из соседнего домика, куда скрылся Вовка, через открытое окно доносится тихий сговор.

Вовка: — ... тебе подарок куплю. Косынку красивую. Или шаль тебе разыщу.

Она: — Ты ж уедешь. (Заплакала.)

Вовка: — Так я пришлю, если уеду! Какое тут сомнение!..

Вовка долго упрасивал, чтобы она стоя согнулась. Не слишком высокий Вовка (он этого никогда не скрывал и охотно рассказывал солдатам) любил обхватить крупную женщину сзади. Неужели она не понимает? Так приятно, когда женщина большая... Она отбивалась, отнекивалась. Под их долгий, жаркий шепот (слова уже становились неразличимы) Рубахин уснул.

Возле магазина, едва получив портвейн из ее рук, Вовка сует бутылку в глубокий надежный карман солдатских брюк и — бегом, бегом — к Рубахину, которого он оставил. Молодая женщина так его выручила, и кричит, с некоторой опаской напрягая на улице голос, кричит вслед с упреком, но Вовка машет рукой, уже не до нее — все, все, пора!.. Он бежит узкой улицей. Он бежит меж плетней, срезая путь к дому подполковника Гурова. Есть новость (и какая новость!) — стрелок стоял, озираясь, возле их заплеванного магазинишки (ожидая бутылку) и услышал об этом от проходивших мимо солдат.

Перепрыгнув плетень, он находит спящего Рубахина и толкает его:

— Рубаха, слышь!.. Дело верное: старлей Савкин пойдет сейчас в лес на разоружение.

— А? — Рубахин заспанно смотрит на него.

Вовка сыплет словами. Торопит:

— На разоружение идут. Нам бы с ними. Прихватим чурку — вот бы и отлично! Ты ж сам говорил...

Рубахин уже проснулся. Да, понял. Да. Будет как раз. Да-а, нам скорее всего там повезет — надо идти. Солдаты тихо-тихо выбирают из подполковничьей усадьбы. Они осторожно забирают вешмешки, свое оружие, стоявшее у ко-

лодца. Они перелезят плетень и уходят чужой калиткой, чтобы те двое, с веранды, их не увидели и не окликнули.

Их не увидели; и не окликнули. Сидят.

Жара. Тихо. И Алибеков негромко напевает, голос у него чистый:

Все здесь замерло-ооо до утра-ааа...

— Люди не меняются, Алибек.

— Не меняются, думаешь?

— Только стареют.

— Ха. Как мы с тобой... — Алибеков подливает тонкой струей себе в чашку. Ему уже не хочется торговаться. Грустно. К тому же все слова он сказал, и теперь правильные слова сами (своей неспешной логикой) доберутся до его старого друга Гурова. Можно не говорить вслух.

— Вот чай хороший совсем исчез.

— Пусть.

— Чай дорожает. Еда дорожает. А время не меня-яется, — тянет слова Алибеков.

Хозяйка как раз вносит на смену еще два заварных чайника. Чай — это верно. Дорожает. «Но меняется время или нет, а прокорм ты, брат, привезешь...» — думает Гуров и тоже слова вслух пока не произносит.

Гуров знает, что Алибеков поумнее, похитрее его. Зато его, Гурова, немногие мысли прочны и за долгие годы продуманы до такой белой ясности, что это уже и не мысли, а части его собственного тела, как руки и ноги.

Раньше (в былые-то дни) при интендантских сбоях или просто при задержках с солдатским харчем Гуров тотчас надевал парадный мундир. Он цеплял на грудь свой орден и медали. В армейском «козлике» ГАЗ-69 (с какой пылью, с каким ветерком!) мчал он по горным извилистым дорогам в районный центр, пока не подкатывал наконец к известному зданию с колоннами, куда и входил, не сбавляя шага (и не глядя на умученных ожиданием посетителей и просителей), прямиком в кабинет. А если не в райкоме, то в исполкоме.

Гуров умел добиться. Бывало, и сам рулил на базу, и взятку давал, а иногда еще и умасливал кого нужно красивым именным пистолетом (мол, пригодится: Восток — это Восток!.. Он и думать не думал, что когда-нибудь эти игривые слова сбудутся). А теперь пистолет ничто, тьфу. Теперь десять стволов мало — дай двенадцать. Он, Гуров, должен накормить солдат. С возрастом человеку все тяжелее даются перемены, но взамен становишься более снисходителен к людским слабостям. Это и равновесит. Он должен накормить также и самого себя. Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей продолжаться — вот весь ответ. Обменивая оружие, он не думает о последствиях. При чем здесь он?.. Жизнь сама собой переменялась в сторону всевозможных обменов (меняй что хочешь на что хочешь) — и Гуров тоже менял. Жизнь сама собой переменялась в сторону войны (и какой дурной войны — ни войны, ни мира!) — и Гуров, разумеется, воевал. Воевал и не стрелял. (А только время от времени разоружал по приказу. Или, в конце концов, стрелял по другому приказу; свыше.) Он поладит и с этим временем, он соответствует. Но... но, конечно, тоскует. Тоскует по таким понятным ему былым временам, когда, примчавшись на своем «газике», он входил в тот кабинет и мог накричать, всласть выmaterить, а уж потом, снисходя до мира, развалиться в кожаном кресле и покуривать с райкомовцем, как с дружкой-приятелем. И пусть ждут просители за дверью кабинета. Однажды не застал он райкомовца ни в кабинете, ни дома: тот уехал. Но зато застал его жену. (Поехав к ним домой.) И отказа тоже не было. Едва начинавшему тогда сесть, молодцеватому майору Гурову она дала все, что только может дать скучающая женщина, оставшаяся летом в одиночестве на целую неделю. Все, что могла. Все, и даже больше, подумал он (имея в виду ключи от огромного холодильника номер два, их районного мясокомбината, где складировали свежескопченное мясо).

— Алибек. Я тут вспомнил. А копченого мяса ты не достанешь?..

3

Операция по разоружению (еще с ермоловских времен она и называлась «подковой») сводилась к тому, что боевиков окружали, но так и не замыкали окружение до конца. Оставляли один-единственный выход. Торопясь по этой тропе, боевики растягивались в прерывистую цепочку, так что из засады — хоть справа, хоть слева — взять любого из них, утянуть в кусты (или в прыжке сбить с тропы в обрыв и там разоружить) было делом не самым простым, но возможным. Конечно, все это время шла частая стрельба поверх голов, пугавшая и заставлявшая их уходить.

Оба затесались в число тех, кто шел на разоружение, однако Вовку высмотрели и тотчас изгнали: старлей Савкин полагался только на своих. Взгляд старлея скользнул по мощной фигуре Рубахина, но не уперся в него, не царапнул, и хрипатого приказа «*Два шага вперед!*» не последовало — скорее всего, старлей просто не приметил. Рубахин стоял в группе самых мощных и крепких солдат, он с ними сливался.

А как только началась стрельба, Рубахин поспешил и уже был в засаде; он покуривал в кустах с неким ефрейтором Гешей. Солдаты-старогодки, они вспоминали тех, кто демобилизовался. Нет, не завидовали. Хера ли завидовать? Неизвестно, где лучше...

— Шустро бегут, — сказал Геша, не подымая глаз на мелькавшие в кустах тени.

Боевики бежали сначала по двое, по трое, с шумом и треском проносясь по заросшей кустами старинной тропе. Но кого-то из одиночек уже расхватывали. Вскрик. Возня... и тишина. («Взяли?» — спрашивал Геша глазами Рубахина и тот кивком отвечал: «Взяли».) И вновь нарастал треск в кустах. Приближались. Стрелять они еще худо-бедно умели (и убивать, конечно, тоже), но бежать через кусты с оружием в руках, с патронташем на шее да еще под выстрелами — конечно, тяжело. Спугнутые, натываясь на огонь из засад, боевики сами собой устремлялись по тропе, что вроде бы все сужалась и вводила их в горы.

— А вот этот будет мой — лады? — сказал Рубахин, привставая и ускоряя шаг к просвету.

— Ни пуха! — Геша наскоро докуривал.

Оказалось, «этот» не одиночка — бежали двое, но уже выпрыгнувший из кустов Рубахин упускать их права не имел. «Сто-оой! Сто-оой!..» Он кинулся с пугающим криком за ними. Стартовал Рубахин неважнецки. Ком мускулов развить скорость сразу не мог, но уж когда он разогнался, ни кривой куст, ни осыпь под ногой значения не имели — летел.

Он мчался уже в метрах шести от боевика. А первый (то есть бежавший первым) шел резвее его, уходил. Второго (тот был уже совсем близко) Рубахин не опасался, он видел болтающийся на шее автомат, но патроны расстреляны (или же боевик стрелять на бегу был неловок?). Первый опаснее, автомата не было, и значит, пистолет.

Рубахин наддал. Сзади он слышал поступь бегущего следом — ага, Гешка прикрыл! Двое надвое...

Нагнав, он не стал ни хватать, ни валить (пока с ним, упавшим, разберешься, первый наверняка уйдет). Сильным ударом левой он сбил его в овраг, в ломкие кусты, крикнув Геше: «Один в канаве! Возьми его!..» — и рванул за первым, длинноволосым.

Рубахин шел уже самым быстрым ходом, но и тот был бегун. Едва Рубахин стал его доставать, он тоже прибавил. Теперь шли вровень, их разделяло метров восемь — десять. Обернувшись, убегающий вскинул пистолет и выстрелил — Рубахин увидел, что он совсем молодой. Еще выстрелил. (И терял скорость. Если б не стрелял, он бы ушел.)

Стрелял он через левое плечо, пули сильно недобирали, так что Рубахин не пригибался каждый раз, когда боевик заносил руку для выстрела. Однако все патроны не стал расстреливать, хитрец. Стал уходить. Рубахин тотчас понял. Не медля больше, Рубахин швырнул свой автомат по ногам. Этого, конечно, хватило.

Бегущий вскрикнул от боли, дернулся и стал заваливаться. Рубахин достал его прыжком, подмял, правой рукой

прихватывая за запястье, где пистолет. Пистолета не было. Падая, выронил его, тот еще боец!.. Рубахин завел ему руки, вывернув плечо, конечно, с болью. Тот ойкнул и обмяк. Рубахин все еще на порыве извлек из кармана ремешок, скрутил руки, посадил у дерева, притолкнув несильное тело к стволу — сиди!.. И только тут встал наконец с земли и ходил по тропе, отдыхаясь и ища в траве — уже внимательным глазом — свой автомат и выброшенный беглецом пистолет.

Снова топот — Рубахин скакнул с тропы в сторону, к корявому дубку, где сидел пойманный. «Тихо!» — велел ему Рубахин. В мгновение проскочили мимо них несколько удачливых и быстроногих боевиков. За ними, матюкаясь, бежали солдаты. Рубахин не вмешивался. Он дело сделал.

Он глянул на пойманного: лицо удивило. Во-первых, молодостью, хотя такие юнцы, лет шестнадцати—семнадцати, среди боевиков бывали нередко. Правильные черты, нежная кожа. Чем-то еще поразило его лицо кавказца, но чем? — он не успел понять.

— Пошли, — сказал Рубахин, помогая ему (со скрученными за спиной руками) подняться.

Когда шли, предупредил:

— И не бежать. Не вздумай даже. Я не застрелю. Но я сильно побью — понял?

Молодой пленник прихрамывал. Автомат, что швырнул Рубахин, поранил ему ногу. Или притворяется?.. Пойманный обычно старается вызвать к себе жалость. Хромает. Или кашляет сильно.

4

Обезоруженных было много, двадцать два человека, и потому, возможно, Рубахин отстоял своего пленного без труда. «Этот мой!» — повторял, держа руку на его плече, Рубахин в общем шуме и гаме — в той последней суете, когда пленных пытаются построить, чтобы вести в часть. На-

пряжение никак не спадало. Пленные толпились, боясь, что их сейчас разделят. Держались один за другого, перебиваясь на своем языке. У некоторых даже не были связаны руки. «Почему твой? Вон сколько их — все они наши!» Но Рубахин качал головой: мол, те наши, а этот — мой. Появился Вовка-стрелок, как всегда вовремя и в свою минуту. Куда лучше, чем Рубахин, он умел и сказать правду и задурить голову. «Нам необходимо! Оставьте! Записка от Гурова... Нам для обмена пленных!» — вдохновенно лгал он. «Но ты доложи старлею». — «Уже доложено. Уже договорено!» — продолжал Вовка взалхлеб, мол, подполковник сейчас чай пьет у себя дома (что было правдой) — они вдвоем только что оттуда (тоже правда), и Гуров, мол, самолично написал для них записку. Да, записка там, на КП...

Вовка заметно осунулся. Рубахин недоуменно глянул в его сторону: как-никак через кусты за длинноволосым бежал он — ловил и вязал он, потел он, а осунулся Вовка.

Пленных (наконец построив) повели к машинам. Отдельно несли оружие, и кто-то вслух вел счет: семнадцать «калашниковых», семь пистолетов, десяток гранат. Двое убитых во время гона, двое раненых, у нас тоже один ранен и Коротков убит... Крытые брезентом грузовики вытянулись в колонну и, в сопровождении двух бэтээров (в голове и в хвосте), с ревом, набирая все больше скорости, двинулись в часть. Солдаты в машинах возбужденно обсуждали, горлалили. Все хотели есть.

По прибытии, едва вылезли из машины, Рубахин и Вовка-стрелок вместе со своим пленным тут же отбились в сторону. К ним не цеплялись. С пленными в общем-то делать нечего: молодых отпустят, матерых месяца два-три подержат на гауптвахте, как в тюрьме, ну а если побегут — их не без удовольствия постреляют... война! Бояркова, быть может, эти же самые боевики застрелили спящего (или только-только открывшего со сна глаза). Лицо без единой царапины. И муравьи ползли. В первую минуту Рубахин и Вовка стали сбрасывать муравьев. Когда перевернули, в спине Бояркова сквозила дыра. Стреляли в упор; но пули не успели разой-

тись и ударили в грудь кучно: проломив ребра, пули вынесли наружу все его нутро — на земле (в земле) лежало крошево ребер, на них печень, почки, круги кишок, все в большой стылой луже крови. Несколько пуль застопорило на еще исходящих паром кишках. Боярков лежал перевернутый с огромной дырой в спине. А его нутро, вместе с пулями, лежало в земле.

Вовка заворачивал к столовой.

— ...на обмен взяли. Подполковник разрешение дал, — спешил сказать Вовка, опережая расспросы встретившихся солдат из взвода Орликова.

Солдаты, сытые после еды, выкрикивали ему: мол, передавай привет. Спрашивали: кто в плену? на кого меняем?!

— На обмен, — повторял Вовка-стрелок.

Ваня Бравченко засмеялся:

— Валюта!

Сержант Ходжаев крикнул:

— Молодцы, хорошо поймали! Таких любят!.. Их начальник, — он мотнул головой в сторону гор, — таких очень любит.

Чтобы пояснить, Ходжаев еще и засмеялся, показав крепкие белые солдатские зубы.

— Два, три, пять человек на одного выменяешь! — крикнул он. — Таких, как девушку, любят! — И, поравнявшись, он подмигнул Рубахину.

Рубахин хмыкнул. Он вдруг догадался, что его беспокоило в плененном боевике: юноша был очень красив.

Пленный не слишком хорошо говорил по-русски, но, конечно, все понимал. Злобно, с гортанно взвизгивающими звуками он выкрикнул Ходжаеву что-то в ответ. Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он красив — длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них — большие, вразлет и чуть враскос.

Вовка быстро сговорился с поваром. Перед дорогой надо было хорошо поесть. За длинным дощатым столом шумно и

душно; жарко. Сели с краю — и тут же из вещмешка Вовка извлек ополовиненную бутылку портвейна; скрытным движением он сунул ее под столом Рубахину, чтобы тот, зажав бутылку, как водится, меж колен, незаметно для других ее допил. «Ровняк половину тебе оставил. Цени, Рубаха, мою доброту!..»

Поставил тарелку и перед пленным: — Нэ хачу, — резко ответил тот. Отвернулся, качнув темными локонами.

Вовка придвинул к нему ближе: — Хотя бы мясо порубай. Дорога долгая.

Пленный молчал. Вовка заволновался, что тот, пожалуй, двинет сейчас локтем тарелку и столь трудно выпрошенная у повара лишняя каша с мясом будет на полу.

Он быстро разбросал третью порцию по тарелкам себе и Рубахину. Поели. Пора было идти.

5

У ручья они пили, зачерпывая по очереди воду пластмассовым стаканчиком. Пленного, видно, мучила жажда; стремительно шагнув, он, словно рухнул, упал на колени, гремя галькой. Он не дождался, пока развяжут руки или напоят из стаканчика, — стоя на коленях и склонившись к быстрой воде лицом, долго пил. Связанные сзади посиневшие руки при этом задирались кверху; казалось, он молится каким-то необычным способом.

Потом сидел на песке. Лицо мокро. Прижимая щеку к плечу, он пытался сбросить без помощи рук нависшие там и тут на лице капли воды. Рубахин подошел:

— Мы бы дали тебе напиток. И руки бы развязали... Куда спешишь?

Не ответил. Рубахин посмотрел на него и ладонью отер ему воду на подбородке. Кожа была такой нежной, что рука Рубахина дрогнула. Не ожидал. И ведь точно! Как у девушки, подумал он.

Глаза их встретились, и Рубахин тут же отвел взгляд,

смутившись вдруг скользнувших и не слишком хороших мыслей.

На миг насторожил Рубахина ветер, шумнувший в кустах. Как бы не шаги?.. Смушение отступило. (Но оно только припряталось. Не ушло совсем.) Рубахин был простой солдат — он не был защищен от человеческой красоты как таковой. И вот уже вновь словно бы исподволь напрашивалось новое и незнакомое ему чувство. И конечно, он отлично помнил, как крикнул тогда и как подмигнул сержант Ходжаев. Сейчас предстояло быть и вовсе лицом к лицу. Пленный не мог самостоятельно перейти ручей. Крупная галька и напористое течение, а он был бос, и нога распухла у щиколотки так сильно, что уже в самом начале пути ему пришлось сбросить свои красивые кроссовки (на время они лежали в вещмешке Рубахина). Если при переходе ручья раз другой упадет, он может стать никуда не годным. Ручей потащит волоком. Выбора нет. И понятно, что Рубахин, кто же еще, должен был нести его через воду: не он ли, когда брал в плен, броском своего автомата повредил ему ногу?

Чувство сострадания помогло Рубахину; сострадание пришло ему в помощь очень кстати и откуда-то свыше, как с неба (но оттуда же нахлынули вновь смушение заодно с новым пониманием опасной этой красоты). Рубахин растерялся лишь на миг. Он подхватил юношу на руки, нес через ручей. Тот дернулся, но руки Рубахина были мощны и сильны.

— Ну-ну. Не брыкайся, — сказал он, и это были примерно те же грубоватые слова, какие сказал бы он в подобной ситуации женщине.

Он нес; слышал дыхание юноши. Тот нарочито отвернул лицо, и все же его руки (развязанные на время перехода), обхватившие Рубахина, были цепки — он ведь не хотел упасть в воду, на камни. Как и всякий, кто несет на руках человека, Рубахин ничего не видел под ногами и ступал осторожно. Скосив глаза, он только и видел бегущую вдали воду ручья и, на фоне прыгающей воды, профиль юноши. нежный, чистый, с неожиданно припухлой нижней губой, капризно выпятившейся, как у молоденькой женщины.

Здесь же у ручья сделали первый привал. Для безопасности сошли с тропы вниз по течению. Сидели в кустах. Рубахин держал на коленях автомат со снятым предохранителем. Есть пока не хотелось, но пили воду несколько раз. Вовка, лежа на боку, крутил приемничек, тот еле слышно свиристел, булькал, мяукал, взрывался незнакомой речью. Вовка, как и всегда, полагался на опыт Рубахина, за километр слышавшего камень под чужой ногой.

— Рубаха, я сплю. Слышь. Я сплю, — честно предупреждал он, проваливаясь в мгновенной солдатской дреме.

Когда зоркий старлей изгнал его из числа тех, кто пошел на разоружение, Вовка от нечего делать вернулся в домишко, где жила молодая женщина. (Домишко рядом с домом подполковника. Но Вовка был осторожен.) Она, понятно, обругала, попеняла солдату, так скоро бросившему ее у магазина. Но через минуту они снова оказались лицом к лицу, а еще через минуту в постели. Так что теперь Вовка был приятно изнурен. Дорогу он осиливал, но на привалах его тотчас кидало в сон.

Рубахину было проще заговорить на быстром ходу.

— ... если по-настоящему, какие мы враги — мы свои люди. Ведь были же друзья! Разве нет? — горячился и даже как бы настаивал Рубахин, пряча в привычные (в советские) слова смущавшее его чувство. А ноги знай шагали.

Вовка-стрелок фыркнул:

— Да здравствует нерушимая дружба народов...

Рубахин расслышал, конечно, насмешку. Но сказал сдержанно:

— Вов. Я ведь не с тобой говорю.

Вовка на всякий случай смолк. Но и юноша молчал.

— Я такой же человек, как ты. А ты такой же, как я. Зачем нам воевать? — продолжал говорить всем известные слова Рубахин, но мимо цели: получалось, что стершиеся слова говорил он самому себе да кустам вокруг. Да еще тропинке, что после ручья рванулась напрямик в горы. Рубахину хотелось, чтобы юноша хоть как-то ему возразил. Хоте-

лось услышать голос. Пусть что-то скажет. (Рубахин все больше чувствовал себя беспокойным.)

Вовка-стрелок (на ходу) шевельнул пальцем, и приемник в его солдатском мешке ожил, зачирикал. Вовка еще шевельнул — нашел маршевую песню. А Рубахин все говорил. Наконец устал и смолк.

Идти со связанными руками (и с плохой ногой) непросто, если подъем крут. Пленный боевик оступался; шел с трудом. На одном из подъемов вдруг упал. Кое-как встал, не жаловался; но Рубахин заметил его слезы.

Рубахин несколько скоропалительно сказал:

— Если не убежишь, я развяжу тебе руки. Дай слово.

Вовка-стрелок услышал (сквозь музыку приемника) и вскрикнул:

— Рубаха! Да ты спятил!..

Вовка шел впереди. Он ругнулся: мол, глупость какая. А приемник меж тем звучал громко.

— Вов. Выруби... Мне слышать надо.

— Счас.

Музыка смолкла.

Рубахин развязал пленному руки — куда он уйдет с такой ногой от него, от Рубахина.

Шли довольно быстро. Впереди пленный. Рядом полусонный Вовка. А чуть сзади молчаливый, весь на инстинктах Рубахин.

Освободить кому-то хотя бы только кисти рук и хотя бы только на время пути — приятно. Со сладким привкусом сглотнулась слюна в гортани Рубахина. Редкая минута. Но привкус привкусом, а взгляд его не слабел. Тропа набрала крутизну. Стороной они прошли холмик, где был закопан пьянчуга Боярков. Замечательное залитое вечерним солнцем место.

На ночном привале Рубахин отдал ему свои шерстяные носки. Сам остался в сапогах на босу ногу. Всем спать! (И совсем малый костер!..) Рубахин отобрал у Вовки транзистор

(ночью ни звука). Автомат, как всегда, на коленях. Он сидел плечом к пленному, а спиной к дереву в своей излюбленной с давних времен позе охотника (чуткой, но позволяющей немного впасть в дрему). Ночь. Он как бы спал. И в параллель сну слышал сидящего рядом пленника — слышал и чувствовал настолько, что среагировал бы в тот же миг, вздумай тот шевельнуться хоть чуточку нестандартно. Но тот и не думал о побеге. Он тосковал. (Рубахин вникал в чужую душу.) Вот оба они впали в дрему (доверяя), а вот Рубахин уже почувствовал, как юношей вновь овладела тоска. Днем пленный старался держаться гордецом, но сейчас его явно донимала душевная боль. Чего, собственно, он печалился? Рубахин еще днем внятно намекнул ему, что ведут его не в воинскую тюрьму и не для каких-то иных темных целей, а именно, чтобы отдать его своим — взамен на право проехать. Всего-то и дело — передать своим. Сидя рядом с Рубахиным, он может не волноваться. Пусть он не знает про машины и заблокированную там дорогу, но ведь он знает (чувствует), что ему ничто не грозит. Более того. Он чувствует, конечно, что он симпатичен ему, Рубахину... Рубахин вдруг вновь смутился. Рубахин скосил глаза. Тот тосковал. В уже подступившей тьме лицо пленного было по-прежнему красиво и так печально. «Ну-ну!» — дружелюбно сказал Рубахин, стараясь приободрить.

И медленно протянул руку. Боясь встревожить этот полуоборот лица и удивительную красоту неподвижного взгляда, Рубахин только чуть коснулся пальцами его тонкой скулы и как бы поправил локон, длинную прядку, свисавшую вдоль его щеки. Юноша не отдернул лица. Он молчал. И как показалось — но это могло показаться, — еле уловимо, щекой ответил пальцам Рубахина.

Стоило смежить глаза, Вовка-стрелок наново проживал ускользящие сладкие минуты, так стремительно промчавшиеся в том деревенском домишке. За миготом миг — дробная и такая краткая радость женской близости. Он спал сидя; спал стоя; спал на ходу. Неудивительно, что ночью он креп-

ко уснул (хотя был его час) и не уследил, как рядом пробежал зверь, возможно кабан. Всех всколыхнуло. А треск в кустах затянато долго сходил на нет. «Хочешь, чтобы нас тоже пристрелили сонных?» — Рубахин легонько дернул солдата за ухо. Встал. Вслушался. Было тихо.

Подложив в огонь хворосту, Рубахин походил кругами, постоял у распадка; вернулся. Он сел рядом с пленным. Пережив испуг, тот сидел в некотором напряжении. Плечи свело; ссутулился — красивое лицо совсем утонуло в ночи. «Ну что?.. Как ты?» — спросил простецки. В таких случаях вопрос — это прежде всего пригляд за пленным: не обманчива ли его дрема; не подыскал ли он нож; и не надумал ли, пока спят, уйти в темную ночь? (сдуру — ведь Рубахин нагонит его тотчас.)

— Хорошо, — ответил тот коротко.

Оба какое-то время молчали.

Так оказалось, что, задав вопрос, Рубахин остался сидеть с ним рядом (не каждую же минуту менять место у костра).

Рубахин похлопал его по плечу:

— Не робей. Я же сказал: как приведем, сразу тебя отдадим вашим — понял?

Тот кивнул: да, он понял. Рубахин этак хохотнул:

— А ты правда красивый.

Помолчали еще.

— Как нога?

— Хорошо.

— Ладно, спи. Времени в обрез. Надо еще чуток покемарить, а там и утро...

И вот тут, как бы согласившись, что надо подремать, пленный юноша медленно склонил свою голову вправо, на плечо Рубахину. Ничего особенного: так и растягивают свой недолгий сон солдаты, привалившись друг к другу. Но вот тепло тела, а с ним и ток чувственности (тоже отдельными волнами) стали пробиваться, перетекая — волна за волной — через прислоненное плечо юноши в плечо Рубахина. Да нет же. Парень спит. Парень просто спит, подумал Руба-

хин, гоня наваждение. И тут же напрягся и весь одеревенел, такой силы заряд тепла и неожиданной нежности пробился в эту минуту ему в плечо; в притихшую душу. Рубахин замер. И юноша — услышав или угадав его настороженность — тоже чутко замер. Еще минута — и их касание лишилось чувственности. Они просто сидели рядом.

— Да. Подремлем, — сказал Рубахин в никуда. Сказал, не отрываясь взглядом от красных маленьких языков костра.

Пленный качнулся, чуть удобнее разместив голову на его плече. И почти тут же стал вновь ощущать ток податливого и призывного тепла. Рубахин расслышал теперь тихую дрожь юноши, как же так... что ж это такое? — взбаламученно соображал он. И вновь весь он затаился, сдерживаясь (и уже боясь, что ответная дрожь его выдаст). Но дрожь — это только дрожь, можно пережить. Более же всего Рубахин страшился, что вот сейчас голова юноши тихо к нему повернется (все движения его были тихие и ощутимо вкрадчивые, вместе с тем как бы и ничего не значащие — чуть шевельнулся человек в дреме, ну и что?..) — повернется к нему именно что лицом, почти касаясь, после чего он неизбежно услышит юное дыхание и близость губ. Миг нарастал. Рубахин тоже испытал минуту слабости. Его желудок первым из связки органов не выдержал столь непривычного чувственного перегруза — сдавил спазм, и тотчас пресс матерого солдата сделался жестким, как стиральная доска. И следом перехватило дыхание. Рубахин разом зашелся в кашле, а юноша, как спугнутый, отнял голову от его плеча.

Вовка-стрелок проснулся:

— Бухаешь, как пушка, — с ума сошел!.. слышно на полкилометра!

Беспечный Вовка тут же и заснул. И сам же — как в ответ — стал прихрапывать. Да еще с таким звучным присвистом.

Рубахин засмеялся — вот, мол, мой боевой товарищ. Бесперывно спит. Днем спит, ночью спит!

Пленный сказал медленно и с улыбкой:

— Я думаю, он имел женщину. Вчера.

Рубахин удивился: вот как?.. И, припомнив, тут же согласился:

— Похоже на то.

— Я думаю, вчера днем было.

— Точно! точно!..

Оба посмеялись, как это бывает в таких случаях у мужчин.

Но следом (и очень осторожно) пленный юноша спросил:

— А ты — ты давно имел женщину?

Рубахин пожал плечами:

— Давно. Год, можно считать.

— Некрасивая совсем? Баба?.. Я думаю, она некрасивая была. Солдаты никогда не имеют красивых женщин.

Возникла такая долгая тяжелая пауза. Рубахин чувствовал, как камень лег ему на затылок (и давит, давит...).

Рано утром костер совсем погас. Замерзший Вовка тоже перебрался к ним и уткнулся лицом, плечом в спину Рубахину. А сбоку к Рубахину приткнулся пленный, всю ночь манивший солдата сладким пятном тепла. Так втроем, обогревая друг друга, они дотянули до утра.

Поставили котелок с водой на огонь.

— Чайком балуемся, — сказал Рубахин с некоторой виноватостью за необычные переживания ночи.

С самого утра ожила эта в себе неуверенная, но уже непрячущаяся его виноватость: Рубахин вдруг начал за юношей ухаживать. (Он взволновался. Он никак не ожидал этого от себя.) В руках, как болезнь, появилось мелкое нетерпение. Он дважды заварил ему чай в стакане. Он бросил куски сахара, помешал звонкой ложечкой, подал. Он оставил ему как бы навсегда свои носки — носи, не снимай, пойдешь в них дальше!.. — такая вот пробилась заботливость.

И как-то суетлив стал Рубахин и все разжигал, разжигал костер, чтобы тому было теплее.

Пленный выпил чай. Он сидел на корточках и следил за движениями рук Рубахина.

— Теплые носки. Хорошие, — похвалил он, переводя взгляд на свои ноги.

— Мать вязала.

— А-а.

— Не снимай!.. Я же сказал: ты пойдешь в них. А я себе на ноги что-нибудь намотаю.

Юноша, вынув расческу из кармана, занялся своими волосами: долго расчесывал их. Время от времени он горделиво встряхивал головой. И снова выверенными взмахами приглаживал волосы до самых плеч. Чувствовать свою красоту ему было так же естественно, как дышать воздухом.

В теплых и крепких шерстяных носках юноша шел заметно увереннее. Он и вообще держался посмелее. Тоски в глазах не было. Он, несомненно, уже знал, что Рубахин смущен наметившимися их отношениями. Возможно, ему это было приятно. Он искоса поглядывал на Рубахина, на его руки, на автомат и про себя мимолетно улыбался, как бы играючи одержав победу над этим огромным, сильным и таким робким детиной.

У ручья он не снимал носки. Он стоял, ожидая, когда Рубахин его подхватит. Рука юноши не цеплялась, как прежде, только за ворот; без стеснения он держался мягкой рукой прямо за шею ступающего через ручей Рубахина, иногда, по ходу и шагу, перемещая ладонь тому под гимнастерку — так, как было удобнее.

Рубахин вновь отобрал у Вовки-стрелка транзистор. И дал знак молчать: он вел; на расширившейся затоптанной тропе Рубахин не доверял никому (до самой белой скалы). Скала, с известной ему развилкой троп, была уже на виду. Место опасное. Но как раз и защищенное тем, что там расходились (или сходились — это как смотреть!) две узкие тропки.

Скала (в солдатской простоте) называлась *нос*. Белый большой треугольный выступ камня надвигался на них, как нос корабля, — и все нависал.

Они уже карабкались у подножия, под самой скалой, в курчавом кустарнике. *Этого не может быть!* — пронеслось в

сознании солдата, когда там, наверху, он расслышал надвигающуюся опасность (и справа, и слева). С обеих сторон скалы спускались люди. Чужая и такая плотная, беспорядочно-частая поступь. *Суки*. Чтобы два чужих отряда вот так совпали минута к минуте, заняв обе тропы, — такого *не может быть!* Скала была тем и спасительна, что давала услышать и загодя разминуться.

Теперь они, конечно, не успевали продвинуться ни туда, ни сюда. Ни даже метнуться из-под скалы назад в лес через открытое место. Их трое, один пленный; их тотчас заметят; их перестреляют немедленно; или попросту загонят в чашу, обложив кругом. *Этого не может быть*, — жалобно пискнула его мысль уже в третий раз, как отрекаясь. (И ушла, исчезла, бросила его.) Теперь все на инстинктах. В ноздрях потянуло холодком. Не только их шаги. В почти полном безветрии Рубахин слышал медлительное распрямление травы, по которой прошли.

— Тс-с.

Он прижал палец к губам. Вовка понял. И мотнул головой в сторону пленного: как он?

Рубахин глянул тому в лицо: юноша тоже мгновенно понял (понял, что идут свои), лоб и щеки его медленно наливались краской — признак непредсказуемого поведения.

«А! Будь что будет!» — сказал себе Рубахин, быстро изготовив автомат к бою. Он ощупывал запасные обоймы. Но мысль о бое (как и всякая мысль в миг опасности) тоже отступила в сторону (бросила его), не желая взвалить на себя ответ. Инстинкт велел прислушаться. И ждать. В ноздрях тянуло и тянуло холодом. И так значаще тихо зашевелились травы. Шаги ближе. *Нет*. Их много. Их слишком много... Рубахин еще раз глянул, считывая с лица пленного и угадывая — как он? что он? в страхе быть убитым затаится ли он и смолчит (хорошо бы) или сразу же кинется им навстречу с радостью, с дурыю в полубезумных огромных глазах и (главное!) с криком?

Не отрывая взгляда от идущих по левой тропе (этот отряд был совсем недалеко и пройдет мимо них первым), Рубахин

завел руку назад и осторожно коснулся тела пленного. Тот чуть дрожал, как дрожит женщина перед близким объятием. Рубахин тронул шею, ошупью перешел на его лицо и, мягко коснувшись, положил пальцы и ладонь на красивые губы, на рот (который должен был молчать); губы подрагивали.

Медленно Рубахин притягивал юношу к себе ближе (а глаз не отрывал от левой тропы, от подтягивающейся цепочки отряда). Вовка следил за отрядом справа: там тоже уже слышались шаги, сыпались вниз камешки, и кто-то из боевиков, держа автомат на плече, все лязгал им об автомат идущего сзади.

Юноша не сопротивлялся Рубахину. Обнимая за плечо, Рубахин развернул его к себе — юноша (он был пониже) уже сам потянулся к нему, прижался, ткнувшись губами ниже его небритого подбородка, в сонную артерию. Юноша дрожал, не понимая. «Н-н...» — слабо выдохнул он, совсем как женщина, сказав свое «нет» не как отказ — как робость, в то время как Рубахин следил его и ждал (сторожá вскрик). И как же расширились его глаза, пытавшиеся в испуге обойти глаза Рубахина и — через воздух и небо — увидеть своих! Он открыл рот, но ведь не кричал. Он, может быть, только и хотел глубже вдохнуть. Но вторая рука Рубахина, опустившая автомат на землю, зажала ему и приоткрытый рот с красивыми губами, и нос, чуть трепетавший. «Н-ны...» — хотел что-то досказать пленный юноша, но не успел. Тело его рванулось, ноги напряглись, однако под ногами уже не было опоры. Рубахин оторвал его от земли. Держал в объятиях, не давая коснуться ногами ни чутких кустов, ни камней, что покатались бы с шумом. Той рукой, что обнимала, Рубахин, блокируя, обошел горло. Сдавил; красота не успела спасти. Несколько конвульсий... и только.

Ниже скалы, где сходились тропы, раздались вскоре же дружеские гортанные возгласы. Отряды обнаружили друг друга. Слышались приветствия, вопросы — как? что?!. куда это вы направляетесь?!. (Самый вероятный из вопросов.) Хлопали друг друга по плечу. Смеялись. Один из боевиков, воспользовавшись остановкой, надумал помочиться. Он

подбежал к скале, где было удобнее. Он не знал, что он уже на мушке. Он стоял всего в нескольких шагах от кустов, за которыми лежали двое живых (прячься, они залегли) и мертвый. Он помочился, икнул и, подпернув брюки, заторопился.

Когда отряды прошли мимо, а их удаляющиеся в низину шаги и голоса совсем стихли, двое солдат с автоматами вынесли из кустов мертвое тело. Они понесли его в редкий лес, недалеко и тропой налево, где, как помнил Рубахин, открывалась площадка — сухая плешина с песчаной, мягкой землей. Рыли яму, вычерпывая песок плоскими камнями. Вовка-стрелок спросил, возьмет ли Рубахин назад свои носки, Рубахин покачал головой. И ни словом о человеке, к которому, в общем, уже привыкли. Полминуты посидели молчком у могилы. Какое там посидеть — война!..

6

Без перемен: две грузовые машины (Рубахин видит их издали) стоят на том самом месте.

Дорога с ходу втискивается в проход меж скал, но узкое место стерегут боевики. Машины уже обстреляны, но не прицельно. (А продвинься они еще хоть сколько-то, их просто изрешетят.) Стоят машины уже четвертый день; ждут. Боевики хотят оружие — тогда пропустят.

— ... не везем мы автоматов! нет у нас оружия! — кричат со стороны грузовиков. В ответ со скалы выстрел. Или целый град выстрелов, длинная очередь. И в придачу смех — га-га-га-га!.. — такой радостный, напористый и так по-детски ликующий катится с высоты смех.

Солдаты сопровождения и шофера (всех вместе шесть человек) расположились у кустов на обочине дороги, укрывшись за корпусами грузовиков. Кочевая их жизнь нехитра: готовят на костре еду или спят.

Когда Рубахин и Вовка-стрелок подходят ближе, на скале, где засада, Рубахин замечает огонь, бледный дневной

костер — боевики тоже готовят обед. Вялая война. Почему бы не перекусить по возможности сытно, не выпить горячего чайку?

Подходящих все ближе Рубахина и Вовку со скалы тоже, конечно, видят. Боевики зорки. И хотя им видно, что двое как ушли, так и пришли (ничего зримого не принесли), со скалы на всякий случай стреляют. Очередь. Еще очередь.

Рубахин и Вовка-стрелок уже подошли к своим.

Старшина выставил живот вперед. Спрашивает Рубахина:

— Ну?.. Будет подмога?

— Хера!

Рубахин не стал объяснять.

— И пленного не удалось подловить?

— Не.

Рубахин спросил воды, он долго пил из ведра, проливая прямо на гимнастерку, на грудь, потом слепо шагнул в сторону и, не выбирая где, свалился в кустах спать. Трава еще не распрямилась; он лежал на том месте, что и два дня назад, когда его толкнули в бок и послали за подмогой (дав Вовку в придачу). В мятую траву он ушел головой по самые уши, не слыша, что там выговаривает старшина. Плевать он хотел. Устал он.

Вовка сел к дереву в тень, раскинув ноги и надвинув панаму на глаза. Насмешничая, он спрашивал шоферов: а что ж сами вы? так и не нашли объезда?.. да неужели ж?! «Объезда нет», — отвечали ему. Шофера лежали в высокой траве. Один из этих тугодумов умело лепил самокрутку из обрывка газеты.

Старшина Береговой, раздосадованный неудачей похода, попытался снова вступить в переговоры.

— Эй! — закричал он. — Слухай меня!.. Эй! — кричал он доверительным (как он считал) голосом. — Клянусь, ничего такого нет в машинах — ни оружия, ни продуктов. Пустые мы!.. Пусть придет ваш человек и проверит — все покажем, стрелять его не будем. Эй! слышь!..

В ответ раздалась стрельба. И веселый гогот.

— Мать в душу! — ругнулся старшина.

Стреляли со скалы беспорядочно. Стреляли так долго и так бессмысленно, что старшина еще раз выматерил и позвал: — Вов. Ну-ка поди сюда.

Оба шофера, что лежали в траве, оживились: — Вов! Вов! Иди сюда. Покажь абрекам, как стрелять надо!

Вовка-стрелок зевнул; лениво оторвал спину от дерева. (Привалившись к нему, он так хорошо сидел.)

Но, взяв оружие, он целил без лени. Он расположился на траве поудобнее и, выставив карабин, ловил в оптическом прицеле то одну, то другую фигурку из тех, что суетились на скале, нависавшей слева над дорогой. Их всех было отлично видно. Он бы, пожалуй, попал и без оптического прицела.

И как раз горец, стоявший на краю скалы, издевательски заулюлюкал.

— Вов. А тебе охота в него попасть? — спросил шофер.

— На хрена он мне, — фыркнул Вовка.

Помолчав, добавил:

— Мне нравится целиться и жать на спуск. Я и без пули знаю, когда я попал.

Невозможность понималась без слов: убей он боевика, грузовикам по дороге уже не проехать.

— Этого, что орет, я, считай, шпокнул. — Вовка спустил курок незаряженного карабина. Он баловался. Прицелился — и вновь лихо шелкнул. — И вот этого, считай, шпокнул!.. А этому я могу полжопы оторвать. Убить — нет, он за деревом, а полжопы — пожалста!..

Подчас, углядев у кого-то из горцев что-нибудь поблескивающее на солнце — бутылку водки или (было поутру!) замечательный китайский термос, Вовка тщательно прицеливался и вдребезги разносил выстрелом заметный предмет. Но сейчас ничего привлекательного не было.

Рубахину тем временем спалось тревожно. Набегал (или, зарывшись в траву, Рубахин сам вызывал его в себе?) один и тот же дурной, беспокоящий сон: прекрасное лицо пленного юноши.

— Вовк. Дай курнуть! (И что за удовольствие ловить на мушку?)

— Сейчас! — Вовка знай целил и целил, уже в азарте забавы, — он вел перекрестье по силуэту скалы: по кромке камня... по горному кустарнику... по стволу дерева. Ага! Он заметил тощего боевика: стоя у дерева, то кромсал ножницами свои патлы. Стрижка — дело интимное. Зеркальце сверкнуло, дав знак, — Вовка мигом зарядил и поймал. Он нажал спуск, и серебристая лужица, прикрепленная к стволу вяза, разлетелась в мельчайшие куски. В ответ раздались проклятия и, как всегда, беспорядочная стрельба. (И словно бы журавли закричали за нависшей над дорогой скалой: гуляль-киляль-ляль-киляль-снайпер...) Фигурки на скале забегали — кричали, вопили, улюлюкали. Но затем (видно, по команде) притихли. Какое-то время не высовывались (и вообще вели себя скромнее). И конечно, думали, что они укрылись. Вовка-стрелок видел не только их спрятавшиеся головы, кадыки на горле, животы — он видел даже пуговицы их рубашек и, балуясь, переводил перекрестье с одной на другую...

— Вовка! Отставить! — одернул старшина.

— Уже!.. — откликнулся стрелок, прихватывая рукой карабин и направляясь к высокой траве (с той же нехитрой солдатской мыслью: поспать).

А Рубахин терял: лицо юноши уже не удерживалось долго перед его глазами — лицо распадалось, едва возникнув. Оно размывалось, утрачивая себя и оставив лишь невнятную и неинтересную красоту. Чье-то лицо. Забытое. Образ таял. Словно бы на прощанье (прощаясь и, быть может, прощая его) юноша вновь обрел более или менее ясные черты (и как вспыхнуло!). Лицо. Но не только лицо — стоял сам юноша. Казалось, что он сейчас что-то скажет. Он шагнул еще ближе и стремительно обхватил шею Рубахина руками (как это сделал Рубахин у той скалы), но тонкие руки его оказались мягки, как у молодой женщины, — порывисты, но нежны, и Рубахин (он был начеку) успел понять, что сейчас во сне может случиться мужская слабость. Он скрип-

нул зубами, усилием отгоняя видение, и тут же проснулся, чувствуя ноющую тяжесть в паху.

— Покурить бы! — со сна хрипло проговорил он. И услышал стрельбу...

Возможно, от выстрелов он и проснулся. Тонкая струйка автоматной очереди — цок-цок-цок-цок-цок — выбивала мелкие камешки и фонтанчики пыли на дороге возле застывших грузовиков. Грузовики стояли. (Рубахина это мало волновало. Когда-нибудь да ведь дадут им дорогу.)

Вовка-стрелок с карабином в обнимку спал неподалеку в траве. У Вовки нынче крепкие сигареты (купил в сельском магазинишке вместе с портвейном), — сигареты были на виду, торчали из нагрудного кармана. Рубахин выбрал из них одну. Вовка тихо посапывал.

Рубахин курил, делая медленные затяжки. Он лежал на спине — глядел в небо, а слева и справа (давя на боковое зрение) теснились те самые горы, которые обступили его здесь и не отпускали. Рубахин свое отслужил. Каждый раз, собираясь послать на хер все и всех (и навсегда уехать домой, в степь за Доном), он собирал наскоро свой битый чемодан и... и оставался. «И что здесь такого особенного? Горы?..» — проговорил он вслух, с озленностью не на кого-то, а на себя. Что интересного в стылой солдатской казарме — да и что интересного в самих горах? — думал он с досадой.

Он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого сказал: «Уже который век!..» — он словно бы проговорился; слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль. Серые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда. Но все-таки — горы?!. Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность — но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала?

Июнь—сентябрь 1994

СОДЕРЖАНИЕ

Андрей Немзер
ГОЛОС В ГОРАХ
5

ГОЛОСА
Повесть
15

ОТДУШИНА
Повесть
145

УТРАТА
Рассказ
209

ЛАЗ
Повесть
283

СТОЛ, ПОКРЫТЫЙ СУКНОМ И С ГРАФИНОМ
ПОСЕРЕДИНЕ
Повесть
363

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННЫЙ
Рассказ
461

Владимир Семенович
МАКАНИН

ЛАЗ

Редактор
Е. Д. Шубина
Художественный редактор
Т. Н. Костерина
Технолог
М. С. Белоусова
Оператор компьютерной верстки
А. В. Волков
Зав. корректорской
А. Ю. Минаева
Зам. зав. корректорской
Н. Ш. Таласбаева
Корректоры
В. А. Жечков, С. Ф. Лисовский

Издательская лицензия № 101053
от 4 апреля 1997 года.

Подписано в печать 23.02.98.

Формат 60 × 90/16.

Гарнитура Таймс.

Печать офсетная.

Объем 31 печ. л.

Тираж 5000 экз.

Изд. № 499. Заказ № 790.

Издательство «ВАГРИУС».

103064, Москва, ул. Казакова, 18.

Интернет/Home page — <http://www.vagrius.com>

Электронная почта (E-Mail) — vagrius@mail.sitek.ru

*Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Государственного комитета Российской Федерации по печати
113054, Москва, Валовая, 28.*



DISTRIBUTED BY
EAST VIEW PUBLICATIONS
eastview@eastview.com
Fax (612) 359-2931
<http://www.eastview.com>